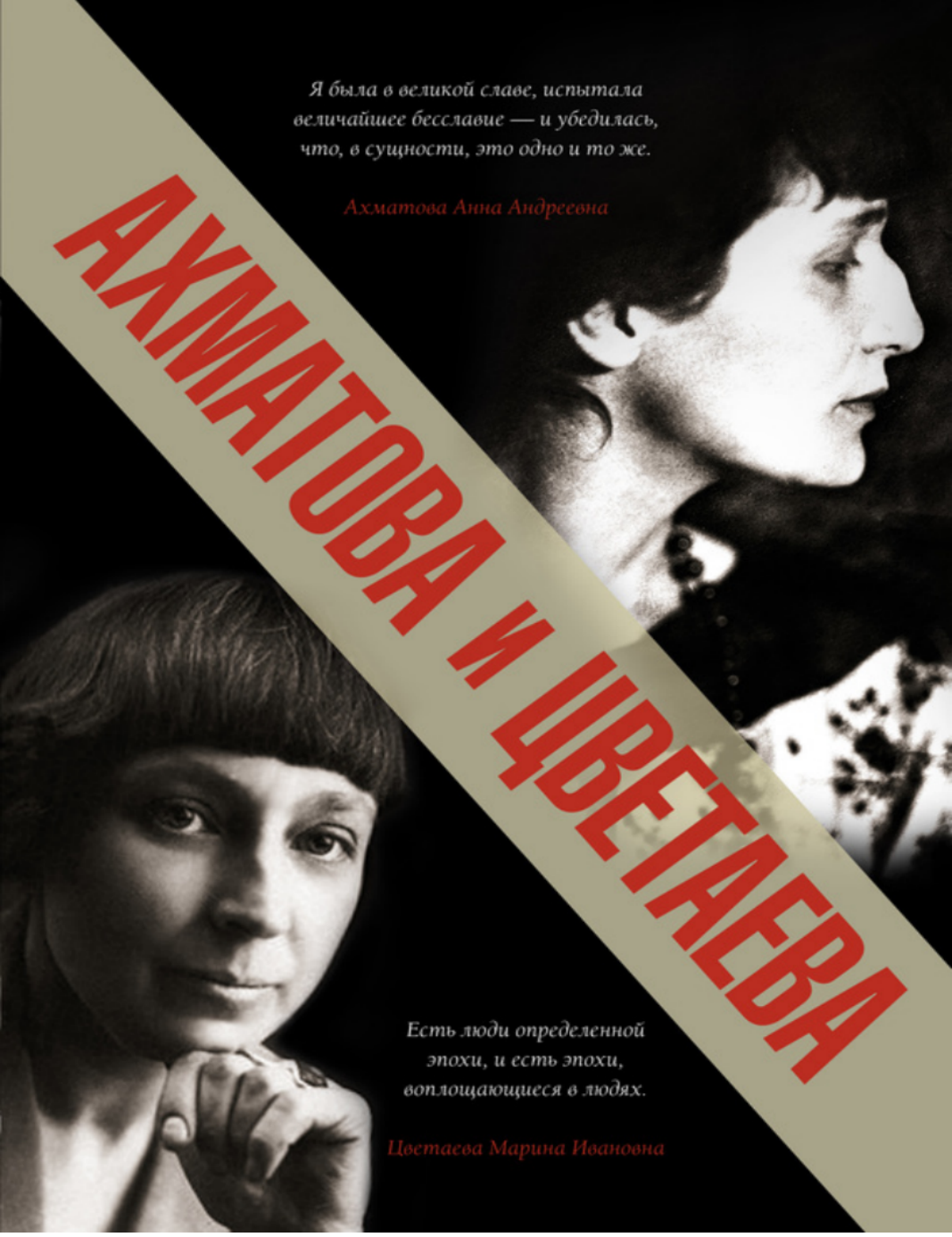
Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие — и убедилась, что, в сущности, это одно и то же.

Ахматова Анна Андреевна

АХМАТОВА И ЦВЕТАЕВА



Есть люди определенной эпохи, и есть эпохи, воплощающиеся в людях.

Цветаева Марина Ивановна


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Анна Андреевна Ахматова и Марина Ивановна Цветаева – великие поэтессы, чей взор на протяжении всей жизни был устремлен «вглубь», а не «вовне». Поэтессы, писатели, литературоведы – одни из наиболее значимых фигур русской литературы XX века. Перед вами дневники Анны Ахматовой – самой исстрадавшейся русской поэтессы. Чем была наполнена ее жизнь: раздутым драматизмом или искренними переживаниями? Книга раскроет все тайны ее отношений с сыном и мужем и секреты ее многочисленных романов. Откровенные воспоминания Лидии Чуковской, Николая и Льва Гумилевых прольют свет на неоднозначную личность Ахматовой и расскажут, какой ценой любимая всем миром поэтесса создавала себе биографию. «Живу до тошноты» – дневниковая проза Марины Цветаевой. Она написана с неподдельной искренностью, объяснение которой Иосиф Бродский находил в духовной мощи, обретенной путем претерпеваний: «Цветаева, действительно, самый искренний русский поэт, но искренность эта, прежде всего, есть искренность звука – как когда кричат от боли».

- Анна Ахматова
  - ○
  - ○ Анна Ахматова
    - ■ Предисловие
    - ■ Свидетельство о крещении
      - ■
      - ■ Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
      - ■ Одна из приятельниц Андрея Антоновича Горенко свидетельствует
      - ■ Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
    - ■ Дом Шухардиной
      - ■
      - ■ Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
    - ■ Дикая девочка
      - ■
      - ■ Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
      - ■ Аттестат
      - ■ В. С. Срезневская. «Воспоминания»

- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- В. С. Срезневская. «Воспоминания»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  -
  - 1
  - 2
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Г. И. Чулков. «Годы странствий»
- Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»

- Разъяснение одного недоразумения
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Слепнево
- Березы
  -
  - Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Михаил Кузмин. Предисловие к сборнику «Вечер»
  - Корней Чуковский
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Н.С. Гумилев – Анне Ахматовой
  - Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»
- 1910-е годы
  -
  - Николай Гумилев – Анне Ахматовой

- Н. В. Недоброво. «Анна Ахматова»
- Корней Иванович Чуковский
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Г. Адамович. «Мои встречи с Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- Блок – Ахматова
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Анна Ахматова – А.А. Блоку
  - А.А. Блок – Анне Ахматовой
  - Александр Блок – Анне Ахматовой
  - Александр Блок – Анне Ахматовой
  - Корней Иванович Чуковский. «Дневник»
  - Лидия Чуковская
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- 1914
  -
  - Николай Гумилев – Анне Ахматовой
  - Анна Ахматова – Николаю Гумилеву
  - Николай Гумилев – Анне Ахматовой
  - Николай Гумилев – Анне Ахматовой
- 1915–1916
  -
  - Николай Гумилев – Анне Ахматовой
  - Николай Гумилев – Анне Ахматовой
  - Николай Гумилев – Анне Ахматовой
- «Сказка о черном кольце»
  -
  - Борис Васильевич Анреп «О черном кольце»
  - Борис Анреп. «О черном кольце»
  - Анатолий Найман
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- Павел Лукницкий «Встречи с Анной Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Николай Гумилев – Анне Ахматовой
- Николай Гумилев – Анне Ахматовой

- «Белая стая»
  -
  - Жирмунский В.М. О «Белой стае»
  - Лидия Гинзбург. «Из рассказов Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Борис Анреп. «О черном кольце»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Корней Чуковский. «Дневники»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- «Не бывать тебе в живых…»
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - С. Липкин
  - М. В. Латманизов. «Разговоры с Ахматовой»
  - Из устных рассказов А. А. Ахматовой в передаче Э. Г. Герштейн
  - Корней Чуковский «Воспоминания об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - А. Ахматова – Н. Пунину
  - Н. Пунин – А. Ахматовой
  - Н. Пунин – А. Ахматовой
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Сергей Шервинский «Анна Ахматова в ракурсе быта»

- Е. К. Гальперина-Осмеркина в записи В. Д. Дувакина
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- А. Ахматова – Н. Пунину
- Борис Пастернак – Анне Ахматовой
- Анна Ахматова – Анне Ивановне Гумилевой
- Анна Ивановна Гумилева – Анне Ахматовой
- Анна Ахматова – Анне Ивановне Гумилевой
- Павел Лукницкий. «Дневники»
- Анна Ахматова – В.К. Шилейко
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- М. В. Латманизов. «Разговоры с Ахматовой»
- К. И. Чуковский. «Ахматова и Маяковский»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Павел Лукницкий «Встречи с Анной Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- Мандельштаму
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Сын Гумилева
  -
  - Л.Н. Гумилев. «Автонекролог»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Анна Ахматова – Иосифу Сталину
  - Лев Гумилев из интервью для журнала «Звезда»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Анна Ахматова – Иосифу Сталину

- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»:
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Эмма Герштейн. «Воспоминания»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- Гаршин
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Цветаева
  -
  - Марина Цветаева
  - Марина Цветаева – Анне Ахматовой
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Анна Ахматова – Марине Цветаевой
  - Георгий Адамович «Мои встречи с Анной Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Булгаков
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - В. Я. Виленкин. «В сто первом зеркале»
- В очереди у «Крестов»
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- 1941–1945

- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Фаина Раневская. «Судьба-шлюха»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- К.И. Чуковский. «Анна Ахматова»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Н.Н. Пунин – А. Ахматовой
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Л. Н. Гумилев. «Автонекролог»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Г.Л. Козловская «Дни и годы одной прекрасной жизни»
- Г.Л. Козловская «Дни и годы одной прекрасной жизни»
- Г.Л. Козловская «Дни и годы одной прекрасной жизни»
- «Поэма без героя», Эпилог
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лев Гумилев. «Автобиография. Воспоминания о родителях»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Исайя Берлин. «Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах»
- Исайя Берлин. «Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- 1946

-
- Из дневника Л.В. Шапориной
- Из сокращенной и обобщенной стенограммы докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- «Разлученной с единственным сыном…»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Л. Н. Гумилев Из интервью журналу «Звезда»
  - Анна Ахматова – Клименту Ворошилову
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - К.И. Чуковский. «Анна Ахматова»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Ирина Пунина – Анне Ахматовой
- Чего требует цензура?
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Корней Иванович Чуковский. «Дневник»
  - Лидия Корнеевна Чуковская
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- «Я застал женщину, почти мне незнакомую…»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лев Гумилев. «Автонекролог»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лев Гумилев. «Автобиография. Воспоминания о родителях»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

- Последнее стихотворение
  -
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Иосиф Бродский
  - 24 декабря 1959 (европейский Сочельник)
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Из письма к NN
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Анна Ахматова. «О поэме»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Реквием. Вместо предисловия
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Писатель Борис Зайцев, покинувший Россию в 1922 году и обосновавшийся в Париже, так вспоминает явление «Реквиема»
  - Анна Ахматова – Жоржу Нива
  - Анна Ахматова – А. Ранниту
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
  - Лидия Чуковская «Записки об Анне

Ахматовой»
- М. В. Латманизов. «Разговоры с Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Джанна Мандзини вспоминает
- Ганс Вернер Рихтер. «Эвтерпа с берегов Невы, или Чествование Анны Ахматовой в Таормино»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Георгий Адамович «Мои встречи с Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»
- Алигер М.И. «В последний раз»

○ Марина Цветаева
- Октябрь в вагоне (Записи тех дней)
  -
  - Письмо в тетрадку
  - Кусочек Крыма
  - Вольный проезд
  - Мои службы
  - О любви (Из дневника)
  - Из дневника
  - Расстрел царя
  - Покушение на Ленина
  - Чесотка
  - Fröulein [25]
  - Ночевка в коммуне
  - Воин христов
  - Смерть Стаховича
  - Речь Станиславского:
  - Моя встреча с Стаховичем
  - О благодарности (Из дневника 1919 г.)
  - Отрывки из книги «Земные приметы»
- Чердачное
- О Германии
  -
  - Из записных книжек и тетрадей

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39
  - 40
  - 41
  - 42
  - 43

- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87

- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131

- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156

Анна Ахматова
Я научила женщин говорить
Марина Цветаева
Живу до тошноты

© Мнухин Л. А.
© ФГУП «МИА “Россия сегодня”»
© ООО «Издательство АСТ»

Анна Ахматова
Я научила женщин говорить

Предисловие

«Тут я подумала: один безумный поэт – хорошо, два – плохо»

Цветаева и Ахматова – такие разные и такие похожие.

По возрасту – Ахматова старше всего на три года: она родилась в 1889 году, а Цветаева – в 1892-м. По неординарности – им обоим нет равных. По биографии – пережили с родиной самые страшные годы Гражданской войны, Революции, Великой Отечественной (правда, Цветаева, «захватила» только два месяца). По женской судьбе – были любимыми, были брошенными, сами влюблялись и бросали, пережили тюрьму и расстрел любимых мужчин, рожали и теряли. По характеру – железные и нежные, страстные и холодные, ранимые и жесткие. По уму – мудрые и эрудированные. По кругу общения – их окружали все «звезды» отечественной литературы начала и середины XX века: Николай Гумилев, Корней и Лидия Чуковские, Сергей Есенин, Александр Блок, Борис Пастернак, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков, Фаина Раневская, Иосиф Бродский. По признанию – гонимые и шельмованные «родной» советской властью, но вознесенные до небес настоящими ценителями искусства во всем мире. По жизни же – несчастные и трагичные вечные скиталицы, равнодушные к вещам и суете. Разница только – в датах смерти: Ахматова пережила Цветаеву почти на тридцать лет.

А как они сами относились друг к другу? По свидетельствам современников, 23-летняя Цветаева была в восторге от поэзии Ахматовой: в стихах и письмах она признавалась ей в самой настоящей любви! Анну Андреевну это очень смущало, но, как рассказывал Осип Мандельштам, Ахматова в 1916–1917 годах не расставалась с рукописными стихами Цветаевой и «до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались». Вот какие строки, датированные 11 февраля 1915 года, посвятила Цветаева Анне Андреевне:

«Узкий, нерусский стан —
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.
Вас передашь одной
Ломаной линией.
Холод – в весельи, зной —
В Вашем унынии.
Вся Ваша жизнь – озноб.

И завершится – чем она?
Облачный темный лоб
Юного демона.
Каждого из земных
Вам заиграть – безделица.
И безоружный стих
В сердце нам целится.
В утренний сонный час,
Кажется, четверть пятого,
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова».

«Все о себе, все о любви», – писала Цветаева в своих записных книжках, датированных 1917 годом, рассуждая об ахматовской поэзии. – Да, о себе, о любви – и еще – изумительно – о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни Песней, о воздухе, «подарке Божьем»… и так без конца… И есть у нее одно 8-стишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов.

Ахматова пишет о себе – о вечном. И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего – через описание пера на шляпе – передаст потомкам свой век… О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять томов. И ничего не прибавишь… Какой трудный и соблазнительный подарок поэтов – Анна Ахматова!»

С восторгом и страстью обращалась Цветаева к Ахматовой и в своих письмах: «*Дорогая Анна Андреевна! Так много нужно сказать – и так мало времени!.. ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму – под подушку!.. Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высОко от Вас!.. Вы мой самый любимый поэт, я когда-то – давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьяновую, с серебром – «Словеса злотые», – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете… Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон», – это нежнее всего, что сказано о любви… Я ненасытна на Вашу душу и буквы… М.Ц. Москва, 26-го русского апреля 1921».*

Много стихов посвятила Цветаева Ахматовой, а Анна

Андреевна – лишь одно, и то через много лет:

«Поздний ответ

Белорученька моя,
Чернокнижница…

М. Ц.

Невидимка, двойник, пересмешник…
Что ты прячешься в черных кустах? —
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина
И разграблен родительский дом».
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет…
А вокруг погребальные звоны
Да московские хриплые стоны
Вьюги, наш заметающей след.

16 марта 1940, 1961,

Фонтанный дом – Красная Конница».

«Ей я не решилась прочесть, – призналась в свое время Анна Андреевна писательнице Лидии Чуковской. – А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых».

А Цветаева забрасывала своего кумира стихами, письмами, подарками. В одном из писем она, к примеру, восхищалась только что прочитанной ею ахматовской «Колыбельной» – «Далеко в лесу огромном…» – и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения – «Я дурная мать» – готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Хотя уже в то время ее собственные стихи о Москве или к Блоку многие считали

необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила. Более того, отзывалась о Марине Ивановне холодновато, отделывалась вежливыми, уклончивыми ответами и замечаниями. К примеру, ей не очень нравились так называемые «анжамбеманы», которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, то есть о переносе логического содержания строки в начало строки следующей. «Это можно сделать раз, два, – соглашалась Ахматова, – но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу».

Когда ее просили оценить творчество Цветаевой, она сдержанно отвечала: «У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят, даже больше, чем Пастернака». Но лично от себя ничего не добавляла.

Но ее современники объяснили безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой не только их словесным, формальным складом. «Не по душе ей было, вероятно, другое, – предполагал Георгий Адамович, – демонстративная, вызывающая, почти назойливая «поэтичность» цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный «заскок». Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло и не для нее одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека, редкостно даровитого и редкостно несчастного».

* * *

Впервые поэтессы встретились только в 1941 году – до самоубийства Марины Ивановны оставалось всего два месяца. Тогда на нее много ужасного навалилось: муж и дочь в тюрьме, она повязана НКВД, жить не на что, кроме того, она апокалиптично относилась к начавшейся войне с Германией. И слегла от душевных мук. И когда ее в Елабуге навестил Борис Пастернак, она попросила его увидеться с Ахматовой. «Борис Леонидович оставил здесь у Нины телефон и просил, чтобы я непременно позвонила, – вспоминала Анна Андреевна. – Я позвонила. Она подошла.

– Говорит Ахматова.

– Я вас слушаю.

(Да, да, вот так: она меня слушает.)

– Мне передал Борис Леонидович, что вы желаете меня видеть. Где же нам лучше увидеться: у вас или у меня?

– Думаю, у вас.

– Тогда я сейчас позову кого-нибудь нормального, кто бы

объяснил вам, как ко мне ехать.

– Пожалуйста. Только нужен такой нормальный, который умел бы объяснять ненормальным.

Тут я подумала: один безумный поэт – хорошо, два – плохо.

Она приехала и сидела семь часов. Ардовы тогда были богатые и прислали ко мне в комнату целую телячью ногу.

На следующий день звонок: опять хочу вас видеть. А я собиралась к Николаю Ивановичу, в Марьину рощу. Я дала ей тот телефон. Вечером она позвонила; говорит: не могу ехать на такси, на метро, на троллейбусе, на автобусе – только на трамвае. (Она боялась уличных машин, в метро – эскалаторов, в домах – лифтов, казалась близорукой и незащищенной от мира. – Ред.)

Тэдди Гриц ей все подробно объяснил и вышел ее встретить. Мы пили вино вчетвером. Тэдди сказал, что у дома торчит человек. Я подумала: какая же у нее счастливая жизнь! А, может быть, это у меня? А может быть, у нас обеих?»

«С этим рассказом о встречах с Цветаевой интересно сопоставить запись, сделанную Анной Андреевной в 1962 года, – писала Лидия Корнеева. – «Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Харджиева (день второй и последний). Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы «благоуханная легенда», как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда… мне хочется просто “без легенды” вспомнить эти Два дня».

А позже Ахматова напишет Цветаевой слова благодарности: «*…Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо Вам за него и за посвящение поэмы… Мечтаю прочитать Ваши новые стихи… Ваша Ахматова».*

Но прочитать новые цветаевские стихи никому уже не было суждено. После начала Великой Отечественной войны Марину Ивановну отправили в эвакуацию в город Елабуга в Татарстане. Упаковывать вещи ей помогал Борис Пастернак. Он принес веревку, чтобы перевязать чемодан, и, заверяя в ее крепости, пошутил: «Веревка все выдержит, хоть вешайся». Впоследствии ему передали, что именно на ней Цветаева в Елабуге 31 августа 1941 года и повесилась (по свидетельству Марка Слонима, со слов К. Г. Паустовского).

«21 октября 41. Анна Андреевна расспрашивает меня о

Цветаевой, – пишет Лидия Чуковская. – Я прочла ей то, что записала 4.IX, сразу после известия о самоубийстве. Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим более пятидесяти дней назад помогала пройти Марине Ивановне…

– Странно очень, – сказала я, – та же река, и лужа, и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету и говорим мы с вами о ней. На том же месте!

Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием.

Но я не пересказала ей наш тогдашний разговор…

(Я высказала Марине Ивановне свою радость: А. А. не здесь, не в Чистополе, не в этой, утопающей в грязи, отторгнутой от мира, чужой полутатарской деревне. «Здесь она непременно погибла бы… Здешний быт убил бы ее… Она ведь ничего не может». «А вы думаете, я – могу?» – резко перебила меня Марина Ивановна)».

* * *

Конечно, две гениальные женщины не могли не признавать друг у друга необыкновенных способностей. Может, слегка завидовали, может, слегка ревновали, но уж точно ценили поэтический дар – такой редкий, такой уязвимый и такой всемогущий!

Вообще, поразительно, как «королева Петербурга» – так звали поклонники Ахматову и «царица Москвы» – Цветаева почти одновременно появились в одном временном пространстве, в одной стране, в соседних городах. Видимо, Бог был очень щедр на пришествие даровитых людей в XX веке.

В то время я гостила на земле.
Мне дали имя при крещенье – Анна,
Сладчайшее для губ людских и слуха.
Так дивно знала я земную радость
И праздников считала не двенадцать,
А столько, сколько было дней в году.

«Эпические мотивы», 1913

Я родилась в один год с Чарли Чаплином, «Крейцеровой

сонатой» Толстого, Эйфелевой башней и, кажется, Элиотом. В это лето Париж праздновал столетие падения Бастилии – 1889. В ночь моего рождения справлялась и справляется древняя Иванова ночь <…>.

…В семье никто, сколько глаз видит кругом, стихи не писал, только первая русская поэтесса Анна Бунина была теткой моего деда Эразма Ивановича Стогова. Стоговы были небогатые помещики Можайского уезда Московской губернии, переселенные туда за бунт при Марфе-посаднице. В Новгороде они были богаче и знатнее.

Моего предка хана Ахмата убил ночью в его шатре подкупленный убийца, и этим, как повествует Карамзин, кончилось на Руси монгольское иго. В этот день, как в память о счастливом событии, из Сретенского монастыря в Москве шел крестный ход. Этот Ахмат, как известно, был чингизидом.

Одна из княжон Ахматовых – Прасковья Егоровна – в XVIII веке вышла замуж за богатого и знатного симбирского помещика Мотовилова. Егор Мотовилов был моим прадедом. Его дочь Анна Егоровна – моя бабушка. Она умерла, когда моей маме было девять лет, и в честь ее меня назвали Анной. Из ее фероньерки сделали несколько перстней с бриллиантами и одно с изумрудом, а ее наперсток я не могла надеть, хотя у меня были тонкие пальцы.

1964

Свидетельство о крещении

Свидетельство № 4379

По Указу Его Императорского Величества, из Херсонской Духовной Консистории, вследствие прошения жены отставного Капитана 2-го ранга Инны Эразмовой Горенко и на основании определения, состоявшегося в сей Консистории 30-го Апреля 1890 го-да, выдано сие свидетельство в том, что в шнуровой метрической книге Кафедрального Преображенского собора портового города Одессы, Херсонской епархии, за тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, во 1-й части о родившихся, под № 87 женского пола записан следующий акт: Июня одиннадцатого родилась, а Декабря семнадцатого крещена Анна; родители ее: Капитан 2-го ранга Андрей Антониев Горенко и законная жена его Инна Эразмова, оба православные. Воспреемниками были: кандидат естественных наук Стефан Григориев Романенко и дочь дворянина Мария Федоровна Вальцер.

Таинство крещения совершал протоиерей Евлампий Арнольдов с псаломщиком Александром Тоболиным. Причитающийся гербовой сбор уплачен г. Одесса. 1890 года Мая 7 дня. Написанному между строк слову «собора» верить.

Член Консистории Протоиерей Евлампий Арнольдов

Анна Андреевна появилась на свет 11 (23) июня 1889 года под Одессой. В семье потомственного дворянина Андрея Антоновича Горенко и Инны Эразмовны Стоговой, кроме Анны в семье, было еще пятеро детей: Андрей, Инна, Ирина, Ия и Виктор.

Брак родителей Ахматовой сложился несчастливо. Андрей Антонович жил в свое удовольствие, не считая, тратил женины деньги, не обделял вниманием ни одной хорошенькой молодой женщины. Инна Эразмовна переживала из-за равнодушия мужа и к ней, и к детям.

Анна Андреевна, хотя в семье ее считали отцовой дочкой за внешние сходства, была всегда на стороне матери.

…И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство

Я от нее как будто получила, —
Ненужный дар моей жестокой жизни…

(Предыстория, 1945)

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Беседуют Лидия Чуковская, Анна Ахматова и Валентина Срезневская):

– …Да уж, твоя мама совсем ничего не умела в жизни. Представьте, Лидия Корнеевна, из старой дворянской семьи, а уехала на курсы. Как она собиралась жить – непонятно.

– Не только на курсы, – поправила Анна Андреевна, – она стала членом народовольческого кружка. Уж куда революционнее.

– Представьте, Лидия Корнеевна, маленькая женщина, розовая, с исключительным цветом лица, светловолосая, с исключительными руками.

– Чудные белые ручки! – вставила Анна Андреевна.

– Необыкновенный французский язык, – продолжала Срезневская, – вечно падающее пенсне, и ничего, ну ровно ничего не умела… А твой отец! Красивый, высокий, стройный, одет всегда с иголочки, цилиндр слегка набок, как носили при Наполеоне III, и говорил про жену Наполеона: «Евгения была недурна…»

– Он видел ее в Константинополе, – вставила Анна Андреевна, – и находил, что она – самая красивая женщина в мире.

Потом речь зашла почему-то о руках Николая Степановича: «Бессмертные руки!» – сказала Валерия Сергеевна.

Одна из приятельниц Андрея Антоновича Горенко свидетельствует

«Странная это была семья… Куча детей. Мать, богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чем-то другом… В доме беспорядок. Едят когда придется, прислуги много, а порядка нет. Гувернантки делали что хотят. Хозяйка бродит, как сомнамбула. Как-то, при переезде в другой дом, она долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место – сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж

узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. А жена с удивлением смотрела, чего он волнуется, да еще и сердится».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я стала расспрашивать Анну Андреевну о ее семье. Она такой особенный человек и изнутри, и снаружи, что мне очень хочется понять: есть ли в ней что-нибудь родовое, семейное, общее. Неужели она может быть на кого-то похожа?

Она рассказала мне о своих сестрах – Ии, Инне.

– Обе умерли от туберкулеза. Ия – когда ей было двадцать семь лет. Я, конечно, тоже умерла бы, но меня спасла моя болезнь щитовидной железы – базедова уничтожает туберкулез. У нас был страшный семейный tbc, хотя отец и мать были совершенно здоровы. (Отец умер от грудной жабы, мать – от воспаления легких в глубокой старости.) Ия была очень особенная, суровая, строгая…

– Она была такой, – продолжила, помолчав, Анна Андреевна, – какою читатели всегда представляли себе меня и какою я никогда не была.

Я спросила, нравились ли Ии Андреевне ее стихи?

– Нет, она находила их легкомысленными. Она не любила их. Все одно и то же, все про любовь и про любовь. – Анна Андреевна стояла у окна и грубым полотенцем протирала чашки.

– В доме у нас не было книг, ни одной книги. Только Некрасов, толстый том в переплете. Его мне мама давала читать по праздникам. Эту книгу подарил маме ее первый муж, застрелившийся… Гимназия в Царском, где я училась, была настоящая бурса… Потом в Киеве гимназия была немного лучше…

Стихи я любила с детства и доставала их уж не знаю откуда. В тринадцать лет я знала уже по-французски и Бодлера, и Верлена, и всех проклятых. Писать стихи я начала рано, но удивительно то, что, когда я еще не написала ни строчки, все кругом были уверены, что я стану поэтессой. А папа даже дразнил меня так: декадентская поэтесса…»

Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех детей в мире…

Говорить о детстве и легко и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слащавость, которая совершенно чужда такому важному и глубокому периоду жизни, как детство. Кроме

того, одним хочется казаться слишком несчастными в детстве, другим – слишком счастливыми. И то и другое обычно вздор. Детям не с чем сравнивать, и они просто не знают, счастливы они или несчастны. Как только появляется сознание, человек попадает в совершенно готовый и неподвижный мир, и самое естественное не верить, что этот мир некогда был иным. Эта первоначальная картина навсегда остается в душе человека, и существуют люди, которые только в нее и верят, кое-как скрывая эту странность. Другие же, наоборот, совсем не верят в подлинность этой картины и тоже довольно нелепо повторяют: «Разве это был я?»

В молодости и в зрелых годах человек очень редко вспоминает свое детство. Он активный участник жизни, и ему не до того. И кажется, всегда так будет. Но где-то около пятидесяти лет все начало жизни возвращается к нему.

* * *

Родилась я на даче Саракини (Большой Фонтан, 11-я станция паровичка) около Одессы. Дачка эта (вернее, избушка) стояла в глубине очень узкого и идущего вниз участка земли – рядом с почтой. Морской берег там крутой, и рельсы паровичка шли по самому краю.

Мой отец был в то время отставной инженер-механик флота. Годовалым ребенком я была перевезена на север – в Царское Село. Там я прожила до шестнадцати лет.

Мои первые воспоминания – царскосельские: зеленое, сырое великолепие парков, выгон, куда меня водила няня, ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки, старый вокзал и нечто другое, что вошло впоследствии в «Царскосельскую оду».

I

По аллее проводят лошадок
Длинны волны расчесанных грив.
О, пленительный город загадок,
Я печальна, тебя полюбив.

Странно вспомнить: душа тосковала,
Задыхалась в предсмертном бреду,
А теперь я игрушечной стала,
Как мой розовый друг какаду.

Грудь предчувствием боли не сжата,
Если хочешь, в глаза погляди.
Не люблю только час пред закатом,
Ветер с моря и слово «уйди».

II

…А там мой мраморный двойник,
Поверженный под старым кленом,
Озерным водам отдал лик,
Внимает шорохам зеленым.
И моют светлые дожди
Его запекшуюся рану…
Холодный, белый подожди,
Я тоже мраморною стану.

III

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.

Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни…
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

(«В Царском Селе», 1911)

…Основным местом в Царском Селе был дом купчихи Елизаветы Ивановны Шухардиной (Широкая, второй дом от вокзала, угол Безымянного переулка). Но первый год века, 1900, семья жила (зиму) в доме Дауделя (угол Средней и Леонтьевской. Там корь и даже, может быть, оспа).

Дом Шухардиной

…Этому дому было сто лет в 90-х годах XIX ве-ка, и он принадлежал купеческой вдове Евдокии Ивановне Шухардиной. Он стоял на углу Широкой улицы и Безымянного переулка. Старики говорили, что в этом доме «до чугунки», то есть до 1838 года, находился заезжий двор или трактир. Расположение комнат подтверждает это. Дом деревянный, темно-зеленый, с неполным вторым этажом (вроде мезонина). В полуподвале мелочная лавочка с резким звонком в двери и незабываемым запахом этого рода заведений. С другой стороны (на Безымянном), тоже в полуподвале, мастерская сапожника, на вывеске – сапог и надпись: «Сапожник Б. Неволин». Летом в низком открытом окне был виден сам сапожник Б. Неволин за работой. Он в зеленом переднике, с мерт-венно-бледным, отекшим лицом запойного пьяницы. Из окна несется зловещая сапожная вонь. Все это могло бы быть превосходным кадром современной кинокартины. Перед домом по Широкой растут прямые складные дубы средних лет; вероятно, они и сейчас живы; изгороди из кустов кротегуса.

Мимо дома примерно каждые полчаса проносится к вокзалу и от вокзала целая процессия экипажей. Там всё: придворные кареты, рысаки богачей, полицмейстер барон Врангель – стоя в санях или пролетке и держащийся за пояс кучера, флигель-адъютантская тройка, просто тройка (почтовая), царскосельские извозчики на «браковках». Автомобилей еще не было.

По Безымянному переулку ездили только гвардейские солдаты (кирасиры и гусары) за мукой в свои провиантские магазины, которые находились тут же, поблизости, но уже за городом. Переулок этот бывал занесен зимой глубоким, чистым, не городским снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, из которых я в раннем детстве лепила корзиночки, роскошной крапивой и великолепными лопухами (об этом я сказала в 40-м году, вспоминая пушкинский «ветхий пук дерев» в стихотворении «Царское Село» 1920 года – «Я лопухи любила и крапиву…»).

По одной стороне этого переулка домов не было, а тянулся, начиная от шухардинского дома, очень ветхий, некрашеный дощатый глухой забор. Вернувшийся осенью того (1905) года из Березок и уже не заставший семьи Горенко в Царском, Н.С. Гумилев был очень огорчен, что этот дом перестраивают. Он после говорил мне, что от этого в первый раз в жизни почувствовал, что не всякая перемена к лучшему.

…Ни Безымянного переулка, ни Широкой улицы давным-

давно нет на свете. На этом месте разведен привокзальный парк или сквер.

Весной 1905 года шухардинский дом был продан наследниками Шухардиной, и наша семья переехала в великолепную, как тогда говорили, барскую квартиру на Бульварной улице (дом Соколовского), но как всегда бывает, тут все и кончилось. Отец «не сошелся характером» с великим князем Александром Михайловичем и подал в отставку, которая, разумеется, была принята. Дети с бонной Моникой были отправлены в Евпаторию. Семья распалась. Через год – 15 июля 1906 года – умерла Инна. Все мы больше никогда не жили вместе. Напротив (по Широкой) была в первом этаже придворная фотография Ган, а во втором жила семья художника Клевера. Клеверы были не царскоселы, жили очень уединенно и в сплетнях унылого и косного общества никакого участия не принимали. Для характеристики «Города Муз» следует заметить, что царскоселы (включая историографов Голлербаха и Рождественского) даже понятия не имели, что на Малой улице в доме Иванова умер великий русский поэт Тютчев. Не плохо было бы хоть теперь (пишу в 1959 году) назвать эту улицу именем Тютчева.

…А иногда по этой самой Широкой от вокзала или к вокзалу проходила похоронная процессия невероятной пышности: хор (мальчики) пел ангельскими голосами, гроба не было видно из-под живой зелени и умирающих на морозе цветов. Несли зажженные фонари, священники кадили, маскированные лошади ступали медленно и торжественно. За гробом шли гвардейские офицеры, всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть «с пьяными открытыми лицами», и господа в цилиндрах. В каретах, следующих за катафалком, сидели важные старухи с приживалками, как бы ожидающие своей очереди, и все было похоже на описание похорон графини в «Пиковой даме».

И мне (потом, когда я вспоминала эти зрелища) всегда казалось, что они были частью каких-то огромных похорон всего XIX века. Так хоронили в 90-х годах последних младших современников Пушкина. Это зрелище при ослепительном снеге и ярком царскосельском солнце – было великолепно, оно же при тогдашнем желтом свете и густой тьме, которая сочилась отовсюду, бывало страшным и даже как бы инфернальным.

1959

Царскосельская ода

А в переулке забор дощатый…

Н.Г.

Настоящую оду
Нашептало… Постой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой.
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец,
А тому переулку
Наступает конец.
Здесь не Темник, не Шуя —
Город парков и зал,
Но тебя опишу я,
Как свой Витебск – Шагал.
Тут ходили по струнке,
Мчался рыжий рысак,
Тут еще до чугунки
Был знатнейший кабак.
Фонари на предметы
Лили матовый свет,
И придворной кареты
Промелькнул силуэт.
Так мне хочется, чтобы
Появиться могли
Голубые сугробы
С Петербургом вдали.
Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.
Шепелявя неловко
И с грехом пополам,
Молодая чертовка
Там гадает гостям.
Там солдатская шутка
Льется, желчь не тая…
Полосатая будка
И махорки струя.
Драли песнями глотку
И клялись попадьей,
Пили допоздна водку,
Заедали кутьей.

Ворон криком прославил
Этот призрачный мир…
А на розвальнях правил
Великан-кирасир.

1961

* * *

Анина комната: окно на Безымянный переулок… который зимой был занесен глубоким снегом, а летом пышно зарастал сорняками – репейниками, роскошной крапивой и великанами лопухами… Кровать, столик для приготовления уроков, этажерка для книг. Свеча в медном подсвечнике (электричества еще не было). В углу – икона. Никакой попытки скрасить суровость обстановки – безделушками, вышивками, открытками.

* * *

Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика, который меня привез, – Тярлево, парк, salon de musique (который называли «соленый мужик»), второй – натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. А еще призрак Настасьи Филипповны. Царское – всегда будни, потому что дома, Павловск – всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон (Pavilion de roses).

* * *

Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет – древний Херсонес, около которого мы жили.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…Анна Андреевна сказала:

– Я недавно перечла «У самого моря» и подумала: понятно ли, что героиня не девушка, а девочка?

– Я думала – девушка шестнадцати-семна-дцати лет.

– Нет, именно девочка, лет тринадцати… Вы не можете себе представить, каким чудовищем я была в те годы. Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки – одна из них крахмальная – и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и на берег. И тут появлялось чудовище – я – в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело – платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой.

– Вы, наверное, очень скучаете без моря?

– Нет. Я его помню. Оно всегда со мной… У меня и тогда уже был очень скверный характер. Мама часто посылала нас, детей, в Херсонес на базар, за арбузами и дынями. В сущности, это было рискованно: мы выходили в открытое море. И вот однажды на обратном пути дети стали настаивать, чтобы я тоже гребла. А я была очень ленива и грести не хотела. Отказалась. Они меня бранили, а потом начали смеяться надо мной – говорили друг другу: вот везем арбузы и Аню. Я обиделась. Я стала на борт и выпрыгнула в море. Они даже не оглянулись, поехали дальше. Мама спросила их: “А где же Аня?” – “Выбросилась”. А я доплыла, хотя все это случилось очень далеко от берега…»

У самого моря

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это – счастье.
В песок зарывала желтое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
И уплывала далеко в море,
На темных, теплых волнах лежала.
Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом,

И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: «Что ты бродишь ночью?»

Знали соседи – я чую воду,
И, если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.
Я собирала французские пули,
Как собирают грибы и чернику,
И проносила домой в подоле
Осколки ржавые бомб тяжелых.
И говорила сестре сердито:
«Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтобы бухты мои охраняли
До самого Фиолента».
А вечером перед кроватью
Молилась темной иконке,
Чтоб град не побил черешен,
Чтоб крупная рыба ловилась
И чтобы хитрый бродяга
Не заметил желтого платья.
<…>

Дикая девочка

Языческое детство. В окрестностях этой дачи («Отрада», Стрелецкая бухта, Херсонес. Непосредственно отсюда античность – эллинизм) я получила прозвище «дикая девочка», потому что ходила босиком, бродила без шляпы и т. д., бросалась с лодки в открытом море, купалась во время шторма и загорала до того, что сходила кожа, и всем этим шокировала провинциальных севастопольских барышень. Однако в Царском Селе она делала все, что полагалось в то время благовоспитанной барышне. Умела, сложив по форме руки, сделать реверанс, учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы, говела на Страстной в гимназической церкви. Изредка отец брал ее с собой в оперу (в гимназическом платье) в Мариинский театр (ложа). Бывала в Эрмитаже, в Музее Александра III и на картинных выставках. Весной и осенью в Павловске на музыке – Вокзал… Музеи и картинные выставки… Зимой часто на катке в парке.

В Царскосельских парках тоже античность, но совсем иная (статуи). Читала много и постоянно. Большое (по-моему) влияние (на нее) оказал тогдашний властитель дум Кнут Гамсун («Загадки и тайна»); Пан, Виктория – меньше. Другой властитель Ибсен… Училась в младших классах плохо, потом хорошо. Гимназией всегда тяготилась. В классе дружила только с Тамарой Костылевой, с которой не пришлось больше встретиться в жизни.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…Я спросила у нее, где и как она училась.

– В гимназии в Царском, потом несколько месяцев в Смольном, потом в Киеве… Нет, гимназию я не любила и институт тоже. И меня не очень-то любили.

В гимназии, в Царском, был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла – кажется, за то, что я однажды на катке интриговала ее сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала – мне будет выговор: не так сижу или платье не так застегнуто. Мне это было неприятно, а впрочем, я не думала об этом много, «мы ленивы и нелюбопытны». И вот настало расставание: начальница покидала гимназию, ее куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы, речи, слезы. И я была. Вечер кончился, и я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня окликнули. Я поднялась, вижу – это начальница меня зовет.

Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит:

– Прости меня, Горенко, я всегда была к тебе несправедлива».

Аттестат

Окончившая курс Киево-Фундуклеевской женской гимназии Ведомства учреждений Императрицы Марии, девица Анна Андреевна Горенко, дочь Статского Советника, родилась 1889 г. 11-го июня, вероисповедания православного.

Во время пребывания в сем заведении, при отличном поведении, оказала успехи:

По Закону Божиему – отличные
по Русскому языку и словесности – очень хорошие
по Французскому языку – весьма хорошие
по Немецкому языку – очень хорошие
по Математике – весьма хорошие
по Истории – очень хорошие
по Географии – отличные
по Естествознанию с гигиеной – весьма хорошие
по Физике и космографии – очень хорошие
по Педагогике – весьма хорошие
по Рисованию и чистописанию – хорошие
по Рукоделию – не обучалась
по Хоровому пению – не обучалась
по Музыке – не обучалась
по Танцам – не обучалась

На основании сего аттестата, в силу гл. V § 46 Высочайше Утвержденного Устава Училищ для приходящих девиц Ведомства учреждений Императрицы Марии она, Анна Горенко, получает, не подвергаясь особому испытанию, свидетельство на звание Домашней учительницы тех предметов, в которых оказала хорошие успехи.

В удостоверение чего дан сей аттестат за надлежащей подписью и с приложением печати заведения. Киев, мая 28 дня 1907 г.

В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу… Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории.

…Кончать мне пришлось (потому что семья переехала на юг) уже не Царскосельскую гимназию, а Киевскую (Фундуклеевскую),

в которой я училась всего один год. Потом я два года училась на Киевских Высших женских курсах… Все это время (с довольно большими перерывами) я продолжала писать стихи, с неизвестной целью ставя над ними номера. Как курьез могу сообщить, что, судя по сохранившейся рукописи, «Песня последней встречи» – мое двухсотое стихотворение.

Я поступила на Юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.

В молодости Анна Ахматова не любила ни вспоминать, ни рассказывать о своем отнюдь не розовом детстве. Не любила и ранних стихов, они казались ей чудовищными. Настолько чудовищными, что однажды она их сожгла, пощадив лишь несколько стихотворений, посвященных Николаю Гумилеву. Потом, правда, пожалела и попыталась восстановить по памяти сожженные строки.

Из первой тетради

Всю ночь не давали заснуть,
Говорили тревожно, звонко,
Кто-то ехал в далекий путь,
Увозил больного ребенка.
А мать в полутемных сенях
Ломала иссохшие пальцы
И долго искала впотьмах
Чистый чепчик и одеяльце.

1909 (?)

Гимназической подругой Анны Андреевны была Валерия Сергеевна Срезневская (в девичестве Тюльпанова) – «Валя». Познакомились они еще в детстве, в 1896 году, а через несколько лет, когда семья Тюльпановых сняла этаж в одном доме с семьей Горенко (в доме Е. И. Шухардиной, близ вокзала, на улице Широкой), девочки стали подругами: вместе ходили в гимназию; вместе купались, читали книги, катались на коньках. Эта дружба продлилась всю жизнь. Через Валю Тюльпанову «Аня Горенко» познакомилась с «Колей Гумилевым».

В. Срезневской

Жрицами божественной бессмыслицы
Назвала нас дивная судьба,
Но я точно знаю – нам зачислятся
Бденья у позорного столба,
И свиданье с тем, кто издевается,
И любовь к тому, кто не позвал…
Посмотри туда – он начинается,
Наш кроваво-черный карнавал.

1910-е гг., Царское Село

В. С. Срезневская. «Воспоминания»

«…С Аней мы познакомились в Гунгербурге, довольно модном тогда курорте близ Нарвы. Аня была худенькой стриженой девочкой, ничем не примечательной, довольно тихонькой и замкнутой.

Дружба пришла позже, когда мы жили в одном и том же доме в Царском Селе, близ вокзала, на углу Широкой улицы и Безымянного переулка.

Аня писала стихи и очень изменилась внутренне и внешне. Стала стройной, с прелестной хрупкой фигурой, с черными, длинными и густыми волосами, прямыми, как водоросли, с большими светлыми глазами, странно выделявшимися на фоне черных волос и темных бровей и ресниц. Она была неутомимой скиталицей-пешеходом, лазала как кошка и плавала как рыба».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Меня маленькую водили в Эрмитаж и в Русский музей, который тогда был совсем молодой. Мы жили в Царском, мама возила меня из Царского. Чего я терпеть не могла, так это выставок передвижников. Все лиловое. Я шла по лестнице и думала: насколько эти старые картины, развешанные на лестнице, лучше…»

Забытое четверостишие

Глаза безумные твои

И ледяные речи,
И объяснение в любви
Еще до первой встречи.

1909 (?)

* * *

Пестро вертится карусель,
И какие-то новые дети
Из еще не бывших столетий
Украшают в Сочельник ель.
Из чернового варианта

«Поэмы без героя»

В. С. Срезневская. «Воспоминания»

«С Колей Гумилевым Аня познакомилась в Сочельник… Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом, прикупить какие-то украшения для елки, которая всегда бывала у нас в первый день Рождества. Около Гостиного двора мы встретились с мальчиками Гумилевыми… Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе, я с Митей, Аня с Колей, за покупками».

Н.Г. Гумилев. Современность

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило – фонарь иль луна,
И медлительно двигалась тень часового.
Я так часто бросал испытующий взор
И так много встречал отвечающих взоров,
Одиссеев во мгле пароходных контор,
Агамемнонов между трактирных маркеров.
Так, в далекой Сибири, где плачет пурга,
Застывают в серебряных льдах мастодонты,
Их глухая тоска там колышет снега,
Красной кровью – ведь их – зажжены горизонты.
Я печален от книги, томлюсь от луны,

Может быть, мне совсем и не надо героя…
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Валерия Срезневская, в ту пору еще Валечка Тюльпанова, видимо, была не совсем в курсе дела, утверждая, что Коля в тот Сочельник впервые увидел Аню Горенко. Судя по стихотворению Ахматовой, где она говорит об «объяснении в любви еще до первой встречи», Гумилев, гимназист 7-го класса, еще раньше обратил внимание на подругу Валечки – зеленоглазую, черноволосую, грустную диковатую девочку – и, не зная ее имени, окрестил русалкой.

Читая «Гамлета»

1
У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака…»
Принцы только такое всегда говорят,
Но я эту запомнила речь, —
Пусть струится она сто веков подряд
Горностаевой мантией с плеч [1].

1909 (1945), Киев

2
И как будто по ошибке
Я сказала: «Ты…»
Озарила тень улыбки
Милые черты.
От подобных оговорок
Всякий вспыхнет взор…
Я люблю тебя, как сорок
Ласковых сестер.

1909 (1945), Киев

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Слова А. Ахматовой)

«Был такой период творчества и жизни Гумилева, когда все его стихи – обо мне, когда всё в его жизни имело истоком – меня. Путешественником он стал, чтобы излечиться от любви ко мне, и Дон Жуаном – тоже. Брак наш был концом отношений, а не началом их и не разгаром. Этого никто не знал. Нас надо было смотреть в девятьсот пятом – девятьсот девятом годах. Тогда Николай Степаныч закладывал вещи под большие проценты, чтобы приехать и увидеть мой надменный профиль какие-нибудь пятнадцать минут».

* * *

И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала,
И что память яростная мучит,
Пытка сильных – огненный недуг!
И в ночи бездонной сердце учит
Спрашивать: о, где ушедший друг?
А когда, сквозь волны фимиама,
Хор гремит, ликуя и грозя,
Смотрят в душу строго и упрямо
Те же неизбежные глаза.

1909

* * *

То ли я с тобой осталась,
То ли ты ушел со мной,
Но оно не состоялось,
Разлученье, ангел мой!
И не вздох печали томной,
Не затейливый укор,
Мне внушает ужас темный
Твой спокойный ясный взор.

1909

* * *

Сладок запах синих виноградин…
Дразнит опьяняющая даль.
Голос твой и глух и безотраден.
Никого мне, никого не жаль.
Между ягод сети-паутинки,
Гибких лоз стволы еще тонки,
Облака плывут, как льдинки, льдинки
В ярких водах голубой реки.
Солнце в небе. Солнце ярко светит.
Уходи к волне про боль шептать.
О, она наверное ответит,
А быть может, будет целовать.

16 января 1910, Киев

Бесконечное жениховство Николая Степановича и мои столь же бесконечные отказы, наконец, утомили даже мою кроткую маму, и она сказала мне с упреком: «Невеста неневестная», что показалось мне кощунством. Почти каждая наша встреча кончалась моим отказом выйти за него замуж.

Выходя замуж за Гумилева в апреле 1910 года, Анна Андреевна уничтожила не только свои стихотворения, но и личную переписку. Но случайно сохранившиеся письма Ахматовой к Сергею фон Штейну, мужу ее старшей сестры Инны, помогают кое-что понять о причинах упорных отказов Анны и ее последующего согласия.

1

…Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак или едут в театр, и я слушаю тишину в темной гостиной. Я всегда думаю о прошлом, оно такое большое и яркое. Ко мне здесь все очень хорошо относятся, но я их не люблю.

Слишком мы разные люди. Я все молчу и плачу, плачу и молчу. Это, конечно, находят странным, но так как других недостатков я не имею, то пользуюсь общим расположением.

С августа месяца я день и ночь мечтала поехать на Рожество в Царское, к Вале, хоть на три дня. Для этого я, собственно говоря, жила все это время, вся замирая от мысли, что буду там, где… ну да все равно.

И вот Андрей объяснил мне, что ехать немыслимо, и в голове

такая холодная пустота. Даже плакать не могу.

Мой милый Штейн, если бы Вы знали, как я глупа и наивна! Даже стыдно перед Вами сознаться: я до сих пор люблю В. Г.-К. И в жизни нет ничего, кроме этого чувства.

У меня невроз сердца от волнений, вечных терзаний и слез. После Валиных писем я переношу такие припадки, что иногда кажется, что уже кончаюсь.

Может быть, глупо, что я Вам это говорю, но хочется быть откровенной и не с кем, а Вы поймете, Вы такой чуткий и так хорошо меня знаете.

Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку. Я дам переснять и сейчас же вышлю Вам обратно.

Ваша Аня. 1906 г.

2

Мой дорогой Сергей Владимирович, совсем больна, но села писать Вам по очень важному делу: я хочу ехать на Рождество в Петербург. Это невозможно <…> но дело не в этом. Напишите мне, пожалуйста, тотчас же по получении этого письма, будет ли Кутузов на Рождество в Петербурге. Если нет, то я остаюсь с спокойной душой, но если он никуда не едет, то я поеду. От мысли, что моя поездка может не состояться, я заболела (чудесное средство добиться чего-нибудь), у меня жар, сердцебиение, невыносимые головные боли. Такой страшной Вы меня никогда не видели.

…Знаете, милый Сергей Владимирович, я не сплю уже четвертую ночь. Это ужас, такая бессонница. Кузина моя уехала в имение, прислугу отпустили, и когда я вчера упала в обморок на ковер, никого не было в целой квартире. Я сама не могла раздеться, а на обоях чудились страшные лица. Вообще скверно!

У меня есть предчувствие, что я так-таки не поеду в Петербург. Слишком уж я этого хочу.

…Сергей Владимирович, если бы Вы видели, какая я жалкая и ненужная. Главное не нужная, никому, никогда. Умереть легко. Говорил Вам Андрей, как я в Евпатории вешалась и гвоздь выскочил из известковой стенки? Мама плакала, мне было стыдно – вообще скверно.

Стихов я не пишу. Стыдно? Да и зачем?

Отвечайте же скорее о Кутузове.

Он для меня – в с ё.

Ваша Аннушка.

P.S. Уничтожайте, пожалуйста, мои письма. Нечего и говорить, конечно, что то, что я Вам пишу, не может быть никому

известно.

Аня. 1906 г.

4

Милый Сергей Владимирович.

Если бы знали, какой Вы злой по отношению к Вашей несчастной belle-sceur. Разве так трудно прислать мне карточку и несколько слов.

Я так устала ждать!

Ведь я жду ни больше ни меньше как пять месяцев.

С сердцем у меня совсем скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается. Мне не пишут из дому, как здоровье Андрея, и поэтому я думаю, что ему плохо.

Может быть, и Вы больны, что так упорно молчите. Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но этот так. Где Ваши сестры? верно, на курсах, о, как я им завидую. Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных.

Сережа! Пришлите мне карточку Г.-К. Прошу Вас в последний раз, больше, честное слово, не буду.

Я верю, что Вы хороший настоящий друг, хотя Вы как никто знаете меня.

Ecrivez.

Аня. Январь 1907 г.

5

Милый Сергей Владимирович, это четвертое письмо, которое я пишу Вам за эту неделю. Не удивляйтесь, с упрямством, достойным лучшего применения, я решила сообщиться Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь, но это оказалось так трудно, что до сегодняшнего вечера я не могла решиться послать это письмо. Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю. Помните у В. Брюсова:

Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен. Спеши. Пора.

И я дала ему руку, а что было в моей душе, знает Бог и Вы, мой верный, дорогой Сережа. Оставим это.

…Хотите знать, почему я не сразу ответила Вам; я ждала карточку Г.-К. и только после получения ее я хотела объявить Вам о своем замужестве. Это гадко, и чтобы наказать себя за такое малодушие, я пишу сегодня, и пишу все, как мне это ни тяжело.

…Я не пишу ничего и никогда писать не буду. Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта.

…Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда он произойдет. Это – тайна, я даже вашим ничего не написала.

…Пришлите мне, несмотря ни на что, карточку Владимира Викторовича. Ради Бога, я ничего на свете так сильно не желаю.

Ваша Аня.

P.S. Нет ли у Вас чего-нибудь нового Н.С. Гумилева. Я совсем не знаю, что и как он теперь пишет, а спрашивать не хочу.

2 февраля 1907 г.

6

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, как приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недоумение. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться. Я стала зла, капризна, невыносима. О, Сережа, как ужасно чувствовать в себе такую перемену. Не изменяйтесь, дорогой, хороший мой друг. Если я буду жить в будущем году в Петербурге, Вы будете у меня бывать, да? Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю, я не могу выносить этой лжи, опутавшей меня… Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно! Я сплю 4 ч. в сутки вот уже 5-й месяц. Мама писала, что Андрей поправился, я поделилась с ним моей радостью, но он мне (увы!) не поверил.

Целую Вас, мой дорогой друг.

Аня. Февраль 1907 г.

7

Мой дорогой Сергей Владимирович, не знаю, как выразить бесконечную благодарность, которую я чувствую к Вам.

…Ведь я пять месяцев ждала его карточку, на ней он совсем такой, каким я знала его, любила и так безумно боялась: элегантный и такой равнодушно-холодный, он смотрит на меня усталым спокойным взором близоруких светлых глаз.

Отчего Вы думали, что я замолчу после получения карточки? О нет! Я слишком счастлива, чтобы молчать. Я пишу Вам и знаю, что он здесь со мной, что я могу его видеть, – это так безумно-хорошо. Сережа! я не могу оторвать от него душу мою. Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Гумилев – моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной.

Аня. 11 февраля 1907 г.

8

Мой дорогой Сергей Владимирович, я прочла Ваше письмо, и мне стало стыдно за свою одичалость. Только вчера я достала «Жизнь человека», остальных произведений, о которых Вы пишете, я совсем не знаю. Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам. Но я вечная скиталица по чужим грубым и грязным городам, какими были Евпатория и Киев, будет Севастополь, я давно потеряла надежду. Живу отлетающей жизнью так тихо, тихо. <…>

Мое стихотворение «На руке его много блестящих колец» напечатано во 2-м номере «Сириуса», может быть, в 3-м появится маленькое стихотворение, написанное мною уже в Евпатории. <…>

Не стесняйтесь, критикуя мое стихотворение или передавая отзывы других, – ведь я больше не пишу. Мне все равно! Все ушло из души вместе с единственным освещавшим ее светлым и нежным чувством. Мне кажется, Вы хорошо понимаете меня.

…Зачем Гумилев взялся за «Сириус». Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев

наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!

Пишите непременно.

Аннушка.

P.S. Когда кончатся экзамены Г-К?

Киев, 13 марта 1907 г.

9

Дорогой Сергей Владимирович, хотя Вы прекратили со мной переписку весной этого года, у меня все-таки явилось желание поговорить с Вами.

Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня надежду на возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа…

Не говорите, пожалуйста, никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею. Был плеврит, бронхит и хронический катар легких. Теперь мучаюсь с горлом. Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать.

Вот она, моя жизнь! Гимназию кончила очень хорошо. Доктор сказал, что курсы – смерть. Ну и не иду – маму жаль.

Прощайте! Увидимся ли мы?!

Аннушка.

10

На днях возвращаюсь в Царское. Напоминаю Вам Ваше обещание навестить меня. Пожалуйста, передайте мое приглашение Екатерине Владимировне. О дне сговоримся по телефону. Здесь я проболела 2 недели.

Открытое письмо. Почтовый штемпель – 29.X.1910 Киев

В письмах Анны Горенко к Сергею фон Штейну есть пробел:

предпоследнее, из Севастополя, датировано 1907 годом, последнее, из Киева, октябрем 1910-го. Попробуем этот пробел заполнить.

Весной 1907-го Гумилев проездом из Парижа в Царское Село (он должен был пройти медицинскую комиссию на предмет освобождения от воинской повинности по причине врожденного астигматизма) заезжал в Киев.

Как видно из февральских за 1907 год писем к С.В. Штейну, Анна очень ждала этой встречи, уже решив, что выйдет замуж за друга своей юности, была даже готова тайно обвенчаться с ним, если родители будут против. Однако в последующие несколько месяцев в ее жизни что-то случилось. Впрочем, весной 1907-го отношений Хлоя и Дафнис, кажется, не выясняли, договорились, что встретятся осенью, в Крыму. Но и в Крыму они снова поссорились. Эта встреча у самого моря описана в стихотворении Гумилева «Отказ» (сентябрь 1907):

Отказ

Царица иль, может быть, только печальный ребенок, —
Она наклонялась над сонно-вздыхающим морем,
И стан ее стройный и гибкий казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.
Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали во влаге дельфины,
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.
Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое «не надо»…
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

Гумилев вернулся в Париж в расстроенных чувствах. Переписка тем не менее продолжалась: он снова и снова предлагал руку и сердце, она то нехотя соглашалась, то не очень решительно полуотказывала. Не выдержав неопределенности, Николай Степанович, втайне от родных, заняв деньги у ростовщиков, приехал в Россию и поставил вопрос ребром: или да, или нет. Анна сказала: нет! А что другое она могла сказать теперь, когда наконец-то узнала, что такое любовь? Не страсть, не забава, не полувыдуманная влюбленность, а серьезная земная любовь? Много позже, уже после смерти Николая Степановича,

она признается Павлу Лукницкому, юному филологу, собиравшему в 20-х годах материалы к биографии Николая Гумилева: «В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было… В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту, и письма так и не получила».

Имени человека, от которого Анна Горенко так и не дождалась письма, мы не знаем. Возможно, оно было известно Валерии Тюльпановой, а также Гумилеву. Уже после развода Николай Степанович, несмотря на всю свою гордость, все-таки спросил Анну Андреевну об этом, и она, как свидетельствует Павел Лукницкий, честно и прямо ответила на вопрос. Но тягостное объяснение произошло, напоминаю, лишь в 1918-м, а в 1908-м Гумилев только терялся в догадках и какое-то время ревновал свою «русалку» не столько к конкретному мужчине, сколько к ее мечте о «влюбленном принце».

И все-таки Гумилев добился – если не сердца, то руки девушки своей мечты. 25 апреля 1910 года Анна Горенко и Николай Гумилев, после семи лет «жениховства», обвенчались. Венчание состоялось в Николаевской церкви села Никольская слободка, в окрестностях Киева. Место было выбрано женихом не случайно. Николай Мирликийский считался святым покровителем Николая Степановича, и жених, видимо, втайне, не признаваясь себе, надеялся на помощь своего заступника. Понравилась церковь и невесте. Маленькая, бедная, однако нарядная, вся в крестьянских вышивках и сухих цветиках.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я венчалась, – сказала Анна Андреевна. – По всем правилам. И, уверяю вас, гораздо интереснее смотреть, как венчаются другие, чем венчаться самой».

Четыре стихотворения Ахматовой посвящены «свахе» – двоюродной сестре Марии Александровне Змунчилла (Мария, Наничка, она хорошо относилась к Гумилеву и сделала все возможное и невозможное, чтобы венчание состоялось): «Синий вечер. Ветры кротко стихли…», «На столике чай, печения сдобные…», «Весенним солнцем это утро пьяно…», «Я написала слова…». Они отражают апрельские события 1910 года, хотя написаны позже, осенью, частью в Царском Селе, частью в Киеве. Ахматова вообще любила писать о событиях, превращенных в воспоминания. Стирались случайные черты, а неслучайное приобретало точность, не утрачивая яркости.

* * *

Синий вечер. Ветры кротко стихли,
Яркий свет зовет меня домой.
Я гадаю: кто там? – не жених ли,
Не жених ли это мой?..
На террасе силуэт знакомый,
Еле слышен тихий разговор.
О, такой пленительной истомы
Я не знала до сих пор.
Тополя тревожно прошуршали,
Нежные их посетили сны.
Небо цвета вороненой стали,
Звезды матово-бледны.
Я несу букет левкоев белых.
Для того в них тайный скрыт огонь,
Кто, беря цветы из рук несмелых,
Тронет теплую ладонь.

Сентябрь 1910, Царское Село

* * *

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Странно немеет тело.
Смолк отдаленный рожок,
В сердце все те же загадки,
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.
Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!
Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться.
Милым простила губам
Я их жестокую шутку…
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.
Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут

Роз из оранжереи.

Октябрь 1910, Царское Село

* * *

Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.
Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне,
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют изысканные клумбы,
И резкий крик вороны в небе черной,
И в глубине аллеи арка склепа.

2 ноября 1910, Киев

* * *

На столике чай, печения сдобные,
В серебряной вазочке драже.
Подобрала ноги, села удобнее,
Равнодушно спросила: «Уже?»
Протянула руку. Мои губы дотронулись
До холодных гладких колец.
О будущей встрече мы не условились.
Я знала, что это конец.

9 ноября 1910

В качестве свадебного подарка жених преподнес своей «Аннушке» путешествие в Париж. Подарок кажется очень уж нерасчетливым, но на самом-то деле в те времена комната и еда во Франции, и даже в Париже, были чуть ли не вдвое дешевле, чем в России: предвоенный Петербург был самым дорогим городом в Европе.

В 1910-м (25 апреля старого стиля) я вышла замуж за Н.С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в Taveme du Pantheon два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут – большевики, а там – меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-culottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravees). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

На север я вернулась в июне 1910 года. Царское после Парижа показалось мне совсем мертвым. В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступила порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь.

Едва супруги вернулись из Франции, как Гумилев стал готовиться к очередному путешествию и, еле дождавшись осени (22 сентября 1910), укатил в Абиссинию. В конце ноября он добрался до Аддис-Абебы, там и встретил 1911 год, так что в свой первый замужний год Анна осталась «соломенной вдовушкой».

Николай Степанович перед венчанием предупредил невесту, что сидеть у камина и смотреть с тоской, как печально камин догорает, не намерен, и она от чистого сердца пообещала, что будет отпускать его и в Африку и хоть на край света, как только он того захочет. Но вот того, что ее пленник захочет воли так скоро, всего через несколько месяцев после свадьбы, конечно же и допустить не могла. Больше того, Николай Степанович, так долго добивавшийся от нее согласия именно на брак, иных отношений он и в мыслях не допускал, оказался совершенно непригодным к семейной жизни. Вскоре после его отъезда в Африку «полуброшенная новобрачная» написала такие стихи:

* * *

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,

Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

9 ноября 1910, Киев

Видимо, вскоре после отъезда Гумилева, как шило из мешка, вылезла и еще одна неприятная новость. Уже летом, в Слепневе, Анна Андреевна с некоторым удивлением наблюдала за открытыми ухаживаниями мужа за молоденькой кузиной, Машенькой Кузьминой-Караваевой, которую Гумилев знал с детства. Машенька за годы, проведенные Николаем Степановичем за границей, превратилась в настоящую русскую красавицу, светловолосую, с чудесным цветом лица. Но особенного значения им не придала, решив, видимо, что Коля просто разыгрывает роль влюбленного, чтобы отвлечь девушку от мрачных мыслей: у Машеньки, несмотря на цветущий внешний вид, была чахотка (она скончалась в самом начале 1912 года в Италии). Однако домашняя служба новостей довела до сведенья Анны, что ее муж влюблен в прелестную барышню Кузьмину-Караваеву всерьез. Коротая соломенное вдовство, Анна Андреевна старалась как можно меньше бывать дома. То уезжала к родным в Киев, то в гости к отцу в Петербург, после замужества их отношения как-то незаметно потеплели; отец старел, старела и его «адмиральша» и уже не вызывала в Анне мучительной неприязни. Возвращалась поздно и одна. Вокзал и царскосельский поезд был свое-образным клубом знакомств.

Завелись интересные знакомства и у Анны Гумилевой: в поезде соломенная вдовушка однажды разговорилась с Николаем Пуниным, через десять лет она стала его гражданской женой, и брак этот оказался самым длительным из ее замужеств; на вокзале, опоздав на поезд, прочла Георгию Чулкову свои первые настоящие стихи. В ту же зиму в том же поезде приворожила и Николая Недоброво, через четыре года Николай Владимирович написал о поэзии Ахматовой первую серьезную критическую статью.

Г. И. Чулков. «Годы странствий»

«Однажды на вернисаже выставки «Мира Искусства» я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками «Аполлона». Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел

из Тенишевского зала. Моросил дождь. И характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло».

В тот же вечер, продолжает Г. Чулков, он и Ахматова, возвращаясь в Царское Село, опоздали на поезд и, чтобы скоротать время, сели на вокзале за столик:

Среди беседы моя новая знакомая сказала, между прочим:

– А вы знаете, что я пишу стихи?

Полагая, что это одна из многих тогдашних поэтесс, я рассеянно и равнодушно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать стихи, какие потом вошли в ее первую книжку “Вечер”.

Первые же строфы, услышанные мною из ее уст, заставили меня насторожиться.

– Еще!.. Еще!.. Читайте еще, – бормотал я, наслаждаясь новою своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием живых стихов… Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год».

Первый успех пришел к Анне Андреевне именно в эту одинокую зиму 1911 года. Однако она не торопилась воспринять его всерьез, считая похвалы раздутыми, а свои стихи «бедными стихами пустейшей девочки».

Своим учителем в поэзии Ахматова всегда называла Иннокентия Анненского.

Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«…Я пришла один раз к К. Г. Он кончал срочную корректуру. “Посмотрите пока эту книгу”, – сказал он мне и подал только что вышедшую книгу Анненского. И я сразу перестала видеть и слышать, я не могла оторваться, я повторяла эти стихи днем и ночью… Они открыли мне новую гармонию».

В зиму 1910–1911 годов я написала стихи, которые составили книгу «Вечер». 25 марта вернулся из Африки Гумилев, и я показала ему эти стихи…

Всем, в особенности за границей, хочется, чтобы меня «открыл» Вячеслав Иванов. Кто отец этой легенды – не знаю.

…А в самом деле было так: Н.С. Гумилев после нашего возвращения из Парижа (летом 1910 года) повез меня к Вяч. Иванову. Он действительно спросил меня, не пишу ли я стихи (мы были в комнате втроем), и я прочла: «И когда друг друга проклинали…» (1909. Киевская тетрадь) и еще что-то (кажется, «Пришли и сказали…»), и Вячеслав очень равнодушно и насмешливо произнес: «Какой густой романтизм!» Я тогда до конца не поняла его иронии. Осенью Николай Степанович, успев снискать вечную немилость Иванова рецензией на «Cor Ardens», и уехал на полгода в Африку, в Аддис-Абебу. Вячеслав встретил меня на Раевских курсах, где он читал лекции, и пригласил на «понедельники» (уже не «среды»). Там я действительно несколько раз читала стихи, и он действительно их хвалил, но их тогда уже хвалили все (Толстой, Маковский, Чулков и т. д.), они были приняты в «Аполлон» и напечатаны, а тот же Иванов лицемерно посылал меня к З. Гиппиус. Александра Николаевна Чеботаревская увела меня в соседнюю комнату и сказала: «Не ходите к ней. Она злая и вас очень обидит». Я ответила: «А я и не собираюсь к ней идти». Кроме того, Вячеслав Иванович очень уговаривал меня бросить Гумилева. Помню его слова: «Этим вы его сделаете человеком». О том, как он tete-e-tete плакал над стихами, потом выводил в «салон» и там ругал довольно едко, я так часто и давно рассказываю, что скучно записывать.

Разъяснение одного недоразумения

Теперь настает очередь Маковского. Сейчас прочла у Драйзера, что они, Маковские, почему-то стали моими конфидентами, и против воли Гумилева Сергей Константинович напечатал мои стихи в «Аполлоне» (1911). Я не позволю оскорблять трагическую тень поэта нелепой и шутовской болтовней, и да будет стыдно тем, кто напечатал этот вздор.

Вначале я действительно писала очень беспомощные стихи, что Николай Степанович и не думал от меня скрывать. Он действительно советовал мне заняться каким-нибудь другим видом искусства, например танцами («Ты такая гибкая»). Осенью 1910 года Гумилев уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в гумилевском доме (Бульварная, дом Георгиевского), как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом к Вале Срезневской, тогда еще Тюльпановой), побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от «Кипарисового ларца». Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла. Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться. А тут и хвалить начали. А вы знаете, как умели хвалить на Парнасе серебряного века! На эти бешеные и бесстыдные похвалы я довольно кокетливо отвечала: «А вот моему мужу не нравится». Это запоминали, раздували, наконец это попало в чьи-то мемуары, а через полвека из этого возникла гадкая, злая сплетня, преследующая «благородную цель» изобразить Гумилева не то низким завистником, не то человеком, ничего не понимающим в поэзии. «Башня» ликовала.

25 марта 1911 года старого стиля (Благовещенье) Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку. В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: «А стихи ты писала?» Я, тайно ликуя, ответила: «Да». Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: «Ты поэт – надо делать книгу». Вскоре были стихи в «Аполлоне» (1911, № 4).

* * *

Эти бедные стихи пустейшей девочки почему-то перепечатываются тринадцатый раз (если я видела все контрафакционные издания). Появились они и на некоторых иностранных языках. Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не

расстраиваться». От огорчения, что «Вечер» появился, она даже уехала в Италию (1912 год, весна), а сидя в трамвае, думала, глядя на соседей: «Какие они счастливые – у них не выходит книжка».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Чувствуя, что Анна Андреевна настроена сегодня мемуарно, я спросила – любил ли Николай Степанович ее стихи?

– Сначала терпеть не мог. Он выслушивал их внимательно, потому что это была я, но очень осуждал; советовал заняться каким-нибудь другим делом. Он был прав: действительно, стихи я писала тогда ужасающие. Знаете, вроде тех, какие печатались в маленьких журналах на затычку… А потом было так: мы поженились в апреле. (Перед этим очень долго были женихом и невестой.) А в сентябре он уехал в Африку и пробыл там несколько месяцев. За это время я много писала и пережила свою первую славу: все хвалили кругом – и Кузмин, и Сологуб, и у Вячеслава. (У Вячеслава Колю не любили и старались оторвать меня от него; говорили – “вот, вот, он не понимает ваших стихов”.) Он вернулся. Я ему ничего не говорю. Потом он спрашивает: «Писала стихи?» – «Писала». И прочла ему. Это были стихи из книги «Вечер». Он ахнул. С тех пор он мои стихи всегда очень любил».

Песня последней встречи

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,
А я знала – их только три!
Между кленов шепот осенний
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,
Переменчивой, злой судьбой».
Я ответила: «Милый, милый!
И я тоже. Умру с тобой…»

Это песня последней встречи.

Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно-желтым огнем.

1911

* * *

Я сошла с ума, о мальчик странный,
В среду, в три часа!
Уколола палец безымянный
Мне звенящая оса.
Я ее нечаянно прижала,
И, казалось, умерла она,
Но конец отравленного жала
Был острей веретена.
О тебе ли я заплачу, странном,
Улыбнется ль мне твое лицо?
Посмотри! На пальце безымянном
Так красиво гладкое кольцо.

1911

* * *

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?»
– Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

1911

Вернувшись насовсем в родное Царское Село, Анна Андреевна писала о том, о чем не умела написать, когда жила здесь до семейной катастрофы: об игрушечных лошадках, о мраморных красавицах в царскосельских парках, о лицеисте Пушкине… Словно переиначивала совсем не розовое свое детство, грубо исковерканное «изменой» отца и смертью старшей сестры Инны. Словно спасалась от трудной своей юности с тяжелой, безответной любовью. Словно пряталась от мыслей о том, что ничем не может помочь матери, у которой на руках двое малышей. Даже став замужней дамой, не может: Николай Степанович практически ничего не зарабатывал, а тратил (на африканские путешествия и издания стихотворных сборников за свой счет) куда больше того, что Анна Ивановна Гумилева могла выкроить для любимого сына из семейного бюджета.

Первое возвращение

На землю саван тягостный возложен,
Торжественно гудят колокола,
И снова дух смятен и потревожен
Истомной скукой Царского Села.
Прошло пять лет. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.

Осень 1910, Царское Село

В марте 1911 года Гумилев вернулся из Африки, на два месяца раньше, чем предполагал: он подхватил тяжелую тропическую лихорадку.

Анна Андреевна сразу же попробовала выяснить, что в семейных сплетнях о его романе с девицей Кузьминой-Караваевой правда, а что наговор. Но Гумилев терпеть не мог выяснения отношений, ни женских истерик. Разговор не состоялся. Кончилось первой крупной размолвкой: Анна Андреевна уехала в Париж, а Николай Степанович, посадив жену в поезд, – в Слепнево, развлекать тамошнюю молодежь.

Весну 1911 года провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по

Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.

Похожим на сновидение, которое помнишь всю жизнь, оказалось, как выяснилось с годами, и ее мимолетное увлечение художником Амедео Модильяни, в ту пору еще совсем не знаменитым.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «Передача мыслей…» Часто говорил: «Это можете только вы».

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его – очень короткой, моей – очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют негритянским периодом.

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» 1911 г.). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки

дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»…

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«9 августа 39. Сегодня, когда я была у Анны Андреевны, я заметила на стене маленькую картинку. Очаровательный рисунок карандашом – ее портрет. Она позволила мне снять его со стены и рассмотреть.

Модильяни.

– Вы понимаете, его не интересовало сходство. Его занимала поза. Он раз двадцать рисовал меня.

Он был итальянский еврей, маленького роста, с золотыми глазами, очень бедный. Я сразу поняла, что ему предстоит большое. Это было в Париже. Потом, уже в России, я спрашивала о нем у всех приезжих – они даже и фамилии такой никогда не слыхали. Но потом появились монографии, статьи. И теперь уже все у меня спрашивают: неужели вы его видели?»

В Париже в 1911 году Анна Андреевна написала лишь два стихотворения, но к роману с Модильяни, по ее словам, они не имеют никакого отношения. По всей вероятности, первое («Мне с тобою пьяным весело…») является воспоминанием о прошлогодних осенних беседах с Георгием Чулковым, через столик, в привокзальном царскосельском кафе. Второе («В углу старик, похожий на барана…»), может быть, как-то связано с их новой встречей в Париже. (Вырвавшись на волю, Анна Андреевна, кажется, видела себя второй Анной Карениной, недаром упоминает в «Автобиографии», что родилась в один год с «Крейцеровой сонатой» Льва Толстого.) Правда, Чулков приехал во Францию с женой, но его умная жена весьма снисходительно относилась к «амурным» увлечениям своего супруга, ежели речь шла о том, чтобы помочь «молодому и свежему дарованию».

Первое парижское стихотворение Ахматова опубликовала, второе – постаралась понадежнее забыть, но все-таки вспомнила, за исключением одной строки, в конце 50-х годов.

* * *

Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.
Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.

1911, Париж

* * *

В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.
Тебе велела я, чтоб ты ушел.
Мне сразу все глаза твои сказали…
Опилки густо устилают пол.
И пахнет спиртом в полукруглом зале.
И это юность – светлая пора
…
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.
Май – июнь 1911(?) – Конец 1950-х гг.

Париж

Вернувшись летом 1911 года в Слепнево, Анна Андреевна нашла в деревне все то же, что и в прошлом году. Однако вопросов мужу больше не задавала: Машенька была слишком больна, это видели все, кроме Николая Степановича.

Слепнево

Я носила тогда зеленое малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев. В моей комнате (на север) висела большая икона – Христос в темнице. Узкий диван был таким твердым, что я просыпалась ночью и долго сидела, чтобы отдохнуть… Над диваном висел небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге – почти как экзотика, а просто, сериозно – по-онегински («Царей портреты на стене»). Было ли в комнате зеркало – не знаю, забыла. В шкафу остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо. Там я встретила войну 1914 года, там провела последнее лето (1917).

Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею. Стихи шли легко свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло – никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну.

Бабы выходили в поле на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй.

В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: «К слепневским господам хранцужанка приехала», а земский начальник Иван Яковлевич Дерин – очкастый и бородатый увалень, когда оказался моим соседом за столом и умирал от смущенья, не нашел ничего лучшего, чем спросить меня: «Вам, наверно, здесь очень холодно после Египта?» Дело в том, что он слышал, как тамошняя молодежь за сказочную мою худобу и (как им тогда казалось) таинственность называла меня знаменитой лондонской мумией, которая всем приносит несчастье.

Николай Степанович не выносил Слепнева. Зевал, скучал, уезжал в невыясненном направлении. Писал «такая скучная не золотая старина» и наполнял альбом Кузьминых-Караваевых посредственными стихами. Но, однако, там что-то понял и чему-то научился.

Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате.

Слепневские приятели и приятельницы Гумилева, даже те, кому его выбор показался неудачным, все-таки признавали, что у

юной мадам Гумилевой необычная внешность и удивительно «гибкое змеиное тело». Да она и сама не упускала случая продемонстрировать необычную гибкость. В Слепневе Николай Степанович даже поставил для жены цирковой аттракцион: женщина-змея. После этого читалось стихотворение про змею, написанное еще в прошлом году:

* * *

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.
Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.
Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа…
Я иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.
Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча…
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.

1910

Березы

Таких берез еще никто не видел. Мне страшно их вспоминать. Это наваждение. Что-то грозное, трагическое, как «Пергамский алтарь», великолепное и неповторимое. И кажется, там должны быть вороны. И нет ничего лучше на свете, чем эти березы, огромные, могучие, древние, как друиды, и еще древней. Прошло три месяца, а я не могу опомниться, как вчера, но я все-таки не хочу, чтобы это был сон. Они мне нужны настоящие.

* * *

В промежутки между грозами,
Мрачной яркостью богатые,
Над притихшими березами
Облака стоят крылатые.
Чуть гроза на запад спрячется
И настанет тишь чудесная,
А с востока снова катится
Колесница поднебесная.

1910-е гг., Слепнево. Записала на Илью в Комарове, 1961

Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»

Анна Андреевна рассказывает, как…

«…К ней пришел Кузьмин-Караваев, старик, сосед по Слепневу.

– Мы провели целый вечер втроем: он, я, Левушка, пили вино, перебирали с ним всех слепневских. Когда он ушел, меня вдруг, часа через два, осенило: да ведь он из-за меня стрелялся!

Сидя на постели, большая, тучная, она закрыла лицо руками, и задорно, лукаво сверкнули глаза между пальцев.

Опустила руки.

– Подумайте, целый вечер провели вместе, и я только через два часа вспомнила… Ему было тогда 17 лет, это был красивый молодой человек, студент, подававший надежды.

Она вспоминала что-то далекое, свое, молодое – и хотя речь шла о попытке самоубийства – что-то счастливое… Вспоминала молодость».

Любовь

То змейкой, свернувшись клубком,
У самого сердца колдует,
То целые дни голубком
На белом окошке воркует,
То в инее ярком блеснет,
Почудится в дреме левкоя…
Но верно и тайно ведет
От радости и от покоя.
Умеет так сладко рыдать
В молитве тоскующей скрипки,
И страшно ее угадать
В еще незнакомой улыбке.

24 ноября 1911, Царское Село

* * *

Любовь покоряет обманно
Напевом простым, неискусным.
Еще так недавно-странно
Ты не был седым и грустным.
И когда она улыбалась
В садах твоих, в доме, в поле,
Повсюду тебе казалось,
Что вольный ты и на воле.
Был светел ты, взятый ею
И пивший ее отравы.
Ведь звезды были крупнее,
Ведь пахли иначе травы.
Осенние травы.

Осень 1911, Царское Село

* * *

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок,

И две в лесу скрестившихся тропинки,
И в дальнем поле дальний огонек, —
Я вижу все. Я все запоминаю,
Любовно-кротко в сердце берегу.
Лишь одного я никогда не знаю
И даже вспомнить больше не могу.
Я не прошу ни мудрости, ни силы.
О, только дайте греться у огня!
Мне холодно… Крылатый иль бескрылый,
Веселый бог не посетит меня.

30 ноября 1911, Царское Село

Осенью 1911 года Гумилевы вернулись из Слепнева позже обычного: они переехали в новый собственный дом в Царском Селе.

Дом, который присмотрела и вскорости купила Анна Ивановна, выбирался с расчетом на долгую жизнь: чтобы был и вместительным и удобным; свекровь Анны Андреевны гордилась своей репутацией хорошей хозяйки. Молодоженам отвели целый этаж, невестке – отдельную комнату, рядом с рабочим кабинетом мужа и библиотекой. Гостиную, по настоянию Николая Степановича, обставили в стиле «модерн», для остальных комнат привезли из Слепнева прадедовскую мебель красного дерева. Анна обрадовалась: отдельная комната, теплая, уютная, обставленная старинной мебелью, – как она мечтала о домашнем семейном уюте в годы южной бездомности! Она вообще всю жизнь страстно хотела того, чего у нее ни в детстве, ни потом не было: семейного уюта и «простой домашней жизни». Однако очень скоро уютный дом мужа (все, кто бывал у Гумилевых в Царском Селе, утверждают единогласно, что семья поэта была радушной, устоявшейся, хорошей чиновничьей семьей) стал казаться ей нежилым, наполненным неживыми вещами.

Северные элегии.
<Третья>

В том доме было очень страшно жить,
И ни камина свет патриархальный,
Ни колыбелька моего ребенка,
Ни то, что оба молоды мы были
И замыслов исполнены,

Не уменьшало это чувство страха.
И я над ним смеяться научилась
И оставляла капельку вина
И крошки хлеба для того, кто ночью
Собакою царапался у двери
Иль в низкое заглядывал окошко,
В то время, как мы, замолчав, старались
Не видеть, что творится в зазеркалье,
Под чьими тяжеленными шагами
Стонали темной лестницы ступени,
Как о пощаде жалостно моля.
И говорил ты, странно улыбаясь:
«Кого они по лестнице несут?»

Теперь ты там, где знают все, скажи:
Что в этом доме жило кроме нас?

1921

Дело было, конечно, не в вещах, а в людях, и прежде всего в жене старшего из братьев Гумилевых, которая всем своим поведением подчеркивала, что Анна «чуждый элемент»:

«В дом влилось много чуждого элемента… В семье очутились две Анны Андреевны. Я блондинка, А. А. брюнетка… Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и войдя в столовую, говорила: «Здравствуйте все!» За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату либо уезжала в Петербург».

Уезжал с раннего утра в Петербург и Николай Степанович, а возвращался заполночь. Он поступил в университет, а кроме того, активно сотрудничал в журнале «Аполлон».

Парижские приключения, как это ни странно, восстановили супружеское согласие. В томик Теофиля Готье, привезенный из Франции специально для неверного, романтически влюбленного в кузину Николая Степановича, неверная его жена, как бы по забывчивости, вложила романтическое послание от парижского своего поклонника – Модильяни. Николай Степанович пришел в бешенство. Расквитавшись и повинившись, супруги помирились. И вроде бы простили друг другу: он ей – Модильяни и увеселительную прогулку в Париж, она ему – Машеньку и Африку. Тем легче простила, что убедила себя: влюбленности мужа – всего лишь «средство для ярко-певучих стихов», не зря Николай Степанович так часто и с таким нажимом цитировал

именно эти строки своего кумира Валерия Брюсова. Отдадим должное Николаю Гумилеву: ни влюбленность в смертельно больную кузину, ни отвращение к «женским истерикам», ни ревность к поклонникам жены, которых становилось все больше и больше, не помешали ему заметить, что написанные Анной за время его отсутствия стихи решительно не похожи на ее прежние девичьи экзерсисы.

Николай Степанович был не первым, кто понял, что Анна Гумилева, которую чуть было не записали в обыкновенные барышни, – поэт. То же самое сказал ей Георгий Чулков, когда, опоздав на царскосельский паровичок, они пили кофе в привокзальном буфете, а она, осмелев от неловкости, стала читать стихи. Читала и в редакции «Аполлона». Один из присутствовавших на этом чтении вспоминал: Анна Андреевна так нервничала, что «от волнения слегка дрожал кончик ее лакированной туфельки». Но вкусу сотрудников «Аполлона» она не очень-то доверяла, а Чулкова, зная его репутацию первостатейного ловеласа, тайно подозревала в том, что тот просто решил приволокнуться, потому и льстит. Изумление и одобрение Николая Степановича совсем другое дело: Гумилев, если речь шла о стихах, не делал скидок никогда и никому и выражал свое мнение «прямо в глаза». Решив, что надо делать книгу, он, не теряя ни дня, приступил к реализации своего решения. Во-первых, подключил к срочному делу и членов созданного по его инициативе «Цеха поэтов», и сочувствующих: предисловие написал поэт Михаил Кузмин, обложку рисовал тоже поэт – «синдик» «Цеха поэтов» Сергей Городецкий, фронтиспис – приятель Кузмина «мирискусник» Евгений Лансере. Издательство «Цех поэтов» было задумано как непериодический орган новорожденной и сразу же отмежевавшейся от символистов группы акмеистов, лидером которой стал Николай Гумилев. Меценатов решено было не искать из гордости и из принципа, а чтобы удешевить процесс издания, ввели серийное оформление; вышедший одновременно с «Вечером» сборник Михаила Зенкевича «Дикая порфира» внешне был похож на ахматовский, как близнец.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Сейчас на Западе много обо мне пишут. И всюду я читаю: «вышла замуж за основателя акмеизма». Точно это было условием свадебного контракта! А я вышла замуж за молодого начинающего поэта-символиста. Когда он увидел нашу работу –

мою и Мандельштама – он начал подводить под нее теоретическую базу и родился акмеизм. Вот как было».

«Цех поэтов» был задуман осенью 1911 года в противовес «Академии Стиха», где царствовал Вяч. Иванов… Первое собрание Цеха (весьма пышное) с Блоком и французами было у Городецкого, второе – у Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой в Манежном переулке. В тот день я познакомилась с Лозинским.

…Я отчетливо помню то собрание Цеха (осень 1911, у нас, в Царском), когда было решено отмежеваться от символистов, с верхней полки достали греческий словарь (не Шульц ли!) и там отыскали – цветение, вершину. Меня, всегда отличавшуюся хорошей памятью, просили запомнить этот день. (Записать никому не приходило в голову.) Что, как вы видите, я и сделала…

Михаил Кузмин. Предисловие к сборнику «Вечер»

В Александрии существовало общество, члены которого для более острого и интенсивного наслаждения жизнью считали себя обречёнными на смерть. Каждый день их, каждый час был предсмертным. Хотя предсмертное времяпровождение в данном обществе сводилось к сплошным оргиям, нам кажется, что сама мысль о предсмертном обострении восприимчивости и чувствительности эпидермы и чувства более чем справедлива. Поэты же особенно должны иметь острую память любви и широко открытые глаза на весь милый, радостный и горестный мир, чтоб насмотреться на него и пить его каждую минуту последний раз. Вы сами знаете, что в минуты крайних опасностей, когда смерть близка, в одну короткую секунду мы вспоминаем столько, сколько не представится нашей памяти и в долгий час, когда мы находимся в обычном состоянии духа.

И воспоминания эти идут не последовательно и не целостно, а набегают друг на друга острой и жгучей волной, из которой сверкнут то давно забытые глаза, то облако на весеннем небе, то чьё-то голубое платье, то голос чужого вам прохожего. Эти мелочи, эти конкретные осколки нашей жизни мучат и волнуют нас больше, чем мы этого ожидали, и, будто не относясь к делу, точно и верно ведут нас к тем минутам, к тем местам, где мы любили, плакали, смеялись и страдали – где мы жили.

Можно любить вещи, как любят их коллекционеры, или привязчивые чувственной привязанностью люди, или в качестве сентиментальных сувениров, но это совсем не то чувство связи, непонятной и неизбежной, открывающейся нам то в горестном, то

в ликующем восторге, на которое мы указывали выше. Нам кажется, что, в отличие от других вещелюбов, Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако как беличья шкурка на небе, жёлтый свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы, не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем. Не будь этой беличьей шкурки, и всё стихотворение, может быть, не имело бы той хрупкой пронзительности, которую оно имеет. Мы не хотим сказать, что всегда у автора вещи имеют такое особенное значение: часто они не более как сентиментальные сувениры или перенесение чувства с человека и на вещи, ему принадлежащие. Мы говорим это не в упрек молодому поэту, потому что уже не мало – заставлять читателя и помечтать, и поплакать, и посердиться с собою вместе, хотя бы посредством чувствительной эмоциональности, – но особенно ценим то первое пониманье острого и непонятного значения вещей, которое встречается не так часто. И нам кажется, что Анна Ахматова имеет ту повышенную чувствительность, к которой стремились члены общества обречённых на смерть.

Этим мы не хотим сказать, чтобы мысли и настроения её всегда обращались к смерти, но интенсивность и острота их такова. Положим, она не принадлежит к поэтам особенно весёлым, но всегда жалящим.

Нам кажется, что она чужда манерности, которая, если у неё и есть, однородна несколько с манерностью Лафорга, то есть капризного ребёнка, привыкшего, чтоб его слушали и им восхищались. Среди совсем молодых поэтов, разумеется, есть и другие, стремящиеся к тонкой и, мы сказали бы, хрупкой поэзии, но в то время, как одни ищут её в описании предметов, которое принято считать тонким: севрских чашек, гобеленов, каминов, арлекинов, рыцарей и мадонн (Эренбург), другие в необыкновенно изощрённом анализе нарочито-причудливых переживаний (Мандельштам), третьи в иронизирующем описании интимной, несколько демонстра-тивно-обыденной жизни (Марина Цветаева), – нам кажется, что поэзия Анны Ахматовой производит впечатление острой и хрупкой потому, что сами её восприятия таковы, от себя же поэт прибавляет разве только лафорговскую, на наш вкус приятную, манерность.

Вячеслав Иванов однажды высказал мысль, что у оригинальных поэтов прежде всего появляется своя манера, от

которой впоследствии они отказываются для своего «лица», в свою очередь приносимого в жертву своему стилю. Из того, что в данном случае у поэта манера уже существует, легко можно заключить, что этот поэт оригинальный и что новый женский голос, отличный от других и слышимый, несмотря на очевидную, как бы желаемую обладателем его, слабость тона, присоединился к общему хору русских поэтов.

Мы пишем не критику, и наша роль сводится к очень скромной: только назвать имя и как бы представить вновь прибывшую. Мы можем намекнуть слегка об её происхождении, указать кой-какие приметы и высказать свои догадки, – что мы и делаем. Итак, сударыни и сударь, к нам идёт новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его – Анна Ахматова.

1912

Кроме «Вечера» и «Дикой порфиры», в первый залп – по символистам из акмеистической пушки – Гумилев включил также книжечки Е. Кузьминой-Караваевой (в будущем Матери Марии, героини французского Сопротивления) и Василия Гиппиуса. (В 1912 году Гумилев относился к символистам уже не просто отрицательно, но враждебно, считая, что они – как дикари, которые съели своих родителей и с тревогой смотрят на своих детей.)

На залп по «дикарям-людоедам» и ждали реакции, но случилось непредвиденное: «Вечер» сделался гвоздем сезона. Сборник никому еще вчера не известной Ахматовой читатели искали по магазинам, огорчались, что все раскуплено, любопытствовали насчет автора, кто такая и откуда пришла. Словом, налицо были все признаки успеха, и успеха такой внезапности и непредсказуемости, что Гумилев, нарочно, при домашних, за общим чаем, произнес страшное слово: слава.

Корней Чуковский

«Анну Андреевну Ахматову я знал с 1912 года. Тоненькая, стройная, похожая на робкую пятнадцатилетнюю девочку, она ни на шаг не отходила от мужа, молодого поэта Н. С. Гумилева…

То было время ее первых стихов и необыкновенных, неожиданно шумных триумфов. Прошло два-три года, и в ее глазах, в осанке, и в ее обращении с людьми наметилась одна главнейшая черта ее личности: величавость. Не спесивость, не надменность, не заносчивость, а именно величавость

“царственная”, монументально важная поступь, нерушимое чувство уважения к себе, к своей высокой писательской миссии.

С каждым годом она становилась величественнее. Нисколько не заботилась об этом, это выходило у нее само собой».

Анна была благодарна всем, а особенно Кузмину, за прелестное Предисловие, однако втайне досадовала на свою робость. Ей хотелось назвать книжку с вызовом: «Лебеда» и открыть «Песенкой». Но Михаил Кузмин, обожавший живопись Константина Сомова, усмотрел в стихах супруги приятеля сомовские мотивы, почти вариации на тему знаменитого, для мирискусников программного «Вечера». Анна попробовала сопротивляться: почему вечер, если у нее восход, да еще и солнечный? И как это связать? Впрочем, и Кузмина понять можно: героиня «Песенки» слишком проста, в ней нет того, что поражало в Ахматовой, уже в первых стихах удивляло – странный набор несовместимых свойств: скромность до застенчивости и дерзость, робость и вызов, крайняя неуверенность в себе и апломб, надменность и простота. И так во всем: черты лица слишком острые, чтобы лицо можно было назвать красивым; сказочная гибкость, которой дивились примадонны петербургского балета, а ходить не умеет, движется как сомнамбула. Анна хотела объяснить, что ее лебеда – не огородный сорняк. Не сумела… Объяснит потом, много лет спустя: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда! Как одуванчик у забора, как лопухи и лебеда…»

Песенка

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полю.

Вырываю и бросаю —
Пусть простит меня.
Вижу, девочка босая
Плачет у плетня.

Страшно мне от звонких воплей
Голоса беды,
Все сильнее запах теплый
Мертвой лебеды.

Будет камень вместо хлеба
Мне наградой злой.
Надо мною только небо,
А со мною голос твой.

1911

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Беседуют Лидия Чуковская и Анна Ахматова):

«– Хотите, я прочту вам одно маленькое, совсем старое? Оно нигде не было напечатано.

И прочитала:

Подушка уже горяча
С обеих сторон…

– такое удивительно точное, что его мгновенно запомнит каждый, кто знает бессонницу. И какое изящество, какое совершенство. И какое – я бы сказала – девичество.

– Это стихотворение должно было быть последним в книге “Вечер”. “Вечер” я сначала хотела назвать “Лебеда”, и тогда первым стихотворением было бы “Я на солнечном восходе // Про любовь пою, // На коленях в огороде // Лебеду полю”. Но меня отговорили.

…Я сказала ей, что из стихов видно – она очень любит лебеду.

– Да, очень, очень, и крапиву, и лопухи. Это с детства. Когда я была маленькая, мы жили в Царском, в переулке, и там в канаве росли лопухи и лебеда. Я была маленькая, а они большие, широколистные, пахучие, нагретые солнцем, – я так их с тех пор люблю.

Я расхрабрилась – мы пили чай, она курила, – и я решилась спросить, не были ли некоторые ее стихи – письмами.

– Нет… Это давно говорили: похоже на письма или на дневник. Нет. Однажды, правда, я переложила одно полученное мною письмо – в стихотворение. Когда я умру, письмо найдут».

Как уже упоминалось, у Анны Андреевны с самого начала их совместной жизни под одним кровом были несколько натянутые отношения со свекровью. Младшая сноха явно не отвечала ее представлениям о хорошей жене и правильной семейной жизни. И вдруг – все изменилось!

Анна Ивановна сделалась шелка нежней и уже не поджимала губы, когда Анна, проспав до полудня, являлась к завтраку последней и приходилось опять раздувать самовар. Николай сообщил ей под секретом, что Аннушка беременна. Анна Ивановна вмиг помолодела, прислуга забегала, спешили навести порядок и уют: появления долгожданного младенца ждали к исходу сентября.

К предстоящему прибавлению семейства будущий отец отнесся без энтузиазма, успех жениного «Вечера» обрадовал его куда больше. И тем не менее год 1912-й был, кажется, почти благополучным для четы Гумилевых. Весной они вдвоем побывали в Италии.

Н.С. Гумилев – Анне Ахматовой

Милая Аничка, как ты живешь, ты ничего не пишешь. Как твое здоровье, ты знаешь, это не пустая фраза. Мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок и т. д. Она просит очень тебя целовать. Я написал одно стихотворение вопреки твоему предупреждению не писать о снах, о том моем итальянском сне во Флоренции, помнишь? Посылаю его тебе, кажется, очень нескладное. Напиши, пожалуйста, что ты о нем думаешь. Живу я здесь тихо, скромно, почти без книг, вечно с грамматикой, то английской, то итальянской. Данте уже читаю, хотя, конечно, схватываю только общий смысл и лишь некоторые выражения. С Байроном (английским) дело обстоит хуже, хотя я не унываю. Я увлекся также верховой ездой, собственно, вольтижировкой, или подобием ее. Уже могу на рыси вскакивать в седло и соскакивать с него без помощи стремян. Добиваюсь делать то же на галопе, но пока неудачно. Мы с Олей устраиваем теннис и завтра выписываем мячи и ракеты. Таким образом хоть похудею. Молли наша дохаживает последние дни, и для нее уже поставлена в моей комнате корзина с сеном. Она так мила, что всех умиляет. Даже Александра Алексеевна сказала, что она самая симпатичная из наших зверей. Каждый вечер я хожу один по Акинихской дороге испытывать то, что ты называешь Божьей тоской. Как перед ней разлетаются все акмеистические хитросплетения. Мне кажется тогда, что во всей Вселенной нет ни одного атома, который бы не был полон глубокой и вечной скорби.

Я описал круг и возвращаюсь к эпохе «Романтических цветов» (вспомни Волчицу и Каракаллу), но занимательно то, что когда я думаю о моем ближайшем творчестве, оно по инерции представляется мне в просветленных тонах «Чужого неба». Кажется, земные наши роли переменятся, ты будешь акмеисткой,

я мрачным символистом. Все же я надеюсь обойтись без надрыва.

Аничка милая, я тебя очень, очень и всегда люблю. Кланяйся всем, пиши. Целую.

Твой Коля. [Июнь 1912. Слепнево]

Венеция

Золотая голубятня у воды,
Ласковой и млеюще-зеленой;
Заметает ветерок соленый
Черных лодок узкие следы.
Столько нежных, странных лиц
в толпе.
В каждой лавке яркие игрушки:
С книгой лев на вышитой подушке,
С книгой лев на мраморном столбе.
Как на древнем, выцветшем холсте,
Стынет небо тускло-голубое…
Но не тесно в этой тесноте
И не душно в сырости и зное.

Август 1912, Слепнево

Лидия Чуковская. «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит А.А. Ахматова)

«Когда я была беременна, Н. С. уехал в Слепнево, а я поехала к моей маме, гостившей в Подольской губернии. Я всегда очень любила собак и жалела бродячих. Бродячие приходили к нам во двор, и я давала им кости. Там их очень много. Один раз я дала собаке кость, и она подавилась. Стоит и задыхается у меня на глазах… Тогда я подошла к ней, опустилась на колени, засунула руку ей в горло и вытащила кость. Все очень испугались, потому что я была тогда беременна. Но собака поняла, что я хотела ей помочь».

Осенью 18 сентября по ст. ст. 1912 года Анна Андреевна родила мальчика, которого назвали Львом в память о крестном отце Николая Степановича – Льве Ивановиче Львове.

* * *

Загорелись иглы венчика
Вкруг безоблачного лба.
Ах! улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба.

Октябрь 1912

1910-е годы

10-й год – год кризиса символизма, смерти Льва Толстого и Комиссаржевской. 1911 – год Китайской революции, изменившей лицо Азии, и год блоковских записных книжек, полных предчувствий… «Кипарисовый ларец»… Кто-то недавно сказал при мне: «10-е годы – самое бесцветное время». Так, вероятно, надо теперь говорить, но я все же ответила: «Кроме всего прочего, это время Стравинского и Блока, Анны Павловой и Скрябина, Ростовцева и Шаляпина, Мейерхольда и Дягилева».

Конечно, в это, как и во всякое время, было много безвкусных людей (например, Игорь Северянин). Подозрительна также «слава» Брюсова (однако тогда она уже сильно померкла). По сравнению с аляповатым первым десятилетием 10-е годы – собранное и стройное время. Судьба остригла вторую половину и выпустила при этом много крови.

* * *

Все мы бражники здесь, блудницы,
Как невесело вместе нам!
На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.
Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.
Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.
О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

19 декабря 1912, В вагоне

В этом стихотворении описывается новогодний вечер в литературном кафе «Бродячая собака». В предвоенные годы это был самый модный ночной клуб, где бывал весь богемный

Петербург.

В «Бродячую собаку» отправляются после маскарада в белом зеркальном зале Фонтанного дома и персонажи «Поэмы без героя»:

Как-нибудь побредем по мраку,
Мы отсюда еще в «Собаку»…

Знаменитая балерина Тамара Карсавина часто танцевала в «Бродячей собаке», восхищая и пленяя ее завсегдатаев. В том числе и Анну Андреевну.

Тамаре Платоновне Карсавиной

Как песню, слагаешь ты легкий танец —
О славе он нам сказал, —
На бледных щеках розовеет румянец,
Темней и темней глаза.
И с каждой минутой все больше пленных,
Забывших свое бытие,
И клонится снова в звуках блаженных
Гибкое тело твое.

<26 марта> 1914

* * *

Графу В. П. Зубову

Как долог праздник новогодний,
Как бел в окошках снежный цвет.
О Вас я думаю сегодня
И нежный шлю я Вам привет.
Пускай над книгою в подвале,
Где скромно ночи провожу,
Мы что-то мудрое решали,
Я обещанья не сдержу.
А Вы останьтесь верным другом
И не сердитесь на меня,

Ведь я прикована недугом
К моей кушетке на три дня.
И дом припоминая темный
На левом берегу Невы,
Смотрю, как ласковы и томны
Те розы, что прислали Вы.

1910-е гг.

Это немного кокетливое стихотворение требует комментария.

Подвал – кабаре «Бродячая собака», куда завсегдатаи собирались заполночь, а разъезжались на рассвете. Михаил Кузмин очень точно охарактеризовал особую атмосферу этих «подвальных» петербургских ночей:

Здесь цепи многие развязаны —
Все сохранит подземный зал.
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Судя по новогодней «записочке» графу Зубову, Анна Андреевна не была исключением: она, как и все, вполне могла говорить ночью то, чего утром ни за что бы не сказала…

Анна Андреевна называет дом графа Зубова темным не потому, что там происходило что-то нехорошее, а потому, что этот дом, точнее, дворец, был облицован черным мрамором. В своем роскошном дворце Валентин Платонович, богач, искусствовед и меценат, основал в 1912 году Институт истории искусств, где читали лекции самые известные деятели культуры, а в легендарном Зеленом зале с малахитовым камином регулярно устраивались концерты. Георгий Иванов в очерке о Сергее Есенине так описывает атмосферу этих вечеров:

«Шелест шелка, запах духов, смешанная русско-французская болтовня… Рослые лакеи в камзолах и белых чулках разносят чай, шерри-бренди, сладости…»

Он же оставил нам и поэтическую зарисовку – Анна Ахматова в голубой гостиной зубовского дворца:

В пышном доме графа Зубова
О блаженстве, о Италии
Тенор пел. С румяных губ его
Звуки, тая, улетали и…
… Абажур светился матово

В голубой овальной комнате.
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».

В поздние годы Ахматова легко и откровенно рассказывала о своих ранних романах. А вот об отношениях с графом Зубовым говорить не любила, хотя и называла его имя (в разговорах с Павлом Лукницким) в числе тех мужчин, с которыми была близка. Лукницкий, решив, что эти воспоминания Анне Андреевне неприятны, прекратил расспросы. Между тем, судя по мемуарному очерку Никиты Струве «Восемь часов с Анной Ахматовой», именно к этому своему поклоннику Анна Андреевна и в старости относилась с нежностью. Вот что пишет Струве, который в июне 1965 года оказался случайным свидетелем их встречи в Париже:

«После чтения стихов разговор уже не возобновлялся. Вскоре послышался стук в дверь. Вошел граф З., близкий друг Ахматовой по Петербургу, с которым она не виделась 50 лет. На прощание Анна Андреевна мне сказала: “Позвоните мне еще”. Перед тем как выйти из комнаты, я еще раз обернулся. Анна Андреевна пристально и ласково смотрела на своего совсем уже старенького на вид посетителя и сказала: “Ну, вот, привел Господь еще раз нам свидеться…”»

Смятение

1
Было душно от жгучего света,
А взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился – он что-то скажет…
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.

2
Не любишь, не хочешь смотреть?
О, как ты красив, проклятый!
И я не могу взлететь,
А с детства была крылатой.

Мне очи застит туман,
Сливаются вещи и лица,
И только красный тюльпан,
Тюльпан у тебя в петлице.

3

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —
И загадочных, древних ликов
На меня поглядели очи…
Десять лет замираний и криков,
Все мои бессонные ночи
Я вложила в тихое слово
И сказала его – напрасно.
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто и ясно.

Февраль 1913

* * *

Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.
И я стану – Христос помоги! —
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки,
Чтоб отчетливей и ясней
Ты был виден им, мудрый и смелый.
В биографии славной твоей
Разве можно оставить пробелы?
Слишком сладко земное питье,
Слишком плотны любовные сети.
Пусть когда-нибудь имя мое
Прочитают в учебнике дети,
И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво…
Мне любви и покоя не дав,

Подари меня горькою славой.

Февраль 1913

1912 год, начавшийся совместным путешествием в Италию и кончившийся рождением сына (друзья тут же перекрестили его в «гумильвенка»), был последним годом относительно надежного семейного союза двух поэтов. Весной 1913 года Николай Степанович вновь укатил в Африку, и не один, а вместе с племянником, Колей-младшим, сыном своей старшей сводной сестры Александры Степановны Сверчковой. Анна Андреевна, разбирая по просьбе свекрови, затеявшей большую уборку, бумаги и вещи в комнате мужа, обнаружила на его письменном столе увесистую пачку женских писем. Достаточно красноречивых. А вскоре узнала, что отправительница любовных посланий, Ольга Николаевна Высотская, ждет от Гумилева ребенка.

К лету 1913 года Ахматова уже вполне отдавала себе отчет в том, что их брак вовсе не похож на идиллический союз «Дафниса и Хлои», как писал когда-то Гумилев. Она выходила замуж за верного рыцаря, который не мог без нее. Оказалось, однако, что верность милый друг Коля понимает вовсе не так старомодно, как она. Для него любовь не исключала ни случайных связей, ни мимолетных влюбленностей – по Брюсову: «О, эти взоры мимолетные на гулких улицах столиц…» Таков был стиль любовного быта эпохи. Дитя того же времени, Анна Ахматова не часто, но иногда позволяла себе и то, и другое. Но тут была одна тонкость, которой Гумилев не признавал: для нее «великая земная любовь» исключала «холод измен», необязательных, бездумных любовных забав…

До официального развода Анна Андреевна, как и Николай Степанович, по взаимному уговору, щекотливое обстоятельство тщательно скрывала. Да и потом на сей счет помалкивала. Но Лукницкому все-таки призналась, что «Н.С. никогда физически не был верен никому… этого он не мог и не считал нужным». Какое-то время Анна, понимая, что во многом виновата сама, закрывала глаза на хроническое «донжуанство» мужа. К тому же «телесность» в отношениях между мужчиной и женщиной ей никогда не представлялась самым главным.

Чуть ли не демонстративно брошенные любовные письма, а главное, появление на свет той же осенью Левушкиного единокровного брата – Ореста – заставило Ахматову усомниться и в том единственном, что оправдывало их брак: в святости высокой дружбы. За полгода она не написала мужу ни одного письма. Правда, тревожиться за него не перестала. В августе 1913-

го, уже после злосчастной находки, обеспокоенная отсутствием вестей из Африки, пишет их общему другу, поэту и переводчику Михаилу Лозинскому:

«У меня к Вам большая просьба, Михаил Леонидович… Так как экспедиция послана Академией, то самое лучшее, если справляться будут оттуда. Может быть, Вы можете пойти в Академию и узнать, имеют ли там известия о Коле…»

С африканскими путешественниками ничего не случилось. 20 сентября 1913 года Гумилев вместе с племянником вернулся в Петербург, сдал в Музей антропологии и этнографии привезенные из Африки «трофеи», в том числе и множество уникальнейших фотографий, многое подарил, но, видимо, за что-то получил даже деньги. В первый же день жена вручила ему находку: связку женских писем – вещественное доказательство его «неверности» и молча ждала объяснений. Объяснений и на сей раз не последовало. Однако попытка сохранить то, что еще можно было сохранить, была все-таки сделана: супруги договорились, что отныне жить будут хотя и вместе, но как бы и врозь, не мучая друг друга бессмысленной ревностью, перечнем взаимных болей, бед и обид. Для того и решили снять комнату в Петербурге, подальше от осуждающих и наблюдающих материнских глаз.

Ахматова гордилась своим великодушием:

* * *

Выбрала сама я долю
Другу сердца моего:
Отпустила я на волю
В Благовещенье его.
Да вернулся голубь сизый,
Бьется крыльями в стекло.
Как от блеска дивной ризы,
Стало в горнице светло.

4 мая 1915, Петербург

Гумилев лучше понимал, что происходит. В конце первого года «воли» он писал жене, что она «не любит и не хочет этого понять».

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Милая Аника, я уже в Одессе и в кафе почти заграничном. Напишу тебе, потом попробую писать стихи. Я совершенно выздоровел, даже горло прошло, но еще несколько устал, должно быть с дороги. Зато уже нет прежних кошмаров; снился раз Вячеслав Иванов, желавший мне сделать какую-то гадость, но и во сне я счастливо вывернулся. В книжном магазине просмотрел «Жатву». Твои стихи очень хорошо выглядят, и забавна по тому, как сильно сбавлен тон, заметка Бориса Садовского.

Здесь я видел афишу, что Вера Инбер в пятницу прочтет лекцию о новом женском одеянии, или что-то в этом роде; тут и Бакст и Дункан и вся тяжелая артиллерия.

Я весь день вспоминаю твои строки о «приморской девчонке», они мало того что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными.

Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны Галла и понять, увидя луну, что она алмазный щит богини воинов Паллады.

Любопытно, что я сейчас опять такой же, как тогда, когда писались Жемчуга, и они мне ближе Чужого неба.

Маленький до сих пор был прекрасным спутником; верю, что так будет и дальше.

Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз пишу его имя) и учи его говорить папа. Пиши мне до 1 июня в Дире-Дауа (Dire-Daoua, Abyssinie. Afrique), до 15 июня в Джибути, до 15 июля в Порт-Саид, потом в Одессу.

9 апреля 1913

Но и эта правда не была настоящей. Анна имела право ответить на горькое письмо мужа словами Баратынского, выбранными для эпиграфа к «Четкам»:

«Прости ж навек! Но знай, что двух виновных, не одного, найдутся имена в стихах моих, в преданиях любовных».

«Отпущенный на волю» Гумилев тут же, на глазах у жены, стал ухаживать за сестрой своего ученика Георгия Адамовича. Вскоре Таня Адамович стала его официальной любовницей. С тех пор Ахматова на амурные приключения милого друга Коли перестала реагировать. Однако день этой измены запомнила. П. Лукницкий отмечает в Дневнике, что, диктуя ему сведения о

трудах и днях Гумилева и упомянув, что 6 января 1914 года он познакомился с Таней Адамович, Анна Андреевна “чуть вздохнула”, и ему «показалось, что этот вздох был не случайным».

* * *

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.
Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.
Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах мое дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх.
И если б знал ты, как сейчас мне любы
Твои сухие, розовые губы!

Ноябрь 1913

В марте 1914 года вышла вторая книга стихов Анны Андреевны – «Четки».

Книга вышла 15 марта 1914 года (старого стиля), и жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из 19 века сразу попали в 20-й, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. С «Четками» этого не случилось…

И потом еще много раз она выплывала и из моря крови, и из полярного оледенения, и побывав на плахе, и украшая собой списки запрещенных изданий, и представляя собою краденое добро (издание Ефрона в Берлине, и одесская контрафакция при

белых 1919 года).

«Четки» Анна Ахматова считала своей первой настоящей книгой и в зрелые годы о «Вечере» вспоминать не любила. Дескать, это всего лишь проба пера избалованной и глупой девочки. Однако в старости написала ностальгические стихи и назвала их – «Рисунок на книге “Вечер”»:

Рисунок на книге «Вечер»

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый,
И парижской челки атлас,
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.

23 мая 1958

Гумилев, когда мы обсуждали тираж, задумчиво сказал: «А может быть, ее придется продавать в каждой мелочной лавке». Тираж 1-го издания 1100 экземпляров. Разошлось меньше чем в год. Главная статья – Н.В. Недоброво. Две ругательные – С. Боброва и Тальникова. Остальные похвальные.

«Все мы бражники…» – стихи скучающей капризной девочки, а не описание разврата, как принято думать теперь…

Н. В. Недоброво. «Анна Ахматова»

…По выходе первого сборника на стихах Ахматовой заметили печать ее личной своеобычности, немного вычурной; казалось, она и делала стихи примечательными. Но неожиданно личная манера Ахматовой, и не притязавшая на общее значение, приобрела, через «Вечер» и являвшиеся после стихи, совсем как будто необоснованное влияние. В молодой поэзии обнаружились признаки возникновения ахматовской школы, а у ее основательницы появилась прочно обес-печенная слава.

Если единичное получило общее значение, то, очевидно, источник очарования был не только в занимательности выражаемой личности, но и в искусстве выражать ее: в новом

умении видеть и любить человека.

…Пока не было «Четок», вразброд печатавшиеся после «Вечера» стихи ложились в тень первого сборника, и рост Ахматовой не осознавался вполне. Теперь он очевиден: перед глазами очень сильная книга властных стихов, вызывающих большое доверие.

Оно прежде всего достигается свободою ахматовской речи.

Не из ритмов и созвучий состоит поэзия, но из слов; из слов уже затем, по полному соответствию с внутренней их жизнью, и из сочетания этих живых слов вытекают, как до конца, внутренностью слов обусловленное следствие, и волнения ритмов, и сияния звуков – и стихотворение держится на внутреннем костяке слов. Не должно, чтобы слова стихотворения, каждое отдельно, вставлялись в ячейки некоей ритмо-инструментальной рамы: как ни плотно они будут пригнаны, чуть мысленно уберешь раму, все слова расскакиваются, как вытряхнутый типографский шрифт.

К стихам Ахматовой последнее не относится. Что они построены на слове, можно показать на примере хотя бы такого стихотворения, ничем в «Четках» не выделяющегося:

Настоящую нежность не спутаешь
Ни с чем, и она тиха.
Ты напрасно бережно кутаешь
Мне плечи и грудь в меха,
И напрасно слова покорные
Говоришь о первой любви.
Как я знаю эти упорные,
Несытые взгляды твои!

Речь проста и разговорна до того, пожалуй, что это и не поэзия? А что, если еще раз прочесть да заметить, что когда бы мы так разговаривали, то, для полного исчерпания многих людских отношений, каждому с каждым довольно было бы обменяться двумя-тремя восьмистишиями – и было бы царство молчания. А не в молчании ли слово дорастает до той силы, которая пресуществляет его в поэзию?

Несчастной любви и ее страданиям принадлежит очень видное место в содержании ахматовской лирики – не только в том смысле, что несчастная любовь является предметом многих стихотворений, но и в том, что в области изображения ее волнений Ахматовой удалось отыскать общеобязательные выражения и разработать поэтику несчастной любви до исключительной многотрудности. Не окончательны ли такие

выражения, как приведенное выше о том, что у разлюбленной не бывает просьб, или такие:

Говоришь, что рук не видишь,
Рук моих и глаз.

Или это стихотворение:

У меня есть улыбка одна.
Так, движенье чуть видное губ.
Для тебя я ее берегу —
Все равно, что ты наглый и злой,
Все равно, что ты любишь других.
Предо мной золотой аналой,
И со мной сероглазый жених.

Много таких же, а может быть, и еще более острых и мучительных выражений найдется в «Четках», и, однако, нельзя сказать об Анне Ахматовой, что ее поэзия – «поэзия несчастной любви». Такое определение, будь оно услышано человеком, внимательно вникшим в «Четки», было бы для него предлогом к неподдельному веселью – так богата отзвуками ахматовская несчастная любовь. Она – творческий прием проникновения в человека и изображения неутолимой к нему жажды.

…Эти муки, жалобы и такое уж крайнее смирение – не слабость ли это духа, не простая ли сентиментальность? Конечно нет: самое голосоведение Ахматовой, твердое и уж скорее самоуверенное, самое спокойствие в признании и болей, и слабостей, самое, наконец, изобилие поэтически претворенных мук – все это свидетельствует не о плаксивости по случаю жизненных пустяков, но открывает лирическую душу, скорее жесткую, чем слишком мягкую, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную.

Огромное страдание этой совсем не так легко уязвимой души объясняется размерами ее требований, тем, что она хочет радоваться ли, страдать ли только по великим поводам. Другие люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в середине мирового круга, а вот Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его «края» – и чтобы им повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут. Не понимающий их желания считает их чудаками и смеется над их пустячными стонами, не подозревая,

что если бы эти самые жалкие юродивые вдруг забыли бы свою нелепую страсть и вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, живого мирского человека; тогда бы он узнал жестокую силу там у стенки по пустякам слезившихся капризниц и капризников…

При общем охвате всех впечатлений, даваемых лирикой Ахматовой, получается переживание очень яркой и очень напряженной жизни. Прекрасные движения души, разнообразные и сильные волнения, муки, которым впору завидовать, гордые и свободные соотношения людей, и все это в осиянии и в пении творчества, – не такую ли именно человеческую жизнь надобно приветствовать стихами Фета:

Как мы живем, так мы поем и славим,
И так живем, что нам нельзя не петь.

А так как описанная жизнь показана с большою силою лирического действия, то она перестает быть только личной ценностью, но обращается в силу, подъемлющую дух всякого, воспринявшего ахматовскую поэзию.

* * *

Ты письмо мое, милый, не комкай.
До конца его, друг, прочти.
Надоело мне быть незнакомкой,
Быть чужой на твоем пути.
Не гляди так, не хмурься гневно.
Я любимая, я твоя.
Не пастушка, не королевна
И уже не монашенка я —
В этом сером, будничном платье,
На стоптанных каблуках…
Но, как прежде, жгуче объятье,
Тот же страх в огромных глазах.
Ты письмо мое, милый, не комкай,
Не плачь о заветной лжи,
Ты его в своей бедной котомке
На самое дно положи.

1912, Царское Село

Отрывок

…И кто-то, во мраке деревь незримый,
Зашуршал опавшей листвой
И крикнул: «Что сделал с тобой любимый,
Что сделал любимый твой;
Словно тронуты черной, густою тушью
Тяжелые веки твои.
Он предал тебя тоске и удушью
Отравительницы-любви.
Ты давно перестала считать уколы —
Грудь мертва под острой иглой.
И напрасно стараешься быть веселой —
Легче в гроб тебе лечь живой!..»

Я сказала обидчику: «Хитрый, черный,
Верно, нет у тебя стыда.
Он тихий, он нежный, он мне покорный,
Влюбленный в меня навсегда!»

26 декабря 1911

* * *

Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.

Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.

Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,

Мне кажется, я даже не услышу.

1912

Корней Иванович Чуковский «Ахматова и Маяковский»

«Уже из ее первой книги было видно, что она поэт сиротства и вдовства, что ее лирика питается чувством необладания, разлуки, утраты. Безголосый соловей, у которого отнята песня; и танцовщица, которую покинул любимый; и женщина, теряющая сына; и та, у которой умер сероглазый король; и та, у которой умер царевич —

Он никогда не придет за мною…
Умер сегодня мой царевич, —

и та, которой сказано в стихах: «вестей от него не получишь больше», и та, которая не может найти дорогой для нее белый дом, хотя ищет его всюду и знает, что он где-то здесь, – все это и осиротелые души, теряющее самое милое, и, полюбив эти осиротелые души, полюбив лирически переживать их сиротские потери, как свои, Ахматова именно из этих сиротских потерь создала свои лучшие песни:

Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.

Эти песни так у нее и зовутся: “песенка о вечере разлук”, “песня последней встречи”, “песнь прощальной боли”. Быть сирой и слабой, не иметь ни сына, ни любовника, ни белого дома, ни Музы, (ибо “Муза ушла по дороге”) – такова художническая прихоть Ахматовой. Изо всех мук сиротства она особенно облюбовала одну: муку безнадежной любви. Я люблю, но меня не любят; меня любят, но я не люблю, – это была главная ее специальность. В этой области с нею еще не сравнился никто. У нее был величайший талант чувствовать себя разлюбленной, нелюбимой, нежеланной, отверженной. Первые стихи в ее “Четках” повествовали об этой унизительной боли. Тут новая небывалая тема, внесенная ею в нашу поэзию. Она первая обнаружила, что быть нелюбимой поэтично, и, полюбив говорить от лица нелюбимых, создала целую вереницу страдающих,

почернелых от неразделенной любви, смертельно тоскующих, которые то «бродят как потерянные», то заболевают от горя, то вешаются, то бросаются в воду. Порою они проклинают любимых, как своих врагов и мучителей:

…Ты наглый и злой…
…О как ты красив, проклятый…
…Ты виновник моего недуга…

но все же любят свою боль, упиваются ею, носят ее в себе, как святыню, набожно благословляют ее».

В дни выхода «Четок» нас пригласила к себе издательница «Северных записок» эсерка Чайкина (я была в том синем платье, в котором меня изобразил Альтман). У нее собралось видимо-невидимо гостей. Около полночи начали прощаться. Одних хозяйка отпускала, других просила остаться. Потом все перешли в столовую, где был накрыт парадный стол, и мы оказались на банкете в честь только что выпущенных из Шлиссельбурга народовольцев. Я сидела с Л.К. (Леонид Каннегисер) против Германа Лопатина. Потом часто с ужасом вспоминала, как Л.К. сказал мне: «Если бы мне дали “Четки”, я бы согласился провести столько времени в тюрьме, как наш визави».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова; Николай Николаевич – Н.Н. Пунин, третий муж Ахматовой)

«Я никогда не любила видеть свои стихи в печати. Если на столе лежала книжка “Русской мысли” или “Аполлона” с моими стихами, я ее хватала и прятала. Мне это казалось неприличным, как если бы я забыла на столе чулок или бюстгальтер… А уже чтобы при мне читали мои стихи – просто терпеть не могла. Если Николай Николаевич или Левушка произносили при мне какую-нибудь мою строчку – я бросала в них тяжелым предметом».

* * *

Ф. К. Сологубу

Твоя свирель над тихим миром пела,

И голос смерти тайно вторил ей,
А я, безвольная, томилась и пьянела
От сладостной жестокости твоей.

16 марта 1912, Царское Село

Когда в 1912 году Вячеслав Иванов приехал в Петербург, он был у Сологуба на Разъезжей… Необычайно парадный вечер и великолепный ужин. В гостиной ко мне подошел Мандельштам и сказал: «Мне кажется, что один мэтр – зрелище величественное, а два – уже смешное».

* * *

Прекрасно все под нашим небом,
И камни гор, и нив цветы,
И вечным, справедливым Фебом
Опять обласканная, Ты.
И это нежное волненье,
Как в пламени Синайский куст,
Когда звучит стихотворенье —
Пчела над зыбким медом уст.
И кажется, что сердце вынет
Благочестивая жена
И милостиво нам подвинет,
Как чашу пьяного вина.

Март 1917, Ф.К. Сологуб

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я сказала, что поэты очень похожи на свои стихи. Например, Борис Леонидович [Пастернак]. Когда слышишь, как он говорит, понимаешь совершенную естественность, непридуманность его стихов. Они – естественное продолжение его мысли и речи.

– Борис Леонидович в самом деле очень похож, – согласилась Анна Андреевна. – А я? Неужели и я похожа?

– Вы? Очень.

– Это нехорошо, если так. Препротивно, если так. Но вот Блок был совсем не похож на свои стихи, и Федор Кузьмич тоже. Я хорошо знала Федора Кузьмича и очень дружила с ним. Он был человек замечательный, но трудный».

* * *

Косноязычно славивший меня
Еще топтался на краю эстрады.
От дыма сизого и тусклого огня
Мы все уйти, конечно, были рады.
Но в путаных словах вопрос зажжен,
Зачем не стала я звездой любовной,
И стыдной болью был преображен
Над нами лик жестокий и бескровный.
Люби меня, припоминай и плачь!
Все плачущие не равны ль пред Богом?
Мне снится, что меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.

16 ноября 1913

Поводом для написания стихотворения явилось, видимо, выступление Вольдемара Шилейко в «Бродячей собаке». Говорил он, как всегда, очень умно, но затейливо и непонятно. Гумилев называл странную речь своего лучшего друга «высоким косноязычием» («Высокое косноязычье тебе даруется, поэт»). Тем же высоким косноязычием отличалось и его поэтическое творчество. Вот как откликнулся Шилейко на первые посвященные ему стихи Анны Андреевны, взяв эпиграфом первую строку: «Косноязычно славивший меня…»:

Есть вера духа жадная, простая,
И верность сердца, взявшего свое,
Они вдвоем в другое бытие
Уводят мир, пути переплетая.
Но я не знал ни той свободной веры,
Ни этой скудной мудрости сердец.
Изгнанник неба, огненный гордец,
Я – косный камень. Только камень серый…

* * *

Высокие своды костела
Синей, чем небесная твердь…
Прости меня, мальчик веселый,

Что я принесла тебе смерть.
За розы с площадки круглой,
За глупые письма твои,
За то, что, дерзкий и смуглый,
Мутно бледнел от любви.
Я думала: ты нарочно —
Как взрослые хочешь быть.
Я думала: томно-порочных
Нельзя, как невест, любить.
Но всё оказалось напрасно.
Когда пришли холода,
Следил ты уже бесстрастно
За мной везде и всегда,
Как будто копил приметы
Моей нелюбви. Прости!
Зачем ты принял обеты
Страдальческого пути?
И смерть к тебе руки простерла…
Скажи, что было потом?
Я не знала, как хрупко горло
Под синим воротником.
Прости меня, мальчик веселый,
Совёнок замученный мой!
Сегодня мне из костела
Так трудно уйти домой.

Ноябрь 1913, Царское Село

Считается, что стихотворение «Высокие своды костела…» посвящено памяти Михаила Линдеберга, молодого офицера, застрелившегося 23 декабря 1913 года. Ахматова убедила себя, что виновна в этой катастрофе: знала, что юноша влюблен в нее, но, по легкомыслию молодости, не сделала ничего, чтобы предотвратить трагическую развязку.

Но, думается, не только этот случай лег в основу стихотворения.

В 1908 году Анна Горенко и Николай Гумилев расстались, как им казалось, навсегда. Николай Степанович вернулся в Париж, Анна уехала в Севастополь. Там и получила известие из Парижа: Коля пытался покончить с собой, врачи борются за его жизнь, но положение серьезное. Успокаивающая телеграмма пришла лишь через несколько дней…

Гибель юного поклонника не могла не вернуть Анну в те тревожные дни 1908 года, когда она, получив телеграмму о попытке Гумилева покончить с собой, почти неделю не знала, выживет ли ее Николай.

О том, что Линдеберг не является единственным героем этого стихотворения, свидетельствует несколько деталей. Во-первых, героиня оплакивает бедного влюбленного в костеле, тогда как Михаил был лютеранином и похоронен в лютеранской части Волкова кладбища. А вот как Гумилев восхищался католической храмовой архитектурой и в Италии, и в Польше. Он научил и Анну понимать ее высокую красоту. Кроме того, обращаясь мысленно к самоубийце, Ахматова называет его «веселым мальчиком». Но те же самые слова уже год как произнесены и подарены Гумилеву (которому она чуть было не принесла смерть!) – в поэтическом воспоминании об их первой встрече в Царском Селе: «Эти липы, верно, не забыли нашей встречи, мальчик мои веселый». И вряд ли это небрежность или забывчивость: Анна Андреевна верила в судьбоносность «странных сближений», в мистику роковых совпадений. А здесь и впрямь было что-то и мистическое и роковое. Аня Горенко и Коля Гумилев познакомились 24 декабря 1903 года. Почти в тот же самый день календаря – 23 декабря – застрелился Михаил Линдеберг. По воле рока две незабвенные даты совпали, слились в одно поэтическое переживание. Предположение (адресат стихотворения «Высокие своды костела…» – не только Линдеберг, но и Гумилев) подтверждает и такая подробность. Ахматова пишет: «Я не знала, как хрупко горло под синим воротником». Синий воротник – тоже гумилевская примета. Когда Анна и Николай в 1909 году, после его парижской попытки «самоубийства», снова встретились, он был уже студентом Петербургского университета и носил форменный мундир с высоким синим воротником. (См. в воспоминаниях С. К. Маковского: «Он (Н. Гумилев в 1909 го-ду. – А. М.) был в форме: в длинном студенческом сюртуке, “в талию”, с высоким темно-синим воротником по моде того времени».)

Когда вышли ахматовские «Четки», собравшие под своей обложкой стихи 1912–1914 гг., читатели, а особенно читательницы, стали гадать, кто же тот счастливец, к кому обращены любовные послания дамы в лиловеющих шелках. Тем, кто задавал этот вопрос лично ей, Анна Андреевна отвечала: многим! И по всей вероятности, не лукавила. У нее в те годы

действительно было много увлечений, да и в нее многие влюблялись: художник Сергей Судейкин, поэт и критик Николай Недоброво, граф Зубов. Нет-нет, она вовсе не считала, как некоторые поэты серебряного века, что и жизнь, и слезы, и любовь – всего лишь средство для ярко-певучих стихов. Однако уже догадалась: чем больше она, на опыте своего сердца, узнает о том, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят друг друга, тем лучше становятся ее стихи. Эту тайну («разгадку жизни моей») Анна никому не открывала, но Николай Недоброво, друг и возлюбленный, поэт и критик, загадку разгадал. В 1915-м он подарил Ахматовой такие стихи:

Как ты звучишь в ответ на все сердца,
Ты душами, раскрывши губы, дышишь,
Ты, в приближенье каждого лица,
В своей крови свирелье пенье слышишь!

В его программной статье о стихах Ахматовой (которую сама поэтесса считала лучшей из когда-либо написанных о ее творчестве) «разгадка» изложена на философским уровне:

«В разработке поэтики мужественности, которая помогла бы затем создать идеал вечномужественности и дать способ определять в отношении к этому идеалу каждый мужской образ, – путь женщины к религиозной ее равноценности с мужчиною, путь женщины в Храм.

Вот жажда этого пути, пока не обретенного, потому и несчастная любовь – есть та любовь, которою на огромной глубине дышит каждое стихотворение Ахматовой, с виду посвященное совсем личным страданиям. Это ли “несчастная любовь”?»

Г. Адамович. «Мои встречи с Ахматовой»

«Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический: Рашель в “Федре”, как в известном восьмистишии сказал Осип Мандельштам после одного из чтений в “Бродячей собаке”, когда она, стоя на эстраде, со своей “ложноклассической”, «спадавшей с плеч» шалью, казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг. Но первое мое впечатление было иное. Анна Андреевна почти непрерывно улыбалась, усмехалась, весело и лукаво перешептывалась с Михаилом Леонидовичем Лозинским, который, по-види-мому,

наставительно уговаривал ее держаться серьезнее, как подобает известной поэтессе, и внимательнее слушать стихи. На минуту-другую она умолкала, а потом снова принималась шутить и что-то нашептывать.

Правда, когда наконец попросили прочесть что-нибудь, она сразу изменилась, как будто даже побледнела: в “насмешнице”, в “царскосельской веселой грешнице” – как Ахматова на склоне лет сама себя охарактеризовала в «Реквиеме» – мелькнула будущая Федра. Но ненадолго. При выходе из семинария меня ей представили. Анна Андреевна сказала: “Простите, я, кажется, всем вам мешала сегодня слушать чтение. Меня скоро перестанут сюда пускать…” – и, обернувшись к Лозинскому, опять рассмеялась».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«В молодости я была очень общительна, любила гостей, любила и сама бывать в гостях. Коля Гумилев объяснял мою общительность так: Аня, оставаясь одна, без перерыва пишет стихи. Люди ей нужны, чтобы отдохнуть от стихов, а то она писала бы, никогда не отрываясь и не отдыхая».

Осенью 1913 года в жизни Анны Ахматовой произошло знаменательное событие. Александр Блок, с которым она была шапочно знакома уже два года, наконец-то выделил ее из стайки влюбленных в него молодых поэтесс. Анна Андреевна очень волновалась. И у нее были на то причины.

Когда в 1911 году в журнале «Аполлон» опубликовали ее стихотворение «Сероглазый король», не только читающая публика, но даже мать Блока решила, что стихи – признание в любви королю русской поэзии серебряного века. Между тем Анна Андреевна всегда весьма резко высказывалась о таких предположениях.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Андреевна об Эльге Каминской, актрисе, которая хотела читать со сцены стихи Блока и Ахматовой)

«Представьте, она спросила меня: правда ли, что “Сероглазый король” – это о Блоке и что Лева – сын Блока? Как вам это нравится? Но “Сероглазый король” написан за четыре месяца до того мгновения, когда Александр Александрович поклонился и сказал: “Блок”… Подумайте, какая развязность! Ведь я-то ее ни о

чем и ни о ком не спрашивала!»

Судя по письмам к С. Штейну, в гимназические годы Аня Горенко, как и киевская ее кузина Мария Александровна Змунчилла, испытывала заочную нежность к автору «Стихов о Прекрасной Даме». А вот с живым Блоком у Анны Андреевны Гумилевой отношения были крайне сложными, может быть, куда более сложными, чем те, что описаны Ахматовой в кратком очерке «Воспоминания об Александре Блоке». Этот текст Ахматова постоянно дополняла, уточняла, варьировала, а суть дополнений выразила в «Записных книжках» в такой формуле: «Написать “Восп<оминания>” о Блоке, который все предчувствовал и ничего не почувствовал».

Блок – Ахматова

В Петербурге осенью 1913 года, в день чествования в каком-то ресторане приехавшего в Россию Верхарна, на Бестужевских курсах был большой закрытый (т. е. только для курсисток) вечер. Кому-то из устроительниц пришло в голову пригласить меня…

На этот вечер приехали и дамы-патронессы, посвятившие свою жизнь борьбе за равноправие женщин. Одна из них, писательница Ариадна Владимировна Тыркова-Вергежская, знавшая меня с детства, сказала после моего выступления: «Вот Аничка для себя добилась равноправия».

В артистической я встретила Блока.

Я спросила его, почему он не на чествовании Верхарна. Поэт ответил с подкупающим прямодушием: «Оттого, что там будут просить выступать, а я не умею говорить по-французски».

К нам подошла курсистка со списком и сказала, что мое выступление после блоковского. Я взмолилась: «Александр Александрович, я не могу читать после вас». Он – с упреком – в ответ: «Анна Андреевна, мы не тенора». В это время он уже был известнейшим поэтом России. Я уже два года довольно часто читала мои стихи в «Цехе поэтов», и в «Обществе ревнителей художественного слова», и на «Башне» Вячеслава Иванова, но здесь все было совершенно по-другому…

Меня никто не знал, и, когда я вышла, раздался возглас: «Кто это?»

Блок посоветовал мне прочесть «Все мы бражники здесь…» Я стала отказываться: «Когда я читаю “Я надела узкую юбку” – смеются». Он ответил: “Когда я читаю “И пьяницы с глазами кроликов” – тоже смеются».

В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: «Ахматовой – Блок». (Вот: «Стихи о Прекрасной Даме».) А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: «Красота страшна, вам скажут…» У меня никогда не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу встречу за кулисами Большого Драматического театра весной 1921 года Блок подошел и спросил меня. «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него.

Блоковский поэтический портрет Ахматовой в испанской шали и в самом деле похож на эскиз театрального костюма Кармен, однако одну важную и, видимо, бросающуюся в глаза особенность ее поведения – сочетание внешней декоративности облика и внутренней простоты – Блок все-таки подметил:

* * *

«Красота страшна», – Вам скажут —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.
«Красота проста», – Вам скажут, —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.
Но рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:
«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

16 декабря 1913

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я сказала, что в детстве никак не могла понять, что означает стихотворение Блока, посвященное ей.

– А я и сейчас не понимаю. И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так. – Она сделала ладонями отстраняющее движение: “не тронь меня”».

(Говорит Анна Ахматова)

«…Я – виновница лучших стихов Асеева и худшей строки Блока: “Красный розан в волосах”. Сказал бы: “с красной розой” – уже красивее, правда? А то этот ужасающий, безвкусный розан.

– Я думаю, его смутило бы “с кр р”, – сказала я.

– Ничуть. Всё лучше, чем этот ужасающий розан».

Получив бандероль с подписанными сборниками и испанским мадригалом, Ахматова не без труда (с эпистолярной прозой у нее были весьма натянутые отношения) подобрала приличные случаю слова искренней благодарности.

Анна Ахматова – А.А. Блоку

Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.

Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.

Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу.)

Анна Ахматова. 6 или 7 января 1914 г. Петербург

К письму были приложены стихи, в которых Анна Андреевна опис ывает свой воскресный визит к Блоку 15декабря 1913 года.

* * *

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз
И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!
У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.
Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Лирический дуэт Поэта и Поэтессы был вскоре, по инициативе Блока, опубликован в журнале «Любовь к трем апельсинам».

А.А. Блок – Анне Ахматовой

Глубокоуважаемая Анна Андреевна!

Мейерхольд будет редактировать журнал под названием «Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при его студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин. Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала – Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается. Если вы согласны, пошлите стихотворение Мейерхольду (Площадь Маринского театра, 2) или напишите мне два слова, я его перепишу и передам…

Преданный Вам Александр Блок.

18 января 1914. (Санкт-Петербург)

В том же январе написан и еще один поэтический портрет хозяина просторной комнаты. Однако публиковать его Ахматова не стала. Ни при его жизни, ни при своей:

* * *

Ал. Блоку

Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвой и сухой.
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый – полунощника.
Но годы страшные пройдут,
Ты скоро снова будешь молод,
И сохраним мы тайный холод
Тебе отсчитанных минут.

1914

Впрочем, и Блок не ограничился открыто преподнесенным святочным подарком. 15 декабря 1913 года сразу же после завершения визита Анны Андреевны он написал такие стихи:

* * *

О, нет! не расколдуешь сердца ты
Ни лестию, ни красотой, ни словом.
Я буду для тебя чужим и новым,
Всё призрак, всё мертвец, в лучах мечты.
И ты уйдешь. И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.
Всё будет сном: что ты хоронишь тело,
Что ты стоишь три ночи в головах.
Упоена красивыми мечтами,
Ты укоризны будешь слать судьбе.
Украсишь ты нежнейшими цветами
Могильный холм, приснившийся тебе.
И тень моя пройдет перед тобою
В девятый день и в день сороковой —
Неузнанной, красивой, неживою.
Такой ведь ты искала? – Да, такой.
Когда же грусть твою погасит время,
Захочешь жить, сначала робко, ты
Другими снами, сказками не теми…
И ты простой возжаждешь красоты.
И он придет, знакомый, долгожданный,
Тебя будить от неземного сна.
И в мир другой, на миг благоуханный,
Тебя умчит последняя весна.
А я умру, забытый и ненужный,
В тот день, когда придет твой новый друг,
В тот самый миг, когда твой смех жемчужный
Ему расскажет, что прошел недуг.
Забудешь ты мою могилу, имя…
И вдруг – очнешься: пусто; нет огня;
И в этот час, под ласками чужими,
Припомнишь ты и призовешь – меня!
Как исступленно ты протянешь руки
В глухую ночь, о, бедная моя!
Увы! Не долетают жизни звуки
К утешенным весной небытия.
Ты проклянешь, в мученьях невозможных,
Всю жизнь за то, что некого любить!
Но есть ответ в стихах моих тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить.

15 декабря 1913

По-видимому, Блок эти стихи забраковал, видимо, как слишком интимные, и сделал другой «подарочный» вариант, сугубо светский. Знаменитый мадригал окончен 16 декабря.

В марте 1914 года, как только вышли «Четки», Анна Андреевна немедленно отослала их Блоку. С такой дарственной: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи».

Александр Блок – Анне Ахматовой

Многоуважаемая Анна Андреевна.

Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес Моей матери. А в доме у нее – болезнь, и вообще тяжело; сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски – подлинно.

Спасибо Вам.

Преданный Вам Александр Блок.

P. S. Оба раза, когда Вы звонили, меня действительно не было дома.

Точно так же Ахматова поступила, когда журнал «Аполлон» опубликовал ее «большую» поэму – «У самого моря». Дарственная надпись, впрочем, была лаконичной: «Александру Блоку – Анна Ахматова».

Александр Блок – Анне Ахматовой

14 марта 1916. Петроград

Многоуважаемая Анна Андреевна.

Хоть мне и очень плохо, ибо я окружен болезнями и заботами, все-таки мне приятно Вам ответить на посылку Вашей поэмы. Во-первых, поэму ужасно хвалили разные люди и по разным причинам, хвалили так, что я вовсе перестал в нее верить. Во-вторых, много я видел сборников стихов, авторов «известных» и «неизвестных»; всегда почти – посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо; следующая стадия – что я стихов не люблю; следующая – что стихи вообще – занятие праздное; дальше – начинаешь уже всем об этом говорить громко. Не знаю, испытали ли Вы такие

чувства; если да – то знаете, сколько во всем этом больного, лишнего груза.

Прочтя Вашу поэму, я опять почувствовал, что стихи я все равно люблю, что они – не пустяк, и много такого – отрадного, свежего, как сама поэма. Все это – несмотря на то, что я никогда не перейду через Ваши «вовсе не знала», «у самого моря», «самый нежный, самый кроткий» (в «Четках»), постоянные «совсем» (это вообще не Ваше, общеженское, всем женщинам этого не прощу). Тоже и «сюжет»: не надо мертвого жениха, не надо кукол, не надо «экзотики», не надо уравнений с десятью неизвестными; надо еще жестче, неприглядней, больнее. – Но все это – пустяки, поэма настоящая, и Вы – настоящая. Будьте здоровы, надо лечиться.

Преданный Вам Ал. Блок.

Летом 1914 года я была у мамы в Дарнице, под Киевом. В начале июля я поехала к себе домой, в деревню Слепнево, через Москву. В Москве сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то, у какой-то пустой платформы, паровоз тормозит, бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором неожиданно вырастает Блок. Я вскрикиваю: «Александр Александрович!» Он оглядывается и, так как он был не только великим поэтом, но и мастером тактичных вопросов, спрашивает: «С кем вы едете?» Яуспеваю ответить: «Одна». Поезд трогается.

Сегодня, через 51 год, открываю «Записную книжку» Блока и под 9 июля 1914 года читаю: «Мы с мамой ездили осматривать санаторию за Подсолнечной. – Меня бес дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде».

Мы втроем (Блок, Гумилев и я) обедаем (5 августа 1914 г.) на Царскосельском вокзале в первые дни войны (Гумилев уже в солдатской форме). Блок в это время ходит по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

…И снова я уже после Революции (21 января 1919 г.) встречаю в театральной столовой исхудалого Блока с сумасшедшими глазами, и он говорит мне: «Здесь все встречаются, как на том свете».

Корней Иванович Чуковский. «Дневник»

«Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из “Всемирной”. Первый раз вижу их обоих вместе…

Замечательно – у Блока лицо непроницаемое – и только движется, все время зыблется, “реагирует” что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но там было высказано много».

Лидия Чуковская

«Всякий раз, заговорив о Блоке, она торопится признать его великим поэтом, но заключает какою-нибудь колкостью».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«В Блоке жили два человека: один – гениальный поэт, провидец, пророк Исайя; другой – сын и племянник Бекетовых и Любин муж. “Тете нравится…” “Маме не нравится…” “Люба сказала…” А Люба была круглая дура. Почему Пушкин никогда не сообщал никому, что сказала Наталия Николаевна? Блок был в Париже и смотрел на город и на искусство глазами Любы и тети… Какой позор!»

«Разговор о Блоке.

– Когда я с ним познакомилась – в 1911 году он уже ничуть не скрывал своего презрения к людям и того, что они ему ни для чего не требуются… И все же, до опубликования дневников, никто не представлял себе, какая в нем жила брезгливость, желчь… Дневники были для нас как молния, как удар грома. Кроме того, мы не знали, до какой степени он был поглощен семейной трагедией…

– Стыдно всё же: заблудился в трех соснах – во вражде баб: жены и матери».

«…она заговорила о Блоке и Любови Дмитриевне.

– Какая страшная у них была жизнь! Это стало видно из Дневника, да и раньше видно было. Настоящий балаган, другого слова не подберешь. У него – роман за романом. Она то и дело складывает чемоданы и отправляется куда-нибудь с очередным молодым человеком. Он сидит один в квартире, злится, тоскует. Пишет в Дневнике: “Люба! Люба!” Она возвращается – он счастлив, – но у него в это время роман с Дельмас. И так все время. Почему бы не разойтись? Быть может, у нее было бы обыкновенное женское счастье… Нет, я вообще и всегда за развод, – закончила она многозначительно.

…Я полагаю, Блок вообще дурно, неуважительно относился к женщинам. У меня никогда не было и тени романа с Блоком (я

очень удивилась, я всегда думала, что “мой знаменитый современник” – это он), – но я кое-что знаю случайно о его романах… Мне рассказывали две женщины в разное время историю свою с ним – в сущности, одну и ту же… Обе молодые и красивые… Одна была у него в гостях, поздно, в пустой квартире… другая – в “Бродячей собаке”… Обе из породы женщин-соблазнительниц… А он в последнюю минуту оттолкнул их: “Боже… уже рассвет… прощайте-прощайте…”

– Ну, эти истории дурно характеризуют скорее их, чем его, – сказала я.

– Да, конечно… Но, встречаясь постоянно с такими вот дамами, он научился неуважительно думать обо всех подряд».

«Мне ясно по стихам “…На левом берегу Невы // Мой знаменитый современник”, что она была влюблена и в Блока (что всю жизнь энергично отрицала), который тоже, судя по “Поэме”, любил Судейкину… Сколько у нее было любовных неудач. У нее!»

…Мы пошли к Ремизовым передать рукописные книги Скалдина (Ольга и я). Не достучались. Через несколько часов там уже была засада – они накануне бежали за границу. На обратном пути во дворце Фонт<анки>, 18 встретили Тамару Персиц. Она плакала – умер Блок…

В гробу лежал человек, которого я никогда не видела. Мне сказали, что это Блок. Над ним стоял солдат – старик седой, лысый, с безумными глазами. Я спросила: «Кто это?» – «Андрей Белый». Панихида. Ершовы (соседи) рассказывали, что он от боли кричал так, что прохожие останавливались под окнами.

Хоронил его весь город, весь тогдашний Петербург или, вернее, то, что от него осталось. Справлявшие на кладбище престольный праздник туземцы непрерывно спрашивали нас: «Кого хороните?»

В церкви на заупокойной обедне было теснее, чем бывает у Пасхальной заутрени. И непрерывно все [было] происходило, как в стихах Блока. Это тогда все заметили и потом часто вспоминали…

Стихотворение «Он прав – опять фонарь, аптека…» – первая часть посвященного Блоку триптиха, «Пора забыть верблюжий этот гам…» – вторая; «И в памяти черной пошарив, найдешь…» – третья.

1

Пора забыть верблюжий этот гам
И белый дом на улице Жуковской.

Пора, пора к березам и грибам,
К широкой осени московской.
Там все теперь сияет, все в росе,
И небо забирается высоко,
И помнит Рогачевское шоссе
Разбойный посвист молодого Блока…

2

И в памяти черной пошарив, найдешь
До самого локтя перчатки,
И ночь Петербурга. И в сумраке лож
Тот запах и душный, и сладкий.
И ветер с залива. А там, между строк,
Минуя и ахи, и охи,
Тебе улыбнется презрительно Блок —
Трагический тенор эпохи.

3

Он прав – опять фонарь, аптека,
Нева, безмолвие, гранит…
Как памятник началу века,
Там этот человек стоит —
Когда он Пушкинскому Дому,
Прощаясь, помахал рукой
И принял смертную истому
Как незаслуженный покой.

1944–1960

Заключительной главой ахматовской «Блокианы» стал портрет человека-эпохи в окончательной редакции «Поэмы без героя» (1962):

Как парадно звенят полозья,
И волочится полость козья…
Мимо, тени! – Он там один.
На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин.
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице —
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —

Все таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?
И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы, —
И в каких хрусталях полярных,
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты – Невы.

1914

…Все считают меня украинкой. Во-первых, оттого, что фамилия моего отца Горенко, во-вторых, оттого, что я родилась в Одессе и кончила Фундуклеевскую гимназию, в-третьих, и главным образом, потому, что Н.С.Гумилев написал: «Из города Киева из логова Змиева я взял не жену, а колдунью…» (1910). А в Киеве я жила меньше, чем в Ташкенте (1941–1944, во время эвакуации). Одну зиму, когда кончала Фундуклеевскую гимназию, и две зимы, когда была на Высших женских курсах. Но невнимание людей друг к другу не имеет предела…

Формально, отрицая свое «украинство», Ахматова права, однако обстоятельства складывались так, что и после возвращения в Царское Село она продолжала часто ездить в Киев – и летом, и зимой, на Рождество; там жили ее родные: мать, брат, тетка… И стихов о Киеве у нее куда больше, чем, скажем, о Москве. Голос памяти возвратит ее в Киев и в сентябре 1921 года; именно здесь, а не в Петербурге, она как бы отслужит панихиду об убиенном Гумилеве:

Гулом полны алтари и склепы,
И за Днепр широкий звон летит.
Так тяжелый колокол Мазепы
Над Софийской площадью гудит.
Все грозней бушует, непреклонный,
Словно здесь еретиков казнят…

21 сентября 1921

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Милая Аничка, думал получить твое письмо на Царск[осельском] вок[зале], но не получил. Что, ты забыла меня или тебя уже нет в Дережне? Мне страшно надоела Либава, и вот я в Териоках. Здесь поблизости Чуковский, Евреинов, Кульбин, Лозинский, но у последнего не сегодня завтра рождается ребенок. Есть театр, в театре Гибшман, Сладкопевцев, Л. Д. Блок, директор театра Мгебров (офицер).

У Чуковского я просидел целый день; он читал мне кусок своей будущей статьи об акмеизме, очень мило и благожелательно. Но ведь это только кусок и, конечно, собака

зарыта не в нем! Вчера беседовал с Маковским, долго и бурно. Мы то чуть не целовались, то чуть не дрались. Кажется, однако, что он будет стараться устроить беллетристический отдел и еще разные улучшения. Просил сроку до начала августа. Увидим! Я пишу новое письмо о русской поэзии – Кузмин, Бальмонт, Бородаевскнй, может быть, кто-нибудь еще. Потом статью об африканском искусстве. Пру бросил. Жду, что запишу стихи.

Меланхолия моя, кажется, проходит. Пиши мне, милая Аничка, по адресу Териоки (Финляндия), кофейня «Идеал», мне. В этой кофейне за рубль в день я снял комнату, правда, не плохую.

Значит, жду письма, а пока горячо целую тебя

Твой Коля.

Целую ручки Инне Эразмовне.

10 июля 1914

Анна Ахматова – Николаю Гумилеву

Милый Коля, мама переслала мне сюда твое письмо. Сегодня уже неделя, как я в Слепневе.

Становится скучно, погода испортилась, и я предчувствую раннюю осень. Целые дни лежу у себя на диване, изредка читаю, но чаще пишу стихи. Посылаю тебе одно сегодня, оно кажется имеет право существовать. Думаю, что нам будет очень трудно с деньгами осенью. У меня ничего нет, у тебя, наверно, тоже. С «Аполлона» получишь пустяки. А нам уже в августе будут нужны несколько сот рублей. Хорошо, если с «Четок» что-нибудь получим. Меня это все очень тревожит. Пожалуйста не забудь, что заложены вещи. Если возможно, выкупи их и дай кому-нибудь спрятать.

Будет ли Чуковский читать свою статью об акмеизме как лекцию? Ведь он и это может. С недобрым чувством жду июльскую «Русскую мысль». Вероятнее всего, там свершит надо мною страшную казнь Valère. Но думаю о горчайшем, уже перенесенном, и смиряюсь.

Пиши, Коля, и стихи присылай. Будь здоров, милый!

Целую

Твоя Анна

Левушка здоров и все умеет говорить.

17 июля 1914. Слепнево

…Я не касаюсь тех особенных, исключительных отношений, той непонятной связи, ничего общего не имеющей ни с влюбленностью, ни с брачными отношениями, где я называюсь «тот другой» («И как преступен он, суровый»), который «положит посох, улыбнется и просто скажет: «Мы пришли». Для обсуждения этого рода отношений действительно еще не настало время. Но чувство именно этого порядка заставило меня в течение нескольких лет (1925–1930) заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Г<умиле>ва.

Этого не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики (Георгий Иванов). Три раза в одни сутки я видела Н<иколая> С<тепановича> во сне, и он просил меня об этом (1924. Казанская, 2).

Невнимание критиков (и читателей) безгранично. Что они вычитывают из молодого Гумилева, кроме озера Чад, жирафа, капитанов и прочей маскарадной рухляди? Ни одна его тема не прослежена, не угадана, не названа. Чем он жил, к чему шел? Как случилось, что из всего вышеназванного образовался большой замечательный поэт, творец «Памяти», «Шестого чувства», «Трамвая» и т<ому> п<одобных> стихотворений? Фразы вроде «Ялюблю только «Огненный столп», отнесение стих<отворения> «Рабочий» к годам Революции и т. д. Ввергают меня в полное уныние, а их слышишь каждый день.

В сущности, никто не знает, в какую эпоху он живет. Так и мы не знали в начале 10-х годов, что жили накануне первой европейской войны и Октябрьской революции. Увы!

…По сравнению с аляповатым первым десятилетием 10-е годы – собранное и стройное время. Судьба остригла вторую половину и выпустила при этом много крови (война 1914 года).

Кто-то сказал мне: «Те, кого вы встречали в Париже в 1910–1911 годах, и были последние французы. Их всех убили под Верденом и на Марне». Потом я прочла это в Le Sursis Сартра.

Хороши были и те, кто в 1917 году летом поехали играть в теннис на крымские курорты. Они до сих пор не вернулись. Сильно затянувшийся game! Как страшны эти оборванные биографии.

…XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют.

Июль 1914

1
Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.
Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».

2
Можжевельника запах сладкий
От горящих лесов летит.
Над ребятами стонут солдатки,
Вдовий плач по деревне звенит.
Не напрасно молебны служились,
О дожде тосковала земля:
Красной влагой тепло окропились
Затоптанные поля.
Низко, низко небо пустое,
И голос молящего тих:
«Ранят тело твое пресвятое,
Мечут жребий о ризах твоих».

20 июля, Слепнево

Памяти 19 июля 1914

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.
Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня…

Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.
Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей – опустевшей – приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

10 июля 1916, Слепнево

В слепневском доме стоял плач. Анна Ивановна, рыдая, убеждала сына: Коля как главный кормилец в семье и к тому же белобилетник, медицинской комиссией от мобилизации освобожденный, не должен идти на войну, а Николай твердил, что запишется добровольцем. Левушка, испуганный, почему все плачут – и баба Аня, и мама Аня, и тетя Саша, жался к отцу: Николай Степанович держался так, как будто ничего не произошло. Через неделю, неделю отсрочки Анна Ивановна с помощью внука выплакала-таки у сына, молодые Гумилевы уехали. Николай Степанович, проявив чудеса изобретательности (в первые дни войны освобожденных медкомиссией еще браковали), поступил добровольцем, и именно туда, куда хотел: рядовым в лейб-гвардии Уланский полк.

Первый год войны сблизил супругов Гумилевых. Анна Андреевна писала мужу на фронт ласковые письма. А также стихи.

* * *

Будем вместе, милый, вместе,
Знают все, что мы родные,
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.
Где венчались мы – не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.
А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?

Весна 1915, Петербург

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Дорогая Аничка (прости за кривой почерк, только что работал пикой на коне – это утомительно), поздравляю тебя с победой. Как я могу рассчитать, она имеет громадное значение, и, может быть, мы Новый год встретим как прежде в Собаке. У меня вестовой, очень расторопный, и, кажется, удастся закрепить за собой коня, высокого, вороного, зовущегося Чернозем. Мы оба здоровы, но ужасно скучаем. Ученье бывает два раза в день часа по полтора, по два, остальное время совершенно свободно. Но невозможно чем-нибудь заняться, т. е. писать, потому что от гостей (вольноопределяющихся и охотников) нет отбою. Самовар не сходит со стола, наши шахматы заняты двадцать четыре часа в сутки, хотя люди в большинстве случаев милые, но все же это уныло.

Только сегодня мы решили запираться на крючок, не знаю, поможет ли. Впрочем, нашу скуку разделяют все и мечтают о походе, как о царствии небесном. Я уже чувствую осень и очень хочу писать. Не знаю, смогу ли.

Крепко целую тебя, маму и Леву и всех.

Твой Коля.

До 6 сент. 1914. Кречевицкие казармы под Новгородом

* * *

Пустых небес прозрачное стекло,
Большой тюрьмы белесое строенье
И хода крестного торжественное пенье
Над Волховом, синеющим светло.
Сентябрьский вихрь, листы с березы свеяв,
Кричит и мечется среди ветвей,
А город помнит о судьбе своей:
Здесь Марфа правила и правил Аракчеев.

Сентябрь 1914

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Дорогая моя Аничка, я уже в настоящей армии, но мы пока не сражаемся, и когда начнем, неизвестно. Все-то приходится ждать, теперь, однако, уже с винтовкой в руках и отпущенной шашкой. И я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая «собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику». Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоем обещании быстро дописать твою поэму и придать ее мне. Право, я по ней скучаю. Я написал стишок, посылаю его тебе, хочешь продай, хочешь читай кому-нибудь. Я здесь утерял критические способности и не знаю, хорош он или плох.

Пиши мне в 1-ю действ. армию, в мой полк, эскадрон Ее Величества. Письма, оказывается, доходят очень и очень аккуратно.

Я все здоровею и здоровею: все время на свежем воздухе (а погода прекрасная, тепло), скачу верхом, а по ночам сплю как убитый.

Раненых привозят не мало, и раны все какие-то странные: ранят не в грудь, не в голову, как описывают в романах, а в лицо, в руки, в ноги. Под одним нашим уланом пуля пробила седло как раз в тот миг, когда он приподнимался на рыси; секунда до или после, и его бы ранило.

Сейчас случайно мы стоим в таком месте, откуда легко писать. Но скоро, должно быть, начнем переходить, и тогда писать будет труднее. Но вам совершенно не надо беспокоиться, если обо мне не будет известий. Трое вольноопределяющихся знают твой адрес и, если со мной что-нибудь случится, напишут тебе немедленно. Так что отсутствие писем будет обозначать только то, что я в походе, здоров, но негде и некогда писать. Конечно, когда будет возможно, я писать буду.

Целую тебя, моя дорогая Аничка, а также маму, Леву и всех. Напишите Коле маленькому, что после первого боя я ему напишу.

Твой Коля.

Около 10 октября 1914, Россиены

1915–1916

Я написала его в 1915 году, весной, когда Н. С. лежал в лазарете. Я шла к нему и на Троицком мосту придумала его. И сразу же в лазарете прочитала его Н.С. Яне хотела его печатать, говорила – отрывок, а Н.С. посоветовал именно так напечатать.

Колыбельная

Далеко в лесу огромном,
Возле синих рек,
Жил с детьми в избушке темной
Бедный дровосек.

Младший сын был ростом с пальчик,
Как тебя унять,
Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,
Я дурная мать.

Долетают редко вести
К нашему крыльцу,
Подарили белый крестик
Твоему отцу.
Было горе, будет горе,
Горю нет конца,
Да хранит святой Егорий
Твоего отца.

1915

* * *

Думали: нищие мы, нету у нас ничего,
А как стали одно за другим терять,
Так, что сделался каждый день
Поминальным днем, —
Начали песни слагать
О великой щедрости Божьей
Да о нашем бывшем богатстве.

Той же весной врачи обнаружили у Анны Андреевны очаг туберкулеза в легких и запретили подходить к сыну.

* * *

Буду тихо на погосте
Под доской дубовой спать,
Будешь, милый, к маме в гости
В воскресенье прибегать —
Через речку и по горке,
Так что взрослым не догнать,
Издалека, мальчик зоркий,
Будешь крест мой узнавать.
Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать.

Осенью она лечилась в Финляндии. Болезнь отступила.

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Дорогая Аничка, пишу тебе и не знаю, в Слепневе ли ты или уже уехала. Когда поедешь, пиши мне с дороги, мне очень интересно, где ты и что делаешь.

Мы все воюем, хотя теперь и не так ожесточенно. За 6-е и 7-е наша дивизия потеряла до 300 человек при 8 офицерах, и нас перевели верст за пятнадцать в сторону. Здесь тоже беспрерывные бои, но много пехоты и мы то в резерве у нее, то занимаем полевые караулы и т. д.

Здесь каждый день берут по нескольку сот пленных, все германцев, а уж убивают без счету, здесь отличная артиллерия и много снарядов. Солдаты озверели и дерутся прекрасно.

По временам к нам попадают газеты, все больше «Киевская Мысль», и не очень поздняя, сегодня, например, от 14-го.

Погода у нас неприятная: дни жаркие, ночи холодные, по временам проливные дожди. Да и работы много – вот уж 16 дней ни одной ночи не спали полностью, все урывками. Но, конечно, несравнимо с зимой.

Я все читаю Илиаду: удивительно подходящее чтенье. У ахеян тоже были и окопы и загражденья и разведка. А некоторые описанья, сравненья и замечанья сделали бы честь любому

модернисту. Нет, не прав был Анненский, говоря, что Гомер как поэт умер.

Помнишь, Аничка, ты была у жены полковника Маслова, его только что сделали флигель-адъютантом.

Целую тебя, моя Аня, целуй маму, Леву и всех: погладь Молли.

Твой всегда Коля.

Курры и гуси!

16 июля 1915. Лушков

* * *

Тот август, как желтое пламя,
Пробившееся сквозь дым,
Тот август поднялся над нами,
Как огненный серафим.

И в город печали и гнева
Из тихой Корельской земли
Мы двое – воин и дева —
Студеным утром вошли.

Что сталось с нашей столицей,
Кто солнце на землю низвел?
Казался летящей птицей
На штандарте черный орел.

На дикий лагерь похожим
Стал город пышных смотров,
Слепило глаза прохожим
Сверканье пик и штыков.

И серые пушки гремели
На Троицком гулком мосту,
А липы еще зеленели
В таинственном Летнем саду.

И брат мне сказал: «Настали
Для меня великие дни.
Теперь ты наши печали
И радость одна храни».

Как будто ключи оставил
Хозяйке усадьбы своей,
А ветер восточный славил
Ковыли приволжских степей.

1915

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Дорогая Аничка, сейчас получил твое и мамино письмо от 16-го, спасибо, что вы мне так часто пишете. Письма идут, оказывается, десять дней. На твоем письме есть штемпель «просм. военной цензурой».

У нас уже несколько дней все тихо, никаких боев нет. Правда, мы отошли, но немец мнется на месте и боится идти за нами.

Ты знаешь, я не шовинист. И однако я считаю, что сейчас, несмотря на все отходы, наше положенье ничем не хуже, чем в любой из прежних моментов войны. Мне кажется, я начинаю понимать, в чем дело, и больше чем когда-либо верю в победу.

У нас не жарко, изредка легкие дожди, в общем, приятно. Живем мы сейчас на сеновале и в саду, в хаты не хочется заходить, душно и грязно. Молока много, живности тоже, беженцы продают очень дешево. Я каждый день ем то курицу, то гуся, то поросенка, понятно, все вареное. Папирос, увы, нет и купить негде. Ближайший город верст за восемь-десять. Нам прислали махорки, но нет бумаги. Это грустно.

Стихи твои, Аничка, очень хороши, особенно первое, хотя в нем есть неверно взятые ноты, напр. стр[ока] 5-я и вся вторая строфа; зато последняя строфа великолепна; только [это не] описка? «Голос Музы еле слышный…» Конечно, «ясно или внятно слышный» надо было сказать. А еще лучше «так далеко слышный».

Второе стихотворенье или милый пустячок (размер его чет. хорей говорит за это), или неясно. Вряд ли героине поручалось беречь душу от Архангела. И тогда 9-я и 10-я строчки возбуждают недоуменье.

В первом стихотворении очень хороша (что ново для тебя) композиция. Это мне доказывает, что ты не только лучшая русская поэтесса, но и просто крупный поэт.

Пожалуйста, не уезжай, не оставив твоего точного адреса в Слепневе, потому что я могу приехать неожиданно и хочу знать, где тебя найти. Тогда я с дороги запрошу телеграммой «где

Аня?», и тогда ответьте мне телеграммой же в Петербург, Николаевский вокзал, до востребованья, твой адрес.

Целую тебя, маму, Леву.

Пожалуйста, скучай как можно меньше и уж вовсе не хворай.

Маме я писал 10-го.

Получила ли она?

Твой всегда Коля.

25 июля 1915. Столенские Столяры

* * *

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый…
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит, и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.
А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

1915

* * *

Не хулил меня, не славил,
Как друзья и как враги.
Только душу мне оставил
И сказал: побереги.

И одно меня тревожит:
Если он теперь умрет,
Ведь ко мне Архангел Божий

За душой его придет.

Как тогда ее я спрячу,
Как от Бога утаю?
Та, что так поет и плачет,
Быть должна в Его раю.

1915

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Дорогая моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем – забыла меня. Я скромно держу экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три; остаются еще только четыре (из 15-ти), но среди них артиллерия – увы! Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы выдержать у меня все-таки есть.

Лозинский сбрил бороду, вчера я был с ним у Шилейки – пили чай и читали Гомера. Адамович с Г. Ивановым решили устроить новый цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе едва будет.

Я ничего не пишу (если не считать двух рецензий для Биржи), после экзаменов буду писать (говорят, мы просидим еще месяца два). Слонимская на зиму остается в Крыму, марионеток не будет. После экзаменов попрошусь в отпуск на неделю и, если пустят, приеду к тебе. Только пустят ли? Поблагодари Андрея за письмо. Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг.

Целую тебя, моя Анечка, кланяйся всем.

Твой Коля.

1 октября 1916

Перемирие, которое в связи с войной заключили Ахматова и Гумилев, длилось, увы, не более года. Первой нарушила данное мужу слово («будем вместе, милый, вместе») Анна Андреевна. Она вдруг безоглядно влюбилась – и не слегка, как бывало в пору головокружительных поэтических триумфов, когда уставала считать своих «пленников», а слишком. Борис Васильевич Анреп был давним, с гимназических лет, приятелем Николая Владимировича Недоброво. Тот и представил их друг другу, сначала заочно (отослав Борису «Четки»), а потом и лично.

Анна Андреевна познакомилась с Борисом Васильевичем Анрепом в доме Николая Владимировича Недоброво, в Царском

Селе в 1915 го- ду; дня не запомнила, но то, что случилось это Великим постом, помнила до старости. Явление заморского гостя (Анреп жил в Англии) совпало с выходом в свет ее поэмы «У самого моря», и Ахматова вообразила, что в поэме о любви дикой девочки к царевичу, который должен приплыть к ней из-за десяти морей, она предсказала себе и эту безответную любовь, и ту роковую встречу. Анрепу посвящено большинство стихотворений Ахматовой, созданных в период с 1915 по 1921 год. Стихи к «царевичу» составляют основу двух ее книг: «Белая стая» (сентябрь 1917) и «Подорожник» (апрель 1921).

Борису Анрепу подарена и «Песенка». Ахматова посвящала Анрепу стихи и позже. «Песенка» – единственный в ее поэзии акростих. В отличие от Гумилева, Анна Андреевна не жаловала этот искусственный, салонный жанр.

Песенка

Бывало, я с утра молчу
О том, что сон мне пел.
Румяной розе и лучу
И мне – один удел.
С покатых гор ползут снега,
А я белей, чем снег,
Но сладко снятся берега
Разливных мутных рек.
Еловой рощи свежий шум
Покойнее рассветных дум.

5 марта 1916

Борис Васильевич Анреп, правовед по образованию, увлекся живописью и, чтобы переменить судьбу, в 1908 году уехал из Петербурга в Париж. Овладев секретами византийских мозаик, он стал профессиональным художником и добился признания, а со временем и крупных заказов, правда, не во Франции, а в Англии. Писал Анреп и стихи, правда, весьма топорные. Необычайно высоким ростом, жизнерадостностью, неистребимым донжуанством, странной смесью беззаботной отваги и практичности Борис Васильевич фон Анреп напоминал Анне отца, такого, каким Андрей Антонович Горенко был в ее детские годы.

Милому

Голубя ко мне не присылай,
Писем беспокойных не пиши,
Ветром мартовским в лицо не вей.
Я вошла вчера в зеленый рай,
Где покой для тела и души.
Под шатром тенистых тополей.
И отсюда вижу городок,
Будки и казармы у дворца,
Надо льдом китайский желтый мост.
Третий час меня ты ждешь – продрог,
А уйти не можешь от крыльца
И дивишься, сколько новых звезд.
Серой белкой прыгну на ольху,
Ласочкой пугливой пробегу,
Лебедью тебя я стану звать,
Чтоб не страшно было жениху
В голубом кружащемся снегу
Мертвую невесту поджидать.

27 февраля 1915

* * *

Нет, царевич, я не та,
Кем меня ты видеть хочешь,
И давно мои уста
Не целуют, а пророчат.
Не подумай, что в бреду
И замучена тоскою,
Громко кличу я беду:
Ремесло мое такое.
А умею научить,
Чтоб нежданное случилось,
Как навеки приручить
Ту, что мельком полюбилась.
Славы хочешь? – у меня
Попроси тогда совета,
Только это – западня,
Где ни радости, ни света.
Ну, теперь иди домой

Да забудь про нашу встречу,
А за грех твой, милый мой,
Я пред Господом отвечу.

10 июля 1915, Слепнево

Не только в этом стихотворении, но и в разговорах с Павлом Николаевичем Лукницким Ахматова не раз называла Бориса Анрепа царевичем. Она тогда считала, что царевичем в поэме «У самого моря» (1914–1915) предсказала себе встречу с настоящим царевичем, который появился позднее.

По-видимому, она знала легенду, бытовавшую в семействе фон Анрепов. Согласно этой легенде, Анрепы стали набирать силу после того, как Екатерина Великая выдала за одного из молодцов небогатого, служилого шведско-эстонского рода свою внебрачную дочь, присовокупив к свадебным цацкам огромное имение в Самарской губернии. Кроме того, по капризу судьбы царицын прапраправнук прожил отроческие годы в настоящем царском дворце, том самом, который Потемкин выстроил для его прапрапрабабки в Харькове и где за сто лет ничего не изменилось, не исчезли даже золотые обеденные тарелки (с алмазами и рубинами).

* * *

Ты мне не обещан ни жизнью, ни Богом,
Ни даже предчувствием тайным моим.
Зачем же в ночи перед темным порогом
Ты медлишь, как будто счастьем томим?
Не выйду, не крикну: «О, будь единым,
До смертного часа будь со мной!»
Я только голосом лебединым
Говорю с неправедною луной.

1915

Б. А

Как белый камень в глубине колодца,
Лежит во мне одно воспоминанье.
Я не могу и не хочу бороться:

Оно – веселье и оно – страданье.
Мне кажется, что тот, кто близко взглянет
В мои глаза, его увидит сразу.
Печальней и задумчивее станет
Внимающего скорбному рассказу.
Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья,
Чтоб вечно жили дивные печали.
Ты превращен в мое воспоминанье.

5 июня 1916, Слепнево

Ни Анреп, ни Ахматова не афишировали своих отношений, однако роман не остался тайной двоих. Так, строки «Все тот же вздох упруго жмет твои надломленные плечи о том, кто за морем живет и кто от родины далече», в посвященном Ахматовой стихотворении Есенина свидетельствуют, что об ее романе с живущим за морем человеком судачили не только в дружеском окружении, но и в более широких литературно-художественных кругах:

* * *

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.
А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.
Но омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Застегнут смуглою рукою.
Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.
И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!

Июнь 1916

Есенин и Ахматова познакомились 25 декабря 1915 года. Очарованный ее «Четками», Есенин, узнав, что Гумилев приехал с фронта в отпуск, упросил Николая Клюева нанести знаменитым царскоселам рождественский визит. Анна Андреевна встретила гостей дружелюбно и подарила «вербному отроку» (так называл Есенина Клюев) оттиск из журнала «Аполлон» с поэмой «У самого моря».

По странному совпадению, в том же 1916 году Цветаева написала посвященные Ахматовой стихи, где Анна Андреевна также предстает перед нами в образе богомолки, только не в розовом, а темном, «с цветиками» платке, и Марина Ивановна, как и Есенин, просит помолиться за нее:

В темном, с цветиками, платке
– Милости удостоиться —
Ты, потупленная в толпе
Богомолок у Сергий-Троицы.
Помолись за меня, краса,
Грустная и бесовская,
Как поставят тебя леса
Богородицею хлыстовскою.

В 1916-м Анна Ивановна Гумилева, продав дом в Царском Селе, осталась зимовать вместе с внуком в Слепневе. Ахматова, оказавшись без крыши над головой, уехала к родственникам в Севастополь. На этот раз любимый с детства юг не принес ей ни уюта, ни покоя… Она там смертно тосковала по скудной северной России, по ее темным таинственным селеньям.

* * *

Ни в лодке, ни в телеге
Нельзя попасть сюда.
Стоит на гиблом снеге
Глубокая вода;
Усадьбу осаждает
Уже со всех сторон…
Ах! близко изнывает
Такой же Робинзон.

Пойдет взглянуть на сани,
На лыжи, на коня,
А после на диване
Сидит и ждет меня,
И шпорою короткой
Рвет коврик пополам.
Теперь улыбки кроткой
Не видеть зеркалам.

Ноябрь 1916, Севастополь

«Сказка о черном кольце»

…После угрюмого военного Севастополя, где я задыхалась от астмы и мерзла в холодной наемной комнате, мне казалось, что я попала в какую-то обетованную страну. А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали революцию, которая была назначена на 20 января (в этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: «В день Русской Революции». Другой рисунок (сохранившийся) он надписал: «Солдатке Гумилевой от чертежника Альтмана»)…

Как и все «дворянские гнезда», Слепнево было конфисковано в 1918 году. Эту утрату Анна Андреевна перенесла гораздо болезненнее, чем продажу дома в Царском Селе. Тот, царскосельский, особнячок был всего лишь жилищем, а усадьба Слепнево – целым миром. Для нее, южанки и царскосельской дачницы, это была первая настоящая Россия. И притом родная, северная, поскольку ее предки по матери происходили из новгородских дворян.

В конце декабря 1916 г. Анна Андреевна вернулась из Севастополя на север. Она неожиданно встретила в Петрограде Гумилева, который воспользовался отпуском и приехал в столицу. В тот же день они вместе с Кузьминами-Караваевыми уехали в Слепнево. Анна Андреевна оставалась в Слепневе до середины января, ее муж вернулся в Петроград через два дня.

Сказка о черном кольце

1
Мне от бабушки-татарки
Были редкостью подарки;
И зачем я крещена,
Горько гневалась она.
А пред смертью подобрела
И впервые пожалела,
И вздохнула: «Ах, года!
Вот и внучка молода».
И, простивши нрав мой вздорный,
Завещала перстень черный.
Так сказала: «Он по ней,
С ним ей будет веселей».

2

Я друзьям моим сказала:
«Горя много, счастья мало», —
И ушла, закрыв лицо;
Потеряла я кольцо.
И друзья мои сказали:
«Мы кольцо везде искали,
Возле моря на песке
И меж сосен на лужке».
И, догнав меня в аллее,
Тот, кто был других смелее,
Уговаривал меня
Подождать до склона дня.
Я совету удивилась
И на друга рассердилась,
Что глаза его нежны:
«И на что вы мне нужны?
Только можете смеяться,
Друг пред другом похваляться
Да цветы сюда носить».
Всем велела уходить.

3

И, придя в свою светлицу,
Застонала хищной птицей,
Повалилась на кровать
Сотый раз припоминать:
Как за ужином сидела,
В очи темные глядела,
Как не ела, не пила
У дубового стола,
Как под скатертью узорной
Протянула перстень черный,
Как взглянул в мое лицо,
Встал и вышел на крыльцо…
Не придут ко мне с находкой!
Далеко над быстрой лодкой
Заалели небеса,
Забелели паруса.

1917–1936

Борис Васильевич Анреп «О черном кольце»

«…Революция Керенского. Улицы Петрограда полны народа. Кое-где слышны редкие выстрелы. Железнодорожное сообщение остановлено. Я мало думаю про революцию. Одна мысль, одно желание: увидеться с А. А. Она в это время жила на квартире проф. Срезневского, известного психиатра, с женой которого она была очень дружна…

Я перешел Неву по льду, чтобы избежать баррикад около мостов… Добрел до дома Срезневского, звоню, дверь открывает А. А. “Как, вы? В такой день? Офицеров хватают на улицах”. – “Я снял погоны”.

Видимо, она была тронута, что я пришел. Мы прошли в ее комнату. Она прилегла на кушетку. Мы некоторое время говорили о значении происходящей революции. Она волновалась и говорила, что надо ждать больших перемен в жизни. “Будет то же самое, что было во Франции во время Великой революции, будет, может быть, хуже”. – “Ну, перестанем говорить об этом”.

Мы замолчали. Она опустила голову. «Мы больше не увидимся. Вы уедете”. – “Я буду приезжать. Посмотрите: ваше кольцо”. Я расстегнул тужурку и показал ее черное кольцо на цепочке вокруг моей шеи. А.А. тронула кольцо. “Это хорошо, оно вас спасет…”

С первым поездом я уехал в Англию. Я долго носил кольцо на цепочке вокруг шеи».

* * *

Ты – отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни, и наши иконы,
И над озером тихим сосну.
Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?
Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.
Для чего ж ты приходишь и стонешь
Под высоким окошком моим?
Знаешь сам, ты и в море не тонешь,
И в смертельном бою невредим.
Да, не страшны ни море, ни битвы

Тем, кто сам потерял благодать.
Оттого-то во время молитвы
Попросил ты тебя поминать.

Июль 1917, Слепнево

Борис Анреп. «О черном кольце»

«Война кончилась. Большевики. Голод в России. Я послал две съестные посылки Анне Андреевне, и единственное известие, которое я получил о ней, была ее официальная карточка с извещением о получении посылки:

“Дорогой Борис Васильевич, спасибо, что меня кормите.

Анна Ахматова”.

Хотел писать, но меня предупредили, что это может ей повредить, и я оставил эту мысль».

Из-за границы он дважды посылал Анне Андреевне фотографии своей работы: одну черно-белую, другую – цветную.

Анатолий Найман

«…А. А. показывала фотографию – черно-белую – его многофигурной мозаики, выложенной на полу вестибюля Лондонской Национальной галереи». Моделью для Сострадания художник избрал Анну Ахматову: она, благословляемая ангелом, изображена среди руин блокадного Ленинграда».

Анреп и Ахматова снова встретились уже в старости, в 1965 году в Париже.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«“Белая Стая” посвящена Анрепу.

С ним она в свою поездку в Оксфорд встретилась в Париже. У него уже был инсульт. Он подарил ей платочек».

Гумилев отреагировал на увлечение жены так, как это было принято в их паре: ударом на удар.

Приехав в отпуск в сентябре 1916-го, Николай Степанович познакомился с Ларисой Рейснер, в ту пору начинающей поэтессой, и по обыкновению увлекся. Лариса, благоговевшая перед Ахматовой, смутилась. Она была девочкой из порядочной

семьи, еще не тронутой богемой. Но Николай Степанович объяснил, что он и Анна Андреевна только формально муж и жена, а вообще-то давно отпустили друг друга на волю. И хотя ни Гумилев, ни Рейснер чувств не афишировали, Анна Андреевна об этом узнала…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я спросила про Ларису.

– Я была как-то в “Привале” – единственный раз – и уже уходила. Иду к дверям через пустую комнату – там сидит Лариса. Я сказала ей: “До свидания!” – и пожала руку. Не помню, кто меня одевал, – кажется, Николай Эрнестыч, – одеваюсь, вдруг входит Лариса, две дежурные слезы на щеках: “Благодарю вас! Вы так великодушны! Я никогда не забуду, что вы первая протянули мне руку” – что такое? Молодая, красивая девушка, что за уничижение? Откуда я могла знать тогда, что у нее был роман с Николаем Степановичем? Да и знала бы – отчего же мне не подать ей руки?

В другое время, уже гораздо позже, она приходила ко мне исповедоваться. Я была тогда нища, голодна, спала на досках – совсем Иов… Потом я была у нее однажды по делу. Она жила тогда в Адмиралтействе: три окна на Медного всадника, три – на Неву. Домой она отвезла меня на своей лошади. По дороге сказала: “Я отдала бы все, все, чтобы быть Анной Ахматовой”. Глупые слова, правда? Что – все? Три окна на Неву?

– И подумать только, что когда мы все умрем, – закончила Анна Андреевна, – и я, и Лиля Юрьевна, и Анна Дмитриевна, – историки во всех нас найдут что-то общее, и мы все – и Лариса, и Зинаида Николаевна – будем называться: “женщины времени…” В нас непременно найдут общий стиль».

Павел Лукницкий «Встречи с Анной Ахматовой»

«О Ларисе Рейснер.

В 20-м году к АА пришла Над. Павлович, принесла ей мешок риса, который просила ее передать какая-то дама. (Тогда Над. Павлович не назвала ее.) Потом, вскоре, Над. Павлович пришла опять, сказала тогда, что этот мешок риса – от Ларисы Рейснер и что Лариса Рейснер просит разрешения прийти к АА. (В доме у АА у всех жильцов была дизентерия, и АА, конечно, раздала этот мешок всем сейчас же.) АА сказала: “Пусть приходит”. Л. Рейснер пришла и в этот раз рассказала о Н. С., что она была невинна, что она очень любила Н. С., совершенно беспамятно любила. А Н.С.

сней очень нехорошо поступил – завез ее в какую-то гостиницу и там сделал с ней “все”…

Правда, потом он предлагал Л. Р. жениться на ней, и Лар. Рейснер передает АА последовавший за этим предложением разговор так: она стала говорить, что очень любит АА и очень не хочет сделать ей неприятное. И будто бы Н. С. на это ответил ей такой фразой: “К сожалению, я уже ничем не могу причинить АА неприятность”.

АА говорит, что Л. Р., это рассказывая, помнила очень всю обиду на Н. С. и чувство горечи и любви в ней еще было…»

Роман Гафиза (так Гумилев подписывал свои письма к Рейснер) с Леричкой («Леричка моя, какая Вы золотая прелесть»), как и все влюбленности Гумилева, оказался скоротечным, выдохся уже к лету 1917 года.

В его фронтовых письмах второй половины 1917 года Рейснер уже не Леричка, а Лариса Михайловна, да и он не Гафиз, а Н. Гумилев. Эта история, при всей ее краткосрочности, по-видимому, задела Ахматову: уж очень хороша была Лариса в те годы. Не было ни одного мужчины, который прошел бы мимо, не заметив ее, а каждый третий «врывался столбом в землю и смотрел вслед». Один из поклонников юной Рейснер утверждал, что Лариса «несет свою красоту как факел». Ахматова, впрочем, мужского восхищения не разделяла (и это неудивительно).

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я ее стала расспрашивать о Ларисе Рейснер – правда ли, что она была замечательная?

– Нет, о нет! Она была слабая, смутная. Однажды я пришла к ней в Адмиралтейство – она жила там, когда была замужем за Раскольниковым. Матрос с ружьем загородил мне дорогу. Я послала сказать ей. Она выбежала очень сконфуженная… Поразительно она умерла: ведь одновременно умерли ее мать и брат, тоже от брюшного тифа. Мне кажется, тут что-то неладное в этих смертях.

Я спросила: была ли Лариса так красива, как о ней вспоминают?

Анна Андреевна ответила с аккуратной методической бесстрастностью, словно делала канцелярскую опись:

– Она была очень большая, плечи широкие, бока широкие. Похожа на подавальщицу в немецком кабачке. Лицо припухшее, серое, большие глаза и крашеные волосы. Все.

Анна Андреевна слишком хорошо знала своего мужа и

понимала, что увлечение Рейснер всего лишь мужская, ревнивая и самолюбивая, реакция на ее чересчур “богатую личную жизнь”.

В мае 1917 Ахматова проводила Николая Степановича за границу. Он должен был прибыть на Салоникский фронт, но не слишком торопился туда (и трудно упрекнуть в этом дважды георгиевского кавалера на четвертый год войны). Через Стокгольм и Лондон он оказался в Париже, где получил должность офицера для связи и особых поручений при военном комиссаре русского экспедиционного корпуса.

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Дорогая Анечка, привет из Лондона, мой, Анрепа, Вадима Гарднера и Бехгофера. Не правда ли букет имен. Расскажу о всех по порядку. Я живу отлично, каждый день вижу кого-нибудь интересного, веселюсь, пишу стихи [устраиваю], устанавливаю литературные связи. Кстати, Курнос просто безы-звестный графоман, но есть другие хорошие переводчики, которые займутся русской поэзией. Анреп занимает видное место в комитете и очень много возится со мной. Устраивает мне знакомства, во-зит по обедам, вечерам. О тебе вспоминает, но не со мной. Так, леди Моррель, дама-патронесса, у которой я провел день под Оксфордом, спрашивала, не моя ли жена та интересная, очаровательная и талантливая поэтесса, о которой ей так много говорил Анреп. Семья его в деревне, а он или на службе, или в кафе. Вадим Гарднер, который тоже в India House, проводит время исключительно в обществе третьеразрядных кокоток и презирает Лондон и все английское – этакий Верлен. Бехгофер (англичанин из Собаки) пригласил меня остановиться у него. Он тоже в India, недурно говорит по-русски и знакомит меня с поэтами. Но все в один голос говорят, что хороших сейчас нет и у большинства обостренные отношения. Сегодня я буду на вечере у Йейтса, английского Вячеслава. Мне обещали также устроить встречу с Честертоном, которому, оказывается, за сорок и у которого около двадцати книг. Его здесь или очень любят, или очень ненавидят – но все считаются. Он пишет также и стихи, совсем хорошие. Думаю устроить, чтобы гиперборейские издания печатались после войны в Лондоне, это будет много лучше и даже дешевле. Здесь книга прозы, 300 стр. 1000 экз. на плотной бумаге и в переплете, стоила еще совсем недавно 500 р. Ну, целую тебя и посылаю кучу стихов, если хочешь, дай их Маме, пусть печатает.

Твой всегда Коля. около 20 июня 1917

Николай Гумилев – Анне Ахматовой

Дорогая Аничка, ты, конечно, сердишься, что я так долго не писал тебе, но я нарочно ждал, чтобы решилась моя судьба. Сейчас она решена. Я остаюсь в Париже в распоряжении здешнего наместника от Временного Правительства, т. е. вроде Анрепа, только на более интересной и живой работе. Меня, наверно, будут употреблять для разбора разных солдатских дел и недоразумений. Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама его захочешь. А пока я еще не знаю, как велико будет здесь мое жалованье. Но положение во всяком случае исключительное и открывающее при удаче большие горизонты.

Я по-прежнему постоянно с Гончаровой и Ларионовым, люблю их очень. Теперь дело: они хотят ехать в Россию, уже послали свои опросные листы, но все это очень медленно. Если у тебя есть кто-нибудь под рукой из Мин. иностр. дел, устрой, чтобы он нашел их бумаги и телеграфировал сюда в Консульство, чтобы им выдали поскорее [новые] паспорта [взамен просроченных на право приезда в Россию]. Их дело совершенно в порядке, надо только его ускорить.

Я здоров и доволен своей судьбой. Дня через два завожу постоянную комнату и тогда напишу адрес. Писать много не приходилось, все бегал по разным делам.

Здесь сейчас Аничков, Минский, Мещерский (помнишь, бывал у Судейкиных), Приезжал из Рима Трубников.

Целуй, пожалуйста, маму, Леву и всех. Целую тебя,

Всегда твой Коля.

Когда Ларионов поедет в Россию, пришлю с ним тебе всякой всячины из Galerie Lafayette.

1917. Париж

* * *

И целый день, своих пугаясь стонов,
В тоске смертельной мечется толпа,
А за рекой на траурных знаменах
Зловещие смеются черепа.
Вот для чего я пела и мечтала,
Мне сердце разорвали пополам,

Как после залпа сразу тихо стало,
Смерть выслала дозорных по дворам.

Лето 1917, Слепнево

«Белая стая»

В сентябре 1917 вышел третий сборник стихов Ахматовой – «Белая стая». Он был посвящен Борису Анрепу (Ахматова вообще посвятила ему стихов больше, чем кому бы то ни было).

…Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах, чем «Четки». Он вышел в сентябре 1917 года. Если «Четки» опоздали, «Белая стая» прилетела просто к шапочному разбору. Транспорт замирал – книгу было нельзя послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Бумага грубая – почти картон.

Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются, и принято считать, что «Белая стая» имела меньше успеха, чем «Четки».

Через год Михайлов («Прометей») купил у меня право на II издание. Это было в 1918 году в уже совсем голодном и полупустом Петербурге.

Жирмунский В.М. О «Белой стае»

«Новый сборник Анны Ахматовой должен явиться неожиданностью для тех, кто недостаточно внимательно следил за ее поэтическим развитием после “Четок” по отдельным новым стихотворениям, рассеянным в журналах и газетах.

В “Четках” Ахматова намеренно приближала стихи к изменчивому и капризному излому художественно стилизованной разговорной речи… словарь и синтаксис “Четок” отличались богатством и свободой, обычно свойственными “прозаической” речи. Напротив того, в “Белой стае” искусство Ахматовой развивается в направлении идеализующей классической строгости. Преобладают простые, точные рифмы и правильные ямбические строки. Особенно замечательно появление шестистопных ямбов с парными рифмами “александрийского стиха”, венчающего лирику Пушкина.

А! Это снова ты. Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным
Ты в этот дом вошел и на меня глядишь.
Страшна моей душе предгрозовая тишь…

В самом существенном, однако, Ахматова остается верной себе. Ее искусство по-прежнему противоречит поэтическим заветам символистов: она не ищет смутного, музыкально-лирического воздействия на настроение слушателей, но сознательно владеет и пользуется логической стихией речи; каждому слову сохранен его вещественный смысл и вес, и сочетание слов всегда единственно возможное, индивидуальное, синтетическое. В “Белой стае” окончательно завершается поворот новейшей русской поэзии от романтической лирики символистов к классическим канонам высокого и строгого искусства Пушкина.

Поэзия “Четок” – вся в мгновении настоящего: “Подошел ко мне, улыбнулся…”, “тронул мои колени…”, “наклонился, – он что-то скажет”… “Белая стая”, напротив того, не знает настоящего. Прошлое, лишенное жизненной спутанности и противоречивости, несогласованной яркости конкретных впечатлений, приняло теперь законченную форму, художественно совершенную, монументально неподвижную. Книга вся – о прошедшем, вся – в воспоминании…»

* * *

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской Церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала, кто берет ее, —
Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Осень 1917, Петроград

* * *

На разведенном мосту
В день, ставший праздником ныне,
Кончилась юность моя.

1917–1919

25 октября 1917 года Анна Андреевна бродила по Петрограду и почти оторопела, выйдя к Неве: среди бела дня были разведены мосты. Только на следующее утро знающие люди объяснили ей, что это сделали большевики по приказу Ленина, дабы не дать войскам Временного правительства задушить пролетарскую революцию. Впрочем, Ахматовой в том октябре было не до политики. Она была совсем одна в переставшем быть своим городе. Анреп уехал. Гумилев – за границей. Обещал весной вызвать ее в Париж и как в воду канул… Сын со свекровью в Бежецке. Родные – где-то в Крыму, отрезанном от Центральной России революционным хаосом, и живы ли – неизвестно. Ни денег, ни крыши над головой… Приютили подруги: Валечка Тюльпанова, теперь мадам Срезневская, да Ольга Судейкина, точнее, их оборотистые мужчины; особенно старался Оленькин экс-муж – композитор Артур Лурье, он когда-то, еще во времена «Бродячей собаки» был сильно неравнодушен к жене Гумилева.

Лидия Гинзбург. «Из рассказов Ахматовой»

«Когда Анна Андреевна жила с Ольгой Судейкиной, хозяйство их вела восьмидесятилетняя бабка; при бабке имелась племянница. А. А. как-то сказала ей: “Знаете, не совсем удобно, что вы каждый раз возвращаетесь в два часа ночи”. – “Ну, Анна Андреевна, – сказала племянница бабки, – вы в своем роде, и я в своем роде…”

А бабка все огорчалась, что у хозяек нет денег: “Ольга Афанасьевна нисколько не зарабатывает. Анна Андреевна жужжала раньше, а теперь не жужжит. Распустит волосы и ходит, как олень… И первоученые от нее уходят такие печальные, такие печальные – как я им пальто подаю”.

Первоучеными бабка называла начинающих поэтов, а жужжать – означало сочинять стихи.

В самом деле, Ахматова записывала стихи уже до известной степени сложившиеся, а до этого она долго ходила по комнате и бормотала (жужжала)».

* * *

И вот одна осталась я
Считать пустые дни.
О вольные мои друзья,
О лебеди мои!
И песней я не скличу вас,
Слезами не верну.
Но вечером в печальный час
В молитве помяну.
Настигнут смертною стрелой,
Один из вас упал,
И черным вороном другой,
Меня целуя, стал.
Но так бывает: раз в году,
Когда растает лед,
В Екатеринином саду
Стою у чистых вод
И слышу плеск широких крыл
Над гладью голубой.
Не знаю, кто окно раскрыл
В темнице гробовой.

Конец 1917

Младший брат Ахматовой окончил столичный Морской корпус в 1916 году и сразу же был отправлен в Констанцу, на румынский фронт. Анна Андреевна несколько раз и в «Записных книжках», и в разговорах с Павлом Лукницким вспоминала, как она вместе с родными стояла на берегу, на пристани, когда Виктор уходил на своем миноносце в море, вглядывалась, стараясь угадать, какой из уходящих кораблей миноносец «Зоркий». Революция застала Виктора в Севастополе. Стех пор о нем до 1924 года не было никаких известий. В 1918-м Анна Андреевна, думая, что Виктор погиб, написала стихотворение, посвященное его памяти.

<Виктору Горенко>

Для того ль тебя носила
Я когда-то на руках,
Для того ль сияла сила
В голубых твоих глазах!
Вырос стройный и высокий,
Песни пел, мадеру пил,
К Анатолии далекой
Миноносец свой водил.
На Малаховом кургане
Офицера расстреляли.
Без недели двадцать лет
Он глядел на Божий свет.

1918, Петербург

Похороненные заживо, по народной примете, живут долго. Виктор, как и Анна (а ее тоже «хоронили» заживо; в ее личном архиве хранилась московская афиша, объявлявшая о поэтическом вечере ее памяти), оказался долгожителем. Добравшись до Дальнего Востока, в 30-х гг. он через Харбин переместился в Америку. В начале шестидесятых, когда уже можно было не скрывать наличие «американских родственников», брат и сестра обменялись несколькими письмами.

В конце 1917 года на ахматовском горизонте объявился и старый друг – Вольдемар Шилейко. Собственно, дружил Вольдемар Казимирович, интеллектуал, полиглот и почти гений, не с Анной, а с Гумилевым и Лозинским, а в нее был давно, безнадежно и слегка истерично влюблен. Денег у него не водилось, зато было жилище, и обширное – во флигеле Фонтанного дома. И как-то само собой случилось, что Анна Андреевна не устояла перед шилейковским напором и дала слово выйти за него замуж.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Не помню каким путем, но разговор привел нас к ее уходу от Николая Степановича.

– Три года голода. Я ушла от Гумилевых, ничего с собой не взяв. Владимир Казимирович был болен. Он безо всего мог обходиться, но только не без чая и не без курева. Еду мы варили редко – нечего было и не в чем. За каждой кастрюлькой надо было обращаться к соседям: у меня ни вилки, ни ложки, ни кастрюли».

Гумилев в это время (парижский военный комиссариат был расформирован) пытался отправиться на фронт – с французскими добровольцами в Абиссинию, под командование генерала Ермолова в Месопотамию… Из Франции перебрался в Лондон, а когда стало ясно, что ни на какой фронт он уже не попадет, решил вернуться в Россию.

Борис Анреп. «О черном кольце»

«Гумилев, который находился в это время в Лондоне и с которым я виделся почти каждый день, рвался вернуться в Россию. Я уговаривал его не ехать, но все напрасно. Родина тянула его. Во мне этого чувства не было: я уехал из России в 1908 году и устроил свою жизнь за границей. Перед его отъездом я просил его передать Анне Андреевне большую, прекрасно сохранившуюся монету Александра Македонского и также шелковый материал на платье. Он нехотя взял, говоря: “Ну что вы, Борис Васильевич, она все-таки моя жена”. Я разинул рот от удивления. “Не глупите, Николай Степанович”, – сказал я сухо. Но я не знаю, получила ли она мой подарок. Погиб бедный Гумилев! Погиб большой поэт!»

Николай Степанович прибыл в Петербург в конце апреля и нашел жену у Шилейко. На следующий день она, как и обещала, попросила мужа дать развод, похоже, не без тайной надежды, что он воспротивится. Гумилев не воспротивился, поскольку перед венчанием сказал невесте, что она свободна от каких-либо перед ним обязательств и вольна поступать как ей заблагорассудится. И тут же – стремительно, словно назло ей, женился на очень хорошенькой, но (по мнению Ахматовой) совершенно ничтожной барышне. В положенный срок новая жена, Анна Николаевна Энгельгардт, родила ему ребенка – дочь Елену, – и Гумилев закрутился, чтобы прокормить разросшееся семейство.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Мы прожили с Николаем Степановичем семь лет. Мы были дружны и внутренне многим обязаны друг другу. Но я сказала ему, что нам надо расстаться. Он ничего не возразил мне, однако я видела, что он очень обиделся. Вот это стихотворение о лесе, что я вам прочитала, это обо мне… Тогда он только что вернулся из Парижа после своей неудачной любви к Синей Звезде. Он был

полон ею – и все-таки мое желание с ним расстаться уязвило его… Мы вместе поехали в Бежецк к бабушке взглянуть на Леву. Мы сидели на диване, Левушка играл между нами. Коля сказал: «И зачем ты все это затеяла». Это было все… Согласитесь, на этом ничего не построишь, – прибавила она с грустью, – этого мало, не правда ли?… – И, помолчав: – Я нахожу, что мы слишком долго были женихом и невестой. Я в Севастополе, он в Париже. Когда мы поженились в 10-м году, он уже утратил свой пафос…»

«…Потом, безо всякого перехода, она прибавила:

– Второй брак его тоже не был удачен. Он вообразил, будто Анна Николаевна воск, а она оказалась – танк… Вы ее видели?

Я сказала, что видела: очень хорошенькая, с кротким нежным личиком и розовой ленточкой вокруг лба.

– Да, да, все верно: нежное личико, розовая ленточка, а сама – танк. Николай Степанович прожил с нею какие-нибудь три месяца и отправил к своим родным. Ей это не понравилось, она потребовала, чтобы он вернул ее. Он ее вернул – сам сразу уехал в Крым. Она очень недобрая, сварливая женщина, а он-то рассчитывал наконец на послушание и покорность!»

«…Пьер Сегер выносит на обложку книги переводов моих стихов (1959) заманчивое сведение о том, что я была разведена два раза (и это на обложке!), причем первый раз я была принуждена это сделать, а случилось это перед Революцией. Бедный мой разводик! (Начало августа 1918 года.) Думал ли он, что ему будет такая честь, что через сорок лет он будет выглядеть как мировой скандальный процесс. А я даже никуда не ходила, ни с кем не говорила, абсолютно не знаю, как это происходило. Я просто получила бумажку, что разведена с таким-то. Был голод, был террор – все куда-то уезжали (многие навсегда), быта не было, все разводились.

Нас так давно уже все привыкли видеть врозь, никто не интересовался чужими делами. До того ли было! И вот проходит сорок лет, и я узнаю, что перед Революцией была принуждена развестись. Почему перед, почему принуждена? Кого я должна благодарить за такую информацию? Вероятно, давший такие роскошные сведения пожелал остаться неизвестным, как говорили в старину…»

Пока Гумилев был жив, Анна Андреевна считала, что причина их вечного противоборства – психологическая несовместимость, помноженная на ее трудный характер. С годами она поняла, что «сокрытым двигателем» семейных конфликтов было ее

стремление отстоять свою индивидуальность – не женскую, поэтическую.

Как я теперь думаю, весь мой протест в этом деле был инстинктивное желание сохранить себя, свой путь в искусстве, свою индивидуальность. Действительно поразительно, как девочка, 10 лет находившаяся в непосредственной близости от такого властного человека и поэта, наложившего свою печать на несколько поколений молодых, ни на минуту не поддалась его влиянию.

Осенью 1918 года, получив разводные бумаги, Ахматова вышла замуж за В. К. Шилейко. На немедленном оформлении брака настаивал Вольдемар Казимирович, он, видимо, опасался, что Анна передумает.

Гениальный Шилейко оказался плохим мужем – глупо и грубо ревнивым, мелочным, капризным. Однако Анна Андреевна почти два года не хотела признаться в этом ни себе, ни друзьям.

Корней Чуковский. «Дневники»

«19 января 1920. Вчера – у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате, – за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково – иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами – A livre ouvert – целую балладу, – диктует ей прямо набело! “А потом впадает в лунатизм”.

25 января. Мороз ужасный. Дома неуютно. Сварливо. Вечером я надел два жилета, два пиджака и пошел к Анне Ахматовой. Она была мила. Шилейко лежит больной. У него плеврит. Оказывается, Ахматова знает Пушкина назубок – сообщила мне подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она была чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году – на моде 1916 года».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Вот с этого места началась для меня Москва, – сказала она,

когда мы проезжали мимо какого-то переулка близ Кропоткинской. – В 18 го-ду, я, замужем за Шилейко, жила тут, в Третьем Зачатьевском. Лютый холод и совершенно нечего есть… Если бы я тогда осталась в Москве, другой была бы моя биография… Неподалеку был храм, там всегда звонили.

– “С колоколенки соседней звуки важные текли”? – спросила я.

– Нет, “Переулочек-переул…”»

Третий Зачатьевский

Переулочек, переул…
Горло петелькой затянул.

Тянет свежесть с Москва-реки,
В окнах теплятся огоньки.

Покосился гнилой фонарь —
С колокольни идет звонарь…
Как по левой руке – пустырь,
А по правой руке – монастырь,

А напротив – высокий клен
Красным заревом обагрен,
А напротив – высокий клен
Ночью слушает долгий стон.

Мне бы тот найти образок,
Оттого что мой близок срок,

Мне бы снова мой черный платок,
Мне бы невской воды глоток.

1940

Скоропалительное замужество Ахматовой кончилось так, как и должно было кончиться: Анна Андреевна сбежала от В. К. Шилейко и поступила на работу в библиотеку Агроэкономического института. Здесь же и квартировала, в служебном помещении. Потом Ольга и Артур Лурье перевезли ее к себе. Словом, жизнь была пестрой, странной, а какой она могла быть в те годы, голодные, холодные – без завтрашнего дня? Но

поэты продолжали писать стихи, а издатели их издавать. В апреле 1921-года у Ахматовой в издательстве «Петрополис» вышел «Подорожник», шла работа и над пятым сборником «Anno Domini». И вдруг все рухнуло. Наступил август. Сначала Гумилев, чудом выбравшись из Крыма, привез ей известие о самоубийстве брата Андрея. В августе же умер Блок. А на похоронах Блока Ахматова узнала об аресте Николая Степановича. Друзья были настроены оптимистично, но Анна Андреевна сердцем чуяла беду.

Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было… Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» (угол Садовой и Италь-янской) еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены. Город не просто изменился, а решительно превратился в свою противоположность. Но стихи любили (главным образом молодежь)…

Об аресте Николая Степановича я узнала на похоронах Блока. «Запах тленья обморочно сладкий» в моем стихотворении «Страх», написанном ночью 25 августа 1921 г., относится к тем же похоронам…

* * *

Страх, во тьме перебирая вещи,
Лунный луч наводит на топор.
За стеною слышен стук зловещий —
Что там, крысы, призрак или вор?

В душной кухне плещется водою,
Половицам шатким счет ведет,
С глянцевитой черной бородою
За окном чердачным промелькнет —

И притихнет. Как он зол и ловок,
Спички спрятал и свечу задул.
Лучше бы поблескиванье дул
В грудь мою направленных винтовок,

Лучше бы на площади зеленой
На помост некрашеный прилечь
И под клики радости и стоны

Красной кровью до конца истечь.

Прижимаю к сердцу крестик гладкий:
Боже, мир душе моей верни!
Запах тленья обморочно сладкий
Веет от прохладной простыни.

1921

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Лидия Корнеевна говорит об Анне Генриховне Каминской – внучке Н. Н. Пунина, третьего мужа Ахматовой)

Сегодня Аня Каминская рассказала мне – а я не знаю, можно ли ей верить? – что рассказывала ей Анна Андреевна о последнем своем свидании с Николаем Степановичем.

Она уже была замужем за Шилейко и жила в Мраморном. Николай Степанович пришел с ней объясняться – кажется, о разводе. Разговор был неприятный. Они простились. Николай Степанович спускался по винтовой лестнице. Анна Андреевна крикнула ему вслед:

– По такой лестнице только на казнь идти!

Больше она его не видела.

Расстреливали у выкорчеванных корней – деревья повалены, корни торчат, под ними ямы.

«Не бывать тебе в живых…»

Я ехала летом 1921 года из Царского Села в Петербург. Бывший вагон III класса был набит, как тогда всегда, всяким нагруженным мешками людом, но я успела занять место, сидела и смотрела в окно на все – даже знакомое. И вдруг, как всегда неожиданно, я почувствовала приближение каких-то строчек (рифм). Мне нестерпимо захотелось курить. Я понимала, что без папиросы я ничего сделать не могу. Пошарила в сумке, нашла какую-то дохлую Сафо, но… спичек не было. Их не было у меня, и их не было ни у кого в вагоне. Я вышла на открытую площадку. Там стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные, красные, еще как бы живые, жирные искры паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать (прижимать) к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. «Эта не пропадет», – сказал один из них про меня. Стихотворение было: «Не бывать тебе в живых…» См. дату в рукописи – 16 августа 1921 (может быть, старого стиля).

* * *

Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.

16 августа ст. ст. 1921 (вагон)

Гумилеву и в самом деле не суждено было остаться в живых: 25 августа 1921 года он был расстрелян по обвинению в причастности к контрреволюционному заговору. Сообщение об этом было опубликовано в «Петроградской правде» 1 сентября того же года. Этой газетой были оклеены все стенды и тумбы маленького вокзальчика в Царском Селе, там, где они так часто назначали свидания, когда еще учились в гимназии, где пили

кофе и шампанское, когда Николай Степанович приезжал с фронта…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Заговорили о Гумилеве.

Анна Андреевна сказала:

– Он сидел на Гороховой с 4-го до 25-го ав-густа.

Я спросила, правда ли – ходят такие слухи – что власти предлагали ему побег, но он отказался, желая разделить участь товарищей.

– Вздор… Никаких товарищей у него не было и не могло быть, потому что и дела никакого не было. Колю допрашивали отдельно, о других арестованных он и не знал.

Я спросила, правда ли, что уходя, Николай Степанович взял с собою Жуковского?

– Неверно. Взял он «Илиаду», и Пунин, который был там, видел, как ее отобрали. Мы получили от Николая Степановича три открытки. В одной он сообщал нам, что написал два стихотворения.

Я ничего более не спрашивала. Почему – не знаю».

1 сентября 1921 г. «Петроградская правда» опубликовала список расстрелянных участников т. н. «Таганцевского заговора» – всего 61 фамилия. Гумилев был в этом списке тридцатым:

«30) Гумилев, Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии «Изд-во Всемирной литературы», беспартийный, б. офицер. Участник П. Б. О., активно содействовал составлению прокламаций к. – револ. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности».

О смерти Николая Степановича я узнала (прочла в газете на вокзале) 1 сентября в Царском Селе, где я жила (против дома Китаевой) в полубольнице, полусанатории и была так слаба, что ни разу не пошла в парк. 15 сентября я написала «Заплаканная осень, как вдова…» В это лето горели леса под Петербургом – улицы были полны пахучим желтым дымом… Я, приехав из Ц. С., пошла (тогда все ходили пешком) в Мраморный к Шилейко (через Марсово поле) – он плакал.

…И два окна в Михайловском замке, которые остались такими же, как в 1801 году, и казалось, что за ними еще убивают Павла, и Семеновские казармы, и Семеновский плац, где ждал смерти Достоевский, и Фонтанный дом – целая симфония

ужасов… «Шереметевские липы, перекличка домовых». Летний… Первый – благоуханный, замерший в июльской неподвижности, и второй – под водой в 1924 году… Марсово – плац-парад, где ночью обучали новобранцев в 1915 году (барабан), и Марсово – огород уже разрытый, полузаброшенный (1921), «под тучей вороньих крыл», и ворота, откуда вывозили на казнь народовольцев.

И близко от них грузный дом Мурузи (угол Литейного), где в последний раз в жизни я видела Гумилева (в тот день, когда меня нарисовал Ю. Анненков).

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Я про Колю знаю. Их расстреляли близ Бернгардовки, по Ириновской дороге. У одних знакомых была прачка, а у той дочь – следователь. Она, то есть прачка, им рассказала и даже место указала со слов дочери. Туда пошли сразу, и была видна земля, утоптанная сапогами. А я узнала через 9 лет и туда поехала. Поляна; кривая маленькая сосна; рядом другая, мощная, но с вывороченными корнями. Это и была стенка. Земля запала, понизилась, потому что там не насыпали могил. Ямы. Две братские ямы на 60 человек. Когда я туда приехала, всюду росли высокие белые цветы. Ярвала их и думала: “Другие приносят на могилу цветы, а я их с могилы срываю…” Приговоренных везли на ветхом грузовике, везли долго, грузовик останавливался…»

* * *

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит…
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой…
Забвенье боли и забвенье нег —
За это жизнь отдать не мало.

15 сентября 1921, Царское Село

С. Липкин

Ни в какой заговор Анна Андреевна никогда не верила, считая, что «его выдумали петроградские чекисты для того, чтобы руководство в Москве думало, что они не даром хлеб едят».

М. В. Латманизов. «Разговоры с Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«А теперь я вам расскажу о самой большой сенсации. Недели за три до моего отъезда в Ленинград ко мне пришел один очень высокопоставленный человек. Он близок к Аджубею, к редакции “Известий”. С ним очень считаются, он пользуется большим авторитетом. И он мне сказал, что собираются реабилитировать Гумилева, и спросил, как бы я к этому отнеслась. Я сказала, что никогда не верила в виновность Гумилева. Он, конечно, ни в чем не виноват и его реабилитация была [бы] только восстановлением справедливости. Дальше он рассказал, что были подняты дела, связанные со следствием по делу Гумилева, по делу “таганцевского заговора”, по делу самого Таганцева, и выяснилось, что собственно никакого “таганцевского заговора” не было. Что Гумилев ни в чем не виноват, не виноват и сам Таганцев ни в чем. Никакого заговора он не организовывал. Он был профессор истории в университете в Ленинграде. Был большим оригиналом, но политикой, а тем более заговорами, не занимался. А было следующее: действительно была группа – пять моряков, которые что-то замышляли и, чтобы отвести от себя подозрения, составили списки якобы заговорческой группы во главе с профессором Таганцевым. Включили в эти списки много видных лиц с именами, в том числе и Гумилева, отведя каждому свою определенную роль. Для того, чтобы самим, таким образом, остаться в тени при любых обстоятельствах. Всего ими в списках было упомянуто 61 человек. Из них казнили – 51. Так вот, весь этот заговор оказался несуществовавшим, и теперь, после рассмотрения всех материалов, Гумилев будет реабилитирован. И даже сам Таганцев будет тоже реабилитирован. Вот так мне сказал этот человек, которому нельзя не верить: он слов на ветер не бросает».

26 июня 1964 года

Однако Николай Степанович был реабилитирован только в 1991 году. Документы, касающиеся «таганцевского дела», были опубликованы спустя четыре года после реабилитации. Они полностью подтверждали правоту Анны Андреевны – не было ни заговора, ни соответственно участия Гумилева в заговоре. Но

в1921 году…

Из устных рассказов А. А. Ахматовой в передаче Э. Г. Герштейн

«Когда расстреляли Гумилева, Леве было девять лет, школьники немедленно постановили не выдавать ему учебников, тогда они выдавались в самой школе, где самоуправление процветало даже в младших классах».

* * *

Я гибель накликала милым,
И гибли один за другим.
О, горе мне! Эти могилы
Предсказаны словом моим.
Как вороны кружатся, чуя
Горячую, свежую кровь,
Так дикие песни, ликуя,
Моя насылала любовь.
С тобою мне сладко и знойно,
Ты близок, как сердце в груди.
Дай руки мне, слушай спокойно.
Тебя заклинаю: уйди.
И пусть не узнаю я, где ты,
О Муза, его не зови,
Да будет живым, невоспетым
Моей не узнавший любви.

Октябрь 1921, Петербург

* * *

Сказал, что у меня соперниц нет.
Я для него не женщина земная,
А солнца зимнего утешный свет
И песня дикая родного края.

Когда умру, не станет он грустить,
Не крикнет, обезумевши: «Воскресни!»
Но вдруг поймет, что невозможно жить

Без солнца телу и душе без песни.
…А что теперь?

1921

В ночь под 20-е ноября видела во сне Х в Безымянном переулке. Он дал мне белый носовой платок, когда я выходила от Вали, чтобы вытирать слезы, и бродил со мной в темноте по переулку. Я была в каких-то лохмотьях, м.б., в старой серой шубе на рубашке.

1958. Москва. Тульская улица

* * *

В 1924 три раза подряд видела во сне Х – 6 лет собирала «Труды и дни» и другой матер<иал>: письма, черновики, воспоминания. В общем, сделала для его памяти все, что можно. Поразительно, что больше никто им не занимался…

Сентябрь 1965

Царское в 20-х годах представляло собой нечто невообразимое. Все заборы были сожжены. Над открытыми люками водопровода стояли ржавые кровати из лазаретов первой войны, улицы заросли травой, гуляли и орали петухи всех цветов и козы, которых почему-то звали Тамара. На воротах недавно великолепного дома гр. Стенбок-Фермора красовалась огромная вывеска: «Случной пункт», но на Широкой так же терпко пахли по осеням дубы – свидетели моего детства, и вороны на соборных крестах кричали то же, что я слышала, идя по Соборному скверу в гимназию, и статуи в царскосельских парках глядели как в 10-х годах. В оборванных и страшных фигурках я иногда узнавала царскоселов. Гостиный Двор был закрыт…

В год гибели Гумилева (1921) на Рождество Анна Андреевна поехала в Бежецк. В рождественские дни ей всегда хотелось быть с самыми родными; когда Инна Эразмовна и младшая сестра Ия жили в Киеве, Ахматова старалась провести свой самый любимый праздник с ними, но теперь мать и сестра бедовали и голодали в Крыму, а туда в тот год и письма не доходили. В Бежецке было тихо, в Бежецке люди старались жить так, как будто ничего страшного не случилось. Анна Андреевна расспрашивала свекровь о

том, о чем не успела спросить, пока Николай Степанович был жив, о его детстве, отрочестве. Анна Ивановна рассказывала скупо и строго, но легко: после отъезда, фактически бегства старшего сына Мити за границу, кроме как с Анной Андреевной, ей не с кем было выговорить боль. Анна хотела войти в ту комнату, где три года назад она и Николай Степанович радовались радостью своего гумильвенка, получившего в подарок новые игрушки. И не вошла. Не могла войти. Из всех написанных на смерть Гумилева стихов «Бежецк» – самое пронзительное.

Бежецк

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
Там вьюги сухие взлетают с заречных полей
И люди, как ангелы, Божьему Празднику рады,
Прибрали светлицу, зажгли у киота лампады,
И Книга Благая лежит на дубовом столе.
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь…
И город был полон веселым рождественским звоном.

26 декабря ст. ст. 1921

Горе Ахматовой усугубляли муки совести. Поглощенная сначала своей великой любовью к Анрепу, а потом запутанными отношениями с Шилейко, Анна Андреевна не только выпустила Гумилева из виду, а словно вычеркнула его из своей жизни. Забыла, что он не только неверный муж, но и верный друг, почти брат, больше, чем брат – отец ее единственного ребенка. Да, была слишком занята хлопотами по изданию своих сборников, словно предчувствовала, что «Подорожник» и «Anno Domini» – ее последние настоящие книги. И все-таки…

Никак не могла она простить себе и то, что сама накликала беду! Почему-то в стихах часто говорила о нем как о мертвом: «Пришли и сказали: умер твой брат…», «Мертвый муж мой приходит…»

* * *

От меня, как от той графини,
Шел по лестнице винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий,
Страшный час над страшной Невой.

1958

* * *

Земной отрадой сердца не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому,
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим того,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

Декабрь 1921

Корней Чуковский «Воспоминания об Анне Ахматовой»

«Она была совершенно лишена чувства собственности. Не любила и не хранила вещей, расставалась с ними удивительно легко. Подобно Гоголю, Аполлону Григорьеву, Кольриджу и другу своему Мандельштаму, она была бездомной кочевницей и до такой степени не ценила имущества, что охотно освобождалась от него, как от тяготы. Близкие друзья ее знали, что стоит подарить ей какую-нибудь, скажем, редкую гравюру или брошь, как через день или два она раздаст эти подарки другим. Даже в юные годы, в годы краткого своего «процветания», жила без громоздких шкафов и комодов, зачастую даже без письменного стола.

Вокруг нее не было никакого комфорта, и я не помню в ее жизни такого периода, когда окружавшая ее обстановка могла бы назваться уютной…

Конечно, она очень ценила красивые вещи и понимала в них толк. Старинные подсвечники, восточные ткани, гравюры, ларцы, иконы древнего письма и т. д. то и дело появлялись в ее

скромном жилье, но через несколько дней исчезали. Не расставалась она только с такими вещами, в которых была запечатлена для нее память сердца. То были ее «вечные спутники»: шаль, подаренная ей Мариной Цветаевой, рисунок ее друга Модильяни, перстень, полученный ею от покойного мужа, – все эти «предметы роскоши» только сильнее подчеркивали убожество ее повседневного быта, обстановки: ветхое одеяло, дырявый диван, изношенный узорчатый халат, который в течение долгого времени был ее единственной домашней одеждой.

То была привычная бедность, от которой она даже не пыталась избавиться…

Единственной утварью, оставшейся при ней постоянно, был ее потертый чемоданишко, который стоял в углу наготове, набитый блокнотами, тетрадями стихов и стихотворных набросков, – чаще всего без конца и начала. Он был неотлучно при ней во время всех ее поездок в Воронеж, в Ташкент, в Комарове, в Москву.

Даже книги, за исключением самых любимых, она, прочитав, отдавала другим. Только Пушкин, Библия, Данте, Шекспир, Достоевский были постоянными ее собеседниками. И она нередко брала эти книги – то одну, то другую – в дорогу. Остальные книги, побывав у нее, исчезали.

Вообще – повторяю – она была природная странница, и в последние годы, приезжая в Москву, жила то под одним, то под другим потолком у разных друзей, где придется…»

Уже тогда, в юности, Анна догадалась, не разумом, а мощным, почти звериным инстинктом: чтобы выжить в эпоху войн и революционного террора, как красного, так и белого, надо научиться жить ничего не имея – в благословенной нищете, освободившись от чувства собственности и все свое нося с собой и в себе. Не поэтому ли с такой легкостью раздавала-раздаривала всё: вещи, деньги, книги, рукописи, как если бы это был не только лишний, но и опасный груз? Все ее имущество помещалось в маленьком ящичке-укладке, а было там: новгородская икона, единственный сохранившийся после бездомья подарок Гумилева, легендарные четки, еще несколько маленьких иконок, старая сумочка, знаменитый испанский гребень…

* * *

Заболеть бы как следует, в жгучем бреду
Повстречаться со всеми опять,

В полном ветра и солнца приморском саду
По широким аллеям гулять.
Даже мертвые нынче согласны прийти,
И изгнанники в доме моем.
Ты ребенка за ручку ко мне приведи,
Так давно я скучаю о нем.
Буду с милыми есть голубой виноград,
Буду пить ледяное вино
И глядеть, как струится седой водопад
На кремнистое влажное дно.

Весна 1922

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

В доказательство той мысли, что современники воспринимали Анну Ахматову как наследницу Блока, привожу отрывки из письма к ней Ларисы Рейснер, посланного из Афганистана и помеченного 24 января 1921 года:

«…Газеты, проехав девять тысяч верст, привезли нам известие о смерти Блока. И почему-то только Вам хочется выразить, как это горько и нелепо. Только Вам – точно рядом с Вами упала колонна, что ли, такая же тонкая, белая и лепная, как Вы. Теперь, когда его уже нет, Вашего равного, единственного духовного брата, – еще виднее, что Вы есть, что Вы дышите, мучаетесь… Ваше искусство – смысл и оправдание всего. Черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия. Вы радость, содержание и светлая душа всех, кто жил неправильно, захлебывался грязью, умирал от горя. Только не замолчите – не умирайте заживо».

Ту же мысль, хотя и совсем другим тоном и более лаконически выразил и К. Чуковский. 17 марта 1922 года он записал у себя в Дневнике:

«Если просидеть час в книжном магазине – непременно раза два или три увидишь покупателей, которые приходят и спрашивают:

– Есть Блок?

– Нет.

– И «Двенадцати» нет?

– И «Двенадцати» нет.

Пауза.

– Ну так дайте Анну Ахматову!»

* * *

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.
Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Полынью пахнет хлеб чужой.
А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Июль 1922, Петербург

Летом 1922 года на проводах Артура Лурье Анна Андреевна и Николай Николаевич Пунин случайно оказались за одним ресторанным столиком и неожиданно заинтересовались друг другом. Ахматова опять, в который раз, предсказала себе судьбу, написав в ночь под Рождество стихотворение «Рахиль».

Рахиль

И служил Иаков за Рахиль семь лет;
и они показались ему за несколько дней,
потому что он любил ее.

Книга Бытия

И встретил Иаков в долине Рахиль,
Он ей поклонился, как странник бездомный,
Стада подымали горячую пыль,
Источник был камнем завален огромным.
Он камень своею рукой отвалил

И чистой водою овец напоил.
Но стало в груди его сердце грустить,
Болеть, как открытая рана,
И он согласился за деву служить
Семь лет пастухом у Лавана.
Рахиль! Для того, кто во власти твоей,
Семь лет – словно семь ослепительных дней.
Но много премудр сребролюбец Лаван,
И жалость ему незнакома.
Он думает: каждый простится обман
Во славу Лаванова дома.
И Лию незрячую твердой рукой
Приводит к Иакову в брачный покой.
Течет над пустыней высокая ночь,
Роняет прохладные росы,
И стонет Лаванова младшая дочь,
Терзая пушистые косы.
Сестру проклинает, и Бога хулит,
И Ангелу Смерти явиться велит.
И снится Иакову сладостный час:
Прозрачный источник долины,
Веселые взоры Рахилиных глаз
И голос ее голубиный:
Иаков, не ты ли меня целовал
И черной голубкой своей называл?

25 декабря ст. ст. 1921

Встречаться они стали лишь через несколько месяцев, в сентябре. В посвященном Н. Н. Пунину стихотворении «Небывалая осень построила купол высокий…» Ахматова на редкость выразительно окрестила тот удивительный сентябрь: «весенняя осень».

Весенняя осень

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней.

Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось – сейчас забелеет прозрачный подснежник…
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Сентябрь 1922

А. Ахматова – Н. Пунину

Милый Николай Николаевич, если сегодня вечером Вы свободны, то с Вашей стороны будет бесконечно мило посетить нас. До свидания.

Ахматова.

Приходите часов в 8–9.

Пунин и Ахматова, как и все царскоселы, были шапочно знакомы с давних пор. С давних пор, видимо, и нравились друг другу, правда, не слишком, а слегка. Впрочем, со стороны Пунина интерес к жене Гумилева, похоже, был столь явным, хотя и корректным, что Николай Степанович, обычно иронично-снисходитель-ный к поклонникам Анны, Николая Николаевича невзлюбил всерьез и беспричинно. И вот этот человек возник в ее судьбе, и притом в самую мрачную пору жизни: без завтрашнего дня, в чужом доме, среди чужих вещей и по чужим правилам. В то время Анна Андреевна после смерти Гумилева жила у подруги – актрисы, плясуньи, затейницы – Ольги Судейкиной (один из прообразов первой красавицы «Поэмы без героя» – Путаницы, Психеи, «Коломбины десятых годов»). Ольга, обожавшая Анну, охотно уступила ей не только часть жилплощади, но и очередного из своих мужей – молодого, но уже почти «знаменитого» композитора Артура Лурье. Музыка в те годы, естественно, не кормила, и Артур служил в секретариате А. В. Луначарского. В 1922 году его откомандировали в Берлин, по служебной надобности. Уже решив, что в советскую Россию не вернется, Лурье настойчиво звал с собой и Ольгу, и Анну. Ольга в конце концов уехала и благополучно добралась до Парижа. Анна со своего места не сдвинулась. Уезжая, Лурье по-дружески попросил приятеля Николая Пунина – больше просить было некого – присмотреть за Оленькой и Аннушкой. О «Коломбине десятых годов» заботиться не пришлось. Анна так и осталась на его

руках…

Н. Пунин – А. Ахматовой

Друг мой дорогой, Анна, ты сама знаешь, как пусто стало, как только ты ушла, – я не стал бороться с сентиментальным желанием тебе писать. Люблю тебя, родная, люблю тебя. Какая странная и ровная пустота там, где ты еще час тому назад наполняла все комнаты и меняла размеры всех вещей; мне всегда стыдно напоминать о себе, но я дорожу тем, что говоришь о чем-нибудь моем; так и сегодня, хотелось, чтобы ты все видела, все заметила и все запомнила, а я только мог едва-едва поцеловать твои руки. Ты так плохо выглядела под конец, я не могу, мне физически больно, когда ты так больна и когда у тебя что-нибудь болит; я смотрел, как ты ешь яблоко, на твои пальцы, и по ним мне казалось, что тебе больно; какое невозможное желание сейчас во мне: их поцеловать, их целовать это уже не любовь, Анна, не счастье, а начинается страдание, не могу без тебя и в горле чувствую: где ты сейчас, друг, друг мой. Как ты под конец сегодня плохо выглядела; не надо так, Анна.

Наш страшный вчерашний разговор очень сильно изменил характер или окраску, что ли, моей любви к тебе. Она стала тревожной и мрачной, какой раньше не была; я чувствую ее теперь в сердце почти постоянно, в форме какой-то глубокой тоски, все равно думаю я о тебе или не думаю и как думаю. Чувствуешь ли ты то же самое? Что произошло? Почему все стало таким трагичным, как будто ты еще куда-то ушла – и стала так близко к моей, совсем рядом, и в душу мою вошла.

…Друг мой дорогой, как я хочу тебя видеть, как я все помню, что ты была сегодня здесь.

Словно память о том, что в каких-то далеких веках мы прошли здесь с тобою.

Октябрь 1922

Н. Пунин – А. Ахматовой

Никакого веселого письма не могу написать, а мрачным не хотел бы Вас тревожить, потому что люблю Вас.

С тех пор еще больше того, что Вы назвали отчаянием; проснулся сегодня в тяжелой тоске о Вас, и видеть Вас – единственное, чего хочу, но знаю, что это ни к чему и бесполезно, так можно дойти до края, до полной потери власти над своей жутью. Не только я не хочу этого, но и ангел Ваш.

Я не жалуюсь, не думайте этого. Люблю Вас не только такой, какая Вы есть, но если бы Вы были действительно злой. Счастье тоже бывает разное, мое – темное и тяжелое счастье от Вас. Все утро думал только о Вас, вспоминал Ваши слова, Ваш голос – и показалось, что мое счастье полнее от того, что сейчас Вас нет около меня; это, верю, мираж, не может так быть, но от напряженного воспоминания, от тоски и беспокойства.

Мы часто с Вами жалуемся на условия, в которых наша любовь, – это зря; во всех условиях будет так, как сейчас, разве только бледнее. Единственная форма, которая принесла бы призрачное, внешнее облегчение, если бы я мог быть только с Вами все часы дня и ночи, хоть неделю, хоть месяц.

Все еще идет один день, сейчас поеду ко всей этой тупой суете и понесу всюду тесную память о Вас, над всем, что будет, будете Вы, и, вероятно, это самое напряженное чувство из тех, которыми наполнены люди, какие мне сегодня встретятся. Ну, улыбнитесь, ведь это самомнение любви.

Как я люблю Вас. Никакие слова, ни даже поступки ничего не могут передать. С какою нежностью, с какою покорностью, без остатка, ничего не ожидая особенного, не за что-нибудь, только просто люблю и Ваше милое грешное тело, и Вашу душу ангела.

Анна, нет у Вас силы заставить меня причинить Вам сознательно боль, милая.

Ну, храни Вас Бог, сейчас хочу занести Вам это письмо и не знаю, удержусь ли, чтобы не увидеть Вас, а может быть, пошлю с посыльным. Неужели не дождусь от Вас настоящего письма.

Целую Ваши чудесные дорогие руки, до завтра.

Через несколько лет, когда, после официального развода с В. К. Шилейко, Ахматова вновь оказалась бездомной, Пунин уговорил ее поселиться в одной квартире с ним и его семьей.

Квартира Пунина, расположенная в садовом флигеле городской усадьбы графов Шереметевых, так называемый Фонтанный дом, была бывшим дворцом, но все-таки гораздо комфортабельней музейной трущобы в Мраморном бывшем дворце. После революции последний из владельцев этой исторической усадьбы Сергей Шереметев передал ее вместе со всеми коллекциями в дар народу. Нарком Луначарский распорядился объявить Фонтанный дом филиалом Русского музея; Н.Н.Пунин, как сотрудник этого музея, в начале 20-х получил четырехкомнатную квартиру на третьем этаже одного из жилых флигелей.

В Пунине Ахматова, видимо, нашла то, чего напрасно искала в Шилейке: надежное постоянство, рабоче-семейную, а не

богемную жизненную установку – словом, то, что когда-то, в дни ее детства, называлось старомодным словом: порядочность.

Пунин и впрямь был человеком порядочным, но именно в силу порядочности, помноженной на бесхарактерность, связал свою жизнь с жизнью Ахматовой, не только не разойдясь официально с прежней женой, но и не уходя из семьи. Анна Андреевна бытовала в его квартире на заведомо ненатуральных условиях: вносила в семейный бюджет Пуниных «кормовые деньги», не мешала законной супруге Николая Николаевича в родственных кругах по-прежнему числиться и представительствовать в качестве мадам Пуниной. Ахматова, как только поняла, что сложившееся положение – не временное затруднение, а способ существования – modus vivendi, пыталась, и не однажды, изменить ситуацию: найти работу, получить пусть скромную, но свою жилплощадь… Но каждый раз Николай Николаевич находил ее, заявлял, что без нее не может ни жить, ни работать, а если он не будет работать, то все семейство погибнет от голода. И Анна Андреевна возвращалась, и все: и Пунин, и его официальная, по документам, жена, – и дочь делали вид, что так и надо, что странный сей симбиоз – в порядке вещей.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«…У меня ведь были все возможные варианты и комбинации; было и так. У Николая Николаевича начался роман с Тотей. Сначала я ничего не знала, потом знала, но не обращала внимания; потом я переехала к Срезневским. Н. Н. [Пунин] грозил, что убьет Срезневских, если я буду у них жить, умолял, плакал и пр. Я переехала в Царское, жила там в комнате умирающей Валентины Андр. [Щеголевой] и ухаживала за ней. Он приезжал туда; я подходила к окну с полотенцами и компрессами. Мне было очень не до него. Наконец он поклялся, что с Тотей все кончено, и я вернулась… Через несколько времени я шла по Невскому к вокзалу – помните, там была писательская столовая? И встретила Н. Н. под руку с Тотей. Они шли, очень весело болтая. Я перешла на другую сторону. Они меня увидали и кинулись в какую-то пивную.

…Правда, смешно, что я загнала их в пивную?.. (Она рассмеялась очень сердечно и весело)».

(Тотя – Антонина Николаевна Изергина, специалистка по западноевропейской живописи, сотрудница Эрмитажа, ученица Н. Н. Пунина.)

Что же касается друзей Анны Андреевны, то они, похоже, придерживались правила: в доме повешенного не говорят о веревке. Зато уж недруги были в восторге: наконец-то они получили вечный сюжет для злословия. Чем она могла защититься? Стихами? Слабая защита… Тем более что стихи, которые еще недавно шли мощным потоком, вдруг перестали случаться…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Николай Николаевич отыскал теперь новый повод, чтобы на меня обижаться: почему я, когда мы были вместе, не писала, а теперь пишу очень много… Меня так тяготила вся обстановка – больше, чем горе. Я теперь наконец поняла, в чем дело: идеалом жены для Николая Николаевича всегда была Анна Евгеньевна: служит, получает 400 рублей жалованья в месяц и отличная хозяйка. И меня он упорно укладывал на это прокрустово ложе, а я и не хозяйка, и без жалованья… Если бы я дольше прожила с Владимиром Казимировичем, я тоже разучилась бы писать стихи.

– А там вы кем должны были быть? – спросила я.

– Там – никем, но просто человек был невозможный для совместного обитания.

Я спросила, любит ли Николай Николаевич ее стихи.

– Этого разобрать нельзя – любит или не любит. Он ведь человек бессознательный».

Последний тост

Я пью за разоренный дом,
За злую жизнь мою,
За одиночество вдвоем
И за тебя я пью, —
За ложь меня предавших губ,
За мертвый холод глаз,
За то, что мир жесток и груб,
За то, что Бог не спас.

27 июня 1934, Шереметевский дом

Когда в ее жизни начинало происходить что-нибудь заведомо несуразное, Анна Андреевна не удивлялась, а произносила одну и

ту же фразу: «Со мной всегда так». То есть не так, как у людей. Не так, не по-людски складывались отношения Ахматовой с Н. Н. Пуниным…Так, не по-людски, они и бытовали долгие годы, практически до самой войны, втроем, точнее, вчетвером: Пунин, две Анны и дочка Пуниных – Ирина. А когда наезжал из Бежецка Лев Гумилев, то и впятером. Считалось, что Ахматова как бы снимает у четы Пуниных комнату, а также столуется, причем за то и другое платит.

Сергей Шервинский «Анна Ахматова в ракурсе быта»

«…В одно из моих ранних, тогда еще робких посещений квартиры на Фонтанке мы сидели вечером за столом с Анной Андреевной. Она разливала чай. Вошел довольно высокий черноволосый мужчина с бородкой, в руке у него была раскрытая книга. Нас познакомили. Пунин сел по другую сторону стола, наискось от меня, и тотчас погрузился в прерванное чтение. Читал, не поднимая лица от книги и не обращая ни малейшего внимания ни на присутствие Анны Андреевны, ни на ее гостя. В этой изолированности за домашним чайным столом была доля демонстративности, он словно хотел показать, что ее жизнь – вовсе не его жизнь, что ее гость не имеет к нему никакого отношения. Мы с Анной Андреевной проговорили еще с добрый час, а Николай Николаевич так и не изменил своей позы, потом вышел, не простившись…

Я не имею никаких оснований судить о жизни Анны Андреевны с Пуниным. Но у меня осталось впечатление, собиравшееся больше из мелочей, оттенков и чужих слов, что брак с Пуниным был ее третьим “матримониальным несчастием”».

Е. К. Гальперина-Осмеркина в записи В. Д. Дувакина

«…Примерно в 33-м году мы… подошли как-то к Летнему саду. Навстречу нам шли две фигуры. Он [А.А. Осьмеркин, муж Е.К. Гальпериной-Осьмеркиной] мне тихо шепнул: “Ахматова идет”. А рядом с ней шел ее муж, фактический муж, Пунин Николай Николаевич, тоже профессор Академии. Он вел теоретический курс… не могу точно сказать… или по истории живописи, или по эстетике.

Я была поражена счастливым видом этих людей. Это шли два счастливых человека, с улыбками, с радостью, с каким-то оживленным разговором, оба необыкновенно статные, быстрой бодрой походкой. Я подумала: “Вот счастливые люди!” Не знаю,

как они тогда жили, но, очевидно, Анна Андреевна была тогда счастлива.

Надо сказать вам, что больше я ее никогда не видала в таком счастливом и безмятежном состоянии. Весь их вид говорил: сейчас мы счастливы, а там посмотрим».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Анна Андреевна звонила несколько раз, хотела прийти. Я ее все не пускала: еще заразится. Да и сама она не совсем здорова. Но сегодня она все-таки пришла. Плохая, темная, глаза ввалились, морщины вокруг рта обозначились резче.

Николай Николаевич вернулся:

– Ходит раздраженный, злой. Всё от безденежья. Он всегда плохо переносил безденежье. Он скуп.

Слышно, как кричит в коридоре: “Слишком много людей у нас обедает”. А это всё родные – его и Анны Евгеньевны. Когда-то за столом он произнес такую фразу: “Масло только для Иры”. Это было при моем Левушке. Мальчик не знал куда глаза девать.

– Как же вы все это выдерживали? – спросила я.

– Я все могу выдержать.

(“А хорошо ли это?” – подумала я)».

А. Ахматова – Н. Пунину

Милая Радость, я уже получила 3 письма из Токио. Николушка, не унывай, стыдно. Дома все благополучно. Уверяю тебя, что нам здесь совсем не плохо; тепло, тихо, никто нас не обижает. Я здорова, вчера (1-го мая) ездила в Ц<арское>, была в парке, ты со мной, как всегда милый и дерзкий. Еще нет ни цветов, ни травы, но во всем весна. Вспомнила всех, кто для меня связан с Ц<арскосельскими> парками: Анненского, Комаровского. Николая Степановича (и стихотворение П<ушки>на: “В начале жизни школу помню я”).

Я проезжала мимо дома, где прошла твоя юность; алый флаг – над балконом, окна освещены. Что печальнее прошлого. Милая Радость! Неужели еще хоть одну весну в жизни встречать без тебя, быть этого не может. Но я рада, что ты уехал, что ты узнал новое, невиданное. Меня начинают пугать твои письма. Клянусь тебе, здесь все в порядке, Галя лелеет меня, Ира здорова – все тебя любят, ждут и хотят, чтобы ты был так же безмятежен. Твою телеграмму, посланную сегодня в 8 утра, я получила в 5 ч. пополудни, с ужасом думаю, что не писала тебе 2 недели, что ты будешь волноваться, а оттого пуще хандрить и мрачнеть. Не надо,

солнце, береги нашу любовь, когда мы так тяжело разлучены.

Ходишь ли в музеи, видишь ли людей? пиши и помни, а главное будь веселым азиатом (как эти два слова ни за что не связываются?!).

Целую тебя, подумай, каково мне смотреть на твою карточку, где ты в повязке. Обещаю писать часто.

Анна – твоя.

2 мая 27 г.

Назвать союз с Пуниным счастливым или хотя бы удачным и в самом деле нельзя… И все-таки отношения людей, связанных этим несчастливым союзом, были, судя по всему, куда более сложными и человечными, чем это показалось Сергею Шервинскому – со стороны и вчуже.

Какие-то получаемые мной гроши я отдавала Пуниным за обед (свой и Лёвин) и жила на несколько рублей в месяц.

Круглый год в одном и том же замызганном платье, в кое-как заштопанных чулках и в чем-то таком на ногах, о чем лучше не думать (но в основном прюнелевом), очень худая, очень бледная – вот какой я была в это время. И это продолжалось годами.

Борис Пастернак – Анне Ахматовой

Дорогая, дорогая Анна Андреевна!

Как Вас благодарить, что не забыли Вашего слова в ответ на мое восклицанье, вырвавшееся так безотчетно и так ведь верно! Еще труднее описать чувство радости при получении этой удивительной карточки с удивительной ахматовской надписью, совершенной в ее кажущейся случайности, как и все у Вас. Вы, может быть, забыли? Там сказано: «от этого садового украшенья!»

Но, Анна Андреевна, зачем Вы так небрежете здоровьем? Горнунг передает, будто Вы опять хвораете. А я-то на радостях написал Цветаевой (знаете, в тот вечер, что мы о ней говорили, она читала Вас в Лондоне), – про сказочную перемену, которую нашел в Вас, и эта радость успела там распространиться. Если бы я не верил в доброту всякого глаза, устремленного на Вас, я бы из предосторожности перестал заикаться о Вашем здоровье. При таком же убеждении мне хочется просить положенья этого не колебать. От всего сердца желаю скорейшей поправки.

Анна Андреевна, у меня к Вам просьба, которую я испещрю оговорками только ввиду высокой, поразительной и редкой разборчивости в вещах практических. Однако, думается, ей в

данном случае не может быть места. Речь идет о получении причитающегося Вам гонорара за перепечатку Ваших стихов в «Антологии русской поэзии XX в.», выпущенной изд-вом «Новая Москва». Составители и книгоиздательство, собирая книгу, и не подозревали, что им когда-нибудь об авторах напомнят. Сделали это, в отношении себя самих, Герасимов и Кириллов. Суд приговорил издательство к выплате истцам гонорара по 50 коп. за строчку. Местком писателей (полноправный Союз), на основании соответствующих отдельных заявлений, предъявляет издательству аналогичный иск от лица всех, как говорится в таких случаях, – потерпевших. И вот, драгоценная и неповторимая пострадавшая, одного насморка которой не стоит вся антология со всем издательством в придачу, настойчиво прошу Вас о следующем. Пришлите Ю.Н. Верховскому или мне собственноручное заявление в Моск. местком писателей при Союзе Рабпроса – о доправке с издательства «Новая Москва» причитающегося Вам гонорара за перепечатку ваших стихов в «Антологии русской поэзии XX в.», выпущенной издательством. Пришлите также Юрию Никандровичу или мне доверенность на полученье денег, которые изд. обязано будет выплатить по принужденью суда, но, вероятно, не раньше осени. Вам приходится, если не ошибаюсь, около 200 руб. (немн. больше или меньше, не помню). В доверенные я Вам навязываю двух лиц на выбор с тем, чтобы сузить наблюденье за дальнейшими шагами до полной обозримости. А то нельзя быть уверенным, что Вы что-нибудь предпримете…

Адрес Ю.Н. Верховского. Остоженка, Коробейников (б. 1-й Ушаковский) п., д. 12, кв. 4.

Привет Н.Н. Пунину. Мой адрес: Волхонка, 14, кв. 9.

Еще раз горячо благодарю Вас за все.

Преданный Б. Пастернак. 17 апреля 1926, Москва

В юности Анна Андреевна немного побаивалась умную и властную свою свекровь. Да и той не очень-то нравился выбор сына. С рождением долгожданного внука, названного Львом в честь любимого брата Анны Ивановны Гумилевой, контр-адмирала Льва Львова, отношения потеплели, а после гибели Николая Степановича стали почти близкими.

Анна Ахматова – Анне Ивановне Гумилевой

Милая Мама,

только что получила твою открытку от 3 ноября. Посылаю

тебе Колино последнее письмо. Не сердись на меня за молчание, мне очень тяжело теперь. Получила ли ты мое письмо? Целую тебя и Леву.

Твоя Аня. Из Петрограда в Бежецк. Ноябрь 1917 г.

Анна Ивановна Гумилева – Анне Ахматовой

Дорогая Аничка!

Сегодня Лёва пошел в школу за своим свидетельством об окончании 4 класса: переводе его в следующий класс, то есть теперь уже во вторую ступень. Но ему никакого свидетельства не выдали, а потребовали, чтобы он принес метрическое свидетельство. Он, бедняга, очень огорчился, когда узнал, что у меня нет его, и я сама пошла с ним в школу выяснить это дело. И мне тоже сказали, что нынче очень строго требуются документы и без метрики во вторую ступень не примут ни за что. Так что, голубчик, уже как хочешь и добывай сыну метрику, и как можно скорее, чтобы Шура могла привезти ее с собою. А без нее он совсем пропадет, никуда его не примут. А когда будешь получать бумагу, то обрати внимание, чтобы, если он записан сын дворянина, то похлопочи, попроси, чтобы заменили и написали сын гражданина или студента, иначе и в будущем это закроет ему двери в высшее заведение…

Любящая тебя мама.5-го июля 1924

Анна Ахматова – Анне Ивановне Гумилевой

Дорогая моя Мамочка,

сейчас получила Ваши милые письма. Благодарю за поздравления и пожелания здоровья. Я очень старалась не хворать, как в прошлом году. Спасибо Левушке за письмо, только он напрасно думает, что я его отговариваю писать стихи. Его письмо Н.Н. (Пунину. – А.М.) я передала, бабушке послала…

Целую крепко. Твоя Аня

Из Ленинграда в Бежецк. 1926-й г.

Павел Лукницкий. «Дневники»

В комнате очень холодно. А. Е. Пунина начинает топить.

Время подходит к 9 часам. АА с сожалением говорит, что ей

надо уходить домой, потому что она должна застать управдома, чтобы взять у него трудовую книжку В. К. Шилейко. Какую трудовую книжку? Зачем? Оказывается, что трудовая книжка Шилейко лежит у управдома, а без нее В. К. Шилейко не может получить жалованье в университете. И вот, вместо того чтобы самому по лестнице спуститься к управдому и взять ее, Шилейко заставляет АА специально для этого возвращаться на несколько часов раньше в свою ужасную квартиру, идти к управдому, выдумывать повод – почему именно она, а не сам В.К. Шилейко приходит…

А. Е. Пунина начинает топить печку в соседней комнате – в спальне. Я иду туда, гоню А. Е. Пунину и затапливаю печку сам. АА покидает диван с термометром под мышкой – поставленным по моим увещаниям. Подходит к печке. Садится на корточки перед ней и ежится. Мне очень нравится – очень идет АА черное платье… Я говорю ей это. АА отвечает, что нравится платье и ей… «Я хочу сняться в этом платье…»

Приходит Пунин. Уговаривает АА оставить у управдома книжку до завтра, а не торопиться. И я, и А.Е.Пунина присоединяемся к этим уговорам… «Если он (В. К. Шилейко) сумасшедший, то это не значит, что Вы должны исполнять прихоти сумасшедшего…»

Наконец АА поддается нашим просьбам и остается. Я ухожу домой…

Не знаю почему – вероятно, и разговоры с АА, и ее грустно-покорный тон в этих разговорах, какая-то особенная незлобивость, чувство ясного понимания Анной Андреевной трагического в эпохе, трагизм ее собственного существования – все вместе так подействовало на меня, что я ушел с подавленным сердцем, шел, не видя встречных сквозь липкую мразь и туман, и когда пришел – лег на постель с темной и острой болью в сердце и с бушующим хаосом, хаосом безвыходности в мыслях.

АА не жалуется. Она никогда не жалуется. Жалобы АА – исключительное явление и запоминаются навсегда.

И сегодня она не жаловалась. Наоборот. Все, о чем она говорила, говорила она как-то ласково-грустно, и со всегдашним юмором, и доброй шуткой, и твердым, тихим и гибко интонирующим голосом. Но от этого мне было еще грустней. Ибо видеть ясный ум, тонкую натуру, мудрое понимание и острое чувствование вещей, и доброту, доброту, доброту… – в такой обстановке, в таком болоте мысли и мира – тяжко».

29.10.1925

Клевета

И всюду клевета сопутствовала мне.
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я, —
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема тогда она войдет,
В моей крови ее неутоленный рот
Считать не устает небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды.
И станет внятен всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед,
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

1922

*«Скитаясь наугад за кровом и за хле*бом» – не жалоба. Это точная, скупая и бесслезная констатация нагой, низкой истины. Жизнь Ахматовой после катастрофы 1921 года, когда один за другим ушли – «забыв» ее «на дне», брат Андрей, Блок, Гумилев, – осиротела. «Меня как реку суровая эпоха повернула» – скажет о себе Ахматова на пороге старости. Но прежде чем повернуть и при повороте наполнить новым полноводием сил и чувств, эпоха заставила ее пережить мучительное для поэта такой творческой энергетики обмеление. Это не стало полным высыханием источников («водопадов») поэзии, это было именно обмеление, и прежде всего обмеление или оскудение эмоциональное. После 1921 года и внутренняя, духовно-душевная, и внешняя жизнь Ахматовой, надолго, на целых пятнадцать лет, укладывается в простенький анкетный сюжет: в 1922 г., де-факто разойдясь с Шилейко, на полтора десятка лет «сошлась», как говорили в те времена, с Николаем Николаевичем Пуниным. В 1936 году,

незадолго до окончательного разрыва и после почти десятилетия немоты (с 1925-го по 1935-й Ахматова написала всего двадцать стихотворений) она создала цикл «Разрыв».

* * *

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву…
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу.
Только ночью слышу скрипы.
Что там – в сумраках чужих?
Шереметьевские липы…
Перекличка домовых…
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды —
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он – твой уют?»

30 октября 1936

Ночь

В дни разрыва почти все и почти всегда произносят много несправедливых слов. Ахматова не исключение. Однако о своем полубраке с Пуниным она и в конце жизни говорила то же самое: «…пятнадцать блаженнейших весен я подняться не смела с земли», а «стихи стояли за дверью», как выставленная уличная обувь, и дожидались, когда же потребуется хозяйке ее уникальный дар… Нет, нет, Пунин, в отличие от Шилейки, не разжигал ни самовара, ни печки рукописями ахматовских стихов. И двери его дома были широко распахнуты для всех знакомых Акумы (домашнее прозвище Анны Андреевны). Больше того, при всем том, что бытовали они в бедности, куда беднее, чем многие в их кругу, все-таки и Пунин, и его жена, врач по профессии, ежемесячно получали зарплату. Ахматова с некоторыми перерывами и перебоями получала пенсию по болезни и половину тут же отправляла в Бежецк – сыну и свекрови, а вторую делила между своей матерью и сенбернаром Тапом – пес Шилейко остался на ее содержании: бывший муж иногда давал деньги на

прокорм, а иногда и «забывал» об этом.

Анна Ахматова – В.К. Шилейко

Дорогой Володя,

Вчера я была в твоей мраморной резиденции и прочла под воротами грозное распоряжение Управдома вносить квартплату немедленно и, кроме того, приказ переустроить электр. освещение до 15 окт. на свой счет, а не то электроток закроет свет. Пожалуйста, сообщи, как мне быть? – ты мне доверенности на сентябрь не прислал, у меня денежек нет, чтобы внести квартирную плату, переустроить электричество и содержать Тушина.

Собака милая здорова.

До свидания. Жду вестей. Привет В. К.

Твоя Ахматова 6.VII. 27

Оставалась от пенсии сущая мелочь: на папиросы, самые дешевые, и трамвай. Очень часто Анна Андреевна отказывалась и от публичных выступлений, и от приглашений и контрамарок в театр просто потому, что ей нечего было надеть. Однажды она потеряла туфлю от единственной «выходной» пары – выронила из муфты, доставая мелочь, и эта потеря чуть ли не год стала главной причиной ее «затворничества». И тем не менее по сравнению с бездомьем 1917–1922 гг. квартира Пуниных в садовом флигеле Шереметевского дворца была пусть и не совсем своим, но обиталищем. Впрочем, Анна Андреевна никогда не называла его блаженным словом: дом.

Всегда: Фонтанный Дом. Именно так – с большой буквы: Д и Ф.

Она и Пунину никогда на людях не говорила «ты», так же как и он – ей: Вы, Николай Николаевич… Вы, Анна Андреевна… И даже если – Аня, все равно: Вы.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я спросила Анну Андреевну, почему в той семье ее называют Акума.

– Правильнее было бы Акума, – отвечала она. – По-японски это значит Злой Дух. Так меня называл Володя Шилейко. И Николай Николаевич один раз так назвал в телеграмме. За ним стала называть Ирина. И вот теперь Аничка.

Помолчав, она добавила:

– Ира и Аня единственные люди на земле, которые говорят мне “ты”. Я рада. Как в детстве.

В одном из своих писем к Анне Андреевне из Японии, где Николай Николаевич побывал в командировке в 1927 году, он, объясняя прозвание “Акума”, сообщал:

“…когда я немного познакомился с японским языком, мне твое имя “Акума” стало казаться странным; думалось, оно должно иметь значение. Я спросил одного японца, не значит ли что-нибудь слово – “Акума” – он, весело улыбаясь, сказал: это значит – злой демон, дьяволица, если принять женский род и наше понимание. Очевидно, Вольдемар знал смысл этого слова. Возможно, что где-нибудь на “его” Востоке именем этим обозначался какой-нибудь бог, или дух – но во всяком случае, – зла”».

Отчуждение вызывалось, видимо, еще и тем, что Николай Николаевич не признал сына Анны Андреевны ребенком своего дома, а Анна Андреевна из гордости обходила этот крайне болезненный «пункт» их брачного договора молчанием. Считалось, что Леве лучше, а главное, безопаснее жить подальше от столицы. К тому же нельзя же отнять у Анны Ивановны Гумилевой ее единственную, после преждевременной смерти сыновей (Дмитрий умер в сумасшедшем доме спустя год после расстрела Николая) отраду. Однако когда старшая (сводная) сестра Николая Степановича А.С. Сверчкова, жившая с мачехой в Бежецке, из тех же соображений предложила усыновить Льва Гумилева, дескать, и учиться в вузе, и работать под фамилией Сверчков безопаснее, чем под фамилией Гумилев, – Анна Андреевна наотрез отказалась. Пунин же, казалось бы, столь естественного в сложившейся ситуации варианта ей никогда не предлагал, между тем как Ахматова относилась и к его дочери Ирине, а потом к внучке Ане как к своим детям, и это, судя по всему, сильно осложняло отношения: между сыном и матерью – явно, между Ахматовой и Пуниным – тайно… И думается, не случайно окончательный разрыв (сентябрь 1938) между ними произошел сразу после ареста Льва Николаевича в марте 1938 года.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

…Прочитала мне еще одну строфу в “Поэме”, которую вставила ненадолго и выбросила. (Я ее никогда не слыхала и не видала. Это, конечно, о Пунине. Припоминаю уже дома – верно ли?)

А за тонкой стенкой, откуда
Я ушла, не дождавшись чуда
В сентябре, в ненастную ночь,
Старый друг не спит и бормочет,
Что он больше, чем счастья, хочет
Позабыть про царскую дочь.

М. В. Латманизов. «Разговоры с Ахматовой»

«Я. – Анна Андреевна, скажите пожалуйста, что произошло в 1924 году? Почему был наложен запрет на Ваши стихи? Почему Вас перестали печатать? Почему был уничтожен подготовленный двухтомник Ваших стихов?

А. – В 1924 году я получила приглашение из Москвы провести там литературный вечер со своими новыми стихами. Я поехала в Москву и прочитала много стихотворений. Я прочитала “Клевету” и ряд стихотворений из последнего издания “Anno Domini”, которые раньше не печатались. На вечере присутствовало какое-то высокопоставленное лицо, которому не понравились мои стихи. И вот после этого вечера я была запрещена. Меня перестали печатать. Подготовленный к выпуску, уже напечатанный, двухтомник моих стихов был уничтожен. Этот запрет был очень длительный. До 1939 года меня не печатали. Совсем ничего. Я переводила, занималась литературоведением, писала о Пушкине. Меня не печатали. Вот потому, вероятно, сложилась легенда, что я замолчала».

…Что же касается третьего сборника – «Anno Domini», дело обстоит сложнее. Он вышел (2-е издание) в 1923 г. в Берлине («Petropolis» и «Алконост») и не был допущен на родину. Тираж, по тем временам значительный, остался за границей.

То, что там были стихи, не напечатанные в СССР, стало одной третью моей вины, вызвавшей первое постановление обо мне (1925 год); вторая треть – статья К. Чуковского «Две России (Ахматова и Маяковский)»; третья треть – то, что я прочла на вечере «Русского современника» (апрель 1924 г.) в зале Консерватории (Москва) «Новогоднюю балладу». Она была напечатана в № 1 «Русского современника» (без заглавия), и очень дружески ко мне расположенный Замятин с неожиданным раздражением сказал мне, показывая пачку вырезок: «Вы нам весь номер испортили». (Там была еще «Лотова жена».)

Об этом выступлении в зале Консерватории в Москве

вспоминает Перцов («Жизнь искусства») в статье «По литературным водоразделам» (1925). Статью у меня взяли, но я помню одну фразу: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть…»

Новогодняя баллада

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.
Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем Новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?
Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим:
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»
А друг, поглядевши в лицо мое
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «А я за песни ее,
В которых мы все живем!»
Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвили: «Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».

Конец 1922 года

Лотова жена

Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом.

Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога,
Огромный и светлый, по черной горе.

Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула – и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

21 февраля 1924, Петербург, Казанская, 2

К. И. Чуковский. «Ахматова и Маяковский»

«…Похоже, что вся Россия раскололась на Ахматовых и Маяковских. Между этими людьми тысячелетья. И одни ненавидят других.

Ахматова и Маяковский столь же враждебны друг другу, сколь враждебны эпохи, породившие их. Ахматова есть бережливая наследница всех драгоценнейших дореволюционных богатств русской словесной культуры. У нее множество предков: и Пушкин, и Баратынский, и Анненский. В ней та душевная изысканность и прелесть, которые даются человеку веками культурных традиций. А Маяковский в каждой своей строке, в каждой букве есть порождение нынешней революционной эпохи, в нем ее верования, крики, провалы, экстазы. Предков у него никаких. Он сам предок и если чем силен, то потомками. За нею многовековое великолепное прошлое. Перед ним многовековое великолепное будущее. У нее издревле сбереженная старорусская вера в Бога. Он, как и подобает революционному барду, богохул и кощунник. Для нее высшая святыня – Россия, родина, “наша земля”. Он, как и подобает революционному барду, интернационалист, гражданин всей Вселенной, равнодушен к “снеговой уродине”, родине, а любит всю созданную нами планету, весь мир. Она – уединенная молчальница, вечно в затворе, в тиши: “Как хорошо в моем затворе тесном”.

Он – площадной, митинговый, весь в толпе, сам – толпа. И если Ахматова знает только местоимение ты, обращаемое

женщиной к возлюбленному, и еще другое ты, обращенное к Богу, то Маяковский непрестанно горланит “эй вы”, “вы, которые” “вы, вы, вы…”, всеми глотками обращается к многомордым оравам и скопам.

…Словом, тут не случайное различие двух – плохих или хороших – поэтов, тут две мировые стихии, два воплощения грандиозных исторических сил, – и пусть каждый по-своему решает, к которому из этих полюсов примкнуть, какой отвергнуть и какой любить.

Я же могу сказать о себе, что, проверив себя до конца, отдав себе ясный отчет во всех своих литературных и нелитературных симпатиях, я, к своему удивлению, одинаково люблю их обоих: и Ахматову, и Маяковского, для меня они оба свои… Для меня эти две стихии не исключают, а дополняют одна другую, они обе необходимы равно».

После моих вечеров в Москве (весна 1924) состоялось постановление о прекращении моей литературной деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на литературные вечера. (Я встретила на Невском М. Шагинян. Она сказала: «Вот вы какая важная особа: о вас было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать».)

* * *

Нормальная критика тоже прекратилась в начале 20-х годов (попытки Осинского и Коллонтай вызвали немедленный резкий отпор). На смену ей пришло нечто, может быть, даже беспрецедентное, но, во всяком случае, недвусмысленное. Уцелеть при такой прессе по тем временам казалось совершенно невероятным. Понемногу жизнь превратилась в непрерывное ожидание гибели. Попытаться найти какую-нибудь работу было бессмысленно, потому что после первой же статьи Перцова, Лелевича, Степанова и т. д. всякая работа тут же бы рухнула.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Никакого особого постановления ЦК о поэзии Ахматовой, вынесенного будто бы в 1925 году, – не существовало. Ссылаюсь на сборник, составленный Карлом Аймермахером: “В тисках идеологии… 1917–1927”. В сборнике появилась пронумерованная редакцией целая серия документов о политике партии в литературе. Так, например, на эту тему под № 45 напечатаны

соображения “Общества старых большевиков”, где подвергнуты порицанию “явно чуждые нам осколки буржуазно-дворянской литературы типа Ходасевичей, Волошиных, Бальмонтов и К°”, а заодно и “неустойчивые мелкобуржуазные писатели, так называемые “попутчики”, более… или менее… чуждые идеологии и психике рабочего класса”. Далее: “Эти писатели иногда даже выдаются за поэтов революции (статьи тт. Осинского и Коллонтай об Ахматовой)”. Анна Ахматова упоминается, и притом совершенно между прочим, и в партийном руководящем документе (№ 55), порицающем Воронского: зачем он дозволяет своим сторонникам, “вроде Осинского”, провозглашать “Ахматову лучшей писательницей”. В 1925 году под заглавием “О политике партии в области художественной литературы” 1 июля в “Правде” была опубликована резолюция ЦК против тех тенденций, которые, по мнению руководящего партийного органа, проникли в литературу как результат новой экономической политики (НЭП’а) и осмеливаются противопоставлять себя идеологии пролетарской. Основана резолюция была на документах, приведенных выше и им подобных. Ни одного конкретного писательского имени здесь, однако, упомянуто не было – так, не упомянута и Анна Ахматова».

Памяти Сергея Есенина

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безвольно догореть,
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.
Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

1925

Павел Лукницкий «Встречи с Анной Ахматовой»

«В 6 часов по телефону от Фромана я узнал, что сегодня ночью повесился С. Есенин… Никаких писем, записок не нашли. Нашли только разорванную на клочки фотографическую карточку его сына. Эрлих сейчас же позвонил Фроману, и тот сразу же явился. Позже об этом узнали и еще несколько человек –

Лавренев в том числе – и также пришли туда. Тело Есенина было положено на подводу, покрыто простыней и отправлено в Обуховскую больницу, а вещи опечатаны… Я сейчас же позвонил в несколько мест и сообщил об этом. Позвонил и Н. Тихонову – он уже знал, но не с такими подробностями. Тихонов расстроен, кажется, больше всех. Говорит, что это известие его выбило из колеи совсем…

Хоть я лично знал Есенина только по нескольким встречам (в прошлом году, например, возвращаясь из Михайловки, я оказался в одном вагоне с ним, и мы долго и много говорили – до самой Москвы), но и я очень расстроен. Жаль человека, а еще больше жаль поэта.

Предполагают, что ночью у Есенина случился припадок, и не было около него никого, кто бы мог его удержать, – он был один в номере.

28.12.25

В 9 часов утра меня поднял с постели звонок АА. Она просила меня зайти к ней часа через два, а до этого отправить телеграмму в Бежецк – узнать о здоровье Левы. Расспросила меня подробности о Есенине. Рассказал все, что знал…

Есенин… О нем долго говорили. Анну Андреевну волнует его смерть. “Он страшно жил и страшно умер… Как хрупки эти крестьяне, когда их неудачно коснется цивилизация… Каждый год умирает по поэту… Страшно, когда умирает поэт…” – вот несколько в точности запомнившихся фраз…

Из разговора понятно было, что тяжесть жизни, ощущаемая всеми и остро давящая культурных людей, нередко их приводит к мысли о самоубийстве. Но чем культурнее человек, тем крепче его дух, тем он выносливее… Я применяю эти слова прежде всего к самой АА. А вот такие, как Есенин, – слабее духом. Они не выдерживают.

А Есенина она не любила ни как поэта, ни, конечно, как человека. Но он поэт и человек, и это много. И когда он умирает – страшно. А когда умирает такой смертью – еще страшнее. И АА вспомнила его строки:

Я в этот мир пришел,
Чтобы скорей его покинуть…

(Цитирую на память и, может быть, неверно)».
29. 12.1925

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Вы вчера с неодобрением отозвались о Есенине, – сказала мне Анна Андреевна. – А Осмёркин его любит. Он огорчился. Нет, я этого не понимаю. Я только что его перечла. Очень плохо, очень однообразно, и напомнило мне нэповскую квартиру: еще висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства в присутствии посторонних. Да, вы правы: все время – пьяная последняя правда, все переливается через край, хотя и переливаться-то, собственно, нечему. Тема одна-единственная – вот и у Браунинга была одна тема, но он ею виртуозно владел, а тут – какая же виртуозность? Впрочем, когда я читаю другие стихи, я думаю, что я к Есенину несправедлива. У них, бедных, и одной темы нет».

А.А. Осмеркин – художник, приятель Анны Андреевны, автор ее портрета с названием «Белая ночь».

* * *

И клялись они Серпом и Молотом
Перед твоим страдальческим концом:
«За предательство мы платим золотом,
А за песни платим мы свинцом».

Ноябрь 1926

Мандельштаму

Я познакомилась с О. Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки.

…В десятые годы мы, естественно, всюду встречались: в редакциях, у знакомых, на пятницах в Гиперборее, т. е. у Лозинского, в «Бродячей собаке», где он, между прочим, представил мне Маяковского.

О. М

Нет, гуртом гонимым по Ленинке
За Кремлевским поводырем
Не брести нам, грешным, вдвоем.
Мы с тобой, конечно, пойдем,
По Таганцевке, по Есенинке
Иль большим Маяковским путем…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова; «Надя» – Надежда Яковлевна Мандельштам, жена О.Э. Мандельштама)

«…Осипа, уверяю вас, нельзя было не любить, хотя он совсем другой, чем Борис Леонидович… Трудно о нем рассказать, объяснить его. Вот умрет Борис Леонидович – и тоже нельзя будет объяснить, в чем было могущество его очарования. С Осипом я дружна была смолоду, но особенно подружилась в 37-м году. Да, в 37-м. Стихов моих он не любил, но если бы я была его сестрой, он не мог бы относиться ко мне доверчивее. Он мне, потихоньку от Нади, рассказывал обо всех своих любвях: он всю жизнь легко влюблялся и легко разлюблял… А один раз он сказал мне: “Я уже готов для смерти”.

13 мая 1934 года его арестовали. В этот самый день, после града телеграмм и телефонных звонков, я приехала к Мандельштамам из Ленинграда (где незадолго до этого произошло его столкновение с Толстым). Мы все были тогда такими бедными, что, для того чтобы купить билет обратно, я

взяла с собой мой орденский знак Обезьяньей Палаты – последний, данный Ремизовым [Мне принесли его уже после бегства Ремизова (1921)] из России, и статуэтку (работы Данько, мой портрет 1924 г.) для продажи. (Их купила С. Толстая для музея Союза писателей.)

Ордер на арест был подписан самим Ягодой. Обыск продолжался всю ночь. Искали стихи, ходили по выброшенным из сундучка рукописям. Мы все сидели в одной комнате. Было очень тихо. За стеной у Кирсанова играла гавайская гитара. Следователь при мне нашел “Волка” и показал О. Э. Он молча кивнул. Прощаясь, поцеловал меня. Его увезли в семь утра. Было совсем светло. Надя пошла к брату, а я к Чулковым на Смольненский бульвар, 8, и мы условились где-то встретиться. Вернувшись домой вместе, убрали квартиру, сели завтракать. Опять стук, опять они, опять обыск. Евгений Яковлевич Хазин сказал: “Если они придут еще раз, то уведут вас с собой”. Пастернак, у которого я была в тот же день, пошел просить за Мандельштама в “Известия” к Бухарину, я – в Кремль к Енукидзе. (Тогда проникнуть в Кремль было почти чудом. Это устроил актер Русланов через секретаря Енукидзе.) Енукидзе был довольно вежлив, но сразу спросил: “А может быть, какие-нибудь стихи?” Этим мы ускорили и, вероятно, смягчили развязку».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Андреевна об Осипе Мандельштаме)

«У него четыре стихотворения, мне посвященные: “Федра”, “Это ласточка и дочка” – непонятное, правда? а это мы просто топили печь… “Твое чудесное произношенье” и “Твоих, Кассандра, губ”. И четыре эпиграммы:

Черты лица искажены
Какой-то старческой улыбкой,
Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены? —

это я на вокзале говорила по телефону, а он смотрел. Еще:

Привыкают к пчеловоду пчелы,
Такова пчелиная порода.
Только я Ахматовой уколы
Двадцать три уже считаю года.

И еще:

Вы хотите быть игрушечной,
Но испорчен ваш завод,
К вам никто на выстрел пушечный
Без стихов не подойдет.

Анна Андреевна прочла еще одну, четвертую эпиграмму, но я ее забыла».

Осип Мандельштам. Кассандре

Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.
И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя…

Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.

Но, если эта жизнь – необходимость бреда
И корабельный лес – высокие дома, —
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.

На площади с броневиками
Я вижу человека – он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.

Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу – зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?

…В это время шла подготовка к 1 съезду писателей (1934), мне тоже прислали анкету для заполнения. Арест Осипа произвел на меня такое впечатление, что у меня рука не поднялась, чтобы заполнить анкету. На этом съезде Бухарин объявил первым поэтом Пастернака (к ужасу Д. Бедного), обругал меня и, вероятно, не сказал ни слова об Осипе.

В феврале 1936 года я была у Мандельштамов в Воронеже и узнала все подробности его «дела». Он рассказывал мне, как в припадке умоисступления бегал по Чердыни и разыскивал мой расстрелянный труп, о чем громко говорил кому попало, а арки в честь челюскинцев считал поставленными в честь своего приезда.

Пастернак и я ходили к очередному верховному прокурору просить за Мандельштама, но тогда уже начался террор, и все было напрасно.

Поразительно, что простор, широта, глубокое дыхание появилось в стихах Мандельштама именно в Воронеже, когда он был совсем не свободен.

И в голосе моем после удушья
Звучит земля – последнее оружье.

Вернувшись от Мандельштамов, я написала стихотворение «Воронеж».

Воронеж

О. М.

И город весь стоит оледенелый.
Как под стеклом деревья, стены, снег.
По хрусталям я прохожу несмело.
Узорных санок так неверен бег.
А над Петром воронежским – вороны,
Да тополя, и свод светло-зеленый,
Размытый, мутный, в солнечной пыли,
И Куликовской битвой веют склоны
Могучей, победительной земли.
И тополя, как сдвинутые чаши,
Над нами сразу зазвенят сильней,
Как будто пьют за ликованье наше
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта
Дежурят страх и Муза в свой черед.
И ночь идет,
Которая не ведает рассвета.

4 марта 1936

Немного географии

О. М.

Не столицею европейской
С первым призом за красоту —
Душной ссылкою енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Атбасар,
Пересылкою в лагерь Свободный,
В трупный сумрак прогнивших нар, —
Показался мне город этот
Этой полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами, грешными, – и тобой.

1937

В последний раз я видела Мандельштама осенью 1937 года. Они – он и Надя – приехали в Ленинград дня на два. Время было апокалипсическое. Беда ходила по пятам за всеми нами. Жить им было уже совершенно негде. Осип плохо дышал, ловил воздух губами. Я пришла, чтобы повидаться с ним, не помню куда. Все было как в страшном сне. Кто-то, пришедший после меня, сказал, что у отца Осипа Эмильевича нет теплой одежды. Осип снял бывший у него под пиджаком свитер и отдал его для передачи отцу. Мой сын говорит, что ему во время следствия читали показания Осипа Эмильевича о нем и обо мне и что они были безупречны. Многие ли наши современники, увы, могут сказать это о себе.

Второй раз его арестовали 2 мая 1938 года в нервном санатории около станции Черустье (в разгаре террора). В это время мой сын сидел на Шпалерной уже два месяца (с 10 марта).

Сын Гумилева

В 1916 году Марина Цветаева прислала из Москвы в Петербург «страшный подарок» – обращенные к четырехлетнему Левушке стихи. Не стихи, а пророчество. Предсказание судьбы.

Марина Цветаева

Имя ребенка – Лев,
Матери – Анна.
В имени его – гнев,
В материнском – тишь.
Волосом он рыж, —
Голова тюльпана! —
Что ж, осанна
Маленькому царю.
Дай ему бог – вздох
И улыбку матери,
Взгляд – искателя
Жемчугов.
Бог, внимательней
За ним присматривай.
Царский сын – гадательней
Остальных сынов.
Рыжий львеныш
С глазами зелеными,
Страшное наследие тебе нести!
Северный Океан и Южный
И нить жемчужных
Черных четок – в твоей горсти!

24 июня 1916

Лев Николаевич Гумилев был арестован впервые при случайной «облаве» и пробыл в заключении всего десять дней – в 1933 году; вторично – в конце октября 1935 года (вместе с Н. Н. Пуниным); третий раз – 10 марта 1938-го и в четвертый – 6 ноября 1949 года. В общей сложности Гумилев пробыл в заключении тринадцать с половиной лет.

Л.Н. Гумилев. «Автонекролог»

«34-й год был легким годом, и в университет меня приняли, причем самое трудное для меня было достать справку о моем социальном происхождении. Отец родился в Кронштадте, а Кронштадт был город закрытый, но я нашелся: пошел в библиотеку и сделал выписку из Большой советской энциклопедии, подал ее как справку, и поскольку это ссылка на печатное издание, она была принята, и меня приняли на исторический факультет. Поступив на истфак, я с охотой занимался, потому что меня очень увлекли те предметы, которые там преподавались. И вдруг случилось общенародное несчастье, которое ударило и по мне, – гибель Сергея Мироновича Кирова. После этого в Ленинграде началась какая-то фантасмагория подозрительности, доносов, клеветы и даже (не боюсь этого слова) провокаций.

Осенью 35-го года были арестованы тогдашний муж моей матери Николай Николаевич Пунин, и я, и еще несколько студентов. Но тут мама обратилась к властям, и так как никакого преступления реального у нас не оказалось, нас выпустили. Больше всех от этого пострадал я, так как после этого меня выгнали из университета, и я целую зиму очень бедствовал, даже голодал…»

(Аудиозапись 1987 года)

По Москве ходили слухи, что заключенных сразу отпустили потому, что Ахматова написала письмо Сталину и передала его в Кремль, в башню Кутафью. Письмо было действительно написано и передано, но дело было отнюдь не в том, в какое окошечко она его передала, а в том, через кого и как. Помогли ей доставить письмо по назначению и с чрезвычайною скоростью знаменитые в то время писатели – Лидия Сейфуллина и приятель Ахматовой Борис Пильняк. (Пильняк был лично знаком с всемогущим секретарем Сталина – Поскребышевым.)

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Когда в 1935 году арестовали Леву и Николая Николаевича, я поехала к Сейфуллиной. Она позвонила в ЦК, в НКВД, и там ей сказали, чтобы я принесла письмо к Сталину, в башню Кутафью, и Поскребышев передаст. Я принесла – Лева и Николай Николаевич вернулись домой в тот же день… Кажется, это был единственный хороший поступок Иосифа Виссарионовича за всю его жизнь… В 1938 году, когда арестовали Леву, все уже было тщетно… Но о Сейфуллиной у меня сохранилось самое лучшее воспоминание».

Анна Ахматова – Иосифу Сталину

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы Н.К.В.Д. мой муж Николай Николаевич (Профессор Академии Художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент Л.Г.У).

Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ.

Я живу в С.С.Р. с начала Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются и отзывы критики доставляют мне много горьких минут, я не падала духом; в очень тяжелых моральных и материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается.

В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу пережить.

Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет.

Анна Ахматова.1 ноября 1935

Когда Льва Гумилева арестовали снова, Ахматова попыталась еще раз использовать этот путь. Но письмо генералиссимусу уже не помогло.

Лев Гумилев из интервью для журнала «Звезда»

«…10 марта 1938 года последовал новый арест… Тут уже начались пытки… Я просидел под следствием в Ленинграде во внутренней тюрьме НКВД на Шпалерной и в Крестах 18 месяцев. Отсюда меня отправили на Беломорканал с десятилетним приговором. Вскоре меня везли обратно в Ленинград, так как этот приговор был отменен и статья была заменена на более строгую… – террористическая деятельность. Меня таким образом возвращали на расстрел. Но пока меня возили туда-сюда, из органов убрали Ежова. В следствии многое переменилось. Бить перестали… Вскоре мне принесли бумажку – приговор: 5 лет».

В это мрачное время Анна Андреевна стала часто встречаться с Лидией Корнеевной Чуковской. Их объединяло общее горе:

у Чуковской был арестован (и расстрелян, хотя родные об этом не знали) муж, Матвей Петрович Бронштейн, у Ахматовой – сын. Та и другая проводили бесконечные часы в тюремных очередях, обивали пороги «больших людей», ежедневно пытались что-то разузнать, кому-то написать, упросить…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

Мои записи эпохи террора примечательны, между прочим, тем, что в них воспроизводятся полностью одни только сны… Содержание наших тогдашних разговоров, шепотов, догадок, умолчаний в этих записях аккуратно отсутствует. Содержание моих дней, которые я проводила изредка за какой-нибудь случайной работой (с постоянной меня выгнали еще в 1937-м), а чаще всего – в очередях к разнообразным представителям Петра Иваныча, ленинградским и московским, или в составлении писем и просьб, или во встречах с Митиными товарищами, учеными и литераторами, которые пробовали за него заступаться, – словом, реальная жизнь, моя ежедневность, в записях опущена, или почти опущена; так, мерцает кое-где еле-еле. Главное содержание моих разговоров со старыми друзьями и с Анной Андреевной опущено тоже. Иногда какой-нибудь знак, намек, какие-нибудь инициалы для будущего, которого никогда не будет, – и только. В те годы Анна Андреевна жила, завороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету. Записывать наши разговоры? Не значит ли это рисковать ее жизнью? Не писать о ней ничего? Это тоже было бы преступно. В смятении я писала то откровеннее, то скрытнее, хранила свои записи то дома, то у друзей, где мне казалось надежнее. Но неизменно, воспроизводя со всей возможной точностью наши беседы, опускала или затемняла главное их содержание: мои хлопоты о Мите, ее – о Леве; новости с этих двух фронтов; известия «о тех, кто в ночь погиб».

(«Петр Иваныч» – условное наименование НКВД)

Анна Ахматова – Иосифу Сталину

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович,

Обращаюсь к Вам с просьбой о спасении моего единственного сына Льва Николаевича Гумилева, студента IV курса исторического фак. Ленинградского Г.У. Сын мой уже 13 месяцев сидит в тюрьме, его судили, приговор затем был отменен, и теперь дело вновь в первоначальной стадии (уже 5-й месяц).

Столь длительное заключение моего сына приведет его и

меня к роковым последствиям.

За это время я в полном одиночестве перенесла тяжелую болезнь (рак лица). С мужем я рассталась, и отсутствие сына, самого близкого мне человека, отнимает у меня всякую жизнеспособность.

Мой сын даровитый историк. Акад. Струве и проф. Артамонов могут засвидетельствовать, что его научная работа, принятая к печати, заслуживает внимания.

Я уверена, что сын мой ни в чем не виновен перед Родиной и Правительством. Своей работой он всегда старался оправдать то высокое доверие, которое Вы нам оказали, вернув мне сына в 1935 г.

С великим смущением и чувствуя всю громадность моей просьбы, я опять обращаюсь к Вам.

Иосиф Виссарионович! Спасите советского историка и дайте мне возможность снова жить и работать.

Анна Ахматова.

6 апреля 1939

* * *

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случилось с жизнью твоей.
Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своей слезою горячею
Новогодний лед прожигать.
Там тюремный тополь качается,
И ни звука. А сколько там
Неповинных жизней кончается…

1938

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»:

(В скобках – примечания Л.К. Чуковской, сделанные в 1966 году. Ольга Николаевна – Высотская, актриса студии Мейерхольда; в 1938 г. сын О.Н. Высотской и Н.С. Гумилева Орест, так же как и Лев, был арестован: Лев отправлен на

каторгу, а Орест освобожден в 1939-м или 1940-м).

«21 июля 39. Я пришла с утра, как обещала.

Анна Андреевна сидит на диване, молчаливая и прямая. Молчит – тяжело, внятно. Мы ждали какую-то даму, с которой должны отправиться вместе (Отправлялись мы в “Кресты”. Это одна из старейших и огромнейших тюрем Петербурга: пятиэтажное здание, построенное в форме креста – Арсенальная набережная, 5).

Напряжение передалось и мне. Я тоже смолкла. Не зная, чем заняться, я начала перелистывать Байрона, лежавшего сверху, – толстый, растрепанный английский том.

…Пришла ожидаемая дама. Тоненькая, старенькая, все лицо в мелких морщинках. Углы узкого рта опущены. Не поздоровавшись со мною и даже, видимо, не заметив меня, она сразу сообщила Анне Андреевне о Г (О чьем-то аресте – чьем, не помню).

Анна Андреевна закрыла лицо ладонями. Маленькие детские ладони.

Нам пора было идти.

– Познакомьтесь: Ольга Николаевна – Лидия Корнеевна, – вдруг сказала Анна Андреевна на лестнице.

Как только мы ступили на крыльцо, мы едва не были убиты досками, которые кто-то вышвыривал из окна лестницы. Они пролетели мимо наших голов и с грохотом упали у ног. Мы вернулись внутрь и долго там стояли. Грохочущая гора досок перед дверью росла.

Наконец швырянье кончилось. Мы перешли через гору, помогая друг другу. Вышли на Фонтанку.

А дальше все такое знакомое, как узор на обоях. С той только разницей, что с каждым разом «змея» все короче (Тюремные очереди в 1939 г. были несравненно короче, чем в 1937–1938 гг. Не сутками мы в них стояли, а лишь часами).

И вот уже все позади. Но мы еще там. Мы сидим с Анной Андреевной на скамейке, более похожей на жердочку. Ольга Николаевна встретила знакомую и отошла. И Анна Андреевна вдруг зашептала, наклоняясь ко мне:

– Ее сын – Левин брат… Он только на год моложе Левы. У него совсем Колины руки».

Как ни велико было страдание, но после приговора Анна Андреевна перевела дух: она боялась страшного эвфемизма: «Без права переписки…», то есть расстрела. Пять лет каторги в условиях 1939-го (после гибели ближайших друзей – Осипа Мандельштама, Бориса Пильняка, Всеволода Мейерхольда)

казались чуть ли не милостью Божией.

Б. Пильняку

Все это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду,
И ты смеешься беззаботным смехом,
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938, Фонтанный дом, Ночь

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«По моей просьбе она продиктовала мне стихотворение Пильняку, – я помнила пруд и ко-нец, но позабыла начало. А теперь оно у меня целиком.

– Совсем не помню, когда оно было написано, – сказала Анна Андреевна, окончив диктовать. – А вот что помню: незадолго до той поездки в Переделкино, о которой тут речь, я написала стихотворение Пастернаку. Пильняк тогда сказал: «А мне?» – «И вам напишу». И вот когда довелось написать!

(То есть уже после ареста Пильняка, когда разнесся слух о его гибели)».

Борис Пастернак
(Поэт)

Он, сам себя сравнивший с конским глазом,
Косится, смотрит, видит, узнает,

И вот уже расплавленным алмазом
Сияют лужи, изнывает лед.
В лиловой мгле покоятся задворки,
Платформы, бревна, листья, облака.
Свист паровоза, хруст арбузной корки,
В душистой лайке робкая рука.
Звенит, гремит, скрежещет, бьет прибоем
И вдруг притихнет – это значит, он
Пугливо пробирается по хвоям,
Чтоб не спугнуть пространства чуткий сон.
И это значит, он считает зерна
В пустых колосьях, это значит, он
К плите дарьяльской, проклятой и черной,
Опять пришел с каких-то похорон.
И снова жжет московская истома,
Звенит вдали смертельный бубенец…
Кто заблудился в двух шагах от дома,
Где снег по пояс и всему конец?
За то, что дым сравнил с Лаокооном,
Кладбищенский воспел чертополох,
За то, что мир наполнил новым звоном
В пространстве новом отраженных строф, —
Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

Январь 1936, Ленинград

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Общий вид комнаты – запустение, развал. У печки кресло без ноги, ободранное, с торчащими пружинами. Пол не метен. Красивые вещи – резной стул, зеркало в гладкой бронзовой раме, лубки на стенах – не красят, наоборот, еще более подчеркивают убожество.

Единственное, что в самом деле красиво, – это окно в сад и дерево, глядящее прямо в окно. Черные ветви.

И она сама, конечно.

Меня поразили ее руки: молодые, нежные, с крошечной, как у Анны Карениной, кистью.

– Думаю: вешать на стену картины или уже не стоит?

– 19 сентября я ушла от Николая Николаевича. Мы

шестнадцать лет прожили вместе. Но я даже не заметила на этом фоне.

– Одно хорошо: я так сильно больна, что, наверное, скоро умру.

– …Женщина в очереди, стоявшая позади меня, заплакала, услыхав мою фамилию.

Я попросила ее почитать мне стихи. Тем же ровным, словно бы обесцвеченным голосом она прочитала:

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью моей.

«Взоры» – «переговоры» почему-то звучат здесь так же пронзительно, как «странен» – «ранен» у Пушкина».

…Вокруг бушует первый слой революционной молодежи, «с законной гордостью» ожидающей великого поэта из своей среды. Гибнет Есенин, начинает гибнуть Маяковский, полузапрещен и обречен Мандельштам, пишет худшее из всего, что он сделал (поэмы), Пастернак, умирает уже забытый Сологуб (1927 г.), уезжают Марина и Ходасевич. Так проходит десять лет. И принявшая опыт этих лет – страха, скуки, пустоты, смертного одиночества – в 1936-м я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился, но голос уже звучит по-другому. А жизнь приводит под уздцы такого Пегаса, который чем-то напоминает апокалипсического Бледного Коня или Черного Коня из тогда еще не рожденных стихов…

Возврата к первой манере не может быть. Что лучше, что хуже – судить не мне. 1940-й – апогей. Стихи звучали непрерывно, наступая на пятки друг другу, торопясь и задыхаясь: разные и иногда, наверно, плохие.

15 марта 53

* * *

Зачем вы отравили воду
И с грязью мой смешали хлеб?
Зачем последнюю свободу
Вы превращаете в вертеп?
За то, что я не издевалась

Над горькой гибелью друзей?
За то, что я верна осталась
Печальной родине моей?
Пусть так. Без палача и плахи
Поэту на земле не быть.
Нам покаянные рубахи,
Нам со свечой идти и выть.

1935

* * *

За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.

1937

Эмма Герштейн. «Воспоминания»

«Анна Андреевна приехала. Она остановилась у С.А.Толстой-Есениной… Я ее пошла провожать от Мандельштамов. Мы зашли в дом, остались одни в комнате, отведенной Анне Андреевне. Она прилегла на диван, потом сама предложила мне написать какие-нибудь свои стихи (в первый раз за все время нашего знакомства). “Ну, что вы хотите?” Я попросила “Музу”, “Если плещется лунная жуть…” и “От тебя я сердце скрыла…” Она вырвала лист из альбома и на трех его страницах написала карандашом эти три стихотворения, пометив «Переписано 19 июля 1937 года. Москва”.

“А на четвертой странице я напишу вам вот что», – предложила она. Это было “Заклинание”. Я не знала этого стихотворения. Она поставила дату “15 апреля 1936 года” и объяснила: “Это пятидесятилетие Гумилева”».

Заклинание

Из тюремных ворот,
Из заохтенских болот,

Путем нехоженым,
Лугом некошеным,
Сквозь ночной кордон,
Под пасхальный звон,
Незваный,
Несуженый, —
Приди ко мне ужинать.

15 апреля 1936

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Литературные разговоры в моем дневнике незаконно вылезли на первый план: в действительности имена Ежова, Сталина, Вышинского, такие слова, как умер, расстрелян, выслан, очередь, обыск и пр., встречались в наших беседах не менее часто, чем рассуждения о книгах и картинах. Но имена великих деятелей застенка я старательно опускала, а рассказы Анны Андреевны о Розанове, или Модильяни, или даже всего лишь о Ларисе Рейснер, или Зинаиде Гиппиус – записывала. Застенок, поглотивший материально целые кварталы города, а духовно – наши помыслы во сне и наяву, застенок, выкрикивавший собственную, ремесленно сработанную ложь с каждой газетной полосы, из каждого радиорупора, требовал от нас в то же время, чтобы мы не поминали имени его всуе даже в четырех стенах, один на один. Мы были ослушниками, мы постоянно его поминали, смутно подозревая при этом, что и тогда, когда мы одни, – мы не одни, что кто-то не спускает с нас глаз или, точнее, ушей. Окруженный немотою, застенок желал оставаться и всевластным и несуществующим зараз; он не хотел допустить, чтобы чье бы то ни было слово вызывало его из всемогущего небытия; он был рядом, рукой подать, а в то же время его как бы и не было; в очередях женщины стояли молча или, шепчась, употребляли лишь неопределенные формы речи: “пришли”, “взяли”; Анна Андреевна, навещая меня, читала мне стихи из “Реквиема” тоже шепотом, а у себя в Фонтанном доме не решалась даже на шепот; внезапно, посреди разговора, она умолкала и, показав мне глазами на потолок и стены, брала клочок бумаги и карандаш; потом громко произносила что-нибудь светское: “Хотите чаю?” или: “Вы очень загорели”, потом исписывала клочок быстрым почерком и протягивала мне. Я прочитывала стихи и, запомнив, молча возвращала их ей. “Нынче такая ранняя осень”, – громко говорила Анна Андреевна и,

чиркнув спичкой, сжигала бумагу над пепельницей.

Это был обряд: руки, спичка, пепельница, – обряд прекрасный и горестный».

Гаршин

В середине тридцатых годов в жизни Ахматовой возник новый и, как ей казалось, очень серьезный поклонник. Врач-патолого-анатом Владимир Гаршин. Владимир Георгиевич был женат, много работал и, тем не менее, в отличие от Гумилева, никогда не говорил Анне Андреевне, что ему с ней «возиться не в пору».

В. Г. Гаршину

Соседка из жалости – два квартала,
Старухи, как водится, – до ворот,
А тот, чью руку я держала,
До самой ямы со мной пойдет.
И станет над ней один на свете,
Над рыхлой, черной, родной землей
И позовет, но уже не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

15 августа 1940

Появление Гаршина ускорило разрыв с Пуниным.

* * *

Не недели, не месяцы – годы
Расставались. И вот наконец
Холодок настоящей свободы
И седой над висками венец.
Больше нет ни измен, ни предательств,
И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

7 ноября 1940

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Странно, что я так долго прожила с Николаем Николаевичем уже после конца, не правда ли? Но я была так подавлена, что сил не хватало уйти. Мне было очень плохо, ведь я тринадцать лет не писала стихов, вы подумайте: тринадцать лет! Я пыталась уйти в 30-м году. Срезневский обещал мне комнату. Но Николай Николаевич пошел к нему, сказал, что для него мой уход – вопрос жизни и смерти… Срезневский поверил, испугался и не дал комнаты. Я осталась. Вы не можете себе представить, как он бывал груб… во время этих своих… флиртов. Он должен все время показывать, как ему с вами скучно. Сидит, раскладывает пасьянс и каждую минуту повторяет: “Боже, как скучно… Ах, какая скука…” Чувствуй, мол, что душа его рвется куда-то… Я целый год раскручивала все назад, а он ничего и не видел… И знаете, как это все было, как я ушла? Я сказала Анне Евгеньевне при нем: “Давайте обменяемся комнатами”. Ее это очень устраивало, и мы сейчас же начали перетаскивать вещички. Николай Николаевич молчал, потом, когда мы с ним оказались на минуту одни, произнес: “Вы бы еще хоть годик со мной побыли”.

Она засмеялась, и я тоже. Смеялась она легко и беззлобно. Как будто рассказывала не о нем, не о себе.

– Потом произнес: “Будет он помнить про царскую дочь” – и вышел из комнаты. И это было все. Согласитесь, что и на этом ничего не построишь… С тех пор я о нем ни разу не вспомнила. Мы, встречаясь, разговариваем о газете, о погоде, о спичках, но его, его самого я ни разу не вспомнила».

Примечание: Если судить по одной из «Северных элегий» (“Так вот он – тот осенний пейзаж”), Николай Николаевич имел обыкновение называть Анну Андреевну по-лермонтовски: “морской царевной”. Вот почему в минуту разрыва он произнес на прощанье последнюю строку лермонтовского стихотворения “Морская царевна”: “Будет он помнить про царскую дочь”.

* * *

Годовщину последнюю празднуй —
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы – той, алмазной —
Повторяется снежная ночь.
Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму,
Свет луны как нарочно притушен,
И куда мы идем – не пойму.

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.
В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях…
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.
И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом.
И внезапным согретый лучом,
Снежный прах так тепло серебрится.

Март 1939

Нечаянная встреча с Гаршиным в феврале 1937 года, в дни печального пушкинского юбилея, и впрямь казалась подарком судьбы. Той алмазной зимой Анна Андреевна с обострением базедовой болезни лежала в Мариинской больнице, где Гаршин подрабатывал. Узнав, что приятель – лечащий врач знаменитой поэтессы, а главное, первой жены Николая Гумилева, которого Гаршин считал великим поэтом, Владимир Георгиевич напросился на знакомство с интересной больной. И судя по реалиям, даже спроектировал «побег» из лечебницы на несколько прогулочных часов, что, впрочем, ему было совсем не трудно сделать. Во-первых, для ночной прогулки – от Конюшенной площади к Мойке – имелся замечательный предлог: Пушкинские дни. (Пушкина, напоминаю, в Конюшенной церкви наскоро отпели и отправили – мертвого – во вторую Михайловскую ссылку.) Во-вторых, Гаршин, человек неотразимого мужского обаяния, «в остром обществе дамском», несмотря на свои 50, был прямо-таки обречен на успех. Одна из его бывших студенток вспоминает: когда профессор подымался на кафедру Первого Ленинградского меда и молодым движением откидывал назад густые, без единой сединки, каштановые волосы, женская половина аудитории замирала… Особенно гипнотически действовал гаршинский голос, что, как видим, отмечает и Ахматова: «И трепещет, как дивная птица, голос твой у меня над плечом».

Встреча с Гаршиным преобразила Ахматову. К весне от зимней немочи и следа не осталась. Жена одного из их общих знакомых сохранила в своем дневнике такой эпизод:

«В прошлом году (запись сделана летом 1938 года. – А.М.) Анна Андреевна меня спрашивала:

– Как вы ощущаете весну?

– Никак.

– А я ее и вижу, и чувствую. Мне хорошо.

И когда однажды они вдвоем с Вл. Георг. Гаршиным пришли к нам под дождем, оба насквозь промокшие, но веселые и ребячески шаловливые, и Анна Андреевна переоделась в мою юбку и кофточку цвета палевой розы и сразу стала вдруг молодой и похорошевшей, а Вл. Георг. смотрел на нее добрым, смеющимся, почти счастливым взглядом, – я поняла тогда, как, и почему и с кем она чувствует, слышит и видит весну».

* * *

С Новым годом! С новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над Балтийским дымным морем,
Кривоног, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?
Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного неба,
Глаз любимых не видать.

13 января 1940

Маяковский в 1913 году

Я тебя в твоей не знала славе,
Помню только бурный твой рассвет,
Но, быть может, я сегодня вправе
Вспомнить день тех отдаленных лет.
Как в стихах твоих крепчали звуки,
Новые роились голоса…
Не ленились молодые руки,
Грозные ты возводил леса.
Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
То, что разрушал ты, – разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
Одинок и часто недоволен,

С нетерпеньем торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил свои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.
И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

3–10 марта 1940

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Разговор набрел на Маяковского и Бриков – я рассказала о нашем детиздатском однотомнике и о поездке моей и Мирона Левина в Москву к Брикам. Общаться с ними было мне трудно: весь стиль дома – не по душе. Мне показалось к тому же, что Лили Юрьевна безо всякого интереса относится к стихам Маяковского…

– Очень плохо представляю себе там, среди них, Маяковского, – сказала я.

– И напрасно, – ответила Анна Андреевна. – Литература была отменена, оставлен был один салон Бриков, где писатели встречались с чекистами… И вы, и не вы одни, неправильно делаете, что в своих представлениях отрываете Маяковского от Бриков. Это был его дом, его любовь, его дружба, ему там все нравилось. Это был уровень его образования, чувства товарищества и интересов во всем. Он ведь никогда от них не уходил, не порывал с ними, он до конца любил их.

Я сказала, что рассуждать об отношениях Маяковского с Бриками я не вправе, потому что про это не знаю, но была удивлена небрежностью их работы, полным равнодушием к тому, хорош ли, плох получится однотомник, за который они в ответе.

– Это дело другое. Но и сам он в своих отношениях к литераторам и литературе был на их, то есть на очень невысоком, уровне. Однажды Николай Леонидович спросил у него о Хлебникове. Он ответил: «А к чему сейчас Хлебникова издавать?» Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе… В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он – к изданию стихов Хлебникова. Разница

есть, и большая, но она в другом: в его великом таланте. В остальном – никакой. Он, так же как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен… Но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России».

Цветаева

Неизгладимое впечатление произвела Ахматова на молодую Цветаеву. Марина Ивановна буквально засыпала Анну Андреевну восторженными стихами, чем, кажется, сильно ее смутила.

Марина Цветаева – Анне Ахматовой

Узкий, нерусский стан —
Над фолиантами.
Шаль из турецких стран
Пала, как мантия.
Вас передашь одной
Ломаной линией.
Холод – в весельи, зной —
В Вашем унынии.
Вся Ваша жизнь – озноб.
И завершится – чем она?
Облачный темный лоб
Юного демона.
Каждого из земных
Вам заиграть – безделица.
И безоружный стих
В сердце нам целится.
В утренний сонный час,
Кажется, четверть пятого,
Я полюбила Вас,
Анна Ахматова.

11 февраля 1915

Марина Цветаева

«Знаю, что Ахматова потом, в 1916–17 году с моими рукописными стихами к ней не расставалась и до того доносила их в сумочке, что одни складки и трещины остались. Этот рассказ Осипа Мандельштама – одна из самых моих больших радостей за жизнь».

Марина Цветаева – Анне Ахматовой

Дорогая Анна Андреевна!

Так много нужно сказать – и так мало времени! Спасибо за очередное счастье в моей жизни – «Подорожник». Не расстаюсь, и Аля не расстается. Посылаю Вам обе книжечки, надпишите.

Не думайте, что я ищу автографов, – сколько надписанных книг я раздарила! – ничего не ценю и ничего не храню, а Ваши книжечки в гроб возьму – под подушку!

Еще просьба: если Алконост возьмет моего «Красного коня» (посвящается Вам) – и мне нельзя будет самой держать корректуру, – сделайте это за меня, верю в Вашу точность.

Вещь совсем маленькая, это у Вас не отнимет времени.

Готовлю еще книжечку: «Современникам» – стихи Вам, Блоку и Волконскому. Всего двадцать четыре стихотворения. Среди написанных Вам есть для Вас новые.

Ах, как я Вас люблю, и как я Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высуко от Вас! – Если были бы журналы, какую бы я статью о Вас написала, – Журналы – статью – смеюсь! – Небесный пожар!

Вы мой самый любимый поэт, я когда-то – давным-давно – лет шесть тому назад – видела Вас во сне, – Вашу будущую книгу: темно-зеленую, сафьяновую, с серебром – «Словеса злотые», – какое-то древнее колдовство, вроде молитвы (вернее – обратное!) – и – проснувшись – я знала, что Вы ее напишете.

Мне так жалко, что все это только слова – любовь – я так не могу, я бы хотела настоящего костра, на котором бы меня сожгли.

Я понимаю каждое Ваше слово: весь полет, всю тяжесть. «И шпор твоих легонький звон», – это нежнее всего, что сказано о любви.

И это внезапное – дико встающее – зрительно дикое «ярославец». – Какая Русь!

Напишу Вам о книге еще.

Как я рада им всем трем – таким беззащитным и маленьким! Четки – Белая стая – Подорожник. Какая легкая ноша – с собой! Почти что горстка пепла.

Пусть Блок (если он повезет рукопись) покажет Вам моего Красного Коня. (Красный, как на иконах.) – И непременно напишите мне, – больше, чем тогда! Я ненасытна на Вашу душу и буквы.

Целую Вас нежно, моя страстнейшая мечта – поехать в Петербург. Пишите о своих ближайших судьбах, – где будете летом, и все.

Ваши оба письмеца ко мне и к Але – всегда со мной.

М.Ц.

Москва, 26-го русского апреля 1921

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Скорбно подняв брови, скорбным глубоким голосом она прочитала мне стихотворение, обращенное к Цветаевой. «Невидимка, двойник, пересмешник». Я запомнила только четыре строки:

…То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой.
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной…»

Дальше – дивный переход к самой концовке.

– Ей я не решилась прочесть, – сказала Анна Андреевна. – А теперь жалею. Она столько стихов посвятила мне. Это был бы ответ, хоть и через десятилетия. Но я не решилась из-за страшной строки о любимых».

Поздний ответ

Белорученька моя,
Чернокнижница…

М. Ц.

Невидимка, двойник, пересмешник…
Что ты прячешься в черных кустах? —
То забьешься в дырявый скворешник,
То мелькнешь на погибших крестах,
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина
И разграблен родительский дом».
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы,
И безмолвнее шествия нет…
А вокруг погребальные звоны
Да московские хриплые стоны

Вьюги, наш заметающей след.

16 марта 1940, 1961,

Фонтанный дом – Красная Конница

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Анна Андреевна… принялась рассказывать нечто отвлекательное и увлекательное: о двух своих встречах с Цветаевой.

– Впервые я увидела ее в 1941-м году. До тех пор мы с ней никогда не видались, она посылала мне стихи и подарки. В 41-м году я приехала сюда по Левиным делам. А Борис Леонидович навестил Марину после ее беды и спросил у нее, чего бы ей хотелось. Она ответила: увидеть Ахматову. Борис Леонидович оставил здесь у Нины телефон и просил, чтобы я непременно позвонила. Я позвонила. Она подошла.

– Говорит Ахматова.

– Я вас слушаю.

(Да, да, вот так: она меня слушает.)

– Мне передал Борис Леонидович, что вы желаете меня видеть. Где же нам лучше увидеться: у вас или у меня?

– Думаю, у вас.

– Тогда я сейчас позову кого-нибудь нормального, кто бы объяснил вам, как ко мне ехать.

– Пожалуйста. Только нужен такой нормальный, который умел бы объяснять ненормальным.

Тут я подумала: один безумный поэт – хорошо, два – плохо.

Она приехала и сидела семь часов. Ардовы тогда были богатые и прислали ко мне в комнату целую телячью ногу.

На следующий день звонок: опять хочу вас видеть. А я собиралась к Николаю Ивановичу, в Марьину рощу. Я дала ей тот телефон. Вечером она позвонила; говорит: не могу ехать на такси, на метро, на троллейбусе, на автобусе – только на трамвае. Тэдди Гриц ей все подробно объяснил и вышел ее встретить. Мы пили вино вчетвером. Тэдди сказал, что у дома торчит человек. Я подумала: какая же у нее счастливая жизнь! А, может быть, это у меня? А может быть, у нас обеих?»

Примечание Лидии Корнеевны: «С этим рассказом о встречах с Цветаевой интересно сопоставить запись, сделанную Анной Андреевной в 1962 г.: «Наша первая и последняя двухдневная встреча произошла в июне 1941 г. на Большой Ордынке, 17, в

квартире Ардовых (день первый) и в Марьиной роще у Н. И. Харджиева (день второй и последний). Страшно подумать, как бы описала эти встречи сама Марина, если бы она осталась жива, а я бы умерла 31 августа 41 г. Это была бы “благоуханная легенда”, как говорили наши деды. Может быть, это было бы причитание по 25-летней любви, которая оказалась напрасной, но во всяком случае это было бы великолепно. Сейчас, когда она вернулась в свою Москву такой королевой и уже навсегда… мне хочется просто “без легенды” вспомнить эти Два дня».

Анна Ахматова – Марине Цветаевой

Дорогая Марина Ивановна,

меня давно так не печалила аграфия, которой я страдаю уже много лет, как сегодня, когда мне хочется поговорить с Вами. Я не пишу никогда и никому, но Ваше доброе отношение мне бесконечно дорого. Спасибо Вам за него и за посвящение поэмы. До 1 июля я в Петербурге. Мечтаю прочитать Ваши новые стихи. Целую Вас и Алю.

Ваша Ахматова

Георгий Адамович «Мои встречи с Анной Ахматовой»

«Меня интересовало отношение Ахматовой к Марине Цветаевой. В далекие петербургские времена она отзывалась о ней холодновато, вызвав даже однажды недовольное восклицание Артура Лурье:

– Вы относитесь к Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману.

Шуман боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями. Цветаева по отношению к “златоустой Анне всея Руси” была Шуманом. Когда-то Ахматова с удивлением показывала письмо ее из Москвы, еще до личной встречи. Цветаева восхищалась только что прочитанной ею ахматовской “Колыбельной” – “Далеко в лесу огромном…” – и утверждала, что за одну строчку этого стихотворения – “Я дурная мать” – готова отдать все, что до сих пор написала и еще когда-нибудь напишет. Ранние цветаевские стихи, например, цикл оМоскве или к Блоку, представлялись мне замечательными, необыкновенно талантливыми. Но Ахматова их не ценила.

Судя по двум строчкам ее стихотворения 1961 года:

Темная, свежая ветвь бузины,

Это – письмо от Марины, —

я предполагал, что отношение Анны Андреевны к Цветаевой изменилось. Однако Ахматова очень сдержанно сказала: “У нас теперь ею увлекаются, очень ее любят, даже больше, чем Пастернака”. Но лично от себя ничего не добавила.

Потом я упомянул об “анжамбеманах”, которыми Цветаева злоупотребляла с каждым годом все сильнее, то есть о переносе логического содержания строки в начало строки следующей. “Да, это можно сделать раз, два, – согласилась Ахматова, – но у нее ведь это повсюду, и прием этот теряет всю свою силу”.

(Проверяя и пересматривая многолетние свои впечатления, я думаю, что безразличие Ахматовой к стихам Цветаевой было вызвано не только их словесным, формальным складом. Нет, не по душе ей было, вероятно, другое: демонстративная, вызывающая, почти назойливая “поэтичность” цветаевской поэзии, внутренняя бальмонтовщина при резких внешних отличиях от Бальмонта, неустранимая поза при несомненной искренности, постоянный “заскок”. Если это так, то не одну Ахматову это отстраняло и не для нее одной это делало не вполне приемлемым творчество Цветаевой, человека, редкостно даровитого и редкостно несчастного».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«21 октября 41. Анна Андреевна расспрашивает меня о Цветаевой.

Я прочла ей то, что записала 4.IX, сразу после известия о самоубийстве.

Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим более пятидесяти дней назад помогала пройти Марине Ивановне…

– Странно очень, – сказала я, – та же река, и лужа, и досточка та же. Два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету и говорим мы с вами о ней. На том же месте!

Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием.

Но я не пересказала ей наш тогдашний разговор…

(Я высказала Марине Ивановне свою радость: А. А. не здесь, не в Чистополе, не в этой, утопающей в грязи, отторгнутой от мира, чужой полутатарской деревне. “Здесь она непременно

погибла бы… Здешний быт убил бы ее… Она ведь ничего не может”.

“А вы думаете, я – могу?” – резко перебила меня Марина Ивановна)».

Булгаков

Анна Андреевна многие годы была дружна и с Михаилом Афанасьевичем, и с Еленой Сергеевной. Они познакомились летом 1933 года. Во время войны Е. С. Булгакова, так же как и Ахматова, была эвакуирована в Ташкент, но жили они в разных общежитиях. Впоследствии, после отъезда Булгаковой из Ташкента (летом 1943 года), Ахматова переселилась в ее бывшую комнату.

Памяти М.А. Булгакова

Вот это я тебе, взамен могильных роз,
Взамен кадильного куренья;
Ты так сурово жил и до конца донес
Великолепное презренье.
Ты пил вино, ты, как никто, шутил
И в душных стенах задыхался,
И гостью страшную ты сам к себе впустил
И с ней наедине остался.
И нет тебя, и всё вокруг молчит
О скорбной и высокой жизни,
Лишь голос мой, как флейта, прозвучит
И на твоей безмолвной тризне.
О, кто подумать мог, что полоумной мне,
Мне, плакальщице дней не бывших,
Мне, тлеющей на медленном огне,
Всех потерявшей, всё забывшей, —
Придется поминать того, кто, полный сил,
И светлых замыслов, и воли,
Как будто бы вчера со мною говорил,
Скрывая дрожь предсмертной боли.

Март 1940, Фонтанный дом

Хозяйка

Е. С. Булгаковой

В этой горнице колдунья

До меня жила одна:
Тень ее еще видна
Накануне новолунья,
Тень ее еще стоит
У высокого порога,
И уклончиво и строго
На меня она глядит.
Я сама не из таких,
Кто чужим подвластен чарам,
Я сама… Но, впрочем, даром
Тайн не выдаю своих.

5 августа 1943, Ташкент

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Заговорили о Булгакове.

– «У него, конечно, были совсем другие корни, чем, скажем, у Пастернака, или меня, или Осипа Эмильевича, – сказала NN. – Данте, например, он не знал, потому что не понимал по-итальянски, а переводы очень плохи… Но в своей области он человек первоклассный».

Про стихи Нарбута

Н. Х<арджиеву>

Это – выжимки бессонниц,
Это – свеч кривых нагар,
Это – сотен белых звонниц
Первый утренний удар…
Это – теплый подоконник
Под черниговской луной,
Это – пчелы, это – донник,
Это – пыль, и мрак, и зной.

Апрель 1940, Москва

Стихи о стихах Нарбута – продолжение мысленного общения с «мертвым мужем». Это именно он, Гумилев, в одном из писем 1914 года настоятельно советовал жене обратить внимание на Нарбута. Однако получилось так, что с творчеством поэта,

рекомендованного ей Николаем Степановичем, Анна Андреевна всерьез познакомилась только в 1940-м, после гибели (Нарбут расстрелян в 1938-м), и вновь поразилась верному и независимому вкусу Гумилева. А кроме того, и Нарбут, и его стихи возвращали Ахматову в киевскую юность, где были и донник, и черниговская луна: село Никольская слободка, в котором Анна и Николай венчались в апреле 1910-го, хотя и стояло неподалеку от Киева, относилось уже к Черниговской губернии. И думается, не случайно посвященные Нарбуту стихи датированы апрелем.

* * *

Когда человек умирает,
Изменяются его портреты.
По-другому глаза глядят, и губы
Улыбаются другой улыбкой.
Я заметила это, вернувшись
С похорон одного поэта.
И с тех пор проверяла часто,
И моя догадка подтвердилась.

1940, Ленинград

В трудные годы Анна Ахматова не могла выступать на публике, и даже в дружеских компаниях держалась отчужденно. Ее внутреннее состояние очень точно передает четверостишие:

И вовсе я не пророчица.
Жизнь светла, как горный ручей,
А просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

Именно такой запомнил ее писатель В. Я. Виленкин, в ту пору (1938 г.) работавший литературным секретарем В.И. Качалова (и Качалов, и Виленкин, как и многие актеры МХАТа, были почитателями поэзии Ахматовой).

В. Я. Виленкин. «В сто первом зеркале»

«Ахматова вошла в столовую, и мы встали ей навстречу. Первое, что запомнилось, это ощущение легкости маленькой

узкой руки, протянутой явно не для пожатия, но при этом удивительно просто, совсем не по-дамски. Сначала мне померещилось, что она в чем-то очень нарядном, но то, что я было принял за оригинальное выходное платье, оказалось черным шелковым халатом с какими-то вышитыми драконами, и притом очень стареньким – шелк кое-где уже заметно посекся и пополз.

Анну Андреевну усадили во главе стола, и начался обед, роскошный, с деликатесами и сюрпризами, очевидно, тщательно продуманный во всех деталях. Одна только сервировка чего стоила! Для закусок – тарелки из киевского стариннейшего фаянса, суп разливали не то в “старый севр”, не то в “старый сакс”. В этом своем странноватом халате Анна Андреевна, по-видимому, чувствовала себя среди нас, парадно-визитных, как в самом элегантном туалете. Больше того, что-то царственное, как бы поверх нас существующее и в то же время лишенное малейшего высокомерия сквозило в каждом ее жесте, в каждом повороте головы… Мы все смотрели на нее в ожидании и надежде, не решаясь ее просить читать, но она тут же сказала сама, как-то полувопросом: “Ну что же, теперь я почитаю?”

Она не отодвинулась от обеденного стола, не изменила позы, словом, ничем не обозначила начала. Я только увидел, как кровь прилила у нее к щекам с первой же строчкой: “Я пью за разоренный дом…” Это был “Последний тост”, тогда еще нигде не напечатанный. Потом, почти без паузы, она прочитала “От тебя я сердце скрыла, словно бросила в Неву…”. И еще одно стихотворение 20-х годов, тогда же затерявшееся, как она сказала, в каком-то журнале, – “Многим”…

Больше она ничего не захотела читать…»

Описанный В.Я. Виленкиным обед состоялся в июле 1938 года. В это время сын Анны Андреевны, арестованный еще в марте, находился под следствием, и она часами простаивала в тюремных очередях…

В очереди у «Крестов»

…В очереди у «Крест<ов>»

Молочница поставила бидон на снег и громко сказала: «Ну! У нас сегодня ночью последнего мужика взяли».

Я стояла в очереди на прокурорской лестнице. С моего места было видно, как мимо длинного зеркала (на верхней площадке) шла очередь женщин. Я видела только чистые профили – ни одна из них не взглянула на себя в зеркало…

Адмирал Чичагов сказал на свиданье с женой: «Ils m'ont battus [Они меня били]».

Во время террора, когда кто-нибудь умирал, дома его считали счастливцем, а об умерших раньше матери, вдовы и дети говорили: «Слава Богу, что его нет».

Посадить кого-нибудь было легче легкого, но это не значило, что вы сами не сядете через 6 недель.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Вечером телефонный звонок: Анна Андреевна просит прийти. Но я не могла – у Люшеньки [дочери Лидии Корнеевны] грипп, надо быть дома.

Она пришла сама.

Сидит у меня на диване – великолепная, профиль, как на медали, и курит.

Пришла посоветоваться. В каждом слове – удивительное сочетание твердости, достоинства и детской беспомощности.

– Вот получила письмо. Мне говорят: посоветуйтесь с Михаилом Леонидовичем [Лозинским]. А я решила лучше с вами. Вы вскормлены Госиздатом…

«Текст письма: «Мы охотно напечатаем… Но пришлите больше, чтобы облегчить отбор».

– Вот уже двадцать лет так. Они ничего не помнят и не знают. «Облегчить отбор»! Каждый раз опять и опять удивляются моим новым стихам: они надеялись, что на этот раз, наконец, у меня окажется про колхозы. Однажды здесь, в Ленинграде, меня попросили принести стихи. Я принесла. Потом попросили зайти поговорить. Я пришла: «Отчего же стихи такие грустные? Ведь это уже после…» Я ответила: по-видимому, такая несуразица объясняется особенностями моей биографии».

18 мая 1939

В 1940 году в свет вышел сборник стихов Ахматовой «Из шести книг». Само собой разумеется, туда не вошло и не могло войти созданное поэтессой в последние годы, да и стихи прежних лет прошли сквозь частое идеологическое сито. В результате получилось то, что сама Ахматова называла «обескровленной», «дающей ложное представление о поэте» книгой. Но даже такой цензурированный сборник лишь короткое время был доступен для читателя.

Были напечатаны горсточки моих стихов в журналах Ленинграда, и тогда издательство «Советский писатель» получило приказание издать мои стихи. Так возник весьма просеянный сборник «Из шести книг», которому предстояло жить на свете примерно шесть недель.

На судьбу этой книги повлияло следующее обстоятельство: Шолохов выставил ее на Сталинскую премию (1940). Его поддержали А.Н. Толстой и Немирович-Данченко. Премию должен был получить Н. Асеев за поэму «Маяковский начинается». Пошли доносы и все, что полагается в этих случаях: «Из шести книг» была запрещена и выброшена из книжных лавок и библиотек.

В книге «Из шести книг» остались ошметки «Белой стаи», как, впрочем, случилось и с «Четками». Пример: стихотворение «У меня есть улыбка…» выброшено за слово «аналой» (1913 г.).

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Она начала перелистывать “Из шести книг” и проставлять под стихами даты…

Над стихами “Зажженных рано фонарей” вместо «Встреча» поставила “Призрак”. Книга “Ива”, оказывается, должна называться “Тростник” (она объяснила, почему), и первое стихотворение там не “Ива”, а Лозинскому (“Почти от залетейской тени”).

Примечание Лидии Корнеевны: А. А. своею рукою зачеркнула название “Ива” и написала “Тростник”. Объясняя мне, почему она дала этому циклу такое заглавие, А. А. пересказала одну восточную легенду: старшие сестры убили меньшую на берегу реки. Убийство удалось скрыть. Но на месте пролитой крови вырос тростник; весною пастух срезал дудочку, дунул в нее – и тростник запел песню о тайном злодействе.

…После того, как А. А. пересказала мне легенду, я поняла первоначальный – и не состоявшийся – замысел всего «тростникового цикла»: по-видимому, именно в этот цикл должны были войти такие стихотворения тридцатых годов, как: “Привольем пахнет дикий мед”, “С Новым Годом! С новым

горем!”, “Немного географии”, “И вот, наперекор тому”. И безусловно, стихи из цикла “Венок мертвым”. Осуществить этот замысел в печати тогда нечего было и думать – и весь цикл в книге сорокового года мирно назывался “Ива”. В первой половине шестидесятых А.А. попыталась было включить некоторые из перечисленных выше стихов в “Бег времени”, но редакция их оттуда выкинула. Большинство из этих стихотворений впервые напечатаны посмертно, и притом за границей».

Надпись на книге

М. Лозинскому

Почти от залетейской тени
В тот час, как рушатся миры,
Примите этот дар весенний
В ответ на лучшие дары.
Чтоб та, над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена, —
Мне улыбнулась так же кротко,
Как тридцать лет тому назад…
И сада Летнего решетка,
И оснеженный Ленинград
Возникли, словно в книге этой
Из мглы магических зеркал,
И над задумчивою Летой
Тростник оживший зазвучал.

29 мая 1940,

Ленинград, Фонтанный дом

* * *

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою – девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь.

Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь…

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом,
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома…

1934, Ленинград

Призрак

Зажженных рано фонарей
Шары висячие скрежещут,
Все праздничнее, все светлей
Снежинки, пролетая, блещут.

И, ускоряя ровный бег,
Как бы в предчувствии погони,
Сквозь мягко падающий снег
Под синей сеткой мчатся кони.

И раззолоченный гайдук
Стоит недвижно за санями,
И странно ты глядишь вокруг
Пустыми светлыми глазами.

1919

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Ахматова из года в год все более с глубокой горечью сетовала, что сборники ее стихов дают читателю ложное представление о ее поэзии, о ее пути. Сетовала она недаром. Как была бы она опечалена, если бы убедилась, что не только рядовые советские граждане, от которых власти целыми десятилетиями умышленно скрывали ее стихи, не только русские эмигранты, ведать не ведавшие о подвигах ее неукротимой музы, – но даже

такая читательница, как Марина Цветаева, вернувшись на родину и взяв в руки “Из шести книг”, не догадалась о вынужденных пропусках, о цензурных изъятиях! Целые циклы стихов Анны Ахматовой, десятки и сотни созданных ею строк отсутствуют в этой книге да и в других ахматовских сборниках… 5 сентября 1940 года Марина Ивановна внесла в свою тетрадь такую запись: “Да, вчера прочла, перечла – почти всю книгу Ахматовой, и – старо, слабо… А хорошие были строчки… Непоправимо-белая страница… Но что она делала с 1917 по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть непоправимо-белая странница… Жаль”.

Но как же Марина Цветаева, оказавшаяся непоправимо глухой и слепой к деятельности советской цензуры (хотя и ощутила ее тяжесть на собственных произведениях), не спросила себя: да многое ли из сделанного Ахматовой (хотя бы в тридцатые годы) опубликовано и вообще известно мне? В 1940 году? Такого вопроса Марина Ивановна себе не задала. Жаль».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«В настоящее время причины неудовольствия властей по поводу сборника стихов Анны Ахматовой «Из шести книг» стали известны во всех подробностях. Книга Ахматовой вышла в свет в 1940 го-ду, в мае, а в сентябре того же года управляющий делами ЦК ВКП(б) Д. В. Крупин подал члену Политбюро А.А. Жданову записку, в которой перечислены все недопустимые черты творчества, присущие Ахматовой: никакого отклика на советскую действительность – это раз и, главное, проповедь религии. Им был прилежно составлен целый список упоминаний о Боге, ангелах, литургии, иконах, храмах, о «белом рае» и пр. в стихотворениях Ахматовой. Жданов потребовал сообщить ему имена лиц, виноватых в выпуске книги. Список представили в ЦК – Г. Ф. Александров и Д. А. Поликарпов. На многих из перечисленных лиц были наложены партийные взыскания. Ответом на эти рапорты явилось специальное постановление ЦК, осуждающее сборник и кончающееся грозным приговором: книгу изъять. Однако изъятие запоздало: книга Ахматовой была с восторгом раскуплена читателями в течение нескольких дней.

Постановление ЦК 1940 года явилось прообразом рокового постановления 46-го».

Лондонцам

И сделалась война на небе.

Апокалипсис

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лира
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать, —
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

29 сентября 1940

1941–1945

Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.

Первый дальнобойный в Ленинграде

И в пестрой суете людской
Все изменилось вдруг.
Но это был не городской,
Да и не сельский звук.
На грома дальнего раскат
Он, правда, был похож, как брат,
Но в громе влажность есть
Высоких свежих облаков
И вожделение лугов —
Веселых ливней весть.
А этот был, как пекло, сух,
И не хотел смятенный слух
Поверить – потому,
Как расширялся он и рос,
Как равнодушно гибель нес
Ребенку моему.

После 4 сентября 1941, Ленинград; Январь, Ташкент

В блокаде (до 28 сент<ября> 1941) Первый день войны. Первый налет. Щели в саду – Вовка у меня на руках. Литейный вечером. Праздничная толпа. Продают цветы (белые). По улице тянется бесконечная процессия: грузовики и легк<овые> машины. Шоферы без шапок, одеты по-летнему, рядом с каждым – плачущая женщина. Это ленинградский транспорт идет обслуживать финский фронт. Увоз писательских детей. Сбор в… переулке у союза. Страшные глаза неплачущих матерей.

Крупные деньги вывезены из города (ответ в банке).

Моряки с чемоданчиками идут на свои суда. Все писатели уже в военной форме. Похороны «Петра» Раст<релли> и статуй в Летнем <Саду>. Первый пожар. Я – по радио из квартиры М.

М. З < ощенко > .

Тревога каждый час. Город «зашивают» – страшные звуки.

Клятва

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Июль 1941, Ленинград

После недолгого пребывания в Москве Ахматова, по распоряжению Фадеева, была включена в список писателей, эвакуируемых в Чистополь; оттуда переехала через Казань в Ташкент вместе с семьей К.И. Чуковского.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«28 июля 1941 года, вместе с семьями московских писателей, вместе с Люшей, Идой и четырехлетним племянником Женей, меня отправили на пароходе в Чистополь.

Там я пережила газетную передовую: “Враг у ворот Ленинграда”; встречу с Цветаевой и гибель Цветаевой.

И туда, в октябре 1941 года, приехала ко мне, эвакуированная самолетом из Ленинграда в Москву, Анна Андреевна. Оттуда мы вместе совершили поездку в Ташкент.

5 октября 41. Чистополь

Сейчас получила телеграмму от Корнея Ивановича:

“Чистополь выехали Пастернак Федин Анна Андреевна…”

…Ахматова в Чистополе! Это так же невообразимо, как Адмиралтейская игла или арка Главного штаба – в Чистополе.

Октябрь 41. Вечером, когда мы уже легли, стук в ворота нашей избы. Хозяйка, бранясь, пошла отворять с фонарем. Я за ней.

Анна Андреевна стояла у ворот с кем-то, кого я не разглядела в темноте. Свет фонаря упал на ее лицо: оно было отчаянное. Словно она стоит посреди Невского и не может перейти. В чужой распахнутой шубе, в белом шерстяном платке; судорожно прижимает к груди узел.

Вот-вот упадет или закричит.

Я выхватила узел, взяла ее за руку и по доске через грязь провела к дому.

Вскипятить чай было не на чем. Я накормила ее всухомятку.

Потом уложила в свою постель, а сама легла на пол, на тюфячок.

Сначала мы говорили как-то обо всем сразу…

Потом я спросила:

– Боятся в Ленинграде немцев? Может так быть, что они ворвутся?

Анна Андреевна приподнялась на локте.

– Что вы, Л. К., какие немцы? О немцах никто и не думает. В городе голод, уже едят собак и кошек. Там будет мор, город вымрет. Никому не до немцев».

* * *

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!» —
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.

28 сентября 1941, Самолет; Октябрь – ноябрь, Ташкент

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«28 октября 41. [Эшелон «Казань – Ташкент»] Анна Андреевна не отходит от окна.

– Я рада, что вижу так много России.

В Казани все было очень мучительно. Если бы не Ида, нам вряд ли удалось бы сойти с парохода на пристань, а потом, сквозь толпу, пробиться в город. Мы отправились в Дом печати. Расспрашивали прохожих. Татарин сказал мне: “За то, что ты молодая, а седая, я тебя провожу”. Огромный зал Дома печати набит беженцами из Москвы. Спят на стульях – стулья стоят спинками друг к другу. Пустых мест нет. Мы с Идой уложили

Анну Андреевну на стол, Люшу и Женю под стол, а сами сели на подоконник. Анна Андреевна лежала прямая, вытянувшаяся, с запавшими глазами и ртом, словно мертвая. Мне под утро какой-то военный уступил место на стульях. Я легла, но не спала. Когда рассвело, оказалось, что бок о бок со мной, за спинками стульев, спит Фадеев».

Война пощадила Анну Андреевну. Ее могли «забыть» в осажденном Ленинграде, где она не выдержала бы и первой блокадной зимы: уже в сентябре у нее начались дистрофические отеки. Но ее не забыли, а по вызову А. Фадеева вывезли из города на Неве на почти последнем самолете. Могли бы отправить и в Сибирь, где Анна Андреевна, при ее неумении устраивать быт и добиваться привилегий, погибла бы от холода, голода и беспросветного одиночества, как Марина Цветаева в глухой Елабуге. Однако в результате счастливого для нее стечения обстоятельств, вот уж воистину – Бог уберег! Ахматова оказалась в Ташкенте. В воспоминаниях одного из ее собеседников сохранилось описание ее первого, на улице К. Маркса, азиатского прибежища: «В Ташкенте А. А. жила в крошечной комнатке под железной крышей в общежитии-казарме. Условия были тяжелыми. Страшно во время землетрясений, раскачивалась лампочка. Жара. В углу комнаты висели платья».

Конечно, в эвакуации и ей, и большинству простых ташкентцев жилось и тесно, и убого, и впроголодь, однако до смерти здесь все-таки не голодали. К тому же в столице «солнечного Узбекистана» у Ахматовой впервые за долгие годы затворничества была благодарная и профессиональная аудитория: в Ташкент эвакуировали петербургскую «культурную элиту», от Алексея Толстого и Корнея Ивановича Чуковского до симфонического оркестра Ленинградской консерватории.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Речь идет о Милице Васильевне Нечкиной, историке, специалистке по русским революционным движениям XIX века.)

«Нечкина просила меня представить ее Ахматовой. Анна Андреевна разрешила. В назначенный час новая гостья поднималась вместе со мною по лестнице вдоль наружной стены в общежитии писателей на улице Карла Маркса, 7. На каждой ступеньке Нечкина объясняла мне, как она любит Ахматову. На площадке объяснила, что от волнения не откроет рта. Когда я постучала в дверь, она перекрестилась. Поздоровавшись, села и замолчала, словно каменная. Хозяйке едва удавалось извлекать

из нее “да” и “нет”. Наконец Анна Андреевна спросила у Милицы Васильевны, над чем она сейчас работает. Тогда в Нечкиной – наверное, тоже от смущения! – проснулся историк, доктор наук, профессор: она открыла рот и не закрывала его 50 минут, полный академический час; по новонайденным материалам прочитала нам лекцию об одном декабристе, Трубецком или Оболенском, не помню. Кончив, встала, объявила, что ей пора, простилась и вышла. “Я вижу, меня из этого города без высшего образования не выпустят”, – сказала мне Анна Андреевна, когда за гостьей закрылась дверь».

В Ташкент же было переведено и издательство «Советский писатель», в котором в 1943 г. у Ахматовой вышла тоненькая книжка стихов. Анна Андреевна, верная правилу: никогда ничего не проси, – не обивала, как иные авторы, «ведомственные пороги». Издатели сами нашли ее, сразу же после того, как военные стихи Анны Ахматовой стали публиковать большие центральные газеты. Ее «Мужество», напечатанное в «Известиях» (февраль 1942), стало известно всей воюющей России.

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

23 февраля 1942, Ташкент

Фаина Раневская. «Судьба-шлюха»

«…Анна Андреевна была бездомной, как собака.

…В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином.

– Я буду вашей madame de Lambaille, пока мне не отрубили голову – истоплю вам печку.

– У меня нет дров, – сказала она весело.

– Я их украду.

– Если вам это удастся – будет мило.

Большой каменный саксаул не влезал в печку, я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. “А мне и не надо денег, вам будет тепло, и я рад за вас буду, а деньги что? Деньги это еще не все”.

Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне.

– А я сейчас встретила Платона Каратаева.

– Расскажите…

“Спасибо, спасибо”, – повторяла она. Это относилось к нарубившему дрова. У нее оказалась картошка, мы ее сварили и съели.

Никогда не встречала более кроткого, непритязательного человека, чем она…»

Жены преуспевающих деятелей искусств завяли и страдали в Ташкенте от бытовых трудностей, но Анна Андреевна давным-давно привыкла и к существованию на грани нищеты, и к коммунальным «неудобствам» – они ее не пугали. Конечно, при такой скученности и тесноте не обходилось без сплетен, наговоров, мелких предательств, но и этот мусор общежития был для нее не внове. Куда мучительней оказались муки совести: она – вдалеке от страданий и бед, а ее Ленинград вымирает в блокаде!

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…Прочла мне две строфы, посвященные Вовочке Смирнову. Сказала: “С тех пор, как умерли мои мальчики, я совсем не хочу видеть детей”.

* * *

Щели в саду вырыты,
Не горят огни.
Питерские сироты,
Детоньки мои!

Под землей не дышится,
Боль сверлит висок,
Сквозь бомбежку слышится
Детский голосок.

18 апреля 1942

* * *

Постучись кулачком – я открою.
Я тебе открывала всегда.
Я теперь за высокой горою,
За пустыней, за ветром, за зноем,
Но тебя не предам никогда…
Твоего я не слышала стона,
Хлеба ты у меня не просил.
Принеси же мне веточку клена
Или просто травинок зеленых,
Как ты прошлой весной приносил.
Принеси же мне горсточку чистой,
Нашей невской студеной воды,
И с головки твоей золотистой
Я кровавые смою следы.

23 апреля 1942, Ташкент

К.И. Чуковский. «Анна Ахматова»

«И еще один облик Ахматовой – совершенно непохожий на все остальные. Она – в окаянных стенах коммунальной квартиры, где из-за дверей бесцеремонных соседей не умолкая орет патефон, часами нянчит соседских детей, угощает их лакомствами, читает им разные книжки – старшему Вальтера Скотта, младшему “Сказку о золотом петушке”. У них был сердитый отец, нередко избивавший их под пьяную руку. Услышав их отчаянные крики, Анна Андреевна спешила защитить малышей, и это удавалось ей далеко не всегда.

Уже во время войны до нее долетел слух, что один из ее питомцев погиб в ленинградской блокаде. Она посвятила ему эпитафию, которая начинается такими словами:

Постучись кулачком – я открою.

Я тебе открывала всегда.

Для него, для этого ребенка, ее дверь была всегда открыта».

Великим облегчением стала встреча на ташкентском вокзале с семьей Пунина в марте 1942 года: узнав, что ленинградский эшелон (с очередной партией эвакуированных ленинградцев) проследует в Самарканд через Ташкент, Николай Николаевич известил об этом Анну Андреевну. Весточка чудом дошла вовремя, и Анна Андреевна не пропустила транзитный состав. И это тоже был знак надежды.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«24 марта 42. День рождения. Все эти дни вижу NN только на людях… Видела ее одну только тогда, когда дважды сопровождала ее на вокзал. Проехала Ленинградская Академия Художеств. Пунин; Анна Евгеньевна, Ирочка с Малайкой.

Вокзал; эвакопункт, где достаю для отставших от эшелона Пуниных-женщин хлеб. Страшные лица ленинградцев. Совершенно спокойное лицо NN. Не спала две ночи, глаза опухли. Меня и ее бьют на вокзале дежурные – не пускают на перрон. Костыли. Запасные пути. Трамваи.

О Гаршине ничего не знают. NN уверена, что он умер… Пунин очень плох.

– Он попросил у меня прощения за всё, за всё…

Вечером вчера страшный крик на Волькенштейнов [соседей Ахматовой] за то, что они щебечут про “три дороги”. Лживые разговоры о Ленинграде – это единственное, что заставляет NN совершенно терять самообладание. Куда деваются ее терпеливость, кротость, светскость, выносливость.

Телефонограмма из “Правды” по поводу «Мужества». Просят еще.

– Вы писали эти ночи?

– Нет, что вы. Теперь, наверное, годы не смогу писать».

После свидания на вокзале в Ташкенте Анна получила от Пунина поразительное письмо. Николай Николаевич наконец-то высказал Анне Андреевне все, о чем молчал, думая, что она и так все-все понимает в течение 20 лет. Ахматова до самой смерти хранила это письмо в своей сумочке.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…Закрыв дверь на крючок, NN вынула письмо от Пунина и прочла мне вслух. Из больницы. Читала она, опустив руки, своим трогательным тихим нежным и глубоким голосом. Он благодарит ее за доброту (она посылала в Самарканд с оказией посылочку и поручила одному человеку справиться там о здоровье Н. Н.), просит прощения, пишет о смерти и о том, как он, умирая, вспоминал NN и понял всю ее великую жизнь…»

Н.Н. Пунин – А. Ахматовой

Здравствуйте, Аничка.

Бесконечно благодарен за Ваше внимание и растроган; и это не заслуженно. Все еще в больнице, не столько потому, что болен, сколько оттого, что здесь лучше, чем на воле: есть мягкая кровать, и кормят, хотя и неважно, но даром. И спокойно. Я еще не вполне окреп, но все же чувствую себя живым и так радуюсь солнечным дням и тихой развивающейся весне. Смотрю и думаю: я живой. Сознание, что я остался живым, приводит меня в восторженное состояние, и я называю это – чувством счастья. Впрочем, когда я умирал, то есть знал, что я непременно умру, – …я тоже чувствовал этот восторг и счастье. Тогда, именно, я думал о Вас много. Думал, потому что в том напряжении души, которое я тогда испытывал, было нечто, как я уже писал Вам в записочке – похожее на чувство, жившее во мне в 20-х годах, когда я был с Вами. Мне кажется, я в первый раз так всеобъемлюще и широко понял Вас – именно потому, что это было совершенно бескорыстно, т. к. увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было действительно предсмертное свидание с Вами и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и поэтому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотанья и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей – и это мне казалось особенно ценным – а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, то есть всего того, что я тогда думал, но многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным. Вы знаете, многие осуждают Вас за Леву, но тогда мне было так ясно, что Вы сделали мудро и безусловно лучшее из того, что могли выбрать (я говорю о Бежецке), и Лева не был бы тем, что он есть, не будь у него бежецкого детства. (Я и о Леве много думал, но об этом как-нибудь другой раз – я виноват перед ним.) В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним

приемом очень опытной руки. Все это – я помню – наполнило меня тогда радостью и каким-то совсем не обычным, не сентиментальным умилением, а созерцательным, словно я стоял перед входом в Рай, вообще тогда много было от «Божественной комедии». И радовался я не столько за Вас, сколько за мироздание, потому что от всего этого я почувствовал, что нет личного бессмертия, а есть Бессмертное. Это чувство было особенно сильным. Умирать было не страшно, то есть я не имел никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти. Почему-то я совсем не был в этом заинтересован, но что есть Бессмертное, и я в нем окажусь – это было так прекрасно и так торжественно. Вы казались мне тогда – и сейчас тоже – высшим выражением Бессмертного, какое я только встречал в жизни. В больнице мне довелось перечитать «Бесов». Достоевский, как всегда, мне тяжел и совсем не для меня, но в конце романа, как золотая заря, среди страшного и неправдоподобного мрака, такие слова: «Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто безмерно справедливейшее и счастливейшее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением – и славой – а кто бы я ни был, что бы ни сделал, человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье, для всех и для всего…» и т. д. Эти слова почти совершенное выражение того, что я тогда чувствовал. Именно «и славой» – именно «спокойное счастье». Вы и были тогда выражением «спокойного счастья славы». Умирая, я к нему приближался. Но я остался жить и сохранил и само это чувство и память о нем. Я так боюсь теперь его потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не случилось того, что так много раз случалось со мной в жизни: Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе, терял лучшее, что она, судьба, мне давала. Солнце, которое я так люблю, после ледяного ленинградского ада, поддерживает меня, и мне легко беречь перед этой солнечной славой это чувство Бессмертного. И я счастлив.

…Подъезжая к Ташкенту, я не надеялся Вас увидеть и обрадовался до слез, когда Вы пришли, и еще больше, когда узнал, что на другой день Вы снова были на вокзале. Ваше внимание ко мне бесконечно. В телеграмме, которую вчера передала мне Ира, Вы спрашиваете, не надо ли чего прислать. Мне очень хочется приехать к Вам; это не скоро; еще неделю я пролежу здесь, а потом надо будет искать комнату и устраиваться. Если к тому времени мы еще не получим эвакуационных денег, я попрошу Вас прислать мне на дорогу. Но

я слышал также, что Вы собираетесь в Самарканд, это было бы прекрасно. Мне хотелось, правда, лучше приехать к Вам, но одно другому не мешает. За телеграмму спасибо.

Аня, солнце и чистое небо, а ночью было так много крупных звезд, и я их вижу, а на севере из-за своих глаз я их не видел.

Устал немного писать. Письмо вышло длинное и, пожалуй, бестолковое. Простите. Целую Ваши руки и еще раз спасибо за все.

4 апреля 1942

Ахматова ответила, завязалась переписка, и в августе 1943 года Пунин на несколько дней приехал в Ташкент. Можно предположить, что он хотел наладить прежние отношения, но Анна Андреевна твердила, что дала слово Гаршину. Может, и обошлось бы, но, вернувшись в Самарканд, Николай Николаевич застал семейство в панике и горе: Анна Евгеньевна была смертельно больна, а ведь, уезжая, Николай Николаевич оставил жену в добром здравии… Скоропостижная эта смерть вновь развела их: у Пунина – осиротевшие девочки, дочь и внучка, а у Ахматовой – придуманный ею Гаршин.

* * *

В. Г<аршину>

Глаз не свожу с горизонта,
Где метели пляшут чардаш…
Между нами, друг мой, три фронта:
Наш и вражеский и снова наш.
Я боялась такой разлуки
Больше смерти, пожара, тюрьмы.
Я молилась, чтоб смертной муки
Удостоились вместе мы.

3 июня 1942, Ташкент

До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много

и тяжело болела.

Нездоровье началось с затяжного гриппа в августе 1942 (все беды в ее жизни начинались в августе), а потом обернулось страшным брюшным тифом. Четыре месяца – между этим и тем светом! Так сильно, долго и безнадежно Анна Андреевна еще не болела.

* * *

А умирать поедем в Самарканд,
На родину предвечных роз…
Ташкент, Ташми

(в тифозном бреду)

Ноябрь – декабрь 1942

В тифу

Где-то ночка молодая,
Звездная, морозная…
Ой, худая, ой, худая
Голова тифозная.
Про себя воображает,
На подушке мечется,
Знать не знает, знать не знает,
Что во всем ответчица,
Что за речкой, что за садом
Кляча с гробом тащится.
Меня под землю не надо б,
Я одна – рассказчица.

1942. Ташкент

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Квадратная голубая палата, сверкающее окно – и на постели какая-то жалкая, маленькая – NN.

Лицо страшно переменилось за те сутки, что я ее не видала. Желто-серое. Глядит, не мигая, в стену. Плохо слышит. Сначала

она с нами не говорила, лежала, как отдельно, потом разговорилась. Расспрашивала Раневскую о комнате, о вещах, целы ли книги, кому что отдали. Обо всех мелочах. При нас ей принесли обед из Правительственной поликлиники: бульон, манная каша на молоке, молоко. Я грела на электрической плитке, стоящей в коридоре, а Раневская кормила ее с ложечки. Сестра сказала, что ей нужна отдельная кастрюлька, чайничек. Я пошла за посудой домой. Когда я вернулась – NN диктовала Раневской телеграмму Пуниным:

– "Лежу больнице больна брюшным тифом желаю всем долгой счастливой жизни".

Раневская сделала в мою сторону круглые глаза, а я сказала:

– NN, дорогая, не посылайте такую телеграмму!

[Днем позже]

– …Я вчера объяснила Фаине свою телеграмму в Самарканд, чтобы она поняла. Я ответила Н. Н. как православному, как христианину. В моей телеграмме он прочтет ответ: прощение. Что и требуется… А остальные? Ира ко мне равнодушна совсем, ей все равно – есть я или нет. Анна Евгеньевна дико меня ненавидит. Кого же там жалеть?

А смерти бояться не надо, и слова этого бояться не надо. В жизни есть много такого, что гораздо страшнее, чем смерть. Вся грязь, вся мерзость происходят от боязни смерти. А эти интеллигентские штучки, что умирает кто-то другой, плохой, а не мы, – надо бросить. Именно мы погибаем, мы умираем, а никто другой».

Но прошла зима, и Анна Андреевна снова поднялась на ноги. Зная по опыту, как коротки, короче азиатской весны, отпущенные ей промежутки между бедами, Анна Андреевна вернулась к работе – продолжила «Поэму без героя», пришедшую к ней в последнюю зиму перед войной – 27 декабря 1940 года.

Первый раз она пришла ко мне в Фонтанный дом в ночь на 27 декабря 1940 г., прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок («Ты в Россию пришла ниоткуда…»).

Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы.

Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями.

В ту ночь я написала два куска первой части («1913») и «Посвящение». В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте (вдва приема) – «Эпилог», ставший третьей частью поэмы, и сделала несколько существенных вставок в обе первые части.

Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей – моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады.

Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи.

8 апреля 1943, Ташкент

Еще одно лирическое отступление

Все небо в рыжих голубях,
Решетки в окнах – дух гарема…
Как почка, набухает тема.
Мне не уехать без тебя, —
Беглянка, беженка, поэма.

Но, верно, вспомню на лету,
Как запылал Ташкент в цвету,
Весь белым пламенем объят,
Горяч, пахуч, замысловат,
Невероятен…

Так было в том году проклятом,
Когда опять мамзель Фифи
Хамила, как в семидесятом.
А мне переводить Лютфи
Под огнедышащим закатом.
И яблони, прости их, Боже,
Как от венца в любовной дрожи,
Арык на местном языке,
Сегодня пущенный, лепечет.
А я дописываю «Нечет»
Опять в предпесенной тоске.

До середины мне видна
Моя поэма. В ней прохладно,
Как в доме, где душистый мрак
И окна заперты от зноя
И где пока что нет героя,
Но кровлю кровью залил мак…

1943, Ташкент

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«“Поэма” оглушительно нова, в такой степени нова, что неизвестно, поэма ли это; и нова не для одной лишь поэзии Анны Ахматовой, а для русской поэзии вообще. (Может быть, и для мировой; я судить не могу, я слишком невежественна.) Тут все впервые: и композиция, создающая некую новую форму, и строфа, и самое отношение к слову: акмеистическим – точным, конкретным, вещным словом Ахматова воспроизводит потустороннее, духовное, отвлеченное, таинственное. Конечно, это свойство всегда было присуще поэзии Ахматовой, но в “Поэме” оно приобрело новое качество. Острое чувство истории, тоже всегда присущее поэзии Ахматовой, тут празднует свое торжество. Это праздник памяти, пир памяти. А что память человека нашей эпохи набита мертвецами – вполне естественно: поколение Ахматовой пережило 1914, 1917, 1937, 1941 и пр. и т. п. История пережита автором интимно, лично – вот в чем главная сила “Поэмы”. Тут и те, кто погиб в предчувствии гибели – самоубийца Князев, например. (“Сколько гибелей шло к поэту, // Глупый мальчик, он выбрал эту”… “Не в проклятых Мазурских болотах, // Не на синих Карпатских высотах…”) В “Поэме” не вообще мертвые – убитые, замученные, расстрелянные – а ее мертвые, те, что когда-то делали живой ее жизнь, герои ее лирических стихов. Но это вовсе не превращает “Поэму” в цепь лирических стихотворений, как полагает Шервинский. Это только пропитывает эпос лирикой, делает “Поэму” лирико-эпической, бездонно глубокой, хватающей за душу. “У шкатулки ж двойное дно” – а какое дно у памяти? четверное? семерное? не знаю, память бездонна, поглядишь – голова закружится.

– Напишите мне то, что вы сейчас сказали, – попросила Анна Андреевна.

Написать? Я обещала, но вряд ли сдержу обещание. “Поэма” слишком сложна; тут, как Анна Андреевна говорит о “Пиковой даме”, – слой на слое, слой на слое».

…А веселое слово – дома —
Никому теперь не знакомо,
Все в чужое глядят окно.
Кто в Ташкенте, а кто в Нью-Йорке,
И изгнания воздух горький —
Как отравленное вино.
Все вы мной любоваться могли бы,
Когда в брюхе летучей рыбы
Я от злой погони спаслась

И над полным врагами лесом,
Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась…

И уже подо мною прямо
Леденела и стыла Кама,
И «Quo vadis?» кто-то сказал,
Но не дал шевельнуть устами,
Как тоннелями и мостами
Загремел сумасшедший Урал.
И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
От того, что сделалась прахом,
…
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.

Весной 1943 в Ташкент пришла радостная новость из Норильска: Лев Гумилев отбыл лагерный срок.

Л. Н. Гумилев. «Автонекролог»

«Окончил я срок в 1943 году, и как пробывший все время без всяких нареканий и нарушений лагерного режима я был отпущен и полтора года работал в экспедиции того же самого Норильского комбината. Мне повезло сделать некоторые открытия: я открыл большое месторождение железа на Нижней Тунгуске при помощи магнитометрической съемки. И тогда я попросил – как в благодарность – отпустить меня в армию.

…Я поехал добровольцем на фронт и попал сначала в лагерь “Неремушка”, откуда нас, срочно обучив в течение 7 дней держать винтовку, ходить в строю и отдавать честь, отправили на фронт в сидячем вагоне… Был прорван фронт на Висле, я получил назначение в зенитную часть и поехал в нее. Там я немножко отъелся и в общем довольно благополучно служил, пока меня не перевели в полевую артиллерию, о которой я не

имел ни малейшего представления.

…В полку 1386 31-й дивизии Резерва Главного командования я закончил войну, являясь участником штурма Берлина».

Interieur

Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни
На краешке окна, и духота кругом,
Когда закрыта дверь, и заколдован дом
Воздушной веткой голубых глициний,
И в чашке глиняной холодная вода,
И полотенца снег, и свечка восковая
Горит, как в детстве, мотыльков сзывая,
Грохочет тишина, моих не слыша слов, —
Тогда из черноты рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже…
Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

28 марта 1944, Ташкент

* * *

De profundis… Мое поколенье
Мало меду вкусило. И вот
Только ветер гудит в отдаленье,
Только память о мертвых поет.
Наше было не кончено дело,
Наши были часы сочтены,
До желанного водораздела,
До вершины великой весны,
До неистового цветенья
Оставалось лишь раз вздохнуть…
Две войны, мое поколенье,
Освещали твой страшный путь.

23 марта 1944, Ташкент

* * *

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.
И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.
То мог быть Каир или даже Багдад,
Но только не призрачный мой Ленинград,
И горькое это несходство
Душило, как запах сиротства.
И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.
Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой…
И если вернется та ночь и к тебе,
Будь добрым к моей запоздалой мольбе,
Пришли наяву ли, во сне ли
Мне голос азийской свирели.

1 декабря 1959, Ленинград, Красная Конница

Согласно догадке (предположению) Л.К. Чуковской, процитированные стихи посвящены Юзефу Чапскому, польскому художнику и публицисту, с которым Анна Андреевна познакомилась во время войны в Ташкенте, на вечере у Алексея Толстого. Под Ташкентом был расквартирован штаб польской армии генерала Андерса. Чапский, во время войны с Польшей попавший в плен и освобожденный из советского лагеря в 1941 году, был уполномоченным Андерса по розыску польских офицеров, пропавших на территории СССР.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Интересно мне было подтверждение одной моей догадки: я давно подозревала, что стихотворение “В ту ночь мы сошли

друг от друга с ума” обращено к тому высокому поляку, военному, который в Ташкенте бывал у нее, и, помнится, провожал ее откуда-то из гостей домой – не от Толстых ли?.. И вдруг она сегодня сказала, взглянув на меня плутовски: «Давайте-ка сделаем вместо “Но только не призрачный мой Ленинград” – но не Варшава, не Ленинград»… Догадка моя верна – тому поляку: в Ташкенте… Чапскому.

…Стихотворение прекрасное, таинственное, восточное, алмазное, но ко мне Ташкент оборачивался помойной ямой, и я его красоты не почувствовала. Анна же Андреевна, как всегда, сумела над помойной ямой возвыситься и сотворить из сора высокий миф…

Это прекрасно, но в ташкентском случае ее мифотворчество мне почему-то не по душе. (Видно, скудная у меня душа.) Так и “месяц алмазной фелукой” мне чем-то неприятен, и “созвездие Змея”. Чем? Наверное, своим великолепием…»

Авторитет Л. К. Чуковской как летописца Анны Андреевны велик. Но есть и другая версия (сама Лидия Корнеевна упоминает о ней в примечаниях к своим «Запискам»): Г. Л. Козловская, жена композитора и дирижера Алексея Федоровича Козловского, в своих мемуарах предполагает, что стихотворение посвящено ее мужу.

Г.Л. Козловская «Дни и годы одной прекрасной жизни»

«В один из жарких дней последнего лета Анна Андреевна пришла к нам и собралась уходить уже поздно. У меня на столе стояли белые гвоздики, необычайно сильно и настойчиво-таинственно пахнувшие. Анна Андреевна все время касалась их рукой и порой опускала к ним свое лицо. Когда она уходила, она молча приняла из моих рук цветы с мокрыми стеблями. Как всегда, Алексей Федорович пошел ее провожать. Это было довольно далеко, но все мы тогда проделывали этот путь пешком. Вернулся домой он нескоро и, сев ко мне на постель, сказал: “Ты знаешь, я сегодня, сейчас пережил необыкновенные минуты. Мы сегодня с Анной Андреевной, как оказалось, были влюблены друг в друга, и такое в моей жизни, я знаю, не повторится никогда. Мы шли и подолгу молчали. По обочинам шумела вода, и в одном из садов звучал бубен. Она вдруг стала расспрашивать меня о звездах (Алексей Федорович хорошо знал, любил звезды и умел их рассказывать.) Я почему-то много говорил оКассиопее, а она все подносила к лицу твои гвоздики. От охватившего нас

волнения мы избегали смотреть друг на друга и снова умолкали". Его исповедь я запомнила дословно, со всеми реалиями пути, чувств и шагов. Поняла, что это был как бы акмей в тех их отношениях, которые французы называют quitte amoureuse… И я, ревнивейшая из ревнивиц, испытала чувство полного понимания и глубокого сердечного умиления… И когда годы спустя Алексей Федорович впервые прочел эти стихи ("В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…" – А.М.), он ошеломленно опустил книгу и только сказал: "Прочти". Я на всю жизнь запомнила его взгляд и оценила всю высоту и целомудрие этого его запоздалого признания».

Кто бы ни был прав в своих догадках об адресате этого стихотворения, в доме Козловских (они жили в Ташкенте в ссылке с 1936 года) Ахматова была частой и желанной гостьей.

Г.Л. Козловская «Дни и годы одной прекрасной жизни»

«Свой первый в Ташкенте новогодний вечер Ахматова провела вместе с нами, в нашем доме. Алексей Федорович, встретив ее на пороге, поцеловал обе руки и, взглянув ей в лицо, сказал: "Так вот вы какая". "Вот такая, какая есть", – ответила Анна Андреевна и слегка развела руками. Вероятно, было что-то в его молодом и веселом голосе, что заставило ее улыбнуться, и сразу не стало минут замешательства и неосвоенности при первом знакомстве. Могу засвидетельствовать, что Алексей Федорович был одним из немногих, кто не испытывал робости и особого оцепенения, какое бывало у большинства людей при первом знакомстве с Ахматовой. Многие, которые ей не нравились, приписывали это ее высокомерию. Но мы очень скоро поняли, что это – ее защитный плащ. Она больше всего не терпела и не выносила фамильярности и по опыту знала, как многие люди сразу после знакомства предаются амикошонству.

В тот вечер Анна Андреевна, войдя в комнату, быстро подошла к горячей печке и, заложив назад руки, стала к ней спиной. Тут мы увидели, что глаза у нее – синие. Они становились у нее такими, когда ей было хорошо».

Следующий, 1943-й, Новый год Анна Андреевна провела в больнице, а вот последний ташкентский, 1944-й – встретила опять у Козловских и к этому полупрощальному празднику приготовила ташкентским друзьям, нежным своим утешителям, – затейливый подарок: спасла от медленного исчезновения свою тень (нарисованную А.К. на стене дома). Консервант (средство от

забвения), изобретенный Ахматовой, увековечил и саму тень, и атмосферу приютившего ее тень дома.

Г.Л. Козловская «Дни и годы одной прекрасной жизни»

«Когда Анна Андреевна, приходя к нам, садилась всегда на одно и то же место, ее профиль очень четкой тенью ложился на белую поверхность стены. Однажды Алексей Федорович обвел его на стене карандашом, а позднее – углем. И, шутя, стал говорить Анне Андреевне, что по ночам ее профиль живет странной жизнью. Через некоторое время появилось большое стихотворение, начинавшееся словами:

А в книгах я последнюю страницу
Всегда любила больше всех других…

И в конце:

И только в двух домах
В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И говорят, когда лучи луны —
Зеленой, низкой, среднеазиатской —
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук,
Причем одни его считают плачем,
Другие разбирают в нем слова.
Но это чудо всем поднадоело,
Приезжих мало, местные привыкли,
И говорят, в одном из тех домов
Уже ковром закрыт проклятый профиль.

25 ноября 1943

Удостоверяю, что дом с ее профилем на стене был один. Когда она уехала и известь его поглотила, я завесила это место куском старинной парчи. Я рассказала ей об этом потом, и она сказала: “Боже, какая роскошь, и всего лишь для бедной тени”».

Алексею Козловскому, и притом совершенно официально,

было посвящено стихотворение “Явление луны”, написанное (как и “В ту ночь…”) вскоре после возвращения из Ташкента в Ленинград.

“Мы особенно тосковали в первый новогодний вечер без нее. Но она все-таки пришла к нам: за четверть часа до наступления Нового года я нашла на полу прихожей белый листок. Это была открытка от Анны Андреевны”, – вспоминает Галина Лонгиновна. В открытке было “Явление луны” с примечанием: “Эти стихи ташкентские, хотя написаны в Ленинграде. Посылаю их на их Родину”».

Явление луны

А. К.

Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато
И так торжественно плыла, —
Как будто «Лунная соната»
Нам сразу путь пересекла.

25 сентября 1944

В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.

Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти» – последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенку. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом.

«Поэма без героя», Эпилог

Белая ночь 24 июня 1942 г. Город в развалинах. От Гавани до Смольного видно все как на ладони. Кое-где догорают застарелые пожары. В Шереметевском саду цветут липы и поет соловей. Одно

окно третьего этажа (перед которым увечный клен) выбито, и за ним зияет черная пустота. В стороне Кронштадта ухают тяжелые орудия. Но в общем тихо. Голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит:

…А не ставший моей могилой,
Ты, крамольный, опальный, милый,
Побледнел, помертвел, затих.
Разлучение наше мнимо:
Я с тобою неразлучима,
Тень моя на стенах твоих,
Отраженье мое в каналах,
Звук шагов в Эрмитажных залах,
Где со мною мой друг бродил,
И на старом Волковом Поле,
Где могу я рыдать на воле
Над безмолвием братских могил…

* * *

О, горе мне! Они тебя сожгли…
О, встреча, что разлуки тяжелее!..
Здесь был фонтан, высокие аллеи,
Громада парка древнего вдали,
Заря была себя самой алее,
В апреле запах прели и земли,
И первый поцелуй…

Июнь 1944 г., Пушкин; 8 ноября 1945, Фонтанный дом

* * *

Лучше б я по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

Июнь 1944, Ленинград

Перед самым отъездом из Ташкента Анна Андреевна получила от давнего своего друга Владимира Георгиевича Гаршина, профессора медицины и племянника известного писателя, телеграмму с предложением руки и сердца, и даже с вопросом: согласна ли она, при официальном оформлении брака, взять его фамилию. Анна Андреевна ответила согласием, снизойдя к амбициям и опасениям «жениха». Но пока невеста добиралась до Ленинграда, в жизни Гаршина, овдовевшего в блокаду, произошло чрезвычайное происшествие. Ему приснился вещий сон; в том сне ученому-патологоанатому явилась покойница-жена и взяла с него слово не жениться на Ахматовой, не вводить эту ведьму с Лысой горы в их почтенный профессорский дом. Гаршин встретил Анну Андреевну на вокзале и даже, кажется, с цветами, и тут же поведал о случившемся.

Явление мертвой жены – версия Гаршина. На самом деле, похоже, все было куда проще. Овдовев, Владимир Георгиевич, терзаемый тоской и одиночеством, сошелся, как тогда говорили, со своей сослуживицей Капитолиной Волковой, женщиной немолодой, хозяйственной, ученой, но, несмотря на красоту и прочие женские достоинства, незамужней. Вскоре после разрыва с Ахматовой, в июле 1944-го, он сделал Волковой предложение. Впрочем, судя по воспоминаниям Капитолины Григорьевны, Анна Андреевна к этому браку не имела решительно никакого отношения.

«31 июля 1944 года у директора ВИЭМа… было совещание. Владимир Георгиевич сидел рядом с ним за председательским столом, а мы, сотрудники, на своих обычных местах… Перед концом заседания Владимир Георгиевич прислал мне записку. Он нередко присылал мне такие записки: то с каким-то деловым замечанием, то жаловался на головную боль и просил выйти вместе с ним на воздух… Но на этот раз записка была другого содержания, в стихах. Вот они:

Я очень скромный человек,
Нужна мне только чуточка,
Но уж зато нужна на век,
На век, не на минуточку.

Я быстро расшифровала слово “чуточка” (Капочка-капелька-чуточка)… Владимир Георгиевич смотрел в это время на меня и, увидев по моему лицу, что я поняла, сделал мне знак, чтобы я вышла из кабинета. Он вышел вслед за мной. Мы поехали на могилу Татьяны Владимировны (первой жены Гаршина. – А.М.), и тут Владимир Георгиевич рассказал мне, что когда Татьяна

Владимировна серьезно заболела и заговорила о смерти, она сказала Владимиру Георгиевичу: “Если я умру, женись на Капитолише (так она меня называла за глаза), она тебе хорошей женой будет”».

Ни об этой странноватой для пожилого жениха форме сватовства, ни о том, что явление во сне мертвой супруги – чистой воды выдумка, Анна Ахматова никогда не узнала.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Да, у меня так было в 44-м году. (“Значит, Гаршин”, – подумала я.) Мне… сделалось трудно жить, потому что я дни и ночи напролет старалась догадаться, что же произошло. Могу вам сказать, как это окончилось. Однажды я проснулась утром и вдруг почувствовала, что мне это больше неинтересно. Нет, я не проснулась веселой или счастливой. Но – освобожденной».

В рукописном экземпляре “Поэмы без героя”, который Анна Андреевна подарила Л.К. Чуковской в Ташкенте в 1942 году, “Решка” посвящалась Гаршину, а“ Эпилог” – “Городу и Другу”. К Гаршину в “Поэме” обращены были такие строки:

Ты, мой грозный и мой последний
Светлый слушатель темных бредней,
Упованье, прощенье, честь!
Предо мной ты горишь, как пламя,
Надо мной ты стоишь, как знамя,
И целуешь меня, как лесть.
Положи мне руку на темя…

После разрыва Ахматова сняла с “Решки” посвящение, поставила над “Эпилогом” просто “Моему Городу”, а приведенные выше строки изменила так:

Ты, не первый и не последний
Темный слушатель светлых бредней,
Мне какую готовишь месть?
Ты не выпьешь, только пригубишь
Эту горечь из самой глуби —
Этой нашей разлуки весть.
Не клади мне руку на темя…

В 1945 году Анна Андреевна написала о В.Г. Гаршине это стихотворение:

* * *

…А человек, который для меня
Теперь никто, а был моей заботой
И утешеньем самых горьких лет, —
Уже бредет как призрак по окрайнам,
По закоулками и задворкам жизни,
Тяжелый, одурманенный безумьем,
С оскалом волчьим…
Боже, Боже, Боже!
Как пред тобой я тяжко согрешила!
Оставь мне жалость хоть…

1945

Боль и унижение разрыва с Гаршиным Ахматовой помог пережить овдовевший к тому времени Пунин. Он вернулся из эвакуации с дочерью и внучкой, и между ними на первых порах возникло что-то похожее на «призрак прежних дней»:

И, как всегда бывает в дни разрыва,
К нам постучался призрак первых дней,
И ворвалась серебряная ива
Седым великолепием ветвей.
Нам, исступленным, горьким и надменным,
Не смеющим глаза поднять с земли,
Запела птица голосом блаженным
О том, как мы друг друга берегли.

25 сентября 1944

Однако мир и лад в этой странной семье продержался недолго: битые черепки склеить можно, а звону не будет. Пунин опять женился, вышла во второй раз замуж и Ирина Николаевна. Жизнь Анны Андреевны снова замерла и превратилась в мучительное ожидание возвращения сына с войны.

Последнее возвращение

У меня одна дорога:
От окна и до порога.

Лагерная песня

День шел за днем – и то и сё
Как будто бы происходило
Обыкновенно – но чрез всё
Уж одиночество сквозило.
Припахивало табаком,
Мышами, сундуком открытым
И обступало ядовитым
Туманцем…

25 июля 1944, Ленинград

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Лидия Корнеевна в гостях у Анны Андреевны)

«Нет, нет, я всегда за развод, – повторила Анна Андреевна. – Очень тяжело оставаться вместе после того, как уже был конец. Получается балаган, вот как у нас в квартире. – Она легонько постучала в стенку Николая Николаевича.

– Бывают случайные измены, а потом опять все склеивается, но это редкость… Бывает также, что из-за детей не расходятся… Но я-то думаю, что и детям развод родителей чаще бывает полезен, чем вреден. А вот этакие наслоения жен, – она снова легонько постучала в стену Николая Николаевича, – это уже совсем чепуха».

Возвращение Гумилева-младшего в Ленинград было счастливым. Они стали жить вместе, вдвоем и даже кое-как сводили концы с концами.

Лев Гумилев. «Автобиография. Воспоминания о родителях»

«Боже, какой был 45-й год, когда мы все вернулись с войны и все хотели жить в мире и любить друг друга!.. Я вернулся в Ленинград, пришел с удовольствием по знакомым улицам домой. Мама встретила меня очень радостно, мы целую ночь с ней разговаривали, она читала мне свои новые стихи. Потом я пошел в университет… Меня встретили, как родного (я же был в шинели

с погонами). Разрешили сдавать экзамены экстерном за два курса, вместе с аспирантскими…»

(Аудиозапись 1985 г.)

Учитель

Памяти Иннокентия Анненского

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленье —
И задохнулся…

1945

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Она заговорила об Анненском. Она уже не раз упоминала о нем как о замечательном поэте. Я вынуждена была признаться в своем полном невежестве.

Анна Андреевна оживилась.

– Хотите, я вам почитаю? – Вскочила. Сняла с комода (бюро) зеркало, открыла крышку и начала перебирать книги. Анненский не попадался. Она показала мне группу: гимназистки и среди них сестра ее, Ия. Красавица, лицо греческой императрицы. Похожа на Анну Андреевну. Потом фотографии отца, матери – никакого сходства с дочерьми. У матери лицо простоватое. Потом карточка молодого человека – тонкого, черноглазого, со ртом Анны Андреевны – брат. Потом вытащила рукопись – сочинение сестры Ии о протопопе Аввакуме и тут же похвальный отзыв профессора. Потом фотография Анны Андреевны, любительская: она полулежит в саду, в шезлонге, лицо молодое, спокойное и очень милое – не патетическое, не роковое, не пронзительное, а именно милое.

– Хотите, подарю? – спросила Анна Андреевна, и я с радостью согласилась.

Анненский нашелся. Анна Андреевна села на диван и надела

очки.

– Вот сейчас вы увидите, какой это поэт, – сказала она. – Какой огромный. Удивительно, что вы его не знаете. Ведь все поэты из него вышли: и Осип, и Пастернак, и я, и даже Маяковский.

Она прочитала мне четыре стихотворения, действительно очень замечательные. Мне особенно понравились «Смычок и струны», «Старые эстонки» и «Лира часов». В самом деле, очень слышна она, и Пастернак слышен.

Перед моим уходом она надписала мне фотографию. На лестнице я прочла: «В день, когда мы читали Анненского».

Н.А.О

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые.

Тютчев

Меня, как реку,
Суровая эпоха повернула.
Мне подменили жизнь. В другое русло,
Мимо другого потекла она,
И я своих не знаю берегов.
О, как я много зрелищ пропустила,
И занавес вздымался без меня
И так же падал. Сколько я друзей
Своих ни разу в жизни не встречала,
И сколько очертаний городов
Из глаз моих могли бы вызвать слезы,
А я один на свете город знаю
И ощупью его во сне найду.
И сколько я стихов не написала,
И тайный хор их бродит вкруг меня
И, может быть, еще когда-нибудь
Меня задушит…
Мне ведомы начала и концы,
И жизнь после конца, и что-то,
О чем теперь не надо вспоминать.
И женщина какая-то мое
Единственное место заняла,
Мое законнейшее имя носит,

Оставивши мне кличку, из которой
Я сделала, пожалуй, все, что можно.
Я не в свою, увы, могилу лягу.
Но иногда весенний шалый ветер,
Иль сочетанье слов в случайной книге,
Или улыбка чья-то вдруг потянут
Меня в несостоявшуюся жизнь.
В таком году произошло бы то-то,
А в этом – это: ездить, видеть, думать,
И вспоминать, и в новую любовь
Входить, как в зеркало, с тупым сознаньем
Измены и еще вчера не бывшей
Морщинкой
…
Но если бы оттуда-то взглянула
Я на свою теперешнюю жизнь,
Узнала бы я зависть наконец.

2 сентября 1945, Ленинград, Фонтанный дом

(Задумано еще в Ташкенте)

В первые послевоенные годы Ахматова много выступала. И с невероятным успехом – и в Ленинграде, и в Москве. Снова стала писать: за год – более 20 стихотворений! И это при активной работе над продолжающейся, не отпускающей от себя «Поэмой без героя». Она до того расхрабрилась, что позволила себе не испугаться, когда к ней в Фонтанный дом заявился, чтобы взять интервью, сотрудник британского посольства, по образованию ученый-славист И. Берлин. Выходец из России, мистер Берлин свободно говорил по-русски, в истории российской словесности чувствовал себя как рыба в воде, кое-что знал и о молодом романе Анны Андреевны с Борисом Анрепом. Все это вместе взятое сильно подействовало на Анну Андреевну. Особенно взволновало то, что заморский гость появился в Фонтанном доме нежданно-негаданно и, как и было предсказано самым строем поэмы канунов и сочельников, под Рождество, за что и был «вставлен» – в ее текст в роли гостя из будущего. Почтенный славист, когда до него дошла «Поэма без героя», был крайне смущен. Будучи младше Анны Андреевны на целых двадцать лет, он не мог и подумать, что его сугубо карьерный визит будет воспринят почтенной седой русской дамой столь эмоционально. А между тем мистер Берлин и впрямь появился в сталинской России 1946 года в роли гостя из будущего – пришельца из тех

времен, когда творчество госпожи Ахматовой станет излюбленной диссертационной темой славистов всего мира, и они, дружной когортой, будут смертно завидовать И. Берлину.

Исайя Берлин. «Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах»

«Фонтанный дом, бывший дворец Шереметева, великолепное строение в стиле барокко с воротами тончайшего художественного чугунного литья, которым так знаменит Ленинград, стоял посреди обширного двора, несколько напоминающего четырех-угольный двор университета в Оксфорде или Кембридже. Мы поднялись по неосвещенной лестнице на верхний этаж и оказались в комнате Ахматовой. Комната была обставлена очень скудно, по-видимому, многие вещи пришлось продать во время блокады. Из мебели были лишь небольшой стол, три или четыре кресла, деревянный сундук и диван. Над камином висел рисунок Модильяни. Величественная седая дама с накинутой на плечи белой шалью медленно поднялась, приветствуя нас.

Это величие Анны Андреевны Ахматовой проявлялось в неторопливых жестах, благородной посадке головы, в красивых и слегка строгих чертах, а также в выражении глубокой печали. Я поклонился, что приличествовало ситуации. Мне казалось, что я благодарю королеву за честь быть принятым ею.

…Ахматова прочитала мне еще неоконченную “Поэму без героя”. Не буду описывать ее голос и интонации, так как есть записи ее чтения. Я понял, что это гениальные строки, и уже тогда, при первом слушании, был очарован их магией и глубиной. Ахматова не скрывала, что задумала эту поэму как памятник своему творчеству, памятник прошлому города – Петербурга, – которое было частью ее жизни; в виде святочной карнавальной процессии переодетых фигур в масках она запечатлела своих друзей, их жизненные пути и свою собственную судьбу.

…Вновь и вновь она говорила о дореволюционном Петербурге – городе, где она сформировалась, – и о бесконечной темной ночи, под покровом которой с тех пор протекала ее жизнь. Ахматова ни в коей мере не пыталась пробудить жалость к себе, она казалось королевой в изгнании, гордой, несчастной, недосягаемой и блистательной в своем красноречии.

Рассказ о трагедии ее жизни не сравним ни с чем, что я слышал до сих пор, и воспоминание о нем до сих пор живо и больно. Я спросил Ахматову, не собирается ли она написать

автобиографический роман, на что та ответила, что сама ее поэзия, в особенности “Поэма без героя”, является таковым».

Сэр Исаак уехал в Англию. Ахматова осталась – и вскоре над ней разразилась катастрофа, причиной которой, она была уверена, явился визит иностранного ученого.

Исайя Берлин. «Встречи с русскими писателями в 1945 и 1956 годах»

«При следующей нашей встрече в Оксфорде в 1965 году Ахматова в деталях описала кампанию властей, направленную против нее. Она рассказала, что Сталин пришел в ярость, когда услышал, что она, далекая от политики, мало публикующаяся писательница, живущая сравнительно незаметно и потому до сих пор стоявшая в стороне от политических бурь, вдруг скомпрометировала себя неформальной встречей с иностранцем, да к тому же представителем капиталистической страны…

На следующий день после моего отъезда из Ленинграда, 6 января 1946 года, у лестницы, ведущей в квартиру Ахматовой, поставили часового, а в потолок ее комнаты вмонтировали микрофон – явно не для того, чтобы подслушивать, а чтобы вселить страх. Ахматова тогда поняла, что обречена, и хотя анафема из уст Жданова прозвучала месяцами позже, она приписывала ее тем же событиям. Она прибавила, что мы оба бессознательно, одним лишь фактом нашей встречи, положили начало холодной войне, оказав этим влияние на историю всего человечества. Ахматова была совершенно убеждена в этом».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«А. А. полагала, была убеждена: главная причина, вызвавшая катастрофу 1946 года, – это ее дружба с оксфордским профессором, историком литературы, мыслителем, специалистом по Толстому, Тургеневу, Герцену – сэром Исайей Берлиным (1909–1997), посетившим Советский Союз в 1945 г. Той же дружбе, которая, по ее мнению, разгневала Сталина, она приписывала и несчастье с Левой. Вот почему, когда ее друг осенью 1956 г. снова приехал в Россию, – она отказалась с ним встретиться.

К нему лицу обращены два ахматовские цикла: “Cinque”, созданный Ахматовой в 40-х годах, и “Шиповник цветет” (“Сожженная тетрадь”), – цикл стихотворений, написанных именно об этой “невстрече”. Ему же адресованы и некоторые

строфы “Поэмы” (“Гость из будущего”); о нем же сказано в посвящении “Третьем и последнем”».

Первая песенка

Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.
Нескрещенные взгляды
Не знают, где им лечь.
И только слезы рады,
Что можно долго течь.
Шиповник Подмосковья,
Увы! при чем-то тут…
И это всё любовью
Бессмертной назовут.

1956

Третье и последнее

*(Le jour des rois)**
Раз в крещенский вечерок…

Жуковский

Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек…
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится Двадцатый Век.
Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,
Он ко мне во дворец Фонтанный
Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клен в окне, венчальные свечи

И поэмы смертный полет…
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений —
Он погибель мне принесет.

5 января 1956

1946

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград»

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литературно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся совершенно неудовлетворительно.

…Грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание.

…Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадочничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, «искусстве для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе.

Предоставление Зощенко и Ахматовой активной роли в журнале, несомненно, внесло элементы идейного разброда и дезорганизации в среде ленинградских писателей. В журнале стали появляться произведения, культивирующие не свойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада…

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Обязать редакцию журнала «Звезда», Правление Союза советских писателей и Управление пропаганды ЦК ВКП(б) принять меры к безусловному устранению указанных в настоящем постановлении ошибок и недостатков журнала, выправить линию журнала и обеспечить высокий идейный и художественный уровень журнала, прекратив доступ в журнал произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных.

2. Ввиду того, что для издания двух литератур-но-художественных журналов в Ленинграде в настоящее время не

имеется надлежащих условий, прекратить издание журнала «Ленинград», сосредоточив литературные силы Ленинграда вокруг журнала «Звезда».

…

8. Возложить партруководство журналом «Звезда» на Ленинградский обком. Обязать Ленинградский обком и лично первого секретаря Ленинградского обкома и горкома тов. Попкова принять все необходимые меры по улучшению журнала и по усилению идейно-политической работы среди писателей Ленинграда.

…

13. Командировать т. Жданова в Ленинград для разъяснения настоящего постановления ЦК ВКП(б).

14 августа 1946

Из дневника Л.В. Шапориной

…Вчера вечером состоялось торжественное собрание писателей в Смольном под председательством Жданова. За ним на эстраду вышли Прокофьев, Саянов, Попков, все бледные, расстроенные: в Москве состоялось совещание при участии Сталина, рассматривали деятельность ленинградских писателей, журналов «Звезда» и «Ленинград», «на страницах которых печатались пошлые рассказы и романы Зощенко и салонно-аристократические стихи Ахматовой». Полились ведра помоев на того и на другого. Писатели выступали один подлее другого, каялись, били себя в грудь, обвиняли во всем Тихонова, оставил-де их без руководства. Постановили исключить из Союза писателей Анну Ахматову и Зощенко. Их, к счастью, в зале не было.

1946, августа 17

Из сокращенной и обобщенной стенограммы докладов т. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде

Перехожу к вопросу о литературном «творчестве» Анны Ахматовой. Ее произведения за последнее время появляются в ленинградских журналах в порядке «расширенного воспроизводства». Это так же удивительно и противоестественно, как если бы кто-либо сейчас стал переиздавать произведения Мережковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Андрея

Белого, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т. д. и т. п., т. е. всех тех, кого наша передовая общественность и литература всегда считали представителями реакционного мракобесия и ренегатства в политике и искусстве. <…>

Тематика Ахматовой насквозь индивидуалистическая. До убожества ограничен диапазон ее поэзии – поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между будуаром и моленной. Основное у нее – это любовно-зротические мотивы, переплетенные с мотивами грусти, тоски, смерти, мистики, обреченности. Чувство обреченности – чувство, понятное для общественного сознания вымирающей группы, – мрачные тона предсмертной безнадежности, мистические переживания пополам с эротикой, – таков духовный мир Ахматовой, одного из осколков безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, «добрых старых екатерининских времен». Не то монахиня, не то блудница, а вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой.

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом…

(Ахматова «Anno Domini»)

Такова Ахматова с ее маленькой, узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. <…>

Все мы любим Ленинград, все мы любим нашу ленинградскую партийную организацию как один из передовых отрядов нашей партии. В Ленинграде не должно быть прибежища для разных примазавшихся литературных проходимцев, которые хотят использовать Ленинград в своих целях. Для Зощенко, Ахматовой и им подобных Ленинград советский не дорог. Они хотят видеть в нем олицетворение иных общественно-политических порядков и иной идеологии. Старый Петербург, Медный всадник, как образ этого старого Петербурга, – вот что маячит перед их глазами. А мы любим Ленинград советский, Ленинград как передовой центр советской культуры. Славная когорта великих революционных и демократических деятелей, вышедших из Ленинграда, – это наши прямые предки, от которых мы ведем свою родословную. Славные традиции современного Ленинграда есть продолжение развития этих великих революционных демократических традиций, которые мы ни на что другое не сменяем. Пусть ленинградский актив смело, без

оглядки назад, без «подрессоривания» проанализирует свои ошибки, чтобы как можно лучше и быстрее выправить дело и двинуть нашу идейную работу вперед. Ленинградские большевики должны вновь занять свое место в рядах застрельщиков и передовиков в деле формирования советской идеологии, советского общественного сознания. (Бурные аплодисменты.) <…>

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Да, меня обвиняли в том, что я подговаривала Леву убить Жданова. Это была бы с моей стороны сверхчуткость, провиденье, пророчество. Правда? А я ведь никого не способна убить, даже муху: видны глаза, крылышки, лапки… Нет! Могу только моль».

Считаю не только уместным, но и существенно важным возвращение к 1946 году и роли Сталина в постановлении 14 августа. Об этом в печати еще никто не говорил. Мне кажется удачной находкой сопоставление того, что говорилось о Зощенко и Ахматовой, с тем, что говорили о Черчилле. Абсолютно невозможно приводить дословные цитаты из Жданова, переносящие нас в атмосферу скандала в коммунальной квартире. С одной стороны, новая молодежь (послесталинская) этого не помнит, и нечего ее этому учить, а не читавшие мои книги мещане до сих пор говорят «альковные стихи Ахматовой» (по Жданову) – не надо разогревать им их любимое блюдо. Здесь совершенно неуместен объективный тон и цитирование, должно чувствоваться негодование автора [что-нибудь вроде: «мы отказываемся верить нашим глазам», «невозможно объяснить, почему о женщине-поэте, никогда не написавшей ни одного эротического стиха…»] по поводу того, что некто считающий себя критиком пишет непристойности. Ругательные статьи были не только в «Культуре и жизни» (Александровский централ), но и во всей центральной и периферийной прессе – четырехзначное число в течение многих лет. И все это в течение многих лет давали нашей молодежи как назидание. Это был экзаменационный билет во всех вузах страны.

Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей, то есть обречены на голод.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…Зощенко не арестовали. Анну Ахматову не арестовали и не

расстреляли (“Реквием” и стихи, подобные ему, до властей не дошли). Обоим был вынесен другой, менее жестокий, но достаточно тяжелый приговор. Года полтора со страниц газет и журналов не сходили цитаты из доклада Жданова, обогащенные новыми доказательствами, что Ахматова – народу чужда, а Зощенко – тот прямо-таки ненавидит народ. Не только заведующий каждой редакцией, но и каждый издательский курьер обязаны были усвоить, намотать себе на ус, зарубить у себя на носу, что Ахматова полумонахиня, полублудница, а Зощенко – полный наплевист. Не только каждый редактор, но также и каждый студент гуманитарного вуза и каждый школьник, ибо постановление ЦК от 14 августа на долгие годы введено было в учебные программы. Не стихи Анны Ахматовой о Шекспире и Данте, о бомбежках Лондона, о погибшем Париже, о родном Петербурге, о вымирающем Ленинграде, не ее любовные признания – высокие, чистые, страстные! – не стихи о Пушкине заучивали наизусть наши дети:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов —

не шедевры русской лирики сызмальства запоминали наши дети, а сквернословие Жданова.

В сентябре 1946 года ленинградские писатели приняли по тому же докладу резолюцию: “Редакции [журналов] оказались в плену дутого “авторитета” Ахматовой… Собрание особо отмечает, что среди ленинградских писателей нашлись люди… раздувающие “авторитет” Зощенко, Ахматовой и иже с ними”.

4 сентября 1946 года Президиум Правления ССП сделал из всего вышеизложенного соответствующие оргвыводы: Зощенко М. М. и Ахматову А. А. из Союза советских писателей исключить. Отныне ни одна их собственная строка не могла быть опубликована, зато сотни строк об их ненависти к народу – народ читал постоянно. Читал в газетах, слушал по радио. Отныне Ахматовой и Зощенко предстояло, голодая, ожидать, когда пожаловано им будет, в виде высокой милости, разрешение заняться переводами».

* * *

Со шпаной в канавке

Возле кабака,
С пленными на лавке
Гру-зо-ви-ка.
Под густым туманом
Над Москвой-рекой,
С батькой-атаманом
В петельке тугой,
Я была со всеми,
С этими и с теми,
А теперь осталась
Я сама с собой.

Август 1946, Фонтанный дом

«Разлученной с единственным сыном…»

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«На днях вбегает ко мне Аничка. “Акума, мы проходим враждебные группировки, там ты и Гумилев!” Помолчав, Анна Андреевна продолжала величественно: “Позорный столб, я нахожу, без меня как-то не имеет вида, – вы замечаете, Лидия Корнеевна?”

Но, сказать по правде, я сразу представила себе позорный столб как нечто праздничное, прекрасное».

23 июня 1949 года Ахматовой исполнилось 60 лет. Ни одного юбилейного поздравления, даже от бывших своих почитателей, вышедших в начальники, Анна Андреевна не получила. А вскоре в Фонтанный дом пришла очередная большая беда: 26 августа 1949 года арестовали Николая Пунина, а в ноябре – Льва Гумилева, на этот раз уже не как сына белогвардейца, а как «отродье» антисоветской поэтессы. Оба получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Ахматова ежемесячно ездит в Москву – сначала, чтобы сын, ожидавший приговора в Лефортовской тюрьме, не остался без положенных по закону – раз в месяц – продуктовых передач, а затем, уже после суда, в связи с хлопотами об облегчении его участи. И все напрасно…

Л. Н. Гумилев Из интервью журналу «Звезда»

«Летом 1946 года вышло Постановление ЦК партии о журналах “Звезда” и “Ленинград”. Больше всех пострадал опять же я. Меня выгнали теперь уже из аспирантуры, несмотря на то, что была написана диссертация и сданы все экзамены. Я не успел получить даже своего кандидатского диплома. Вскоре меня снова схватили, снова посадили в тюрьму. Теперь уже в Лефортовскую в Москве. На допросах твердили: “Ты виноват! В какой вине хотел бы сам признаться?” Тут меня били мало, но памятно. Вскоре мне еще раз записали 10 лет и отправили в лагерь, в Караганду. Из Караганды перевели в Междуреченск, где в свое время отбывал каторжные работы Достоевский. Отсюда переправили в Омск. В Омске пришла наконец свобода. Это было уже после XX съезда партии».

Черепки

You cannot leave your mother
an orphan.

Joyce

1
Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном…
На позорном помосте беды
Как под тронным стою балдахином…

2
Вот и доспорился, яростный спорщик,
До енисейских равнин…
Вам он бродяга, шуан, заговорщик,
Мне он – единственный сын.

3
Семь тысяч три километра…
Не услышишь, как мать зовет
В грозном вое полярного ветра,
В тесноте обступивших невзгод.
Там дичаешь, звереешь – ты милый! —
Ты последний и первый, ты – наш.
Над моей ленинградской могилой
Равнодушная бродит весна.

4
Кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что Музу засекли мою.
Я всех на земле виноватей,
Кто был и кто будет, кто есть…
И мне в сумасшедшей палате
Валяться – великая честь.

1930-е, 1958

Анна Ахматова – Клименту Ворошилову

Глубокоуважаемый Климент Ефремович!

Умоляю Вас спасти моего единственного сына, который находится в исправительно-трудовом лагере (Омск, п/я 125) и стал там инвалидом.

Лев Николаевич Гумилев (1912 г.р.) был арестован в Ленинграде 6 ноября 1949 г. органами МГБ и приговорен Особым Совещанием к 10 годам заключения в ИТЛ.

Ни одно из предъявленных ему на следствии обвинений не подтвердилось – он писал мне об этом. Однако Особое Совещание нашло возможным осудить его.

Сын мой отбывает срок наказания вторично. В марте 1938 года, когда он был студентом 4-го курса исторического факультета Ленинградского университета, он был арестован органами МВД и осужден Особым Совещанием на 5 лет. Этот срок наказания он отбыл в Норильске. По окончании срока он работал в качестве вольнонаемного в Туруханске. В 1944 году, после его настойчивых просьб, он был отпущен на фронт добровольцем. Он служил в рядах Советской армии солдатом и участвовал в штурме Берлина (имел медаль «За взятие Берлина»).

После Победы он вернулся в Ленинград, где в короткий срок окончил университет и защитил кандидатскую диссертацию. С 1949 г. служил в Этнографическом музее в Ленинграде в качестве старшего научного сотрудника.

О том, какую ценность для советской исторической науки представляет его научная деятельность, можно справиться у его учителей – директора Государственного Эрмитажа М.И. Артамонова и профессора Н.В. Кюнера.

Сыну моему теперь 41 год, и он мог бы еще потрудиться на благо своей Родины, занимаясь любимым делом.

Дорогой Климент Ефремович! Помогите нам! До самого последнего времени я, несмотря на свое горе, была еще в состоянии работать – я перевела для юбилейного издания сочинения Виктора Гюго драму «Марьон Делорм» и две поэмы великого китайского поэта Цюй Юаня. Но чувствую, что силы меня покидают: мне больше 60-ти лет, я перенесла тяжелый инфаркт, отчаяние меня разрушает. Единственное, что могло бы поддержать мои силы, – это возвращение моего сына, страдающего, я уверена в этом, без вины.

Анна Ахматова. 8 февраля 1954

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

Анна Андреевна вспомнила свое свидание с Шолоховым,

насколько я поняла, уже довольно давнишнее. По поводу Левы.

– Он был совершенно пьян. Ничего не понимал и не помнил. Но я должна быть ему благодарна, он твердо помнил две вещи: что я хорошая и что он мне действительно обещал. И обещанное он исполнил, хотя, с пьяных глаз, перепутал все, что мог.

2 октября 55

«…Материалу уже хватило бы на целый том писем и заявлений о Леве. Это будущий шестой том в собрании сочинений Ахматовой: том дополнительный, отдел “Приложения”. Может быть, и какие-нибудь цитаты из Левиного дела будут приведены, хотя я сильно сомневаюсь в существовании такового: он сын Николая Степановича, вот и все дело».

Лишенные советской властью «права на огонь и воду» поэты и прозаики уходили в переводчики (знаменитая «школа советского художественного перевода» обязана своей славой в том числе и этому обстоятельству). У Ахматовой был еще один выход – литературоведение. Эрудиция и склад ума позволяли ей с успехом заниматься научными изысканиями.

К.И. Чуковский. «Анна Ахматова»

«Значительной чертой ее личности была ее огромная начитанность. Она была одним из самых начитанных поэтов своей эпохи… Ее отзывы о книгах, о писателях всегда восхищали меня своей самобытностью. В них сказывался свободный, проницательный ум, не поддающийся стадным влияниям. Даже не соглашаясь с нею, нельзя было не любоваться силой ее здравого смысла, причудливой меткостью ее приговора.

В одной из ее статей есть такая строка “мой предшественник Щеголев”. Для многих это прозвучало загадкой. Щеголев не поэт, но ученый-историк, специалист по двадцатым – тридцатым годам XIX века, замечательный исследователь биографии Пушкина. Если бы она написала “мой предшественник Тютчев” или “мой предшественник Баратынский”, это было бы в порядке вещей. Но не многие знали тогда, что ее предшественниками были не только лирики, но и ученые: Пушкина знала она всего наизусть – и так зорко изучила его и всю литературу о нем, что делала несколько немаловажных открытий в области научного постижения его жизни и творчества. Пушкин был ей родственно близок – как суровый учитель и друг.

Историю России она изучила по первоисточникам, как профессиональный историк, и когда говорила, например, о протопопе Аввакуме, о стрелецких женках, о том или другом декабристе, о Нессельроде или Леонтии Дубельте – казалось, что она знала их лично. Этим она живо напоминала мне Юрия Тынянова и академика Тарле. Диапазон ее познаний был широк. История Древней Ассирии, Египта, Монголии была так же досконально изучена ею, как история Рима и Новгорода».

Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы – о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте». Все они в свое время были напечатаны.

Работы «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина».

…После постановления 1946 года занималась темой «Пушкин и Достоевский» и «Гибель Пушкина». Тема первая огромна. Материала бездна. Сначала я просто теряла голову, сама не верила себе. Ирина Николаевна Томашевская всегда говорит, что это лучшее из всего, что я сделала. (Сожгла со всем архивом, когда Леву взяли 6 ноября 1949 г.)

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

Была на днях у Анны Андреевны. Она прочитала мне свою статью о «Каменном госте».

Опять-таки: какой я пушкинист? Но меня поразило проникновение в душевную биографию Пушкина, обилие интуитивных догадок, подтвержденных логикой ясного, трезвого ума… Написана при этом статья не очень хорошо – дурная литературоведческая традиция сказывается даже на Ахматовой: статья только местами дорастает до прозы.

…Анна Андреевна вынула из чемоданчика и показала мне экземпляр своей рукописи, сданной в издательство в 1946 году и возвращенной недавно с пометкой:

«Возвращается за истечением срока хранения».

10 октября 1953

Своим «учителем по линии пушкиноведения» Ахматова считала Бориса Викторовича Томашевского. С ним и его женой,

Ириной Николаевной Медведевой, сотрудницей Пушкинского дома, – Анна Андреевна была тесно дружна.

Ирина Николаевна Медведева-Тома-шевская вспоминает: «Беседы о Пушкине никогда не носили округлого характера. Это были скорее вопросы и ответы, совместное заглядывание в тексты, некие лаконические замечания, скорее междометия…»

Борису Викторовичу случилось оказать Анне Андреевне существенную услугу. Когда в 1950 году Ахматовой намекнули «сверху», что, если она напишет стихи в честь Сталина, это может облегчить участь сына, она сочинила целый цикл стихотворений о победе, в котором прославляется Сталин. Это унижение было для нее одним из самых тяжких в жизни. Тут ее покинула даже так называемая техника, даже ремесленные навыки. И тут помог ей справиться с мучительной задачей Томашевский. Она обратилась к нему за советом. По свидетельству Ирины Николаевны (записанному Лидией Гинзбург), Борис Викторович ничего не сказал, «молча сел за машинку перепечатывать стихи для отправки в Москву. При этом он по своему разумению, не спрашивая Анну Андреевну, исправлял особенно грубые языковые и стихотворные погрешности. Когда поэты говорят то, чего не думают, – они говорят не своим языком».

* * *

И Вождь орлиными очами
Увидел с высоты Кремля,
Как пышно залита лучами
Преображенная земля.

И с самой середины века,
Которому он имя дал,
Он видит сердце человека,
Что стало светлым, как кристалл.

Своих трудов, своих деяний
Он видит спелые плоды,
Громады величавых зданий,
Мосты, заводы и сады.

Свой дух вдохнул он в этот город,
Он отвратил от нас беду, —
Вот отчего так тверд и молод
Москвы необоримый дух.

И благодарного народа
Вождь слышит голос:
«Мы пришли
Сказать, – где Сталин, там свобода,
Мир и величие земли!»

Декабрь 1949

Стихи эти Ахматова ненавидела (неудивительно!) и впоследствии, после смерти Сталина, запрещала публиковать.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…приехала Мария Сергеевна со списком стихов, отобранных для книги… Анна Андреевна глянула мельком, одним глазом, и вдруг аккуратно согнула листок, провела ногтем по сгибу, оторвала конец и с каким-то спокойным бешенством принялась рвать бумагу в клочки.

– Нет, этого не будет. Этих стихов я вставлять не дам.

И рвала, и рвала оторванную бумагу в мелкие клочья.

– Анна Андреевна, не надо… Анна Андреевна, вам достаточно зачеркнуть… Ведь это только предлагают… Вам достаточно им сказать…

Но Анна Андреевна не успокоилась, пока не кончила расправу.

– Я все время боялась, что мне это вставят, – сказала она. Потом собрала клочья комом, сжала их в кулаке, вышла на кухню и бросила в помойное ведро.

Это были стихи «Слава миру», которые она ненавидит.

После этой операции она повела нас в столовую чай пить, веселая и благостная.

Комментарий Л.К. Чуковской: «На мой взгляд, это [публиковать эти стихи в сборнике] то же самое, что на суде использовать наравне с достоверными свидетельствами – показания, данные под пыткой. Цикл “Слава миру” (фактически – “Слава Сталину”) написан Ахматовой как “прошение на высочайшее имя”. Это поступок отчаяния».

19 или 20 июня 1960

Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила…

Лидия Корнеевна Чуковская

Да, Ахматова в послевоенные годы много переводила. Она

переводила литовские, армянские, корейские, вьетнамские, китайские, грузинские, норвежские, английские и французские стихи, сотни строк – для того, чтобы заработать на тюремные посылки сыну. Переводы чужих стихов вытесняли, истребляли ее собственные…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«В дверь постучали. Анна Андреевна поднялась, накинула шаль и учтиво приветствовала гостью. Это оказалась редакторша, принесшая ей для перевода норвежские стихи. Подстрочники. Я притащила из кухни для нее табуретку, Анна Андреевна величаво опустилась на стул, я устроилась в углу постели.

Из разговора мне сделалось понятно, что норвежец в нынешнем году празднует свое пятидесятилетие, книжку его у нас выпускают молнией и по всему этому Ахматова должна переводить “в срочном порядке”.

– Вам, с вашей высокой техникой, это не составит труда, – объясняла редакторша. – Я выбрала для вас самые разные… Я уверена, вам понравятся… Вы будете довольны… Я придерживалась вашего вкуса…

…Анна Андреевна внимательно прочитала подстрочники один за другим. Потом попросила редакторшу указать возле каждого стихотворения, какой где размер.

Та заметалась.

– Я не умею… я недостаточно овладела теорией… я занимаюсь этим недавно… я замещаю.

Анна Андреевна сняла очки, аккуратно собрала подстрочники и уложила их в сумку. Потом спросила у редакторши, когда договор. О договоре та знала столько же, сколько о размерах.

Анна Андреевна смолкла, явно ожидая, когда посетительница уйдет. На лице – оледенелый гнев.

Редакторша поднялась, я проводила ее в переднюю и заперла за нею дверь…

– А помните, – спросила я, – очень давно, в Ленинграде, вы говорили, что никогда не станете переводить?

– Да, помню. – И медленным голосом: – Теперь- то мне уже все равно, а в творческий период поэту, конечно, переводить нельзя. Это то же самое, что есть свой мозг.

…И тут я спросила:

– А вы сейчас пишете свое?

Я еще не успела окончить фразу, как мне стыдно стало за свою жестокость и глупость.

Но Анна Андреевна ответила спокойно, с достоинством:

– Конечно, нет. Переводы не дают. Лежишь и прикидываешь варианты… Какие стихи, что вы!»

…«Двенадцатую ночь» Ахматова переводить отказалась, притом с негодованием: «Вы, кажется, забыли, кто я!.. Над свежей могилой друга я не стану… У меня это не в обычае». Дело в том, что «Двенадцатую ночь, или Что угодно» переводил в свое время Михаил Лозинский. Со знаменитым переводчиком и поэтом Анна Андреевна дружила больше сорока лет. Недаром именно в стихотворении, обращенном к Лозинскому, Ахматова дала свое знаменитое определение дружбы:

…над временами года,
Несокрушима и верна,
Души высокая свобода,
Что дружбою наречена…

«В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для двадцатого века тем же, чем был Жуковский для века девятнадцатого», – писала Анна Андреевна в мемориальной статье.

В 1952 году Ахматову вместе с семьей репрессированного Пунина выселили из Фонтанного дома в дом, когда-то принадлежавший корпорации петербургских извозчиков. Анна Андреевна сочла это символическим: негоже проживать во дворцах, даже бывших, родственникам советских политкаторжан. Уезжая, она поклонилась сиятельному Дому, поклон получился легким и по-ахматовски горько-ироничным:

Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца… Я нищей
В него вошла и нищей выхожу…

1952

5 марта 1953 года умер Сталин. В ознаменование этого события Анна Андреевна впервые за много лет переступила порог Ленинградского отделения Союза писателей. Собрание было, конечно, траурным: собратья Ахматовой по перу в скупых слезах прощались с родным и любимым «отцом народов». Видеть эти

слезы ей было и тошно, и стыдно, но она все-таки высидела до конца церемонии, уж она-то знала, что наступает новая эпоха, ими пока не видимая.

Николай Николаевич Пунин до этой эпохи не дожил: умер в воркутинском лагере. И как и следовало ожидать – в августе.

Ирина Пунина – Анне Ахматовой

«Сегодня мы ездили с Аней в Киев, немножко прошли по городу, по бульвару и по Крещатику. Было очень жарко, мы скоро устали и поехали в свое пристанище обедать. На обратном пути в электричке я рассказывала Ане, как ровно десять лет назад в этот день мы с тобой ездили в электричке навестить полковника… и о тех тяжелых днях, которые последовали потом. Как непоправимо быстро пролетело с тех пор десять лет и как медленно ползло время до 53-го года. Мы стараемся тихо, полулежа дожить августовские дни».

Из Киева (Ирпень) в Комарово.

22 августа 1963

Это бесхитростное и вроде бы обыкновенное письмо – свидетельство драгоценное. Оно точнее и достовернее, нежели суждения наблюдателей со стороны, объясняет, почему Анна Андреевна до конца жизни относилась к Ирине Николаевне как к своей приемной дочери, хотя это и возмущало ее родного сына. Они вместе пробедовали пять долгих лет после того, как в 1949-м арестовали сначала (26 августа) Николая Николаевича, а затем (в ноябре) и Льва Гумилева. После смерти Сталина появилась надежда, но Анна Андреевна суеверно боялась августа… И, видимо, заразила этим суеверным ужасом Ирину. Защищаясь от страха, они и поехали на электричке на дачу к младшему брату Николая Николаевича – полковнику Льву Пунину.

Было это 22 августа 1953 года… А осенью стало известно, что за день до этой поездки, в лагере под Воркутой Николай Николаевич Пунин скончался. Впоследствии и Ахматова, и Ирина Николаевна считали, что внезапное, ничем как будто не объяснимое желание повидать Л. Н. Пунина возникло не просто так, что был какой-то знак, который колдунья Акума, так в семье Пуниных называли Анну Ахматову, почуяла.

После смерти Сталина появилась надежда… Но убийственное «Постановление» о Зощенко и Ахматовой оставалось в силе.

Чего требует цензура?

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

Анна Андреевна рассказала мне увлекательнейшую новеллу – происшествие четырехдневной давности:

– Я позвонила в Союз, Зуевой, заказать билет в Москву. Ее нету. Отвечает незнакомый голос. Чтобы придать своей просьбе вес, называю себя. Боже мой! Зачем я это сделала! Незнакомый голос кричит: «Анна Андреевна? А мы вам звоним, звоним! Вас хочет видеть английская студенческая делегация, обком комсомола просит вас быть». Я говорю: «Больна, вся распухла». (Я и вправду была больна.) Через час звонит Катерли: вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили. (Так прямо по телефону всеми словами.)

Я предложила выход: найти какую-нибудь старушку и показать им. Вместо меня. Но она не согласилась.

За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало… Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они расспрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? долго ли это тянется? чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов. Потом они спросили: изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46 годом? отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили m-r Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью, и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо… Слегка похлопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению m-me Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: «Оба документа – и речь товарища Жданова, и постановление Центрального Комитета партии – я считаю совершенно правильными».

Молчание. По рядам прошел глухой гул – знаете, точно озеро ропщет. Точно я их погладила против шерсти. Долгое молчание. Потом кто-то из них спросил: «Известно ли вам, что у нас

пользуются большой популярностью именно те произведения m-me Ахматовой, которые здесь запрещены?» Молчание. Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенке и не хлопали m-me Ахматовой»? «Ее ответ нам не понравился…» – или как-то иначе: «…нам неприятен»…

Таков был ее рассказ, повергнувший меня в смятение. Что же эти англичане – полные невежды, дураки, слепые или негодяи? Зачем им понадобилось трогать руками чужое горе? Людей унизили, избили, а они еще спрашивают: «Нравится ли вам, что вас избили? Покажите нам ваши переломанные кости!» А наши-то – зачем допустили такую встречу? Садизм.

…Мне неизвестно, в каком именно году прекратили преподавать доклад Жданова в школах, – но во всяком случае в 55-м всесоюзное издевательство еще продолжалось.

Ахматова ни на минуту не забывала о сыне-заложнике – ее ответ был «идеологически выдержанным», и на ней и Льве эта опасная встреча не отразилась. Зощенко позволил себе слабое сопротивление – и его, словами Анны Андреевны, пригласили на «второй тур».

В июне состоялось общее собрание писателей Ленинграда, на котором «прорабатывали» бунтовщика. Зощенко повторил то, что он говорил на встрече с английскими студентами. Сказал, что во многом ошибался, но с критикой всех своих работ, критикой, перечеркивающей всю его жизнь, не может согласиться. Последние слова Михаила Михайловича на собрании, согласно воспоминаниям Даниила Гранина, были такими:

«Я могу сказать – моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын… У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения – ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею».

После этого для писателя Зощенко не осталось работы во всем Советском Союзе… Анна Андреевна полагала, что он поступил опрометчиво, что он – «человек наивный»:

«Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: “Сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился…” Кое с чем! Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так. Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, – он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов и психологии. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым…»

Но скорее всего, даже если бы Зощенко отвечал вторым, по-другому он бы не сказал…

8 мая 1954

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Узнав, что в Ленинграде я побывала у Зощенко, Анна Андреевна потребовала полного отчета об этом посещении. Я торопилась, но не могла отказать ей. Она выспрашивала все подробности: какая комната? как он выглядит? как и что говорит?

Я постаралась ответить возможно точнее. Комната большая, опрятная, пустоватая, с остатками хорошей красной мебели. Михаил Михайлович неузнаваемо худ, все на нем висит. Самое разительное – у него нет возраста, он – тень самого себя, а у теней возраста не бывает. Таким, вероятно, был перед смертью Гоголь. Старик? На старика не похож: ни седины, ни морщин, ни сутулости. Но померкший, беззвучный, замороженный, замедленный – предсмертный. В молодости он разговаривал со всеми очень тихим голосом, но тогда это воспринималось как крайняя степень деликатности, а теперь в его голосе словно не осталось звука. Звук из голоса выкачан… Заботливо расспросив, отчего умерла моя мать, он выразил уверенность, что если бы врачи владели тем методом психотехники, который открыт им, Михаилом Михайловичем, она безусловно до сих пор была бы жива.

Тут Анна Андреевна перебила меня:

– Бедный Мишенька! Он потерял рассудок. Он не выдержал второго тура.

Я продолжала: был он со мною доверчив, внимателен, ласков (хотя мы и не виделись лет 20), расспрашивал о Люше. О себе сказал: “Самое унизительное в моем положении – что не дают работы. Остальное мне уже все равно”.

Пожаловался, что ничего не ест, что даже с помощью психотехники не может заставить себя есть.

– Он боится, его отравят. Мне говорили, – сказала Анна Андреевна. – Вот в этом все дело.

…Провожая меня в переднюю, она снова повторила:

– Человека убили. Не выдержал второго тура».

7 августа 1955

Памяти М.М. Зощенко

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят,
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят…

1958, Комарово

Корней Иванович Чуковский. «Дневник»

«8 марта. У Всеволода Иванова (блины). Встретил там Анну Ахматову впервые после ее катастрофы. Седая, спокойная женщина, очень полная, очень простая. Нисколько не похожая на ту стилизованную, робкую и в то же время надменную, с начесанной челкой, худощавую поэтессу, которую подвел ко мне Гумилев в 1912 г. – сорок два года назад. О своей катастрофе говорит спокойно, с юмором: “Я была в великой славе, испытала величайшее бесславие – и убедилась, что, в сущности, это одно и то же”».

1954

О десятых годах

Ты – победительница жизни,
И я – товарищ вольный твой.

Н. Гумилев

И никакого розового детства…
Веснушечек и мишек, и игрушек,
И добрых тёть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом,
Без имени, без плоти, без причины.
Уже я знала список преступлений, —

Которые должна я совершить.
И вот я, лунатически ступая,
Вступила в жизнь и испугала жизнь.
Она передо мною стлалась лугом,
Где некогда гуляла Прозерпина.
Передо мной, безродной, неумелой,
Открылись неожиданные двери,
И выходили люди и кричали:
«Она пришла, она пришла сама!»
А я на них глядела с изумленьем
И думала: «Они с ума сошли!»
И чем сильней они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить,
И тем сильней хотелось пробудиться.
И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, – но длилась пытка счастьем.

4 июля 1955, Москва

Лидия Корнеевна Чуковская

«Я спросила о здоровье.

– Сердце как утюг. Вчера целый день лежала… опять Левино дело ни с места».

«Она накалена ожиданием. Во вторник обещан ответ насчет Левы…»

«Сегодня она светла и радостна: Левино дело, судя по обращению прокуратуры с Эммой Григорьевной, будет вот-вот решено…»

Доклад Хрущева о некоторых сторонах прошедшей эпохи Анна Андреевна, как и многие в стране, посчитала началом нового времени. «Разоблачить Сталина – это ведь значит вернуть домой миллионы людей и произнести правду о “замученных и убиенных”».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Анна Андреевна стояла, слегка опираясь рукой о стол. Она говорила тихим голосом, но как будто не для меня одной, а с

трибуны.

Мы стояли друг против друга – в маленькой комнате, в ясном свете окна, между столом и тахтой.

– Сталин, – говорила Анна Андреевна, – самый великий палач, какого знала история. Чингиз-хан, Гитлер – мальчишки перед ним. Мы и раньше насчет него не имели иллюзий, не правда ли? а теперь получили документальное подтверждение наших догадок… Оглашены распоряжения товарища Сталина – эти резолюции обер-палача на воплях, на стонах из пыточных камер. О врачах он сказал министру: “Если вы не добьетесь, чтобы они признались, полетит ваша голова”. Прекрасно звучит в этом контексте выражение “не добьетесь”. Я надеюсь, эти слова будут запечатлены в учебниках и школьники будут их учить наизусть…

Звонили друзья, просились в гости: Наталия Иосифовна, еще кто-то. Но Анна Андреевна не приняла никого.

– Нет, – сказала она мне, вернувшись очередной раз от телефона. – Я и подходить больше не стану. Этот праздник мы будем праздновать с вами вдвоем.

Праздновали мы так: Анна Андреевна велела смочить полотенце холодной водой, легла и положила его себе на лоб.

Я села возле. Фадеев послал письмо о Леве. Радость – но даже и эта радость тонет в лучах хрущевской речи.

– Того, что пережили мы, – говорила с подушки Анна Андреевна, – да, да, мы все, потому что застенок грозил каждому! – не запечатлела ни одна литература. Шекспировские драмы – все эти эффектные злодейства, страсти, дуэли – мелочь, детские игры по сравнению с жизнью каждого из нас. О том, что пережили казненные или лагерники, я говорить не смею. Это не называемо словом. Но и каждая наша благополучная жизнь – шекспировская драма в тысячекратном размере. Немые разлуки, немые черные кровавые вести в каждой семье. Невидимый траур на матерях и женах. Теперь арестанты вернутся, и две России глянут друг другу в глаза: та, что сажала, и та, которую посадили. Началась новая эпоха. Мы с вами до нее дожили».

4 марта 1956

15 апреля 1956 года, в день рождения Николая Гумилева, после восьми лет каторги вернулся домой ее сын.

* * *

…Как! Только десять лет, ты шутишь, Боже мой,

О как ты рано возвратился,
Я вовсе не ждала – ты так со мной простился
Какой-то странной и чужой зимой.

И даже просмотреть те сотни тысяч строк,
Где сказано, как я бесчестна и преступна.

1956

Сон

Сладко ль видеть неземные сны?

А. Блок

Был вещим этот сон или не вещим…
Марс воссиял среди небесных звезд,
Он алым стал, искрящимся, зловещим, —
А мне в ту ночь приснился твой приезд.
Он был во всем… И в баховской Чаконе,
И в розах, что напрасно расцвели,
И в деревенском колокольном звоне
Над чернотой распаханной земли.
И в осени, что подошла вплотную
И вдруг, раздумав, спряталась опять.
О август мой, как мог ты весть такую
Мне в годовщину страшную отдать!

Чем отплачу за царственный подарок?
Куда идти и с кем торжествовать?
И вот пишу, как прежде без помарок,
Мои стихи в сожженную тетрадь.

14 августа 1956

* * *

Не с лирою влюбленного
Иду пленять народ —
Трещотка прокаженного

В моей руке поет.
Успеете наахаться,
И воя, и кляня.
Я научу шарахаться
Всех «смелых» – от меня.
Я не искала прибыли
И славы не ждала,
Я под крылом у гибели
Все тридцать лет жила.

<1956>

«Я застал женщину, почти мне незнакомую…»

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Мне хочется написать большими буквами:

ВЕРНУЛСЯ ЛЕВА

Анна Андреевна приехала 14-го. А 15-го, ничего не зная о ней, зашел к Ардовым, по дороге в Ленинград, освобожденный Лева.

Любо видеть ее помолодевшее, расправившееся лицо, слышать ее новый голос.

Мы вошли в маленькую комнату. Там – клубы папиросного дыма.

– Накурил Левка! – сказала Анна Андреевна, рукой разгоняя дым, сказала таким домашним, мило-ворчливым материнским голосом, что я почувствовала себя счастливой».

Лев Гумилев. «Автонекролог»

«В 56-м году, после XX съезда, о котором я вспоминаю с великой благодарностью, приехала комиссия, которая исследовала дела всех заключенных (кто за что сидит), и единогласно вынесла мне “освобождение с полной реабилитацией”. Этому помогло то, что профессор Артамонов, профессор Окладников, академик Струве, академик Конрад написали по поводу меня положительные характеристики».

(Аудиозапись 1987 г.)

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«На второй день, когда мы были с Анной Андреевной одни, вдруг отворилась дверь и вошел человек с резкими морщинами у глаз и на лбу, с очень определенно очерченным и в то же время дряблым лицом.

– Вы не знакомы? – спросила меня Анна Андреевна.

– Нет.

– Это мой сын.

Лева!

Я не узнала его от неожиданности, хотя мне и говорили, что он в Москве.

Ощущение огромности и малости вместе. Так бывает в любви. Гадания по стихам; странные совпадения в датах; сердце, обрывающееся в колени от каждого телефонного звонка и почтальонного стука; дрожащие листки письма, а потом окажется, – это всего лишь человек: не больше и не меньше; человек – голова, руки, ноги. Такая огромная и такая обычнейшая из обычных малость: человек. Вот он передо мною; слово из четырех букв: Лева. Не мои – все ее бессонницы, сны, невстречи и встречи, окошечки над заплеванным полом, красное сукно на столах, заявления, повестки, посылки, волосок, вложенный в тетрадку стихов, и стихи в огне… Два десятилетия ее жизни. Материализованное время: десятилетия, и материализованное пространство: тысячи километров. И это, оказывается, просто человек – и он здесь, в этой комнате. Его можно тронуть рукой или назвать по имени.

“Мама”. “Сынуля. Детонька”.

Стены этой комнаты пропитаны мыслями о нем, стихами – ему. И снег, и деревья, и заря за окошком. И рубцы от инфарктов на мышце ее сердца».

Увы, отношения между сыном и матерью испортились почти сразу же. Лев Николаевич посчитал, что Анна Андреевна встретила его «крайне холодно», что она «потеряла к нему всякий интерес», находясь «под влиянием Ардовых и их компании». Ахматова, в свою очередь, сочла сына неблагодарным.

Лев Гумилев. «Автобиография. Воспоминания о родителях»

«…Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину почти мне незнакомую. Ее общение с московскими друзьями – с Ардовым и их компанией, среди которых русских, кажется, не было никого, – очень повлияло на нее, и она встретила меня очень холодно, без всякого участия и сочувствия. И даже не поехала со мной из Москвы в Ленинград, чтобы прописать в своей квартире. Меня прописала одна сослуживица (Т.А. Крюкова. – Ред.), после чего мама явилась, сразу устроила скандал – как я смел вообще прописываться?! После этого… тех близких отношений, которые я помнил в своем детстве, у меня с ней не было.

Я поступил работать в Эрмитаж, куда меня принял мой старый учитель профессор Артамонов… Там я написал книгу “Хунну”, написал диссертацию “Древние тюрки”, которую защитил в 1961 году. Маме, кажется, очень не нравилось, что я

защищаю докторскую диссертацию. Почему – я не знаю.

Иногда я делал ей визиты, но она не хотела, чтобы я жил ни у нее на квартире, ни даже близко от нее… 30 сентября 1961 года мы расстались, и я больше ее не видел, пока ее не привезли в Ленинград, и я организовал ее похороны и поставил ей памятник».

(Аудиозапись 1985 г.)

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Я поздравила Анну Андреевну с Левиной диссертацией, передала ей… что Конрад считает его великим ученым.

– Этот великий ученый не был у меня в больнице за три месяца ни разу, – сказала Анна Андреевна, потемнев. – Он пришел ко мне домой в самый момент инфаркта, обиделся на что-то и ушел. Кроме всего прочего, он в обиде на меня за то, что я не раззнакомилась с Жирмунским: Виктор Максимович отказался быть оппонентом на диссертации. Подумайте: парню 50 лет, и мама должна за него обижаться! А Жирмунский был в своем праве; он сказал, что Левина диссертация – либо великое открытие, если факты верны, либо ноль – факты же проверить он возможности не имеет… – Бог с ним, с Левой. Он больной человек. Ему там повредили душу. Ему там внушали: твоя мать такая знаменитая, ей стоит слово сказать, и ты будешь дома.

Я онемела.

– А мою болезнь он не признает. “Ты всегда была больна, и в молодости. Все одна симуляция”».

…

«…Я, конечно, давно уже чувствовала, что между Левой и Анной Андреевной неладно, – однако чувствовать или услыхать – большая разница. То, что сказано было мне в больнице Анной Андреевной, теперь вполне подтвердила Нина. Лева и в самом деле верит, будто он пробыл в лагере так долго из-за равнодушия и бездействия Анны Андреевны.

Я – многолетняя свидетельница ее упорных, неотступных хлопот, ее борьбы за него. Больше, чем хлопот, то есть писем, заявлений, ходатайств через посредство влиятельных лиц. Всю свою жизнь она подчинила Левиной каторге, всё, даже на такое унижение пошла, как стихи в честь Сталина, как ответ английским студентам. И от драгоценнейшей для себя встречи отказалась, боясь повредить ему. И сотни строк перевела, чтобы заработать на посылки ему, сотни строк переводов, истребляющих собственные стихи.

А Лева, воротившись, ее же и винит!.. Но, подумала я, искалечен он не только лагерем: и юностью, и детством. Между родителями – разлад. Отец расстрелян. Нищета. Отчим. Он – обожаемый внук, единственный и любимый сын, но оба родителя вечно были заняты более своею междоусобицей, чем им; мать – "…измученная славой, // Любовью, жизнью, клеветой", – не это ли давнее, болезненное детское чувство своей непервостепенности он теперь вымещает на ней?»

* * *

Забудут? – вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
А Муза и глохла и слепла,
В земле истлевала зерном,
Чтоб после, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

21 февраля 1957, Ленинград

Как все уже было давно… И первый день войны, который еще недавно был таким близким, и день Победы, который, кажется, еще вчера стоял за плечом, и 14 августа 1946… И это уже история. Недавно были переводы, которые я сдала и не сдала, замоскворецкое житие и те сосенки, которые сейчас сердито качаются на фоне белой ночи.

«Здесь северно очень – и осень в подруги я выбрала в этом году», – писала я в прошлом году, и как это уже далеко, а я собралась сейчас описывать 90-е годы XIX века!

1957

* * *

Вижу я,
Лебедь тешится моя.

Пушкин

Ты напрасно мне под ноги мечешь

И величье, и славу, и власть.
Знаешь сам, что не этим излечишь
Песнопения светлую страсть.
Разве этим развеешь обиду?
Или золотом лечат тоску?
Может быть, я и сдамся для виду.
Не притронусь я дулом к виску.
Смерть стоит всё равно у порога,
Ты гони ее или зови.
А за нею темнеет дорога,
По которой ползла я в крови.
А за нею десятилетья
Скуки, страха и той пустоты,
О которой могла бы пропеть я,
Да боюсь, что расплачешься ты.
Что ж, прощай. Я живу не в пустыне.
Ночь со мной и всегдашняя Русь.
Так спаси же меня от гордыни.
В остальном я сама разберусь.

9 апреля 1957, Москва, Ордынка

Хрущевская оттепель, так вдохновившая Анну Андреевну, оказалась не слишком-то теплой. Борис Пастернак, рискнувший опубликовать «Доктора Живаго» за границей (и не отказавшийся принять Нобелевскую премию), немедленно почувствовал на себе, как крепки ждановские традиции… Анна Андреевна, «гений тревоги, мастер зловещих предчувствий», предсказала Борису Леонидовичу горькую участь – и не ошиблась.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Длится пастернаковская Страстная неделя.

Сегодня “Правда” спустила на Пастернака Заславского.

Этот “публичный мужчина”, из тех, кто торгует красой своего слога (если воспользоваться терминологией Герцена), призван, видите ли, напомнить Пастернаку (он – Пастернаку!) о совести, о долге перед народом.

…К вечеру в городе распространился слух: Пастернак исключен из Союза писателей.

… Прочитала речь Семичастного в “Комсомольской правде”. Переписываю сюда, чтобы перечитывать и никогда не забывать.

Сначала сравнение с овцой. Паршивая овца в стаде. Ну, это

обыкновенно. Потом – образ не выдержан! – овца превращается в свинью:

“Иногда мы… совершенно незаслуженно говорим о свинье, что она такая-сякая и прочее. Я должен вам сказать, что это наветы на свинью. Свинья, – все люди, имеющие дело с этим животным, знают особенности свиньи, – она никогда не гадит там, где кушает…

Поэтому, если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья никогда не сделает того, что он сделал. (Аплодисменты.)”

Самое примечательное тут слово – кушает. “Свинья кушает”. Вот он кто такой, товарищ Семичастный. Он полагает, что слово “ест” – грубое слово, а сказать о свинье «кушает» – это представляется ему более интеллигентным».

26 октября 1958

* * *

И снова осень валит Тамерланом,
В арбатских переулках тишина.
За полустанком или за туманом
Дорога непроезжая черна.
Так вот она, последняя! И ярость
Стихает. Все равно что мир оглох…
Могучая евангельская старость
И тот горчайший гефсиманский вздох.

1957

При том, что Анна Андреевна считала Пастернака одним из крупнейших поэтов Европы XX века, любила его и долгие годы сохраняла с ним дружбу (хотя он и «делал ей предложение трижды»), она не упускала случая сказать колкость по его адресу.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«О Борисе Леонидовиче сказала:

– Жаль его! Большой человек – и так страдает от тщеславия.

Мне показалось, она неправа. Разве это непременно тщеславие? У него, видимо, творческое кровообращение нарушено от насильственной разлуки с аудиторией. Слушатели, читатели ему, видимо, необходимы.

– Разлучить Пастернака с читателями – это, разумеется,

преступление, – сказала Анна Андреевна, – но он-то почему не умеет извлечь из этой разлуки новую силу? Для своей поэзии?»

И несмотря на свое горячее сочувствие нобелевскому лауреату, Ахматова не удержалась от того, чтобы сравнить свои и его злоключения.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Заговорили о Борисе Леонидовиче.

– Добрая старушка Москва изобрела, будто шведский король прислал нашему правительству телеграмму с просьбой не отнимать у Пастернака “поместье Переделкино”. Вздор, конечно. Но если это правда, то он не король, а хам: где он был, когда меня выселяли из Шереметевского дома? – Она даже порозовела от негодования. – Не сказал ни словечка! А ведь по сравнению с тем, что делали со мною и с Зощенко, история Бориса – бой бабочек!

“А по сравнению с тем, что сделали с Мандельштамом или с Митей, история Ахматовой и Зощенко – бой бабочек”, – подумала я.

Конечно, ее мука с пастернаковской несравнима, потому что Лева был на каторге, а сыновья Бориса Леонидовича, слава Богу, дома. И она была нищей, а он богат. Но зачем, зачем ее тянет сравнивать – и гордиться?

“Сочтемся мукою, ведь мы свои же люди…”

7 декабря 1958

* * *

Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.
Но самой проклятой восходит заря…
Я знаю: колотится сердце не зря —
От звонкой минуты пред бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.
И даже сегодняшний ветреный день
Преступно хранит прошлогоднюю тень,
Как тихий, но явственный стук из подполья,
И сердце на стук отзывается болью.
Я все заплатила до капли, до дна.
Я буду свободна, я буду одна.
На прошлом я черный поставила крест,

Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,
Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует табор зеленый
И к брюху мостов подкатила вода? —
И всё как тогда, и всё как тогда.
Все ясно – кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово поле,
А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,
И там попрощаюсь с тобою навек,
Мудрец и безумец – дурной человек.

Лето 1944, июль 1959,

Ленинград

Анна Андреевна сумела выдержать, пережить своего гонителя. Бориса Леонидовича хватило на полтора года всесоюзной травли: 30 мая 1960 года он умер в «поместье» Переделкино от рака легких, полученного, по мнению его биографа Дмитрия Быкова, на нервной почве. Ахматова приезжала к нему в больницу, но увидеться с другом ей уже не удалось…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…Анна Андреевна принимала гостей, сидя в кресле “в собственной гостиной”, как называет она небольшую, довольно обшарпанную комнату между коридором и балконом. Она с некоторой торжественностью поблагодарила меня за то, что в прошлый свой приход я не утаила от нее предсмертных вестей о Пастернаке.

– Единственное, чем можно облегчить удар, – это подготовить к нему. Вы это сделали. Когда мне сообщили о смерти Бориса, я не была не готова. (Подумайте, какие слова мы выговариваем спокойно: умер Борис Пастернак.)

Анна Андреевна… вынула из сумки какую-то книжечку и, предупредив меня: “Вторая строка еще в работе”, прочитала:

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул вождь,
Он превратился в жизнь несущий колос
Или в тончайший, им воспетый, дождь.

Дальше не помню. Дальше про цветы.

– Не говорите мне, пожалуйста, – с раздражением сказала Анна Андреевна, хотя я еще и рта не открыла, – что слово “вождь” истаскано и неуместно. Знаю сама. Спасу эпитетом.

Помолчали.

– Ему очень много будет написано стихов. Ему – и о его похоронах. А памятник, я думаю, следует поставить либо на Волхонке, либо против почтамта. Там, кажется, сейчас стоит Грибоедов. Но Грибоедова можно переставить; ему ведь все равно, где, лишь бы в Москве».

1 июня 1960

Смерть поэта

Как птица мне ответит эхо.

Б.П.

1

Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
И все цветы, что только есть на свете,
Навстречу этой смерти расцвели.
Но сразу стало тихо на планете,
Носящей имя скромное… Земли.

1 июня 1960

2

Словно дочка слепого Эдипа,
Муза к смерти провидца вела,
А одна сумасшедшая липа
В этом траурном мае цвела
Прямо против окна, где когда-то
Он поведал мне, что перед ним
Вьется путь золотой и крылатый,
Где он вышнею волей храним.

11 июня 1960

Москва. Боткинская больница

О себе скажу, что я никогда не улетала или не уползала из Поэзии, хотя неоднократно сильными ударами весел по одеревеневшим и уцепившимся за борт лодки рукам приглашалась опуститься на дно. Сознаюсь, что временами воздух вокруг меня терял влажность и звукопроницаемость, ведро, опускаясь в колодец, рождало вместо отрадного всплеска сухой удар о камень, и вообще наступало удушье, которое длилось годами. «Знакомить слова», «сталкивать слова» – ныне это стало обычным. То, что было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой путь – точность, и еще важнее, чтобы каждое слово в строке стояло на своем месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но читатель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный путь, но когда это удается, люди говорят: «Это про меня, это как будто мною написано». Сама я тоже (очень редко) испытываю это чувство при чтении или слушании чужих стихов. Это что-то вроде зависти, но поблагороднее.

Х. спросил меня, трудно или легко писать стихи. Я ответила: их или кто-то диктует, и тогда совсем легко, а когда не диктует – просто невозможно.

1959

Поэт

Подумаешь, тоже работа, —
Беспечное это житье:
Подслушать у музыки что-то
И выдать шутя за свое.
И чье-то веселое скерцо
В какие-то строки вложив,
Поклясться, что бедное сердце
Так стонет средь блещущих нив.
А после подслушать у леса,
У сосен, молчальниц на вид,
Пока дымовая завеса
Тумана повсюду стоит.
Налево беру и направо,
И даже, без чувства вины,

Немного у жизни лукавой,
И все – у ночной тишины.

Лето 1959, Комарово

Читатель

Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытным. О нет! —
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.
И рампа торчит под ногами,
Все мертвенно, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеймило чело.
А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,

За что-то меня упрекают
И в чем-то согласны со мной…
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен —
Поэта неведомый друг.

23 июля 1959, Комарово

Последнее стихотворение

У поэта существуют тайные отношения со всем, что он когда-то сочинил, и они часто противоречат тому, что думает о том или ином стихотворении читатель.

Мне, например, из моей первой книги «Вечер» (1912) сейчас по-настоящему нравятся только строки:

Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

Мне даже кажется, что из этих строчек выросло очень многое в моих стихах.

С другой стороны, мне очень нравится оставшееся без всякого продолжения несколько темное и для меня вовсе не характерное стихотворение «Я пришла тебя сменить, сестра…» – там я люблю строки:

И давно удары бубна не слышны,
А я знаю, ты боишься тишины.

То же, о чем до сих пор часто упоминают критики, оставляет меня совершенно равнодушной.

Стихи еще делятся (для автора) на такие, о которых поэт может вспомнить, как он писал их, и на такие, которые как бы самозародились. В одних автор обречен слышать голос скрипки, некогда помогавший ему их сочинить, в других – стук вагона, мешавшего ему их написать. Стихи могут быть связаны с запахами духов и цветов. Шиповник в цикле «Шиповник цветет» действительно одуряюще благоухал в какой-то момент, связанный с этим циклом.

Это, однако, относится не только к собственным стихам. У Пушкина я слышу царскосельские водопады («сии живые воды»), конец которых еще застала я.

Последнее стихотворение

Одно, словно кем-то встревоженный гром,
С дыханием жизни врывается в дом,
Смеется, у горла трепещет,

И кружится, и рукоплещет.
Другое, в полночной родясь тишине,
Не знаю откуда крадется ко мне,
Из зеркала смотрит пустого
И что-то бормочет сурово.
А есть и такие: средь белого дня,
Как будто почти что не видя меня,
Струятся по белой бумаге,
Как чистый источник в овраге.
А вот еще: тайное бродит вокруг —
Не звук и не цвет, не цвет и не звук, —
Гранится, меняется, вьется,
А в руки живым не дается.
Но это!.. по капельке выпило кровь,
Как в юности злая девчонка – любовь,
И, мне не сказавши ни слова,
Безмолвием сделалось снова.
И я не знавала жесточе беды.
Ушло, и его протянулись следы
К какому-то крайнему краю,
А я без него… умираю.

1 декабря 1959,

Ленинград, Красная Конница

И все-таки для Ахматовой самые черные времена остались позади. В июле 58-го выходит в свет сборник ее стихов. Конечно, стихи подверглись цензуре – все эти замены «молитвы» на «надежду», «Бога» на «славу» – но это было лучше, чем ничего.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«В последние дни мне довелось работать с Анной Андреевной, как бывало в Ленинграде, в Ташкенте – да и здесь уже случалось.

Верстка ее книги!

Первая книга Ахматовой после постановления 46 года!

Половина, разумеется, занята переводами. Но все-таки сама Ахматова тоже присутствует. Есть такой поэт.

На обороте титульного листа обозначено: “Под общей редакцией А. А. Суркова”.

Набиралась книга в Венгрии. Поэтому, когда я указываю Анне

Андреевне какую-нибудь особенно смешную опечатку, она говорит с напускным возмущением: “Злосчастный мадьяр!”

Она возбуждена и тревожна. Я вижу. Но и радостна.

Самое интересное в этой работе были, конечно, не опечатки, а споры, возникавшие вокруг отдельных строк. И наши предложения, которые то отвергала, то принимала Анна Андреевна.

Мне иногда удавалось умолить ее восстанавливать строки, искалеченные ею в угоду цензуре. Например, в верстке “Надпись на книге” оказалась набранной с середины:

…Пускай над временами года
Несокрушима и верна

и т. д.

Я настояла, умолила дать и первые строки:

Почти что от летейской тени
В тот час, как рушатся миры

и т. д.

Таким образом, ущерб все равно нанесен, но Анна Андреевна приняла его, – по-видимому, как наименьший…»

6 марта 1958

5 апреля 1959 года (впервые после приснопамятного Постановления) в газете «Литература и жизнь» напечатаны стихи «Приморский сонет» («Здесь всё меня переживет…») и «Музыка» («В ней что-то чудотворное горит…»).

Приморский сонет

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет.

И голос вечности зовет
С неодолимостью нездешней,
И над цветущею черешней
Сиянье легкий месяц льет.

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда…
Там средь стволов еще светлее,
И все похоже на аллею
У царскосельского пруда.

1958. Комарово

Эпиграмма

Могла ли Биче, словно Дант, творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить…
Но, Боже, как их замолчать заставить!

1958

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Анна Андреевна взяла со стула письмо и прочитала мне: письмо неизвестной читательницы.

– Это из разряда: “дорогая Анна Ахматова”, – объяснила она, – хотя здесь и написано “дорогая Анна Андреевна”.

Письмо восторженное, провинциальное, женское. Приложены собственные плохие любовные стихи. Я попыталась выразить свое возмущение по поводу тех читательниц, которые воображают, будто Ахматова пишет для женщин, о каких-то специальных женских скорбях, и что стоит ей самой, читательнице, написать о том, какие мужчины обманщики, она сама, читательница, сразу станет второй Анной Ахматовой.

В эту минуту раздался звонок, Анна Андреевна пошла отворять и вернулась вместе с гостями: Срезневская привела с собою какую-то курсявку, работающую в Публичной библиотеке, которая уселась в кресло и, не давая хозяйке дома произнести ни слова, принялась рьяно объяснять, как она обожает Анну Андреевну и как счастлива, что сподобилась познакомиться с такими выдающимися людьми, как Срезневская и Анна Андреевна. Все вместе было забавно: будто читательница, написавшая только что прочитанное письмо, воплотилась».

Музыка

Д.Д.Ш<остаковичу>

В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной одна в могиле
И пела словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили.

1958

Слушала стрекозиный вальс из балетной сюиты Шостаковича. Это чудо. Кажется, его танцует само изящество. Можно ли сделать такое со словом, что он делает со звуком?

Ноябрь 1961

Нас четверо. Комаровские наброски

Ужели и гитане гибкой
Все муки Данта суждены.

О. Мандельштам

Таким я вижу облик Ваш и взгляд…

Б. Пастернак

О, Муза Плача…

М. Цветаева

…И отступилась я здесь от всего,
От земного всякого блага.
Духом, хранителем «места сего»

Стала лесная коряга.
Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.
Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины…
Это – письмо от Марины.

19–20 ноября 1961,

Ленинград. Больница в Гавани

Зеленый финский домик в дачном поселке Комарово, который ленинградский Литфонд выделил «пожилой поэтессе» в 1955 году, – единственная отдельная квартира в жизни Ахматовой. Она очень любила ее и называла ласково «Будка». И потому, что домишко в самом деле был немного похож на комфортабельную, от хорошего хозяина, собачью конуру, и потому, что это имя аукалось с «Бродячей собакой». Умерла Анна Ахматова не в собственном доме, а в чужом, казенном месте – подмосковном кардиологическом санатории. А вот похоронили ее все-таки в Комарове. Рядом с ее соснами.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Лидия Корнеевна рассказывает о своем первом визите в «Будку»)

«Дверь открыла какая-то женщина – полутьма, не вижу кто, голос незнакомый – потом еще одна дверь – из тьмы в свет! – еще одна слева – и на пороге большая, ярко освещенная, радостная Анна Андреевна, протягивающая мне руку с громким возгласом:

– Ура!

…я во все глаза разглядывала комнату. Ведь это не чужая комната (хотя бы и милая, а чужая) у Ардовых ли на Ордынке; у Ники; у Марии Сергеевны – это ведь ее комната, ее, ахматовская, уставленная ее вещами. (В последний раз я видела ахматовскую комнату только на улице Красной Конницы, в Ленинграде; до этого – чердачок на улице Карла Маркса, 7, в Ташкенте; до этого – в Фонтанном доме, в 38 году, – а в новой, в той, что в писательском доме, на улице Ленина, еще не была… В Москве же она живет не у себя – у друзей, и комнаты не выражают

ее.)

Что же здесь, в Будке?.. Жар от круглой черной железной печи. (Опять – весть из моего детства: такая черная круглая печка в Куоккале у нас тоже была, в передней, кажется, а в столовой большая, кафельная, с пестрыми изразцами.)

Поперек комнаты – письменный стол. Чем-то он не похож на другие письменные столы, но чем – не пойму. На столе высокие старинные подсвечники, в подсвечниках высокие свечи. Между свечами чернильница, тоже старинная, думаю – века XVIII. Поверх чернильницы какой-то странный предмет: камень не камень, деревяшка не деревяшка. Форма? Змея не змея, птица не птица.

За спиной у Анны Андреевны стул, на стуле чемодан – открытый, с аккуратно сложенными папками. В углу напротив (слева, если глядеть от нее) – углом висят некрашеные книжные полки. Вдоль стены направо – постель: матрас, опертый о кирпичи и прикрытый темной накидкой. У двери – печь.

Вошел – не знаю откуда, с улицы или из соседней комнаты (если таковая существует) – высокий, рыжеватый, крупного сложения молодой человек. С Анной Андреевной он не поздоровался (наверное, они сегодня уже виделись), Володе кивнул небрежно.

– Лидия Корнеевна, – сказала Анна Андреевна, – позвольте вам представить: Иосиф Бродский… Иосиф, познакомьтесь, пожалуйста, это Лидия Корнеевна Чуковская.

Бродский поклонился, и мы пожали друг другу руки. Странное у него лицо. Странность в том, что хотя голова и все черты вылеплены крупно, отчетливо и не косит он нисколько, но в лице как будто нету центра, оно рассредоточено, как бывает у тех, у кого глаза смотрят в разные стороны… Однако длилось такое мое впечатление всего один миг. В следующий – лицо это сосредоточилось и оживилось».

Ахматова одна из первых заметила и оценила талант тогда еще совсем юного Иосифа Бродского; во многом именно благодаря ее хлопотам поэт, осужденный за тунеядство, был в конце концов возвращен из северной ссылки.

Последняя роза

Вы напишете о нас наискосок.

И. Бродский

Мне с Морозовою класть поклоны,
С падчерицей Ирода плясать,
С дымом улетать с костра Дидоны,
Чтобы с Жанной на костер опять.
Господи! Ты видишь, я устала
Воскресать, и умирать, и жить.
Все возьми, но этой розы алой
Дай мне свежесть снова ощутить.

9 августа 1962, Комарово

Иосиф Бродский

«…К ней приходили почти ежедневно – и в Ленинграде, и в Комарове. Не говоря уже о том, что творилось в Москве, где все это столпотворение называлось “ахматовкой”… Анна Андреевна была, говоря коротко, бездомна и – воспользуюсь ее собственным выражением – беспастушна. Близкие знакомые называли ее “королева-бродяга”; и действительно, в ее облике – особенно когда она вставала вам навстречу посреди чьей-нибудь квартиры – было нечто от странствующей бесприютной государыни. Примерно четыре раза в год она меняла место жительства: Москва, Ленинград, Комарово, опять Ленинград, опять Москва и т. д. Вакуум, созданный несуществующей семьей, заполнялся друзьями и знакомыми, которые заботились о ней и опекали по мере сил…

Существование это было не слишком комфортабельное, но тем не менее все-таки счастливое в том смысле, что все ее сильно любили. И она любила многих. То есть каким-то образом вокруг нее всегда возникало некое поле, в которое не было доступа дряни. И принадлежность к этому полю и этому кругу на многие годы вперед определила характер, поведение, отношение к жизни многих – почти всех – его обитателей. На всех нас, как некий душевный загар, что ли, лежит отсвет этого сердца, этого ума, этой нравственной силы и этой необычайной внутренней щедрости, от нее исходивших».

24 декабря 1959 (европейский Сочельник)

…Легкая метель. Спокойный, очень тихий вечер. Т. ушла рано – я все время была одна, телефон безмолвствовал. Стихи идут все время, я, как всегда, их гоню, пока не услышу настоящую строку. Весь декабрь, несмотря на постоянную боль в сердце и

частые приступы, был стихотворным, но «Мелхола» еще не поддается, то есть мерещится что-то второстепенное. Но я ее все-таки одолею.

Попытки писать воспоминания вызывают неожиданно глубокие пласты прошлого, память обостряется почти болезненно: голоса, звуки, запахи, люди, медный крест на сосне в Павловском парке и т. п., без конца. Вспомнила, например, что сказал Вяч. Иванов, когда я в первый раз читала у него стихи, а это было в 1910 году, то есть пятьдесят лет тому назад.

От всего этого надо беречь стихи.

Последние дни я все время дополнительно чувствую, что где-то что-то со мной случается. По какой линии, это еще неясно. То ли в Москве, то ли еще где-нибудь, что-то втягивает меня, как горячий воздух огромной печи или винт парохода.

29-го еду с Ириной в «Дом творчества» в Комарове – всего на 10 дней. Может быть, отдышусь, – вернее, нет.

…Всем известно, что есть люди, которые чувствуют весну с Рождества. Сегодня мне кажется, я почувствовала ее, хотя еще не было зимы. С этим связано так много чудесного и радостного, что я боюсь все испортить, сказав кому-нибудь об этом. А еще мне кажется, что я как-то связана с моей корейской розой, с демонской гортензией и всей тихой черной жизнью корней. Холодно ли им сейчас? Довольно ли снега? Смотрит ли на них луна? Все это кровно меня касается, и я даже во сне не забываю о них.

Мелхола

Но Давида полюбила… дочь Саула, Мелхола.

Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью.

Первая книга Царств

И отрок играет безумцу царю,
И ночь беспощадную рушит,
И громко победную кличет зарю,
И призраки ужаса душат.
И царь благосклонно ему говорит:
«Огонь в тебе юноша, дивный горит,
И я за такое лекарство
Отдам тебе дочку и царство».

А царская дочка глядит на певца,
Ей песен не нужно, не нужно венца,
В душе ее скорбь и обида,
Но хочет Мелхола – Давида.
Бледнее, чем мертвая; рот ее сжат;
В зеленых глазах исступленье;
Сияют одежды, и стройно звенят
Запястья при каждом движеньи.
Как тайна, как сон, как праматерь Лилит…
Не волей своею она говорит:
«Наверно, с отравой мне дали питье,
И мой помрачается дух,
Бесстыдство мое! Униженье мое!
Бродяга! Разбойник! Пастух!
Зачем же никто из придворных вельмож,
Увы, на него непохож?
А солнца лучи… а звезды в ночи…
А эта холодная дрожь…»

1922–1961

* * *

<Николаю Гумилеву>

Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне…
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,
Как плакальщица выл…
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог…
Я без него могла —
Смотреть, как пьет из лужи дрозд
И как гостей через погост
Зовут колокола.

1961

В начале 60-х, когда полуоткрылись границы и контакты с деятелями белой эмиграции перестали квалифицироваться как государственная измена, Анна Андреевна, перебирая мужнины слова, видимо, пыталась представить, как бы сложилась судьба ее семьи, если бы, допустим, Гумилев не вернулся в Россию в 1918-м, а устроил так, чтобы и она, и Лёвушка все-таки уехали из России. Это в 1917-м Анна Ахматова могла, ничуть не кривя душой, сказать:

Мне голос был. Он звал утешно
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный.
Оставь Россию навсегда…»
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

В 1961-м она уже не могла позволить себе думать столь категорично.

И в самом деле – представим себе, как могла бы сложиться судьба и Гумилева-отца, и Гумилева-сына, да и самой Анны Андреевны, если бы Николай Степанович выполнил обещание, данное жене в мае 1917 года, когда вопрос о выезде в Париж семьи офицера экспедиционного корпуса еще не стоял так, как после октябрьского переворота.

Гумилев был твердо убежден, что умрет в 53 года, то есть в 1939-м или в самом начале 1940-го. Оставшись во Франции, в самом деле мог бы погибнуть именно так, как хотел: защищая твердыни европейской культуры от нацистского варварства: 1 сентября 1939 года Франция и Великобритания объявили войну Германии. Но до этого он, во-первых, из поэта великих, но до конца не реализованных возможностей стал бы великим русским поэтом (Ахматова была убеждена, что Николаю Степановичу не хватило для этого нескольких, совсем немногих, лет жизни). Во-вторых, именно Гумилев при его феноменальных организаторских способностях и столь же невероятной общительности сумел бы так поставить издательское и вообще литературное дело русского эмигрантского зарубежья, что оно не замкнулось бы на проблемах русской диаспоры, самолюбиво и провинциально отгородившись от культурной жизни Европы. А в скольких экспедициях – географических, этнографических и т. д.

и т. п. он мог бы принять самое деятельное участие! Сколько открытий могла бы принести его способность искать нестандартные идеи и решения! И Гумилев-младший не в шестьдесят, а в тридцать лет доказал бы миру и граду, что он блестящий историк. Если бы не пятнадцать лет каторги и десятилетия изгойства…

Через 23 года

Я гашу те заветные свечи.
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи,
И, увы, прокурорские речи,
Все уходят – мне снишься Ты!
Доплясавший свое пред Ковчегом,
За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным брегом.
Голос твой из недр темноты.
И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова… «Анна!»
Говоришь мне, как прежде, – «Ты».

13 мая 1963.

Днем, Комарово

В 1962 году Анна Андреевна закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.

Послесловие

Все в порядке: лежит поэма
И, как свойственно ей, молчит.
Ну, а вдруг как вырвется тема,
Кулаком в окно застучит, —
И откликнется издалека
На призыв этот страшный звук —
Клокотание, стон и клекот
И виденье скрещенных рук?..

Определить, когда она начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции «Маскарада» 25 февраля 1917 г.), а конница лавой неслась по мостовой, то ли когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в то время, когда его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 октября 1917 г.). Как знать?!

…Я сразу услышала и увидела ее всю – какая она сейчас (кроме войны, разумеется), но понадобилось [почти] двадцать лет, чтобы из первого наброска выросла вся поэма.

На месяцы, на годы она закрывалась герметически, я забывала ее, я не любила ее, я внутренне боролась с ней. Работа над ней (когда она подпускала меня к себе) напоминала проявление пластинки. Там уже все были. Демон всегда был Блоком, Верстовой Столб – [чем-то вроде молодого Маяковского] Поэтом вообще, Поэтом с большой буквы и т. д. Характеры развивались, менялись, жизнь приводила новые действующие лица. Кто-то уходил. Борьба с читателем продолжалась все время. Помощь читателя (особенно в Ташкенте) тоже. Там мне казалось, что мы пишем ее все вместе. Иногда она вся устремлялась в балет (два раза), и тогда ее нельзя было ничем удержать. И мне казалось, что она там и останется навсегда. Я писала некое подобие балетного либретто, но потом она возвращалась, и все шло по-старому.

Надпись на поэме «Триптих»

И ты ко мне вернулась знаменитой,
Темно-зеленой веточкой повитой,
Изящна, равнодушна и горда…
Я не такой тебя когда-то знала,
И я не для того тебя спасала
Из месива кровавого тогда.
Не буду я делить с тобой удачу,
Я не ликую над тобой, а плачу,
И ты прекрасно знаешь почему.
И ночь идет, и сил осталось мало.
Спаси ж меня, как я тебя спасала,
И не пускай в клокочущую тьму.

6 января 1944. Ташкент

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

Первым был создан кусок “Ты в Россию пришла ниоткуда”, оканчивавшийся такой строкой: “И томился дежурный Пьеро”. Далее порядка я не помню. Помню, что как-то раз Анна Андреевна прочитала “Поэму” у меня дома – Александре Иосифовне, Тамаре Григорьевне и мне.

Тамара Григорьевна сказала:

– Когда слушаешь эту вещь, такое чувство, словно вы поднялись на высокую башню и с высоты поглядели назад…

Эти слова впоследствии вызвали к жизни строки во “Вступлении” к “Поэме”:

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу…

[Александра Иосифовна Любарская, Тамара Григорьевна Габбе – подруги и коллеги Л.К. Чуковской.]

Вступление

Из года сорокового,
Как с башни, на все гляжу.
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

25 августа 1941

Осажденный Ленинград

Второе посвящение

О. С.

Ты ли, Путаница-Психея,
Черно-белым веером вея,
Наклоняешься надо мной,
Хочешь мне сказать по секрету,

Что уже миновала Лету
И иною дышишь весной.
Не диктуй мне, сама я слышу:
Теплый ливень уперся в крышу,
Шепоточек слышу в плюще.
Кто-то маленький жить собрался,
Зеленел, пушился, старался
Завтра в новом блеснуть плаще.
Сплю – она одна надо мною.
Ту, что люди зовут весною,
Одиночеством я зову.
Сплю – мне снится молодость наша,
Та, его миновавшая чаша;
Я ее тебе наяву,
Если хочешь, отдам на память,
Словно в глине чистое пламя
Иль подснежник в могильном рву.

25 мая 1945, Фонтанный дом

Из письма к NN

Вы, зная обстановку моей тогдашней жизни, можете судить об этом лучше других.

Осенью 1940 года, разбирая мой старый (впоследствии погибший во время осады) архив, я наткнулась на давно бывшие у меня письма и стихи, прежде не читанные мною («Бес попутал в укладке рыться»). Они относились к трагическому событию 1913 года, о котором повествуется в «Поэме без героя».

Тогда я написала стихотворный отрывок «Ты в Россию пришла ниоткуда» в связи со стихотворением «Современница». Вы даже, может быть, еще помните, как я читала Вам оба эти стихотворения в Фонтанном доме в присутствии старого шереметевского клена («а свидетель всего на свете…»).

В бессонную ночь 26–27 декабря этот стихотворный отрывок стал неожиданно расти и превращаться в первый набросок «Поэмы без героя». История дальнейшего роста поэмы кое-как изложена в бормотании под заглавием «Вместо предисловия».

Вы не можете себе представить, сколько диких, нелепых и смешных толков породила эта «Петербургская повесть».

Строже всего, как это ни странно, ее судили мои современники, и их обвинения сформулировал в Ташкенте Х., когда он сказал, что я свожу какие-то старые счеты с эпохой (10-е

годы) и людьми, которых или уже нет, или которые не могут мне ответить. Тем же, кто не знает некоторые «петербургские обстоятельства», поэма будет непонятна и неинтересна.

Другие, в особенности женщины, считали, что «Поэма без героя» – измена какому-то прежнему «идеалу» и, что еще хуже, разоблачение моих давних стихов «Четки», которые они «так любят».

Так в первый раз в жизни я встретила вместо потока патоки искреннее негодование читателей, и это, естественно, вдохновило меня. Затем, как известно каждому грамотному человеку… я совсем перестала писать стихи, и все же в течение 15 лет эта поэма неожиданно, как припадки какой-то неизлечимой болезни, вновь и вновь настигала меня (случалось это всюду – в концерте при музыке, на улице, даже во сне). Всего сильнее она терзала меня в декабре 1959 года в Ленинграде – снова превращаясь в трагический балет, что явствует из дневниковых записей (13 декабря) и строфы о Блоке. И я не могла от нее оторваться, дополняя и исправляя, по-видимому, оконченную вещь.

Но была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут.
Я пила ее в капле каждой
И, бесовскою черной жаждой
Одержима, не знала, как
Мне разделаться с бесноватой.

И неудивительно, что Х., как Вам известно, сказал мне: «Ну, Вы пропали, она Вас никогда не отпустит».

Но… я замечаю, что письмо мое длиннее, чем ему следует быть, а мне еще надо…

27 мая 1955. Москва

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Наивно было бы, однако, думать, что “Письмо к NN” – это реальное письмо, посланное мне или кому-нибудь иному (впрочем, адресованное все-таки мне). Это одна из игр автора с читателем, которыми столь богата “Поэма без героя”. “Письмо к NN” недолго удержалось в “Поэме”. Сначала оно было введено в текст, а затем, через несколько лет, при очередной переработке изъято навсегда. Начиная с 1960 года, в машинописных экземплярах “Поэмы”, исходящих непосредственно от Анны

Андреевны, “Письмо к NN” более не встречается…»

Анна Ахматова. «О поэме»

Она кажется всем другой:

Поэма совести (Шкловский).

Танец (Берковский).

Музыка (почти все).

Исполненная мечта символистов (Жирмунский).

Поэма Канунов, Сочельников (Б. Филиппов).

Поэма – моя биография. Историческая картина, летопись эпохи (Чуковский).

Почему произошла Революция (Шток).

Одна из фигур русской пляски (раскинув руки и вперед) (Пастернак) (Лирика, отступая и закрываясь платочком).

Как возникает магия (Найман).

Я начинаю замечать еще одно странное свойство Поэмы: ее все принимают на свой счет, узнают себя в ней. В этом есть что-то от «Фауста» (см. то место, где Фауст видит на Брокене издали Маргариту, а Мефистофель говорит ему, что в этом призраке все узнают любимую девушку).

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«А Елену Ефимовну Тагер вы знаете? – с живостью спросила она. – Нет? Не знаете, что было со мной в Ташкенте? Как она один раз ночью страшно ко мне вошла. Общежитие уже покоилось в объятиях Морфея… Я в своей комнатушке – помните? четверть здешней кухни! – я тоже легла уже, но еще не спала. Вдруг слышу – деревяшка по лестнице: “курлы, курлы” – и прямо в нашу общую с соседями прихожую. Ну, думаю, не ко мне… Нет, ко мне. Вошла: “Я знаю шифр вашей поэмы”… Повернулась и вышла… Представляете себе, как это тогда звучало страшно? Слово “шифр”?

Представляю себе.

Думаю, мысль о взаправдашнем шифре могла возникнуть из-за таких строчек:

Но сознаюсь, что применила
Симпатические чернила,
Что зеркальным письмом пишу…

Но, разумеется, только очень наивный читатель мог принять эти строки всерьез. И начать разгадывать “шифр”! Конечно, как во всех гениальных произведениях искусства, чернила в “Поэме без героя” особенные. Но дело тут не в каком-то специально изобретенном “шифре” – если только не подразумевать под этим словом приемы любого художества. “Поэма без героя” Ахматовой зашифрована не в боґльшей степени, чем любое стихотворение».

До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях «Поэмы без героя». И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной.

Я воздержусь от этого.

Никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит.

Ни изменять ее, ни объяснять я не буду.

«Еже писахъ – писахъ».

Ноябрь 1944, Ленинград

При жизни Анне Андреевне так и не удалось опубликовать «Поэму» целиком (самый полный из ее стихотворных сборников – «Бег времени», изданный в1965 году, – включал лишь первую часть). Зато за границей «Поэма без героя» издавалась не один раз, правда, с пропусками, перестановками и ошибками.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Утром Анна Андреевна мне позвонила. Вечером я у нее. Анна Андреевна улыбается лукаво:

– Вы ничего про меня не слыхали?

– Нет, а что?

Оказалось: в сборнике, выпущенном в Нью-Йорке по случаю семидесятилетия Бориса Леонидовича, напечатана “Поэма без героя”. От испуга я едва понимала смысл произносимых Анной Андреевной слов. За гра-ни-цей на-пе-ча-та-на “Поэма без героя”! Значит, опять все как с “Живаго”: газеты, собрания, лужи, моря, океаны клеветы, а мы? мы молчим, то есть предательствуем. Правда, там, оказывается, сверху поставлено: “Публикуется без ведома и разрешения автора”, – это, быть может, и спасет. И тогда, кто знает, не пугаться надо, а радоваться?

А теперь бы домой скорее
Камероновой галереей —

это я увижу напечатанным не на машинке, а типографским шрифтом!

Анна Андреевна встревожена, но как-то не слишком. По-видимому, надеется, что повторения истории с “Живаго” не будет. Время сейчас особенное, вперед не угадаешь. Хоть на ромашке гадай, хоть на кофейной гуще.

Анна Андреевна продолжала насмешничать.

– Вот вам и капитализм, и уважение к частной собственности! Кража самая настоящая! Я подам на них в суд или обращусь в Охрану авторских прав. Или напишу оскорбительное письмо Эйзенхауэру.

И повторения истории “Доктора Живаго” действительно не произошло.

Самая большая тайна Ахматовой – “Реквием” – до сих пор оставалась под спудом: текст крамольной поэмы не существовал на бумаге, он хранился в памяти нескольких друзей (А.А. сказала однажды: “Реквием” знали наизусть 11 человек, и никто меня не предал). Но времена менялись, и в 1962-м Анна Андреевна решилась выпустить стихи на волю».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«На днях Анна Андреевна учинила ревизию: проверила наличность в кассе.

Она давно уже собиралась уйти со мною куда-нибудь из-под потолка и проверить, все ли я помню. По ее внезапному вызову я к ней явилась, и мы отправились в ближайший сквер. Почти все скамейки в этот час рабочего дня пусты, мы сели подальше от двух теток, пасущих детей, от пенсионера, читающего газету, подальше от улицы. Тепло, солнечно, сыро. Воздух еще весенний, свежий, еще не испачканный запахом пыли, жары, бензина, асфальта.

…Анна Андреевна сидела рядом в зимнем, уже не по погоде, шерстяном грубом платке, в тяжелом пальто. Солнце сгущало темноту под запавшими глазами, подчеркивало морщины на лбу, углубляло их вокруг рта.

Она слушала, а я читала вслух стихи, которые столько раз твердила про себя. Она развязала узел платка, распахнула пальто. Вслушивалась в мой голос, всматриваясь в деревья и машины. Молчала.

Я прочла все до единого. Я спросила, собирается ли она теперь записать их. “Не знаю”, – ответила она, из чего я поняла, что и я пока еще не вправе записывать. “Кроме вас, их должны помнить еще семеро”».

27 мая 1962

Событие: целиком переписан “Реквием”, переписан в нескольких экземплярах на машинке! Итак, чудо закреплено, “Реквием” не пропадет, даже если враз помрут те семь или одиннадцать человек, которые, как и я, обязаны знать его наизусть. Я с благоговением взяла в руки перепечатанные Никой страницы. Теперь уже не надо, не надо, не надо жечь эти слова над пепельницей, теперь, выпущенные на свободу, они сами будут “жечь сердца людей”.

Новость для меня. Эпиграф:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Анна Андреевна спросила меня, как по-моему, стоит ли включить в “Реквием” другие стихотворения тридцатых годов, например, “Немного географии”, “И вот, наперекор тому”. Я твердо ответила “нет”, хотя и сама толком не могла бы объяснить, почему. Нет, могла бы. Наверное потому, что эти, с такою силой обобщающие время и события стихи имеют менее власти над сердцем, чем стихи “Реквиема”, чисто лирические, как бы камерные, как бы личные; рыдание одной матери над единственным, отнятым у нее и распинаемым сыном».

9 декабря 1962

Посвящение

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними «каторжные норы»
И смертельная тоска.
Для кого-то веет ветер свежий,
Для кого-то нежится закат —
Мы не знаем, мы повсюду те же,
Слышим лишь ключей постылый скрежет
Да шаги тяжелые солдат.
Подымались как к обедне ранней,
По столице одичалой шли,

Там встречались, мертвых бездыханней,
Солнце ниже, и Нева туманней,
А надежда все поет вдали.
Приговор… И сразу слезы хлынут,
Ото всех уже отделена,
Словно с болью жизнь из сердца вынут,
Словно грубо навзничь опрокинут,
Но идет… Шатается… Одна.
Где теперь невольные подруги
Двух моих осатанелых лет?
Что им чудится в сибирской вьюге,
Что мерещится им в лунном круге?
Им я шлю прощальный мой привет.

Март 1940

О том, чтобы опубликовать его в советской печати, речи не шло. Но «Реквием», перепечатанный на машинке, многократно переписанный от руки, быстро обрел тайную славу.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Заговорили о “Реквиеме”. Я рассказала о бесконечных хвалах, которые слышу отовсюду – теперь, когда он, наконец, пошел по рукам.

– Да, я и не ожидала такого успеха. Плачут бесперебойно, – подтвердила Анна Андреевна. – Они, – она показала глазами на потолок, – не знали, кого надо было непременно убить. Меня. А они не убили вовремя, только мучили по-всякому».

Реквием. Вместо предисловия

В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то «опознал» меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

– А это вы можете описать?

И я сказала:

– Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом.

1 апреля 1957, Ленинград

В Европе, конечно, и «Реквием» отпечатали «без ведома и согласия». Анна Андреевна снова опасалась судьбы Пастернака, но и на этот раз мирового скандала не произошло.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Она открыла сумку, вынула оттуда какую-то книгу и протянула мне. Книжка белая, рамка черная, и большими внятными буквами на белой обложке:

Анна Ахматова
Реквием

У меня похолодели руки, а сердце нырнуло куда-то в колени. “Реквием” – напечатан! Уже не машинопись, а книга. На титуле: Товарищество Зарубежных Писателей. Мюнхен. 1963.

Мюнхен. Почему именно в Мюнхене? Но не все ли равно?

И сразу передо мною Фонтанный дом, продавленное кресло возле печки, беспорядок, ее нерасчесанные волосы на мятой подушке, вспышка огня в пепельнице, обгорелые края заворачивающегося клочка бумаги. Пепел. 1938.

А сейчас ее слово воскресло из пепла и обращено в самый обыкновенный, обыденный, заурядный предмет: книга! В мире миллионы – а быть может, и миллиарды книг! – ну, вот, прибавилась еще одна. Еще одна книга – только и всего.

“Пепел Клааса”.

Пока я перелистывала “Реквием”, добывая при этом слова не из напечатанного текста, а из самой себя, – Анна Андреевна уверяла Эмму, что ее, Ахматову, начнут теперь “перемалывать на кофейной мельнице”. – “Не думаю”, – говорила Эмма. Я тоже. Вряд ли станут наши, взамен неудавшегося мирового пожара, раздувать новый мировой скандал – вроде пастернаковского. Слишком глупо. Умнее просто не заметить. Борис Леонидович, напечатав за границей “Живаго”, жизнью своей и смертью своей выплатил вперед все сполна. Довольно с нас и того позора, что великий “Реквием” прозвучал на Западе раньше, чем дома. “Мюнхен”.

Я отдала книгу Анне Андреевне, и она в тот же миг спрятала ее в сумку. Ну да, чтоб на поверхности не лежала. «Если, в порядке чуда, я получу еще один экземпляр – он будет ваш», – обещала она».

Писатель Борис Зайцев, покинувший Россию в 1922 году и обосновавшийся в Париже, так вспоминает явление «Реквиема»

«Полвека тому назад жил я в Москве, бывал в Петербурге. Существовало тогда там… артистическое кабаре “Бродячая собака”… В один из приездов моих в Петербург, в 1913 году меня познакомили в этой Собаке с тоненькой изящной дамой, почти красивой, видимо, избалованной уже успехом, несколько по тогдашнему манерной. Не совсем просто она держалась. А на мой, более простецко-московский глаз, слегка поламывалась… Была она поэтесса, входившая в наших молодых кругах в моду – Ахматова. Видел я ее в этой Собаке всего, кажется, один раз. На днях получил из Мюнхена книжечку стихотворений, 23 страницы, называется “Реквием”. На обложке Анна Ахматова (рис. С. Сорина, 1913). Да, та самая… И как раз того времени… Говорят, она не любила этот свой портрет. Ее дело. А мне нравится, именно такой помню ее в том самом роковом 13-м году. Но стихи написаны позже, а тогда не могли быть написаны… Эти стихи Ахматовой – поэма… (Все стихотворения связаны друг с другом. Впечатление одной цельной вещи. Дошло это сюда из России, печатается “без ведома и согласия автора”… Издано “Товариществом Зарубежных Писателей”, списки же “рукотворные” ходят, наверное… по России как угодно)… Да, пришлось этой изящной даме из “Бродячей собаки” испить чашу, быть может, горчайшую, чем всем нам, в эти воистину “Окаянные дни” (Бунин). Я-то видел Ахматову “царскосельской веселой грешницей” и “насмешницей”… Можно ль было предположить тогда… что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль – женский, материнский, вопль не только о себе, но обо всех страждущих – женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?

Хотела бы всех поименно назвать,
Да отняли список и негде узнать.
Для них создала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

В том-то и величие этих 23 страничек, что “о всех”… Опять и опять смотрю на полупрофиль Соринской остроугольной дамы 1913 года. Откуда взялась мужская сила стиха, простота его, гром слов будто обычных, но гудящих колокольным похоронным звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение

художническое? Воистину “томов премногих тяжелей”. Написано двадцать лет назад. Останется навсегда безмолвный приговор зверству».

Опять поминальный приблизился час.
Я вижу, я слышу, я чувствую вас:
И ту, что едва до окна довели,
И ту, что родимой не топчет земли,
И ту, что красивой тряхнув головой,
Сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде,
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.
Затем, что и в смерти блаженной боюсь
Забыть громыхание черных марусь,
Забыть, как постылая хлопала дверь
И выла старуха, как раненый зверь.
И пусть с неподвижных и бронзовых век,
Как слезы, струится подтаявший снег,
И голубь тюремный пусть гулит вдали,
И тихо идут по Неве корабли.

Март 1940, Фонтанный дом

Когда «железный занавес» дал трещину, до Анны Андреевны стали доходить известия о публикациях зарубежных биографов и исследователей. Нередко публикации эти вызывали у нее

недоумение и даже гнев.

Анна Ахматова – Жоржу Нива

Господин Нива!

Надеюсь в ближайшее время подробно и убедительно написать Вам по поводу сделанного Вами перевода очерка С.К. Маковского.

Этот очерк содержит бесчисленное количество ошибок, которые надо приписать возрасту писавшего и его дурным источникам.

Все, что сделали Вы, – прекрасно. Переводы стихов очень бережны и точны.

Я благодарю Вас.

Анна Ахматова

Анна Ахматова – А. Ранниту

Многоуважаемый господин Раннит,

Благодарю Вас за стихи (жаль, что Вы прислали только перевод) и милое письмо.

Трудно понять, зачем кому-то понадобилось тревожить мой прах и сообщать бредовые легенды о моем пребывании в Париже в 1938 г. На Западе после 1912 г. я не была, а в 1938 г. дальше Москвы не ездила.

Я совершенно уверена, что Ваша работа будет интересной и нужной, но меня несколько беспокоит ее биографическая часть. Во всяком случае я предупреждаю Вас, что писаниями Георгия Иванова и Л. Страховского пользоваться нельзя. В них нет ни одного слова правды.

Простите, что не сразу отвечаю Вам – я все еще очень слабая после болезни и сейчас живу за городом.

Анна Ахматова

18 февраля 1962

Комарово

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…Долго и с отстоявшейся гневной горечью говорила про какую-то книжку, выпущенную Кембриджским Университетом – о

ней, Мандельштаме и Гумилеве. Предполагает, что автор – Шацкий [Страховский], а написано со слов женщины.

– Безумные похвалы моим стихам, и яд, яд обо мне. Придумано, будто я отсутствую в лирике Гумилева, будто он меня никогда не любил! Но вся его лирика до определенного года, до душевного разрыва, вместе с “Пятистопными ямбами” (“Ты, для кого искал я на Леванте”) – вся полна мною. Дальше, правда, нету меня… Автор утверждает, что я была совершенно похожа на альтмановский портрет, но сама в этом никогда не признавалась. Такое может изобрести только баба. Альтмановский портрет на сходство и не претендует: явная стилизация, сравните с моими фотографиями того же времени… Я думаю, все это идет от Одоевцевой, которую Николай Степанович во что бы то ни стало хотел сделать поэтом, уговаривал не подражать мне, и она, бедняжка, писала про какое-то толченое стекло, не имея ни на грош поэтического дара.

А об Осипе! Шацкий его трактует как какого-то бульвардье, посетителя кафе – этого мученика! Пишет, что Мандельштам умер в 1945 году. Стыда нет у человека – перепутать такую дату! И провирается: пишет, будто у Мандельштама были веки без ресниц… У Осипа были ресницы пушистые, в полщеки…»

…Общеизвестно, что каждый уехавший из России увез с собой свой последний день. Недавно мне пришлось проверить это, читая статью Di Sarra обо мне. Он пишет, что мои стихи целиком выходят из поэзии М.Кузмина. Так никто не думает уже около 45 лет. Но Вячеслав Иванов, который навсегда уехал из Петербурга в 1912 году, увез представление обо мне, как-то связанное с Кузминым, и только потому, что Кузмин писал предисловие к моему «Вечеру» (1912). Это было последнее, что Вяч. Иванов мог вспомнить, и, конечно, когда его за границей спрашивали обо мне, он рекомендовал меня ученицей Кузмина. Таким образом, у меня склубился не то двойник, не то оборотень, который мирно прожил в чьем-то представлении все эти десятилетия, не вступая ни в какой контакт со мной, с моей истинной судьбой и т. д.

Невольно напрашивается вопрос, сколько таких двойников или оборотней бродит по свету и какова будет их окончательная роль.

…Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя, двадцать процентов мемуаров так или иначе фальшивки. Самовольное введение прямой речи следует признать деянием, уголовно наказуемым, потому что оно из мемуаров с легкостью перекочевывает в почтенные литературоведческие

работы и биографии. Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать…

7 июня 1963, Москва

В начале осени 1964 Анне Андреевне пришлось хоронить свою самую старую подругу. Она привыкла к смертям, но смерть Валентины Срезневской ее ошеломила.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«…В последние годы они, по-моему, виделись редко. И сходства между ними никакого. Но у них, у сверстниц, у однокашниц – общая юность, а значит, и общая память. Они помнят то же Царское, тот же Павловск, тот же Петербург. И главное, тех же людей.

Срезневская, наверное, последняя из тех, кого Ахматова могла окликнуть: «А помнишь?», последняя, кто знал ее со времен гимназической юности. «Почти не может быть. Ведь ты была всегда»».

Памяти В.С. Срезневской

Почти не может быть, ведь ты была всегда:
В тени блаженных лип, в блокаде и больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда,
И мнится, что души отъяли половину,
Ту, что была тобой, – в ней знала я причину
Чего-то главного. И все забыла вдруг…
Но звонкий голос твой зовет меня оттуда
И просит не грустить и смерти ждать, как чуда.
Ну что ж! попробую.

9 сентября 1964

Комарово

В 1961 году по Москве полетел слух, что Ахматова, вслед за Пастернаком, выдвинута на Нобелевскую премию. Анна

Андреевна и обрадовалась, и всполошилась: а ну как выплывет потаенный «Реквием» и у нее, а главное, у сына, наконец-то защитившего докторскую диссертацию, опять начнутся неприятности. Нобеля в том году, к счастью, получил Стейнбек, и тогда итальянцы, продолжающие считать родину Данте центром мировой поэзии, присудили Анне Ахматовой более скромную, но ничуть не менее престижную литературную премию «Этна-Таормина».

М. В. Латманизов. «Разговоры с Ахматовой»

«Я. – Анна Андреевна, мне еще раз хочется поздравить Вас с премией, которую Вам присудили в Италии.

А. – Вы знаете об этом? Да, мне присудили премию – Большую литературную премию Италии – миллион лир. Вот теперь собираюсь в сентябре в Италию для получения премии.

Я. – Это Вам не будет трудно?

А. – Я сейчас чувствую себя очень хорошо. И если так буду чувствовать себя, я смогу поехать. Это все было очень интересно. Я узнала, что мне присуждена премия, и когда меня спросили, где я хочу, чтобы мне вручили премию – в Москве или в Италии на Празднике вручения премий в мае или в сентябре, я ответила, что буду получать премию в Италии…

Я. – Как все это интересно! Как же Вы поедете туда, Анна Андреевна?

А. – Я хочу самолетом долететь до Парижа, побыть там немного. Я ведь не была в Париже 50 лет. Со времени встреч с Модильяни. Там много изменилось. Из Парижа мы поедем в Северную Италию. Потом в Рим. А из Рима – на остров Сицилия – там будет Праздник вручения премий. А после этого я, наверное, побуду некоторое время там».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«А как вы думаете, – спросила она, – куда на днях съезжу я? В Италию? Или в год по общему летоисчислению 1912-й, то есть в свои двадцать три? Италия – Италией…

Помолчали.

Ну да, конечно, я понимаю: Италия для нее то же, что Бежецк или “Бродячая собака” – тоже своего рода “Подвал памяти”. В этом подвале живы Флоренция, Венеция – и – и Гумилев, с которым Ахматова еще не развелась, с которым они увидели и пережили Италию вместе…»

Сентябрьскую Италию Анне Андреевне увидеть не удалось: из-за легендарной советской бюрократической волокиты переговоры о вручении премии затянулись до зимы. Первого декабря 1964 года в сопровождении Ирины Пуниной она вылетела из Ленинграда; Анну всея Руси наконец-то выпустили за границу: до Вены самолетом, а оттуда через Альпы поездом.

Альпы. Зимой зрелище мрачное. Снова вспоминаю сон 30 авг<уста> о хаосе. Скорость самолетная. Мне – дурно…

Подъезжаем к Риму. Все розово-ало. Похоже на мой последний незабвенный Крым 1916 года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь, простившись навсегда с Н. В. Н<едоброво>.

Рим. Первое ощущенье чьего-то огромного, небывалого торжества. Передать словами еще не могу, однако надежду не теряю.

Hotel Plaza… Я – все еще не в себе после Альп.

Cafe Греко. Автограф Гоголя. («Я только в Риме могу писать о России…») Там весь 19 век. Старомодно и очаровательно. (Не о Р<име>, конечно, а Cafe Греко.)

Воскресенье. На площади Св<ятого> Петра. Папа. Чувство, что время работает на нас, т. е. на русскую культуру.

В Риме есть что-то даже кощунственное. Это словно состязание людей с Богом. Очень страшно! (Или Бога с Сатаной.)

В Катанье. В древнейшем дворце Урсино (15 век) 12 дек<абря> 1964 я прочла мою «Музу». Огромная внешняя лестница казалась неодолимым препятствием. Думала – не дойду. Мерещились факелы и стук копыт… Дорога в Рим трудная.

* * *

Церемония вручения премии «Этна-Та-ормина» состоялась 12 декабря 1964 года в старинном замке Урсино.

Джанна Мандзини вспоминает

«Речи, вручение премии, аплодисменты и аплодисменты. Все время сидя, с выпрямленными плечами и высоко поднятой головой, она произнесла короткую благодарственную речь. Но повернулась, захваченная врасплох, когда ей преподнесли в подарок сицилийскую марионетку. Она улыбнулась. Взгляд блеснул, как лезвие, когда, нагнувшись, она внимательно и с удивлением всматривалась в эту странную игрушку для взрослых.

Еще больше тронуло меня, когда ей подарили большую “Божественную Комедию” в издании “Канези” с иллюстрациями Боттичелли. Меня тронуло не только радостное и восхищенное “О!”, которое ее губы явственно обрисовали, но и то, что она сразу же поспешно надела очки, совсем просто, по-домашнему. Она больше не сидела за почетным столом. Она была за своим рабочим столиком наедине с высочайшим произведением, далеко от всяких торжественных церемоний.

Повторяю, она все время сидела. Но когда ее попросили прочесть какое-нибудь короткое стихотворение, она встала. Она встала ради поэзии.

Что за голос! – чуть гортанный, широкий – открытый горизонт и древний плач…

Стихотворение, которое она любезно согласилась прочитать нам, не было, не могло быть тем, посвященным Данте. Но мне нравится думать, что это было оно.

Поэт-изгнанник, увиденный ею, удивляет и волнует меня…»

Ганс Вернер Рихтер. «Эвтерпа с берегов Невы, или Чествование Анны Ахматовой в Таормино»

«Солнце сияло, Этна курилась, греко-римский театр гляделся в мирное море, а я лежал в шезлонге, размышляя о смысле своего пребывания здесь. И тут я увидел, что мимо проходит генеральный секретарь Джанкарло Вигорелли, итальянский литературный менеджер. Был он, как всегда, элегантен, строен, волосы гармонически завиты… Очки сияли. Я окликнул его и спросил, что мне нужно делать. Он изумленно воздел очки горе и развел руками. “Ничего, мой милый, ничего! События и поэты сами придут к вам!” И они действительно шли… испанцы, португальцы, финны, шведы, русские, румыны, венгры, югославы, чехи, французы, англичане. Целые делегации с председателем, переводчиком и секретарем, и растерянные одиночки, несущие перед собою свои стихи. Лишь немногие были мне знакомы: Унгаретти, Альберти, Симонов, Лундквист, Твардовский, Квазимодо, Пазолини. Но здесь не требовалось представляться друг другу. Достаточно было днем лежать на солнце, вечер проводить в перестроенном из молельни баре, есть, пить, спать, – и не платить за это ни гроша. Виски, водка и граппа безвозмездно текли в глотки, закаленные стихами. Кто оплачивал все это? Советское посольство, сицилийская промышленность, римское правительство и, быть может, все-таки Мафия? Неужели мы гости Мафии? А может быть – Анна Ахматова?.. Но нет, дальше я думать не стал.

…В последующие дни не происходило ничего… В конце концов я сообразил, что все мы просто пребывали в ожидании. Да, мы заняты тем, что ожидаем Анну Ахматову – божественную Анну Ахматову; обязана она быть божественной, судя по всему тому, что говорилось кругом вслух, шепотом, намеками, судя по всем стихам в ее честь, которые в стольких комнатах огромного монастыря вкалачивались в пишущие машинки и потом выколачивались наружу. Право, теперь уже и я с нетерпением ожидал ее прибытия.

– Анна Ахматова здесь, – услышал я, вернувшись в отель после прогулки на пятый день безделья. Это было в пятницу, в двенадцать часов дня, когда солнце стояло в зените.

На этом месте, уважаемые слушатели, я должен сделать цезуру, необходима пауза, чтобы достойно оценить этот час. Потому что из-за этой груди, из-за этого голоса, из-за всего этого облика могла бы начаться Первая мировая война, если б не нашлось для нее других причин.

Да, здесь сидела сама Россия – посреди сицилийско-доминиканского монастырского сада. Россия восседала в белом лакированном садовом кресле, на фоне мощных колонн монастырской галереи. Великая княгиня поэзии (придворная дама на почтительном от нее расстоянии) давала аудиенцию поэтам в собственном дворце. Перед нею стояли поэты всех стран Европы – с Запада и с Востока – малые, мельчайшие и великие, молодые и старые, консерваторы, либералы, коммунисты, социалисты; они стояли, построившись в длинную очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анны Ахматовой. Я присоединился к ним. Она сидела, протягивала руку, каждый подходил, кланялся, встречал милостивый кивок, и многие – я видел – отходили, ярко раскрасневшись; каждый совершал эту церемонию в манере своей страны: итальянцы – обаятельно, испанцы – величественно, болгары – набожно, англичане – спокойно, и только русские знали ту манеру, которую ожидала Ахматова. Они стояли перед своей царицей, они преклоняли колена и целовали землю. Нет, этого, разумеется, они не совершали, но выглядело это именно так, или могло быть так. Целуя руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие своей литературы. Среди них только один оказался насмешником – я не хочу называть его имени, чтобы уберечь его от немилости Анны Ахматовой. После того, как и я совершил обряд целования руки в стиле моей страны, насмешник сказал: “А знаете ли, в 1905 году, в пору первой русской революции, она была очень красивой женщиной”.

Нам объявили, что Анна Ахматова будет читать стихи. Мы собрались вечером в одном из залов просторного монастыря – двести человек, большинство в праздничных костюмах, как на премьеру. За столом президиума сидели Унгаретти, Альберти, Вигорелли и Квазимодо. Один стул посередине оставался пустым. Снова мы ждали Анну Ахматову. Когда она вошла наконец в зал, все вскочили с мест. Образовался проход, и она шла сквозь строй рукоплещущих, шла, не глядя по сторонам, высоко подняв голову, без улыбки, не выражая ни удовлетворения, ни радости, и заняла свое место в президиуме. После пышной итальянской речи наступило великое мгновение.

Она читала по-русски голосом, который напоминал о далекой грозе, причем нельзя было понять, удаляется ли эта гроза или только еще приближается. Ее темный, рокочущий голос не допускал высоких нот. Первое стихотворение было короткое, очень короткое. Едва она кончила, поднялась буря оваций, хотя, не считая нескольких русских, никто не понимал ни слова. Она прочла второе стихотворение, которое было длиннее на несколько строк, и закрыла книгу. Не прошло и десяти минут, как ее чтение – акт милости, оказанной всем, – окончилось. Взволнованно благодарил ее Вигорелли, взволнованно благодарил Унгаретти, взволнованно рукоплескали все; аплодисменты не умолкали долго.

…Царица поэзии принимала поклонение дипломатического корпуса мировой литературы, причем от выступавших здесь дипломатов не требовалось вручения верительных грамот. Потом кто-то сказал, что Анна Ахматова устала, и вот она уже уходит – высокая женщина, на голову выше всех поэтов среднего роста, женщина, подобная статуе, о которую разбивалась волна времен с 1889 года и до наших дней. Видя, как величественно она шествует, я внезапно понял, почему в России время от времени правили не цари, а царицы».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«Было, по ее словам, так. Когда она шла через проход посреди зала в том замке в Сицилии, где ее чествовали, она отыскивала глазами своих, то есть русских.

– Иду и озираю зал. Ищу наших, москвичей. Там ведь была и наша, советская, делегация. Смотрю – в одном ряду посреди зала, с самого края прохода сидит Твардовский. Шествую торжественно и бормочу себе под нос – тихонечко, но так, чтобы он услышал: “Зачем нянька меня не уронила маленькой? Не было бы тогда этой петрушки”. Он, бедняга, вскочил и, закрыв рот ладонью,

выскочил в боковую дверь: отсмеиваться… Не фыркать же тут, прямо в зале…

Я тоже чуть не выскочила в коридор! Воспринять величественную церемонию как “петрушку” – это могла только она, Ахматова. Воображаю, как хохотал в коридоре или где-то там Твардовский.

… Я спросила, писала ли она в Италии стихи.

– Кажется, нет… Как-то неясно… Написала одно, но оно лучше удается в прозе.

Изложила свои ночные вагонные впечатления: сквозь мутное грязное стекло какой-то безобразнейший город с полицейскими фургонами, нищими, с неуклюжей дамбой.

– Этот город – Венеция. Утром поднимется солнце, и она опять станет нерукотворно-прекрасной. А ночью – такая».

Мы по ошибке встретили год —
Это не тот, не тот, не тот…
Что мы наделали, Боже, с тобой,
С кем еще мы поменялись судьбой?
Лучше б нас не было на земле,
Лучше б мы были в небесном кремле,
Летали, как птицы, цвели, как цветы,
Но все равно были – я и ты.

Декабрь 1964–1965

Рим – Москва

* * *

Совсем вдали висел какой-то мост.
И в темноте декабрьской, влажной, грязной
Предстала ты как будто во весь рост
Чудовищной, преступной, безобразной.
Во мраке та, а завтра расцветет
Венецией – сокровищницей мира —
Я крикнула: «Бери все, твой черед,
Мне больше не нужны ни лавр, ни лира».

17 января 1965

По возвращении из Италии на родину Ахматова получила и

еще один подарок к новому, 1965 году: приглашение в Англию – по случаю присуждения ей звания почетного доктора литературы. Инициатором выдвижения был Оксфордский университет.

На обратном пути из Лондона, хотя на это и не было особого разрешения, Ахматова, благодаря счастливому стечению обстоятельств, на несколько дней задержалась в Париже.

Георгий Адамович «Мои встречи с Ахматовой»

«Анна Андреевна провела в Париже три дня. Был я у нее три раза. При первой же встрече я предложил ей поехать на следующее утро покататься по Парижу, где дважды была она в ранней молодости, больше чем полвека тому назад. Она с радостью приняла мое предложение и сразу заговорила о Модильяни, своем юном парижском друге, будущей всесветной знаменитости, никому еще в те годы неведомом.

Был чудесный летний день, один из тех ранних, свежих, прозрачно-ясных летних дней, когда Париж бывает особенно хорош. За Ахматовой мы заехали вместе с моими парижскими друзьями, владеющими автомобилем и заранее радовавшимися встрече и знакомству с ней. Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на рю Бонапарт, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно, восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. “Вот мое окно, во втором этаже… сколько раз он тут у меня бывал”, – тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение. Оттуда поехали в Булонский лес, где долго сидели на залитой солнцем террасе какого-то кафе, и наконец отправились на Монпарнас, завтракать в “Купель”, шумный, переполненный народом ресторан, до войны бывший местом ночных встреч парижской литературной и художественной богемы, в том числе и русской, эмигрантской.

Ахматова села, внимательно оглядела огромный квадратный зал, улыбнулась, вздохнула и наконец сказала:

– Если бы вы знали, что это!.. вот так сидеть… а вокруг все эти люди, эта молодежь… входят, выходят, смеются, веселые, оживленные, беспечные…

Фразу она оборвала, своего “если бы вы знали” не договорила, не объяснила. Но объяснений и не нужно было, и недопустимо было бы на них настаивать. Все было понятно».

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

(Говорит Анна Ахматова)

«Кто переменился – это Париж. Прекрасен, но совсем другой. Переменил цвет: был когда-то серый, а теперь белый. Волшебный. Старых улиц я не узнала. Какие-то роскошные взлеты, спуски, автострады. Меня щедро возили по городу. Но движение там – это уже не движение, а стояние… Город наряден, а люди – да, представьте себе! люди в парижской толпе одеты плохо. В Лондоне старомодны до ужаса, в Париже бедноваты. Да, да, как-то что-то накинуто на одно плечо, всунуто в один рукав. Все женщины выкрашены в соломенный цвет, точно попадаешь в царство соломенных крыш.

– В Оксфорде я очень устала. Целые дни правила чужие диссертации. Кто бы мог подумать, что мне, при моей серости, придется заняться этим?.. Ну да, там все пишут диссертации об акмеизме, о Мандельштаме, о Гумилеве, обо мне. У них все перепутано и наврано, а я должна исправлять.

Я сказала: хорошо, что вы получили такую возможность.

– Нет, Лидия Корнеевна, я поняла, что на все это надо махнуть рукой. Ничего не исправишь. Переводы ужасны. Я видела “Реквием” – избави Бог такое и во сне увидать, это наглая халтура. “С морем разорвана связь” – будто бы с Балтийским. “Памятник мне” – будто памятник на могиле… И так всё сплошь. Самый точный перевод, сделанный Амандой и Питером, – прозаический. Я его авторизовала. Но ведь это всего только проза…

Анна Андреевна продолжала:

– Знаете, чему они там из моих рассказов более всего удивились? Вы, и вы, и вы (она кивнула мне, Нине и Любочке) этому нисколько не удивляетесь, для нас всех здесь это привычно. Они же делают большие глаза. Их удивило, даже потрясло, когда я рассказала, что за несколько дней до отъезда получила письмо от моряков и лесорубов. У них никто стихов не читает, кроме очень тонкого слоя интеллигенции. А тут вдруг, изволите видеть, моряки и лесорубы!»

Примечание Л.К. Чуковской. Привожу письмо моряков и лесорубов:

«12 апреля 1965 г.

Сердечный привет из Архангельска.

Здравствуйте, уважаемая русская поэтесса, Анна Андреевна Ахматова.

Мы, это группа молодежи, лесопильщики и моряки из Архангельских лесозаводов и пароходов, – познакомились с Вами на литературном вечере по радио. Вы читали, проникновенно декламировали. Мы слушали с любовью, с наслаждением. Хорошие стихи, как вино, немного опьяняют.

Стихи, цветы и музыка неотъемлемые вещи, потребность их ощущаешь [неразб.]

Мне коллектив поручил передать Беломорскую вам благодарность за стихи “Муза”.

Желаем Вам новых успехов, счастья и здоровья.

Талашов Александр Андреевич, бывший танкист».

«Бег времени», самый полный сборник стихов Ахматовой, оказался и самым последним ее прижизненным сборником. Конечно, туда вошло не все, что А.А. создала за 55 лет творчества, и даже не все из того, что она, с оглядкой на цензуру, отобрала для публикации… «Реквием» издательство «Советский писатель» не рискнуло печатать. Вторую и третью часть «Поэмы без героя» – также. Ахматовой «для ее же пользы» предлагали вставить в сборник стихи из цикла «Слава мира», но уж этого ей удалось избежать.

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«У вас с собой блокнот? – спросила Анна Андреевна. – Составим список тех моих стихов, которые мы сами из предосторожности не включили в “Бег”. Я буду диктовать, а вы добавляйте.

Мы заговорили наперебой, и я писала:

Булгакову;

Легкая судьба;

Другие уводят любимых;

Застольная;

Ты напрасно мне под ноги мечешь;

Не столицею Европейской;

И вот, наперекор тому;

С Новым годом! С новым горем!

Строфы из “Решки”…

Мы перебивали друг друга. Вспомнили, кажет-ся, всё.

– “Здесь девушки прекраснейшие спорят”, – сказала под конец Анна Андреевна.

Этого стихотворения я никогда не слыхивала. Анна Андреевна стала уверять, что она давно его мне читала. Нет. Не читала никогда.

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам.
Здесь праведных пытают по ночам

И голодом неукротимых морят.

– Не вздумайте записывать. Только первую строчку. Это, кажется, 1924 год.

Я и не думала. Я просто запомнила все четыре.

Закрыла блокнот».

6 октября 1965 года Анна Андреевна получила авторские экземпляры своей последней книги. «Стопка белых книг на полу перед зеркалом» стремительно уменьшалась:

«Лидии Чуковской – мои стихи, ставшие нашей общей книгой, дружески – Ахматова»

«Марии Петровых, большому поэту и светлому Другу. Анна Ахматова»

А.Ф. и Г.Л. Козловским: «Далеким друзьям, храня им вечную верность»

«Пусть эта книга будет памятником нашей тридцатипятилетней, ничем не омраченной Дружбы. Николаю Ивановичу Харджиеву. Анна Ахматова»

«Корнею Чуковскому. Думаю о Вас. Ахматова»

«Пушкинскому Дому. Ахматова»…

Лидия Чуковская «Записки об Анне Ахматовой»

«У Анны Андреевны нынче радость – книжка из березовой коры, прошитая веревкой. На коре выцарапаны ее стихи: “Двадцать первое. Ночь. Понедельник”. Светлое это чудо привез ей кто-то из лагеря… Чудо Анна Андреевна положила мне в раскрытые ладони, а я не то что перелистывать, я дохнуть не смела – но она и не дала, вынула мгновенно у меня из рук и положила в особую коробочку, устланную ватой.

– Отдам в Пушкинский Дом, – заявила она.

Да. Эти листки березовой коры почетнее Оксфордской мантии. И Нобелевской премии. И любой награды в мире».

12 ноября 1965

* * *

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,

Что бывает любовь на земле.
И от лености или со скуки
Все поверили, так и живут:
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я на это наткнулась случайно
И с тех пор все как будто больна.

1917

Теперь, когда все позади – даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то мучительно проясняется (как в первые осенние дни) – люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни. И столько горьких и даже страшных чувств!

И кто бы поверил, что я задумана так надолго, и почему я этого не знала. Память обострилась невероятно. Прошлое обступает меня и требует чего-то. Чего? Милые тени отдаленного прошлого почти говорят со мной. Может быть, это для них последний случай, когда блаженство, которое люди зовут забвеньем, может миновать их. Откуда-то выплывают слова, сказанные полвека тому назад и о которых я все пятьдесят лет ни разу не вспомнила. Странно было бы объяснить все это только моим летним одиночеством и близостью к природе, которая давно напоминает мне только о смерти…

* * *

На стеклах нарастает лед,
Часы твердят: «Не трусь!»
Услышать, что ко мне идет,
И мертвой я боюсь.

Как идола, молю я дверь:
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Что прячется в саду?

1965

Алигер М.И. «В последний раз»

«Осенью шестьдесят пятого года она заболела и надолго слегла в Боткинскую больницу. Ее друзья составили жесткий график посещений, и каждому желающему повидать Анну Андреевну следовало заранее подать заявку. Иначе едва ли удалось бы справиться с “ахматовкой” – так она сама называла коловращение людей вокруг себя. Но мне, по правде говоря, на таких жестких условиях не захотелось включаться в поток посетителей, который и без меня был нескончаем. Но я-то что! – случилась неизмеримо более горькая накладка. Лев Николаевич Гумилев после долгой разлуки приехал в Москву повидать мать, но, придя в Боткинскую больницу, не смог получить разрешения на свидание, не был предусмотрен, не подал заранее заявки. Ему удалось только передать записку. Соседка по палате рассказывала, как взволнована была Анна Андреевна этой запиской и тем, что сын не был к ней допущен. Настолько взволнована, что, вопреки своей обычной сдержанности, целый вечер вслух возбужденным голосом говорила о том, как ужасно все получилось.

– Как же не понимают мои друзья, – сетовала она, – что это сын мой единственный, самый близкий мне человек, наконец, единственный мой наследник…

Наследник? Какое странное в устах ее слово! Значит, уже задумывалась о конце? Ощущала его приближение? Готовилась к нему?

Мы встретились после выхода ее из больницы на Ордынке, у Ардовых. Она была спокойна, хорошо себя чувствовала, собиралась в санаторий, полна была планов на будущее. И так хотелось быть с ней заодно, ни о чем не тревожиться, ничего не загадывать. И как чаще всего случалось и в прошлые наши встречи, я все-таки о многом из того, о чем собиралась ее спросить, спрашивать не стала. Не успела или подумала: не стоит сегодня, в другой раз… Куда торопиться? Увидимся еще. Успею еще. Не успела».

* * *

Не в таинственную беседку
Поведет этот пламенный мост:
Одного в золоченую клетку,
А другую на красный помост.

1965

* * *

А как музыка зазвучала
И очнулась вокруг зима,
Стало ясно, что у причала
Государыня-смерть сама.

Конец 1965 – январь 1966

Марина Цветаева
Живу до тошноты
Дневниковая проза

Октябрь в вагоне (Записи тех дней)

Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато). Солдаты приносят газеты – на розовой бумаге. Кремль и все памятники взорваны. 56-ой полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться. 16 000 убитых. На следующей станции – уже 25 000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда.

Сон (2-е ноября 1917 г., в ночь).

Спасаемся. Из подвала человек с винтовкой. Пустой рукой целюсь. – Опускает. – Солнечный день. Влезаем на какие-то обломки. С<ережа> говорит о Владивостоке. Едем в экипаже по развалинам. Человек с серной кислотой.

Письмо в тетрадку

Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться – слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла «Южный Край». 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она не кончилась. Сейчас серое утро. Я в коридоре. Поймите! Я еду и пишу Вам и не знаю сейчас – но тут следуют слова, которых я не могу написать.

Подъезжаем к Орлу. Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу. Вы – есть, раз я Вам пишу! А потом – ах! – 56 запасной полк. Кремль. (Помните те огромные ключи, которыми Вы на ночь запирали ворота)? А главное, главное, главное – Вы, Вы сам. Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались. Вы бы один пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь – всем другим, зайцам и лисам. Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что «я» для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала!

Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака.

Известия неопределенны, не знаю, чему верить. Читаю про Кремль, Тверскую, Арбат, «Метрополь», Вознесенскую площадь, про горы трупов. В с<оциал>-р<еволюционной> газете «Курская Жизнь» от вчерашнего дня (1-го) – что началось разоружение. Другие (сегодняшние) пишут о бое. Я сейчас не даю себе воли писать, но тысячи раз видела, как я вхожу в дом. Можно ли будет проникнуть в город?

Скоро Орел. Сейчас около 2 часов дня. В Москве будем в 2 часа ночи. А если я войду в дом – и никого нет, ни души? Где мне искать Вас? Может быть, и дома уже нет? У меня все время чувство: это страшный сон. Я все жду, что вот-вот что-то случится, и не было ни газет, ничего. Что это мне снится, что я проснусь.

Горло сжато, точно пальцами. Все время оттягиваю, растягиваю ворот. Сереженька.

Я написала Ваше имя и не могу писать дальше.

* * *

Трое суток – ни с кем ни звука. Только с солдатами, купить газет. (Страшные розовые листки, зловещие. Театральные афиши смерти. Нет, Москва окрасила! Говорят, нет бумаги. Была, да вся вышла. Кому – так, кому – знак).

Кто-то, наконец: «Да что с вами, барышня? Вы за всю дорогу куска хлеба не съели, с самой Лозовой с вами еду. Все смотрю и думаю: когда же наша барышня кушать начнут? Думаю, за хлебом, нет – опять в книжку писать. Вы что ж, к экзамену какому?»

Я, смутно: «Да».

Говорящий – мастеровой, черный, глаза, как угли, чернобородый, что-то от ласкового Пугачева. Жутковат и приятен. Беседуем. Жалуется на сыновей: «Новой жизнью заболели, коростой этой. Вы, барышня, человек молодой, пожалуй и осудите, а по мне – вот всé эти отребья красные да свободы похабные – не что иное будет, как сомущение Антихристово. Князь он и власть великую имеет, только ждал до поры до часу, силу копил. Приедешь в деревню, – жизнь-то серая, баба-то сивая. «Черт, шут»… Гляди, кочерыжками закидает. А какой он тебе шут, когда он князь рожденный, свет сотворенный. На него не с кочерыжками надо, а с легионами ангельскими»…

Подсаживается толстый военный: круглое лицо, усы, лет пятьдесят, пошловат, фатоват. – «У меня сын в 56-ом полку! Ужасно беспокоюсь. Вдруг, думаю, нелегкая понесла». (Почему-то сразу успокаиваюсь)… «Впрочем, он у меня не дурак: охота самому в пекло лезть!» (Успокоение мгновенно проходит)… «Он по специальности инженер, а мосты, знаете ли, все равно для кого строить: царю ли, республике ли, – лишь бы выдержали!»

Я, не выдерживая: «А у меня муж в 56-ом». – «Му-уж? Вы замужем? Скажите! Никогда бы не подумал! Я думал барышня, гимназию кончаете. Стало быть, в 56-ом? Вы, верно, тоже очень беспокоитесь?» – «Не знаю, как доеду». – «Доедете! И свидитесь!

Да помилуйте, имея такую жену – идти под пули! Ваш супруг себе не враг! Он, верно, тоже очень молод?» – «Двадцать три», – «Ну, видите! А вы еще волнуетесь! Да будь мне двадцать три года и имей я такую жену… Да я и в свои пятьдесят три года и имея вовсе не такую жену»… (Я, мысленно: «в том-то и дело!» Но почему-то, все-таки, явно сознавая бессмысленность, успокаиваюсь).

* * *

Сговариваемся с мастеровым ехать с вокзала вместе. И хотя нам вовсе не по дороге: ему на Таганку, мне на Поварскую, продолжаю на этом строить: отсрочку следующего получаса. (Через полчаса Москва). Мастеровой – оплот, и почему-то мне чудится, что он все знает, больше – что он сам из князевой рати (недаром Пугачев!) и именно оттого, что враг меня (С<ережу>) спасет. – Уже спас. – И что нарочно сел в этот вагон – оградить и обнадежить – и Лозовая ни при чем, мог бы просто в окне появиться, на полном ходу, среди степи. И что сейчас в Москве на вокзале рассыпется в прах.

* * *

Десять минут до Москвы. Уже чуть-чуть светлеет, – или просто небо? Глаза к темноте привыкли? Боюсь дороги, часа на извозчике, надвигающегося дома (смерти, ибо – если убит, умру). Боюсь услышать.

* * *

Москва. Черно. В город можно с пропуском. У меня есть, совсем другой, но все равно. (На обратный проезд в Феодосию: жена прапорщика). Беру извозчика. Мастеровой, конечно, канул. Еду. Извозчик рассказывает, я отсутствую, мостовая подбрасывает. Три раза подходят люди с фонарями. – Пропуск! – Протягиваю. Отдают не глядя. Первый звон. Около половины шестого. Чуть светлеет. (Или кажется)? Пустые улицы, пустующие. Дороги не узнаю, не знаю (везет объездом), чувство, что все время влево, как иногда мысль, в мозгу. Куда-то сквозь, и почему-то пахнет сеном. (А может быть, я думаю, что это – Сенная, и потому – сено)? Заставы чуть громыхают: кто-то не

сдается.

Ни разу – о детях. Если С<ережи> нет, нет и меня, значит, нет и их. Аля без меня жить не будет, не захочет, не сможет. Как я без С<ережи>.

* * *

Церковь Бориса и Глеба. Наша, Поварская[1]. Сворачиваем в переулок – наш, Борисоглебский. Белый дом Епархиального училища, я его всегда называла «volière»: сквозная галерея и детские голоса. А налево тот, зеленый, старинный, навытяжку (градоначальник жил и городовые стояли). И еще один. И наш.

Крыльцо против двух деревьев. Схожу. Снимаю вещи. Отделившись от ворот, двое в полувоенном. Подходят. «Мы домовая охрана. Что вам угодно?» – «Я такая-то и здесь живу», – «Никого по ночам пускать не ведено». – «Тогда позовите, пожалуйста, прислугу. Из третьей квартиры». (Мысль: сейчас, сейчас, сейчас скажут. Они здесь живут и все знают).

«Мы вам не слуги». – «Я заплачу2».

Идут. Жду. Не живу. Ноги, на которых стою, руки, которыми держу чемоданы (так и не спустила). И сердца не слышу. Если б не оклик извозчика, и не поняла бы, что долго, что чудовищно-долго.

– Да что ж, барышня, отпу2стите или нет? Мне еще на Покровскую надо.

– Прибавлю.

Тихий ужас, что, вот, уедет: в нем моя последняя жизнь, последняя жизнь до… Однако, спустив вещи, раскрываю сумку: три, десять, двенадцать, семнадцать… нужно пятьдесят… Где же возьму, если…

Шаг. Звук сначала одной двери, потом другой. Сейчас откроется входная. Женщина, в платке, незнакомая.

Я, не давая сказать: – Вы новая прислуга?

– Да.

– Барин убит?

– Жив.

– Ранен?

– Нет.

– То есть как? Где же он был все время?

– А в Александровском, с юнкерами, – уж мы страху натерпелись! Слава Богу, Господь помиловал. Только отощали очень. И сейчас они в N-ском переулке, у знакомых. И детки там, и сестры бариновы… Все здоровы, благополучны, только вас

ждут.

– У вас найдется 33 рубля, извозчику доплатить?

– А как же, как же, вот сейчас только вещи внесем.

Вносим вещи, отпускаем извозчика, Дуня берется меня проводить. Захватываю с собой один из двух крымских хлебов. Идем. Битая Поварская. Булыжники. Рытвины. Небо чуть светлеет. Колокола.

Заворачиваем в переулок. Семиэтажный дом. Звоню. Двое в шубах и шапках. При чиркающей спичке – блеск пенсне. Спичка прямо в лицо:

– Что вам нужно?

– Я только что из Крыма и хочу к своим.

– Да ведь это неслыханно, в 6 часов утра в дом врываться!

– Я хочу к своим.

– Успеете. Вот заходите к 9-ти часам, тогда посмотрим.

Тут вступается прислуга:

– Да что вы, господа, у них дети маленькие. Бог знает сколько не виделись. И я их очень хорошо знаю, оне личность вполне благонадежная, свой дом на Полянке.

– А все-таки мы вас впустить не можем.

Тут я, не выдерживая:

– А вы – кто2?

– Мы домовая охрана.

– А я такая-то, жена своего мужа и мать своих детей. Пустите, я все равно войду.

И, наполовину пропущенная, наполовину прорвавшись – шести площадок как не бывала – седьмая.

* * *

(Так это у меня и осталось, первое видение буржуазии в Революции: уши, прячущиеся в шапках, души, прячущиеся в шубах, головы, прячущиеся в шеях, глаза, прячущиеся в стеклах. Ослепительное – при вспыхивающей спичке – видение шкуры).

* * *

Снизу голос прислуги: «Счастливо свидеться!» Стучу. Открывают.

– Сережа спит? Где его комната? И, через секунду, с порога:

– Сережа! Это я! Только что приехала. У вас внизу – ужасные мерзавцы. А юнкера все-таки победили! Да есть ли Вы здесь или

нет?

В комнате темно. И, удостоверившись:

– Ехала три дня. Привезла Вам хлеб. Простите, что черствый. Матросы – ужасные мерзавцы! Познакомилась с Пугачевым. Сереженька, Вы живы – и…

* * *

В вечер того же дня уезжаем: С<ережа>, его друг Г<оль>цев и я, в Крым.

Кусочек Крыма

Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель. Седое море. Огромная, почти физически жгущая радость Макса В<олошина> при виде живого Сережи. Огромные белые хлеба.

* * *

Видение Макса В<олошина> на приступочке башни, с Тэном на коленях, жарящего лук. И пока лук жарится, чтение вслух, С<ереже> и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России.

– А теперь, Сережа, будет то-то… Запомни. И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картинку за картинкой – всю русскую Революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потеря лика, раскрепощенные духи стихий, кровь, кровь, кровь…

* * *

С Г<оль>цевым за хлебом.

Кофейня в Отузах. На стенах большевицкие воззвания. У столов длиннобородые татары. Как медленно пьют, как скупо говорят, как важно движутся. Для них время остановилось. XVII в. – XX в. И чашечки те же, синие, с каббалистическими знаками, без ручек. Большевизм? Марксизм?

Афиши, все горло прокричите! Какое нам дело до ваших машин, Лениных, Троцких, до ваших пролетариатов новорожденных, до ваших буржуазии разлагающихся… У нас ураза́, мулла, виноград, смутная память о какой-то великой царице… Вот эта кипящая смоль на дне золоченых чашечек…

Мы – вне, мы – над, мы давно. Вам – быть, мы – прошли. Мы – раз навсегда. Нас – нету.

* * *

Лунные сумерки. Мечеть. Возвращение коз. Девочка в малиновой, до полу, юбке. Кисеты. Старуха, выточенная, как кость. Изваянность древних рас.

* * *

В вагоне (обратный путь в Москву, 25-го ноября).

– Брешко-Брешковская – тоже сволочь! Сказала: надо воевать вам!

* * *

– Сгубить больше бедного классу и самим опять блаженствовать!

* * *

– Бедная матушка-Москва, весь фронт одевает-обувает! Мы Москвой не обижены! Больше все газеты смущают. Большевики правильно говорят, не хотят кровь проливать, смотрят за делом.

* * *

В вагонном воздухе – топором – три слова: буржуи, юнкера, кровососы.

* * *

– Чтоб им торговля была лучше!

* * *

– У нас молодая революция, а у них, во Франции, старая,

лежалая.

* * *

– Что крестьянин, что князь – шкура одинакая! (Я, мысленно: шкура-то именно и нет!).

* * *

– А офицер, товарищи, первый подлец. Я считаю: он самого низкого образования.

* * *

Против меня, на лавке, спит унылый, тощий, благоразумный Викжель.

* * *

Бог, товарищи, первый революционер!

* * *

Вы москвичка, вероятно? У нас на юге таких типов нет! (Прапорщик из Керчи).

* * *

Спор о табаке.

«Барышня, а курят! Оно, конешно, все люди равны, только все же барышне курить не годится. И голос от того табаку грубеет, и запах изо рта мужской. Барышне конфетки надо сосать, духами прыскаться, чтоб дух нежный шел. А то кавалер с любезностями – прыг, а вы на него тем мужским духом – пых!

Мужеский пол мужского духа теперь не выносит. Как вы полагаете, а, барышня?»

Я: «Конечно, вы правы: привычка дурная!»

Другой солдат: «А я, то есть, товарищи, полагаю: женский пол тут ни при чем. Ведь в глотку тянешь, – а глотка у всех одинакая.

Что табак, что хлеб. А кавалеры любить не будут, оно, может, и лучше, мало ли нашего брата зря хвостячит. Лю – бовь! Кобеля, а не любовь! А полюбит кто – за душу, со всяким духом примет, даже сам крутить будет. Правильно говорю, а, барышня?»

Я: «Правильно, – мне муж всегда папиросы крутит. А сам не курит». (Вру).

Мой защитник – другому: «Так они и не барышни вовсе! Вот, братец, маху дали! А что же у вас муж из студентов, что ль?»

Я, памятуя предостережения: «Нет, вообще так…»

Другой, поясняя: «Своим капиталом, значит, живут».

Мой защитник: «К нему, стало быть, едете?»

Я: «Нет, за детьми, он в Крыму остался».

– «Что ж, дача там своя в Крыму?»

Я, спокойно: «Да, и дом в Москве». (Дачу выдумала).

– Молчание.

Мой защитник: «А смелая вы, погляжу, мадамочка! Да разве теперь в эдаких вещах признаются? Да теперь кажный рад не только дом, что ли, деньги – себя собственными руками со страху в землю закопать!»

Я: «Зачем самому? Придет время – другие закопают. А впрочем, это и раньше было: самозакапыватели: сами себя живьем в землю закапывали – для спасения души. А теперь для спасения тела».

– Смеются, смеюсь и я.

Мой защитник: «А что ж, супруг-то ваш, не с простым народом, чай?»

Я: «Нет, он со всем народом».

– «Что-то не пойму».

Я: «Как Христос велел: ни бедного, мол, ни богатого: человеческая и во всех Христос».

Мой защитник, радостно: «То-то и оно! Неповинен ты в княжестве своем и неповинен ты в низости своей»… (с некоторым подозрением:)… «А вы, барышня, не большевичка будете?»

Другой: «Какая большевичка, когда у них дом свой!»

Первый: «Ты не скажи, много промеж них образованного классу, – и дворяне тоже, и купцы. В большевики-то все больше господа идут». (Вглядываясь, неуверенно:) «И волоса стриженые».

Я: «Это теперь мода такая»[2].

Внезапно ввязывается, верней – взрывается –

матрос:

«И все это вы, товарищи, неверно рассуждаете, бессознательный элемент. Эти-то образованные, да дворяне, да юнкера проклятые всю Москву кровью залили! Кровососы! Сволочь!» (Ко мне:) «А вам, товарищ, совет: поменьше о Христах

да дачах в Крыму вспоминать. Это время прошло».

Мой защитник, испуганно: «Да они по молодости… Да какие у них дачи, – так, должно, хибарка какая на трех ногах, вроде как у меня в деревне… (Примиряюще:) – Вот и полсапожки плохонькие»…

* * *

Об этом матросе. Непрерывная матерщина. Другие (большевик!) молчат. Я, наконец, кротко: «Почему вы так ругаетесь? Неужели вам самому приятно?»

Матрос: «А я, товарищ, не ругаюсь, – это у меня поговорка такая».

Солдаты грохочут.

Я, созерцательно: «Плохая поговорка».

* * *

Этот же матрос, у открытого окна в Орле, нежнейшим голосом: «Воздушок какой!»

* * *

Аля (4 года). – Марина, знаешь, у Пушкина не так сказано! У него сказано:

Пушки с пристани палят,
Кораблям пристать велят.

А надо:

Пушки – из дому палят!
(После восстания).

* * *

Молитва Али во время и с времен восстания:

«Спаси, Господи, и помилуй: Марину, Сережу, Ирину, Любу, Асю, Андрюшу, офицеров и не-офицеров, русских и не-русских,

французских и не-французских, раненых и не-раненых, здоровых и не-здоровых – всех знакомых и не-знакомых».

* * *

Москва, октябрь – ноябрь 1917

Вольный проезд

Пречистенка, Институт Кавалерственной Дамы Чертóвой, ныне Отдел Изобразительных Искусств.

Клянусь Стиксом, что живи я полтораста лет назад, я непременно была бы Кавалерственной Дамой! (Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губ<ернию> «для изучения кустарных вышивок» – за пшеном. Вольный проезд (провоз) в 1 1/2 пуда).

* * *

Дорога на ст<анцию> Усмань, Тамбовской губ<ернии>.

Посадка в Москве. В последнюю минуту – точно ад разверзся: лязг, визг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчите! Молчите! Видно, еще не ездили!» Баба: «Помилуй нас. Господи!» Страх, как перед опричниками, весь вагон – как гроб. И, действительно, минуту спустя нас всех, несмотря на билеты и разрешения, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобился красноармейцам.

В последнюю секунду N, его друг, теща и я, благодаря моей командировке, все-таки попадаем обратно.

* * *

Трагически начинаю уяснять себе, что едем мы на реквизиционный пункт и… почти что в роли реквизирующих. У тещи сын-красноармеец в реквизиционном отряде. Сулят всякие блага (до свиного сала включительно). Грозят всякими бедами (до смертоубийства включительно). Мужики озлоблены, бывает, что поджигают вагоны. Теща утешает:

– Уже три раза ездила, – Бог миловал. И белой пуда-ами! А что мужики злобятся – понятное дело… Кто же своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчистую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то, хотя и не из дворянской семьи, а все ж и достаток был, и почтенность. Как же это так –

человека по миру пускать? Ну, захватил такую великую власть – ничего не говорю – пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышня, у каждого своя планида. Ах, Вы и не барышня? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вести? И детей двое? Плохо, плохо!»

Так я сыну-то: «Бери за полцены, чтоб и тебе не досадно, и ему не обидно. А то что ж это, вроде разбоя на большой дороге. Пра-аво! Оно, барышня, понятно… (что это я все «барышня», – положение-то ваше хуже вдовьего! Ни мужу не жена, ни другу не княжна!)… оно, барынька, понятно: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, коли не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск обирать – себя разорять! И корову доить – разум надо. Жми да не выжимай. Да-а…

А уж почет-то мне там у него на пункте – ей-Богу, что вдовствующей Императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассники, оба из реалки из четвертого классу вышли: Колька – в контору, а тот просто загулял. Товарищи, значит. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовал. Сахару-то! Сала-то! Яиц! В молоке – только что не купаются! Четвертый раз езжу».

* * *

Из вагонных разговоров:

– И будет это так идти, пока не останется: из тысячи – Муж, из тьмы – Жена.

* * *

А есть, товарищи, в Москве церковь – «Великаго Совета Ангел».

* * *

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу, – «Зачем доску целовать? Коли хочешь молиться, молись один!»

Солдат – офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А Вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?»

Из темноты – ответ: «Я спирит социалистической партии».

* * *

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чествуемые, все без сапог, – идя со станции чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них – мне: «Вы что же – ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына). Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»… «Вы» – и: «Ну вас совсем – ко всем!»…

Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорилась: «с их родными еще в прежние времена знакомство водила»… (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дяди. «Собственная мастерская была… Четырех мастериц держала… Все честь честью… Да вот – муж подкузьмил: умер!»). Словом, меня нет, – я: при…

Напившись-наевшись, наши два спутника, вместе с другими, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно и сбившего меня на эту поездку) – мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

* * *

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» – Второй сапог. – Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизиционный отряд с обыском пришел!»

Чирканье спички.

* * *

Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки… Рыщут всюду.

– Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

– Да мы… Да нешто у нас… Сынок! Отец! Отцом будь!

– Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные – на стене – тени красноармейцев.

* * *

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь Вдовствующей Императрицы).

* * *

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь – все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отравить. Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? «Царские» взяты – все потеряно. А расстреляют – все равно помирать!»

И, окончательно убедившись, пью.

* * *

В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

* * *

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей – семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет – тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать.

* * *

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады… (Знаменитая, по зверскости, расправа).

Уехали – не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

* * *

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях – лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) – маленькая (мизгирь!) наичернющая евреечка, «обожающая» золотые вещи и шелковые материи.

– Это у вас платиновые кольца?

– Нет, серебряные.

– Так зачем же вы носите?

– Люблю.

– А золотых у вас нет?

– Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно…

– Ах, что вы говорите! Золото, это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я, мысленно: «Как и всякая революция!»).

– А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь? О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами! Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает). – Мы могли бы устроить в некотором роде Austausch[3]. (Понижая голос): – Ведь у меня хорошенькие запасы… Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например, – можно свиное сало, если совсем белую муку – можно совсем белую муку.

Я, робко:

– Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена… И десять аршин розового ситцу…

Она, почти дерзко:

– А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно:

– Я не только золотые вещи оставила, но… детей!

Она, рассмешенная:

– Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети, это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): – Для детей есть приюты. Дети, это собственность нашей социалистической Коммуны…

(Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца») …

* * *

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше – владелица трикотажной мастерской в «Петрограде».

– Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне, – это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю. Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета – приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала… О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы… У Иоси был целый курильный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами… По случаю у одного фабриканта купили… И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы…

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали… Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имев такую квартиру…

* * *

– Но что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете?

– Да-а…

– А что вы читаете?

– «Капитал» Маркса, мне муж романов не дает.

* * *

С<танция> Усмань Тамбовской губ<ернии>, где я никогда не была и не буду. Тридцать верст пешком по стриженому полю, чтобы выменять ситец (розовый) на крупу.

* * *

Крестьяне.

Шестьдесят изб – одна порубка: «Нет, нет, ничего нету, и продавать – не продаем и менять – не меняем. Что было – то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться».

– Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У

меня спички, мыло, ситец…

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: «ситчику бы! на саван!»

И вот я, в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек, на коленях перед корзинкой – роюсь. Корзинка крохотная, – я вся налицо.

– А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин говоришь? Де-сять! И восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди – на зуб возьмут.

И вдруг, одна прорывается:

– Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик – а как шелк! Таковыми сборочками складными… Маманька, а маманька, взять, что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?

– Я на деньги не продаю.

– Не продае-ешь? Как ж эт так – не продаешь?

– А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоют.

– Да рази мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала: будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут.

– Поезжайте – увидите.

(Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи).

– Чего ж тебе надо-то?

– Пшена, сала.

– Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?

(Молниеносное видение себя, залитой протекшим медом, и от этого видения – почти гнев!).

– Нет, я хочу сала – или пшена.

– А почем, коли пшеном, за ситец кладешь-то? (Кстати, вовсе не ситец, а кровный редкостный карточный розовый ластик).

Я, сразу робея: 1/2 пуда (Учили – три!).

– Пол-пу-уда? Такой и цены нет. Что ж ситец-то у тебя шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри, как выстирается, весь водой сойдет.

– Сколько же вы даете?

– Твой товар – твоя цена.

– Я же сказала: полпуда.

Отлив. Шепота…

Разглядываю избу: все коричневое, точно бронзовое: потолки,

полы, лавки, котлы, столы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стену вросли, вернее – точно из них выросли. А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный! И сами шеи! И на всей этой коричневизне – последняя синь позднего бабьего лета. (Жестокое слово).

* * *

Шепота затягиваются, терпение натягивается – и лопается. Встаю – и, сухо:

– Что ж, берете или не берете?

– Вот, коли деньгами бы – тогда б еще можно. А то сама посуди, какой наш достаток?

Сгребаю свой (три куска мыла, пачка спичек, десять аршин сатину), затыкаю палочкой корзинку.

В дверях: «Счастливо!»

Двадцать шагов. Босые ноги вдогон.

– Купчиха, а купчиха?

Не останавливаясь:

– Ну?

– Хочешь семь хвунтов?

– Нет.

И дальше, пропустив от ярости пять изб, – в шестую.

* * *

Бывает и по-другому: сговорились, отсыпано, выложено и – в последнюю секунду: «А Бог тебя знает, откудова ты. Еще беды с тобой наживешь! И волоса стриженые… Иди себе подобру да поздорову… И ситца твоего не нужно»…

А бывает и так еще:

– Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на нас – дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливее, вам все от начальства идет. Ситец-то, чай, тоже даровой?

…Подари-ка нам коробок спиц, чтобы чем тебя, пришлую, помянуть было.

* * *

И даю, конечно. Из высокомерия, из брезгливости, так, как Христос не велел давать: прямой дорогой в ад – даю!

* * *

За возглас: «курочки ня нясутся!» готова передушить не только всех их кур, но их самих – всех! – до десятого колена. (Другого ответа не слышу).

* * *

Базар. Юбки – поросята – тыквы – петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и все в ожерельях.

Покупаю три деревянных игрушечных бабы, вцепляюсь в какую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, янтарь, и ухожу с ней с базару – ни с чем. Дорогой узнаю, что она «на Казанской погуляла с солдатом» – и вот… Ждет, конечно. Как вся Россия, впрочем.

Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком, девки: – «Барышня янтарь надела! Страм-то! Страм!»

* * *

Мытье пола у хамки.

– Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола, – знаете: поясница болит! Вы, наверное, с детства привыкли?

Молча глотаю слезы.

* * *

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем свои два яйца без хлеба (на реквизиционном пункте, в Тамбовской губ<ернии>)!

Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны огромный круг. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

* * *

Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей, – а стоило бы.

* * *

Теща: бывшая портниха, разудалая речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил – умер!»). Хам, коммунист с золотым слитком на шее; мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесках; подозрительные угрюмые мужики, чужой хлеб (продавать здесь на деньги – не хватит и коммунистической совести!).

Всячески пария: для хамки – «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама – «буржуйка», для тещи – «бывшие люди», для красноармейцев – гордая стриженая барышня. Годнее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастье к янтарю и пестрым юбкам – и одинаковая доброта: как колыбель.

* * *

«Господи! Убить того до смерти – у кого есть сахар и сало!» (Местная поговорка).

* * *

«Не было смирнее нашего города!» (Рассказ мужика по дороге в Усмань. – Не о всей ли России?).

* * *

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

* * *

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате.

Присутствующие, было – опустив, быстро отводят глаза.

* * *

С утра – на разбой. – «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» – Как в сказке. – Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно». «Продукты» – вольные, обеды – платные). Вина что-то незаметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа – дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте). Купцы, попы, деревенские кулаки… У того столько-то холста… У того кадушка топленого… У того царскими тысячу… А иной раз – просто петуха…

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

– Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго-сопротивлявшееся вызывает в нем любование.

– Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делю (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа – мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, mitten drinnen[4]. Разбойник, разбойникова жена – и я, разбойниковой жены – служанка. Конечно, может статься – выхвачу топор… А скорей всего, благополучно растряся свои 18 ф<унтов> пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню и тут же – без отдыши – выдышусь стихом!

* * *

Зовут на реквизицию. (Так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту)!

– Бросьте вы свои спички!.. Сколько у вас осталось коробочек? Как – целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая

непрактичная! Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется – даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевельнете!

И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»).

– Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами!

(Единственный, в этой семье, покупной «продукт»).

* * *

Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош – Наксос!) вот уже вторая неделя – ни слуху, ни духу.

У меня пока: 18 ф<унтов> пшена, 10 ф<унтов> муки, 3 ф<унта> свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.

* * *

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал – не помню. Помню только свой голос:

– Господа, если его нет – за что же вы его так ненавидите?

– А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?

– Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.

– Говорим, потому, что многие в эти пустяки еще верят.

– Я первая! Дурой родилась, дурой помру. (Это теща прорвалась).

Левит, снисходительно:

– Вы, мадам, это вполне объяснимое явление, все наши мамаши и папаши веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)… что товарищ в таком молодом возрасте и еще имев возможность пользоваться всеми культурными благами столицы…

Теща: – Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церквей одних сорок сороков, да монастырей, да…

Левит: – Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола

мы перельем на памятники. Я: – Марксу.

Острый взгляд: – Вот именно.

Я: – И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок, – Выдерживаю паузу).

…Как же, – вместе в песок играли: Каннегиссер Леонид.

– Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: – Еврей.

Левит, вскипая: – Ну, это к делу не относится!

Теща, не поняв: – Кого жиды убили?

Я: – Урицкого, начальника петербургской Чрезвычайки.

Теща: – И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: – Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: – Ну, значит свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся – сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: – Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: – А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно). – Ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: – И что же вы этим хотите доказать?

Я: – Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: – Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена Р. К. П., товарища Каплана.

Я: – Под портретом Маркса…

Левит: – И тем не менее вы…

Я: – И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: – А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: – Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: – Какое такое оскорбление?

Левит: – Вы изволили выразиться про идейную жертву – жид?!

Кузнецов: – Да вы, товарищ, потише, я сам член К<оммунисти>ческой партии, а что я жид сказал – у меня привычка такая!

Теща – Левиту: – Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь – «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается, – и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

– Хрисс – та – а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

– Так вы вот каких убеждений, мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите – Это и к вам, товарищ, относится! – Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды…

– И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет. Ишь – расходился! Вот только змеем шипеть! Пятьдесят лет живу, – такого страма…

Хозяйка: – Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите…

Сваха, отмахиваясь: – И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша – были у нас хлеб да каша[5], а теперь за кашей за этой – прости Господи! – как пес язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем…

Кто-то из солдат: – Николаша да каша? Эх вы, мамаша!.. А не пора ли нам ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо.

* * *

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

* * *

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелкости. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз.

– Разин! – Не я сказала: сердце вызвонило! (Сердце! Колокол! Только вот звонарей нет!).

Оговорюсь: мой Разин (песенный) белокур, – с рыжевцой белокур. (Кстати, глупое упразднение буквы д: белокудр, белые кудри: и буйно и бело. А белокур – что? Белые куры? Какое-то бесхвостое слово!). Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само: Степан! Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А: Ра – зин! Заря, разлив, – рази, Разин! Где просторно, там не черно. Чернота – гуща.

Разин – до бороды, но уже с тысячей персияночек! И сразу рванулся ко мне, взликовал[6]:

– Из Москвы, товарищ? Как же, как же, Москву знаю! С самых этих семи холмов Москву озирал! Еще махонький был, стих про Москву учил:

Город славный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы…

Москва – всем городам мать. С Москвы все и пошло – царство-то.

Я: – Москвой и кончилось.

Он, сообразив и рассмеявшись: – Это вы верно заметили.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова,
Запро-па-ща-я!

Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел это Иван-Великий-Колокол – да в ответ-то ему – да кажинная на свой голос-то – да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл – уж и не знаю: чугун ли гудит, во мне ли гудет. Как в уме порешился. – Ей-Богу! Никогда мне того не забыть.

Говорим что-то о церквах, о монастырях.

– Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми – иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи затем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию, – ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог – свет: всю твою черноту пропущает. Ни он от тебя черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя бы отец мой, к примеру, – как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий хвост, нашкодил – Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за

поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтили, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто первый вор? – Поп. Обжора? – Поп. Гулена? – Поп. А напьется, – только вот разве – барышни вы, объяснить-то вам неприлично…

– Ну а монахи, отшельники?

– А про монахов и говорить нечего, чай, сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку: ничего, окромя копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

– А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

– Да сам, признаться, не читал, – все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня – великий церковник. (Вдохновляясь): Где эту самую Библию ни открой – так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит…

А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: «Да как же на тебя, голубчик, не…»

Он, разгораясь:

– Жмется, мнется, глаза как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная – в монастырь не иди, а моленная – глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: «Морализирующий Разин». (Вслух):

– Вы мне лучше про отца расскажите.

– О-тец! Отец у меня – великий человек! Что там – в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя – язык занозишь, а отечества нету. Три тыщи лет назад – да за семью за синими морями – тридевять земель пройдешь – в тридесятой, – это не хитро великим быть! А может так, выдумки одни? Этот-то (взмах на стенного Маркса)… гривач косматый – вправду был?

Я, не сморгнув: – Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина – знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду – гриву распушили, по всем заборам расклеили.

– А вы, барышня, смелая будете.

– Как и вы.

(Смеется).

…Но вы мне про отца рассказать хотели?

– Отец. Отец мой – околоточный надзиратель царского

времени (Я, мысленно: точно за царским временем надзирает!)… Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да денницы… Аж мороз по коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит – и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос)… Все судьбы знает. Все сроки. Все кому что положено, кому что заказано, никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром, что царя-то вровень с Богом чтил. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей – она, змеиной кожей и свалится»… Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показывает, ни мне даже… Только вот знаю: «Слезы». Каждую ночь до петухов сидит.

* * *

Два Георгия, спас знамя.

– Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

– А ничего не чувствовал! Есть знамя – есть полк, нет знамени – нет полка!

Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб<лей>. Грабил банк в Одессе, – «полные карманы золота»! Служил в полку Наследника.

– Выходит он из вагона: худенький, хорошенький, и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» – «Вас автомобиль ждет. Ваше высочество». Многие солдаты плакали.

* * *

Говорю ему стихи: «Царю на Пасху», «Кровных коней»…

– Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило· —…Пойла – стойла… А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю – не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер, – вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

– Попадетесь.

– Я?!! – Рожа из вдохновенной делается грабительской. Я – да

попасться? Нерожён еще пропад тот, через который я пропасть должен! Нерожён – непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо (руки по карманам)! Хотите – сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) – по разинскому!

– А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.

Ветры спать ушли с золотой зарей,

Ночь подходит – каменною горой.

И с своей княжною…

Говорю, как утопающий, – нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся (Говорящая рыба… Гм… Впрочем, в сказках бывает).

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов – этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!)). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин!

* * *

Стенька Разин, я не персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я до-русская, до-татарская, – довременная Русь я – тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер – хочешь? где сквозь дыру – самая большая звезда.

Но…

– Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю.

С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).

– Дэ… мэ… А вот и ять, – аккурат церковка с куполом.

– А вы сам деревенский?

– Слободский!

* * *

– А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу – про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом, – отец сказывал.

Будто есть где-то в нашей русской земле озеро, а на дне озера

того – город схоронен: с церквами – с башнями, с базарами – с амбарами (Внезапная усмешка). А каланчи пожарной – не надо: кто затонул – тому не гореть! И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать: чиста злата крестами, чиста сéребра колоколами, честной крови-плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом, клонятся: ключми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь – непоклонлив был: «Не выдам я своей святыни – пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам я своей. Помоги – отрубите мне руки и ноги! Слышит – уж недалече рать: топота великие». Созывает он всех звонарей городских, велит им изо всей силы-мочи напоследок, в кол'кола взыграть: татарам на омерзение, Господу Богу на прославление. Ну – и постарались тут звонарики! Меня вот только, молодца, не было… Как вдарят! Как грянут! Аж вся грудь земная – дрогом пошла!

И поструились, с того звону, реки чиста-серебра: чем пуще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду ни пройти-ни проехать, одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только Князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ – другие звоны пошли: рати поганые подступают, кривыми саблями бряцают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку – вода по грудь – стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром текет. Смотрит: под воротами-то тьмы! Да как зыкнет тут не своим голосом:

– Эй вы, звонарики-сударики!

Только чего сказать-то он им хотел – никто не слыхал! И городу того боле – никто не видал!

Ворвались татары в ворота – ровень-гладь. Одни струйки меленькие похлипывают…

Так и затонул тот город в собственном звоне.

* * *

Стенька Разин, я не Персияночка, но перстенек на память – серебряный – я Вам подарю.

Глядите: двуглавый орел, вздыбивший крылья, проще: царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук: формы, ногтей, «породы». Ты понимаешь ладонь (тепло) и пальцы (хватку). Рукопожатие ты поймешь.

Перстенек бери без думы: было десять – девять осталось! А что в ответ? Никогда ничего в ответ.

С безымянного моего – на мизинный твой.

Но не дам я его тебе, как даю: ты – озорь! Будет с тебя «памяти о царском времени». Шатры и костры – при мне.

* * *

– А вот у меня еще с собой книжечка о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая, – в ней весь московский звон!

(«Москва», изд<ание> Универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели и поэты о Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз. – Сокровищница!).

* * *

– Ну а как в Москве буду – навестить можно? Я даже имени-отечества вашего не спросил.

Я, мысленно: «Зачем?!» (Вслух): – Дайте книжечку, запишу[7].

* * *

Потом на крыльце провожаю – пока глаз и пока души…

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

* * *

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

– М<арина> И<вановна>, сматывайтесь – и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы, черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась (тещу-то Колька вывезет!). Обе, обе, орет, – одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне – так уж безо всяких: – «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь». – Такие дела!

А еще знаете, другое удовольствие: ночью проснулся – разговор. Черт этот – еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет… Три деревни точно… Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж – Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: – Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: – И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита – Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыпной пункт – понимаете?

– Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

– С нами едет, – мать будто проводить. Не вернется. Ну, М<арина> И<вановна>, за дело: вещи складывать!

…И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

* * *

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую – сало, пшено, кукол (янтарь, как надела, так не сняла), в квадратную – полпуда N и свои 10 ф<унтов>. В общем, около 2 п<удов>. Беру на вес – вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

– Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

– Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст)!

– Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

– Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

– Ах, и в опере?

– Да, еще бы: бас. Первый после Шаляпина (Подумав):

…Но он и тенором может.

– Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем…

– Ах, пожалуйста, – во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

– В Крем…?!

– Да, да, на всех кремлевских раутах. («Интимно»): Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после

трудов. Все эти расправы и расстрелы…

Она: – Ах, разумеется! Кто же обвинит? Человек – не жертва, надо же и для себя… И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: – Деньгами – нет, товаром – да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе – шелка, в Архангельском (вдохновляясь): меха и бриллианты…

– А-ах! (Внезапно усумнившись): – Но зачем же вы, товарищ, и в таком виде, в эту некультурную провинцию? И своими ногами 10 коробочек спичек разносите?

Я, пушечным выстрелом в ухо: – Тайная командировка!

(Подскок. Глоток воздуха и, оправившись):

– Так значит вы, маленькая плутовка, так-таки кое-что, а? Маленький запасец, а? Я, снисходительно:

– Приезжайте в Москву, дело сделаем. Нельзя же здесь, на реквизиционном пункте, где все для других живут…

Она:

– О, вы абсолютно правы! – И рискованно. – А ваш адресок вы мне все-таки на память, а? Мы с Иосей непременно, и в возможно скором времени…

Я, покровительственно:

– Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня не то, чтобы груды, а все-таки…

Она, в горячке:

– И по сходной цене уступите?

Я, царственно: – По своей.

(Крохотными цепкими руками хватая мои руки):

– Вы мне, может быть, запишете свой адресок?

Я, диктуя: – Москва, Лобное место, – это площадь такая, где царей казнят – Брутова улица, переулок Троцкого.

– Ах, уже и такой есть?

Я: – Новый, только что пробит. (Стыдливо): Только дом не очень хорош: № 13, и квартира – представьте – тоже 13! Некоторые даже опасаются.

Она: – Ах, мы с Иосей выше предрассудков. Скажите, и недалеко от центра?

– В самом Центре: три шага – и Совет.

– Ах, как приятно…

Приход тещи кладет конец нашим приятностям.

Последняя секунда. Прощаемся.

– Если б Иося только знал! Он будет в отчаянии! Он бы собственноручно проводил вас. Подумайте, такое знакомство!

– Встретимся, встретимся.

– И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим желанием сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обедают

приезжие, русские, – надо блины готовить на семь персон. Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низких интересов.

Произношу слова благодарности, почтительно, с оттенком галантности, жму руку.

– Итак, помните, мой скромный дом, как и я сама и муж, – всегда к вашим услугам. Только непременно известите, чтобы на вокзале встретили.

Она: – О, Иося даст служебную телеграмму.

* * *

Теща на воле:

– М<арина> И<вановна>, что это вы с ней так слюбились? Неужели ж и адрес дали плюгавке этой?

– Как же! Чертова площадь. Бесов переулок, ищи ветра в поле!

(Смеемся).

* * *

Дорога.

Смеется, да не очень. До станции три версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки – по колено. Помощь N отвергаю, – человека из-за мешков не видно! Тригорбый верблюд.

Иду – скриплю. Скрипит и корзинка – правая: гнусное, на каждом шагу, поскрипывание. Около 1 п<уда>. Как бы ручка не оторвалась! (О, идиотизм: за мукой – с корзинами! Мука, которая рифмует только с одним: мешок! В этих корзинках – вся русская интеллигенция)! Нужно думать о чем-нибудь другом. Нужно понять, что все это – сон. Ведь во сне наоборот, значит… Да, но у сна есть свои сюрпризы: ручка может отвалиться… вместе с рукой. Или: в корзине вместо муки может оказаться… нет, похуже песка: полное собрание сочинений Стеклова! И не вправе негодовать: сон. (Не оттого ли я так мало негодую в Революции)?

– Да подождите же, говорят! Мешок прорвался! Корзины наземь. Бегу на зов. Посреди дороги, над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное лицо.

– Ну булавка-то у вас хоть есть – аглицкая? Сколько я, на вашу тетушку шимши, иголок изломала!

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно-струящийся мешок. Теща охает:

– И иголка была с ниткой, нарочно приготовила! Чуяло мое сердце! (Мешку): – Ах ты подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись, и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой – глаза выколола!

– Завтра, завтра, мамаша! – торопит Колька – нынче на поезд надо!

Взвалили, пошли.

* * *

…Детская книжка есть: «Во сне все возможно», и у Кальдерона еще: «Жизнь есть сон». А у какого-то очаровательного англичанина, не Бердслея, но вроде, такое изречение: «Я ложусь спать исключительно для того, чтобы видеть сны». Это он о снах на заказ, о тех снах, где подсказываешь. Ну, сон, снись! Снись, сон, так: телеграфные столбы – охрана, они сопутствуют. В корзине не мука, а золото (награбила у этих). Несу его тем. А под золотом, на самом дне, план расположения всех красных войск. Иду десятый день, уж скоро Дон. Телеграфные столбы сопутствуют. Телеграфные столбы ведут меня к –

– Ну, М<арина> И<вановна>, крепитесь! С полверсты осталось!

* * *

А руки у меня, действительно, до колен, особенно правая. Пот льется, щекоча виски. Все боковые волосы смочены. Не утираю: рука, железка корзины, повторный удар по ноге – одно. Расплетется – конец. Когда больно – нельзя заново.

* * *

Так или иначе – станция.

* * *

Станция.

Станция. Серо и волнисто. Земля – как небо на батальных картинах. Издалека пугаюсь, спутника за руку.

– Что?!

N, с усмешкой: – Люди, Марина Ивановна, ждут посадки.

Подходим ближе: мешочные холмы и волны, в промежутках вздохи, платки, спины. Мужчин почти нет: быт Революции, как всякий, ложится на женщину: тогда – снопами, сейчас мешками (Быт, это мешок: дырявый. И все равно несешь).

Недоверчивые обороты голов в нашу сторону.

– Господа!

– Москву объели, деревню объедать пришли!

– Ишь натаскали добра крестьянского!

Я – N: – Отойдем!

Он, смеясь: – Что вы, М<арина> И<вановна>, то ли будет!

Холодею, в сознании: правоты – их и неправоты – своей.

* * *

Платформа живая. Ступить – некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками, – мешки на людях. (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб!). И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи… Морщины, овчины… Не мужики и не бабы: медведи: оно.

* * *

– Последние пришли, первые сядут.

– Господа и в рай первые…

– Погляди, сядут, а мы останемся…

– Вторую неделю под небушком ночуем… У-у-у…

* * *

Посадка.

Поезд. – Одновременно, как из-под земли: двенадцать с винтовками. Наши! В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

– Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся – адем! Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны – завалы. А навстречу завалам вагонным – ревуще, вопиюще, взывающе и глаголюще – завалы платформенные.

– Ребенка задавили! Ре – бенка! Ре –

Лежачая волна – дыбом. Горизонталь – в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Вваливаются.

Я – через всех – Разину:

– Ну? Ну?

– Ус – пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

– Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет…

– А это что ж, а? Это что ж за птицы – за синицы? Штыка – ами? Крестьянского добра награбили да по живому человеку ступа – ать?

– А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пущай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя). Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где – не знаю. Потом найду.

А гроза голосов растет.

– Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства Небесного какого… А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи то же самое, что пробку из штофа без штопора: немыслимо. Мне быть выброшенной – другим раздаться. А раздаться – разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше – некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным, совместным человеческим дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, коленом сращенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной сплоченности – полное ощущение потери тела. Я, это то, что движется. Тело, в столбняке – оно. Теплушка: вынужденный столбняк.

– Господа – а – а… О – о – о… У – у – у…

Но… нога: ведь нет же! Беспокойство (раздраженное) о ноге покрывает смысл угроз. Нога – раньше… Вот, когда найду ногу… И, о радость: находится! Что-то – где-то болит. Прислушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко… Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие…

Рев: – Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно) – моя насущная праведная вторая нога.

* * *

И – внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит! Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ<ернии> – последний привет!

Москва, сентябрь, 1918

Мои службы

Пролог

Москва, 11-го ноября 1918 г.

– Марина Ивановна, хотите службу? Это мой квартирант влетел. Икс, коммунист, кротчайший и жарчайший.

– Есть, видите ли, две: в банке и в Наркомнаце… и, собственно говоря (прищелкивание пальцами)… я бы, со своей стороны, вам рекомендовал…

– Но что там нужно делать? Я ведь ничего не умею.

– Ах, все так говорят!

– Все так говорят, я так делаю.

– Словом, как вы найдете нужным! Первая – на Никольской, вторая здесь, в здании первой Чрезвычайки.

– Я: —?! –

Он, уязвленный: – Не беспокойтесь! Никто вас расстреливать не заставит. Вы только будете переписывать.

Я: – Расстрелянных переписывать?

Он, раздраженно: – Ах, вы не хотите понять! Точно я вас в Чрезвычайку приглашаю! Там такие, как вы, и не нужны…

Я: – Вредны.

Он: – Это дом Чрезвычайки, Чрезвычайка ушла. Вы наверное знаете, на углу Поварской и Кудринской, у Льва Толстого еще… (щелк пальцами)… дом…

Я: – Дом Ростовых? Согласна. А учреждение как называется?

Он: – Наркомнац. Народный Комиссариат по делам национальностей.

Я: – Какие же национальности, когда Интернационал?

Он, почти хвастливо: – О, больше, чем в царские времена, уверяю вас!.. Так вот. Информационный отдел при Комиссариате. Если вы согласны, я сегодня же переговорю с заведующим. (Внезапно усомнившись:) – Хотя, собственно говоря…

Я: – Постойте, а это не против белых что-нибудь? Вы понимаете…

Он: – Нет, нет, это чисто механическое. Только, должен предупредить, пайка нет.

Я: – Конечно, нет. Разве в приличных учреждениях?..

Он: – Но будут поездки, может быть, повысят ставки… А в банк вы решительно отказываетесь? Потому что в банке…

Я: – Но я не умею считать.

Он, задумчиво: – А Аля умеет[8]?

Я: – И Аля не умеет.

Он: – Да, тогда с банком безнадежно… Как вы называете этот дом?

Я: – Дом Ростовых.

Он: – Может быть, у вас есть «Война и мир»? Я бы с удовольствием… Хотя, собственно говоря…

Уже лечу, сломя голову, вниз по лестнице. Темный коридор, бывшая столовая, еще темный коридор, бывшая детская, шкаф со львами… Выхватываю первый том «Войны и мира», роняю по соседству второй том, заглядываю, забываю, забываюсь…

* * *

– Марина, а Икс ушел! Сейчас же после вашего ухода! Он сказал, что он на ночь читает три газеты и еще одну легкую газетку, и что «Войну и мир» не успеет. И чтобы вы завтра позвонили ему в банк, в 9 часов. А еще, Марина (блаженное лицо), он подарил мне четыре куска сахара и кусок – вы только подумайте – белого хлеба!

Выкладывает.

– А что-нибудь еще говорил, Алечка?

– Постойте… (наморщивает брови)… да, да, да! Са-бо-таж… И еще спрашивал про папу, нет ли писем. И такое лицо, Марина, сделал… гримасное! Точно нарочно хотел рассердиться…

* * *

13-го ноября (хорош день для начала!). Поварская, дом гр. Соллогуба, «Информационный отдел Комиссариата по делам Национальностей».

Латыши, евреи, грузины, эстонцы, «мусульмане», какие-то «Мара-Мара», «Эн-Дунья», – и все это, мужчины и женщины, в куцавейках, с нечеловеческими (национальными) носами и ртами.

А я-то, всегда чувствовавшая себя недостойной этих очагов

(усыпальниц!) Рода.

(Говорю о домах с колонистами и о своей робости перед ними).

* * *

14-го ноября, второй день службы.

Странная служба! Приходишь, упираешься локтями в стол (кулаками в скулы) и ломаешь себе голову: чем бы таким заняться, чтобы время прошло? Когда я прошу у заведующего работы, я замечаю в нем злобу.

* * *

Пишу в розовой зале, – розовой сплошь. Мраморные ниши окон, две огромных завешенных люстры. Мелкие вещи (вроде мебели!) исчезли.

* * *

15-го ноября, третий день службы.

Составляю архив газетных вырезок, то есть: излагаю своими словами Стеклова, Керженцева, отчеты о военнопленных, продвижение Красной Армии и т. д. Излагаю раз, излагаю два (переписываю с «журнала газетных вырезок» на «карточки»), потом наклеиваю эти вырезки на огромные листы. Газеты тонкие, шрифт еле заметный, а еще надписи лиловым карандашом, а еще клей, – это совершенно бесполезно и рассыпется в прах еще раньше, чем сожгут.

Здесь есть столы: эстонский, латышский, финляндский, молдаванский, мусульманский, еврейский и несколько совсем нечленораздельных. Каждый стол с утра получает свою порцию вырезок, которую затем, в течение всего дня, и обрабатывает. Мне все эти вырезки, подклейки и наклейки представляются в виде бесконечных и исхищреннейших вариаций на одну и ту же, очень скудную тему. Точно у композитора хватило пороху ровно на одну музыкальную фразу, а исписать нужно было стоп тридцать нотной бумаги, – вот и варьирует: варьируем.

Забыла еще столы польский и бессарабский. Я, не без основания, «русский» (помощник не то секретаря, не то заведующего).

Каждый стол – чудовищен.

Слева от меня – две грязных унылых еврейки, вроде селедок, вне возраста. Дальше: красная, белокурая – тоже страшная, как человек, ставший колбасой, – латышка: «Я эфо знала, такой миленький. Он уцастфофал в загофоре и эфо теперь пригофорили к расстрелу. Чик-чик»… И возбужденно хихикает. В красной шали. Ярко-розовый жирный вырез шеи.

Еврейка говорит: «Псков взят!» У меня мучительная надежда: «Кем?!!»[9] Справа от меня – двое (Восточный стол). У одного нос и нет подбородка, у другого подбородок и нет носа. (Кто Абхазия и кто Азербайджан)? За мной семнадцатилетнее дитя – розовая, здоровая, курчавая (белый негр), легко-мыслящая и легко-любящая, живая Атенаис из «Боги жаждут» Франса, – та, что так тщательно оправляла юбки в роковой тележке, – «fière de mourir comme une Reine de France»[10].

Еще – тип институтской классной дамы («завзятая театралка»), еще – жирная дородная армянка (грудь прямо в подбородок, не понять: где что), еще ублюдок в студенческом, еще эстонский врач, сонный и пьяный от рождения… Еще (разновидность!) – унылая латышка, вся обсосанная. Еще…

* * *

(Пишу на службе).

Опечатка:

«Если бы иностранные правительства оставили в помое русский народ» и т. д.

«Вестник Бедноты», 27-го ноября, № 32.

Я, на полях: «Не беспокойтесь! Постоят-постоят – и оставят!»

* * *

Пересказываю, по долгу службы, своими словами, какую-то газетную вырезку о необходимости, на вокзалах, дежурства грамотных:

«На вокзалах денно и нощно должны дежурить грамотные, дабы разъяснять приезжающим и отъезжающим разницу между старым строем и новым».

Разница между старым строем и новым:

Старый строй: – «А у нас солдат был»… «А у нас блины пекли»… «А у нас бабушка умерла».

Солдаты приходят, бабушки умирают, только вот блинов не

пекут.

* * *

Встреча.

Бегу в Комиссариат. Нужно быть к девяти, – уже одиннадцать: стояла за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным на Арбате.

Передо мной дама: рваная, худенькая, с кошелкой. Равняюсь. Кошелка тяжелая, плечо перекосилось, чувствую напряжение руки.

– Простите, сударыня. Может быть, вам помочь?

Испуганный взлет:

– Да нет…

– Я с удовольствием понесу, вы не бойтесь, мы рядом пойдем.

Уступает. Кошелка, действительно, чертова.

– Вам далеко?

– В Бутырки, передачу несу.

– Давно сидит?

– Который месяц.

– Ручателей нет?

– Вся Москва – ручатели, потому и не выпускают.

– Молодой?

– Нет, пожилой… Вы, может быть, слышали? Бывший градоначальник, Д<жунков>ский.

* * *

С Д<жунков>ским у меня была такая встреча. Мне было пятнадцать лет, я была дерзка. Асе[11] было тринадцать лет, и она была нагла. Сидим в гостях у одной взрослой приятельницы. Много народу. Тут же отец. Вдруг звонок: Д<жунков>ский. (И ответный звонок: «Ну, Д<жунков>ский, держись!»). Знакомимся. Мил, обаятелен. Меня принимает за взрослую, спрашивает, люблю ли я музыку. И отец, памятуя мое допотопное вундеркиндство:

– Как же, как же, она у нас с пяти лет играет! Д<жунков>ский, любезно:

– Может быть, сыграете? Я, ломаясь:

– Я так все перезабыла… Боюсь, вы будете разочарованы… Учтивость Д<жунков>ского, уговоры гостей, настойчивость отца, испуг приятельницы, мое согласие.

– Только разрешите, для храбрости, сначала с сестрой в четыре руки?

– О, пожалуйста.

Подхожу к Асе и, шепотом на своем языке:

– Wi (pi) rwe (pe) rde (pe) nTo (po) nlei (pei) te (pe) r spi (pi)…

Ася не выдерживает.

Отец: – Что это вы там, плутовки?

Я – Асе: «Гаммы наоборот!»

Отцу:

– Это Ася стесняется.

* * *

Начинаем. У меня: в правой руке ре, в левой до (я в басах). У Аси – в левой руке ре, в правой до. Идем навстречу (я слева направо, она справа налево). При каждой ноте громогласный двуголосный счет; раз и, два и, три и… Гробовое молчание. Секунд через десять неуверенный голос отца:

– Что это вы, господа, так монотонно? Вы бы что-нибудь поживее выбрали.

В два голоса, не останавливаясь:

– Это только сначала так.

* * *

Наконец, моя правая и Асина левая – встретились. Встаем с веселыми лицами. Отец – Д<жунков>скому: «Ну, как вы находите?» И Д<жунков>ский, в свою очередь вставая: «Благодарю вас, очень отчетливо».

Рассказываю. По ее просьбе называю себя. Смеемся.

– О, он не только к шуткам был снисходителен. Вся Москва… На углу Садовой прощаемся. Снова под тяжестью кошелки перекашивается плечо.

– Ваш батюшка умер?

– До войны.

– Уж и не знаешь, жалеть или завидовать.

– Жить. И стараться, чтобы другие жили. Дай вам Бог!

– Спасибо. И Вам.

* * *

Институт.

Думала ли я когда-нибудь, что после стольких школ, пансионов и гимназий, буду отдана еще и в Институт?! Ибо я в Институте, и именно отдана (Иксом).

Прихожу между 11 ч. и 12 ч., каждый раз сердце обмирает: у нас с Заведующим одни привычки (министерские!). Это я о главном Заведующем, – М<илле>ре, своего собственного, Иванова, пишу с маленькой буквы.

Раз встретились у вешалки, – ничего. Поляк: любезен. А я по бабушке ведь тоже полячка.

Но страшнее заведующего – швейцары. Прежние. Кажется, презирают. Во всяком случае, первые не здороваются, а я стесняюсь. После швейцаров главная забота не спутаться в комнатах. (Мой идиотизм на места). Спрашивать стыдно, второй месяц служу. В передней огромные истуканы-рыцари. Оставлены за ненужностью… никому, кроме меня. Но мне нужны, равно как я, единственная из всех здесь, им сродни. Взглядом прошу защиты. Из-под забрала отвечают. Если никто не смотрит, тихонько глажу кованую ногу. (Втрое выше меня).

Зала.

Вхожу, нелепая и робкая. В мужской мышиной фуфайке, как мышь. Я хуже всех здесь одета, и это не ободряет. Башмаки на веревках. Может быть, даже есть где-нибудь шнурки, но… кому это нужно?

Самое главное: с первой секунды Революции понять: Всё пропало! Тогда – всё легко.

Прокрадываюсь. Заведующий (собственный, маленький) с места:

– Что, товарищ Эфрон, в очереди стояли? – В трех. – А что выдавали? – Ничего не выдавали, соль выдавали. – Да, соль это тебе не сахар!

Ворох вырезок. Есть с простыню, есть в строчку. Выискиваю про белогвардейцев. Перо скрипит. Печка потрескивает.

– Товарищ Эфрон, а у нас нынче на обед конина. Советую записаться.

– Денег нет. А вы записались?

– Какое!

– Ну что ж, будем тогда чай пить. Вам принести?

* * *

Коридоры пусты и чисты. Из дверей щелк машинок. Розовые стены, в окне колонны и снег. Мой розовый райский дворянский

Институт! Покружив, набредаю на спуск в кухню: схождение Богородицы в ад или Орфея в Аид. Каменные, человеческой ногой протертые плиты. Отлого, держаться не за что, ступени косят и крутят, в одном месте летят стремглав. Ну и поработали же крепостные ноги! И подумать только, что в домашней самодельной обуви! Как зубами изгрызены! Да, зуб, единственного зубастого старца: Хроноса – зуб!

Наташа Ростова! Вы сюда не ходили? Моя бальная Психея! Почему не вы – потом, когда-то – встретили Пушкина? Ведь имя то же! Историкам литературы и переучиваться бы не пришлось. Пушкин – вместо Пьера и Парнас – вместо пленок. Стать богиней плодородия, быв Психеей, – Наташа Ростова – не грех?

Это было бы так. Он приехал бы в гости. Вы, наслышанная про поэта и арапа, востроватым личиком вынырнули бы – и чем-то насмешенная, и чем-то уже пронзенная… Ах, взмах розового платья о колонну!

Захлестнута колонна райской пеной! И ваша – Афродиты, Наташи, Психеи – по крепостным скользящим плитам – лирическая стопа!

– Впрочем, вы просто по ним пролетали за хлебом на кухню!

* * *

Но всему конец: и Наташе, и крепостному праву, и лестнице. (Говорят, что когда-нибудь и Времени)! Кстати, лестница не так длинна, – всего двадцать две ступеньки. Это я только по ней так долго (1818 г. – 1918 г.) шла.

Твердо. (Хочется сказать: твердь. Моложе была и монархия была – не понимала: почему небесная твердь. Революция и собственная душа научили). Выбоины, провалы, обвалы. Расставленные руки нащупывают мокрые стены. Над головой, совсем близко, свод. Пахнет сыростью и Бониваром. Мнится, и цепи лязгают. Ах, нет, это звон кастрюлек из кухни! Иду на фонарь.

* * *

Кухня: жерло. Так жарко и красно, что ясно: ад. Огромная, в три сажени, плита исходит огнем и пеной. «Котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят козла зарезать»… А козел-то я.

Черед к чайнику. Черпают уполовником прямо из котла. Чай древесный, кто говорит из коры, кто из почек, я просто вру – из

корней. Не стекло – ожог. Наливаю два стакана. Обертываю в полы фуфайки. На пороге коротким движением ноздрей втягиваю конину: сидеть мне здесь нельзя, – у меня нет друзей.

* * *

– Ну-с, товарищ Эфрон, теперь и побездельничать можно! (Это я пришла со стаканами).

– Вам с сахарином или без?

– Валите с сахарином!

– Говорят, на почки действует. А я, знаете…

…Да и я, знаете…

Мой заведующий эсперантист (т. е. коммунист от Филологии). Рязанский эсперантист. Когда говорит об Эсперанто, в глазах теплится тихое безумие. Глаза светлые и маленькие, как у старых святых, или еще у Пана в Третьяковской галерее. Сквозные. Чуть блудливые. Но не плотским блудом, а другим каким-то, если бы не дикость созвучия, я бы сказала: запредельным. (Если можно любить Вечность, то ведь можно и блудить с нею! И блудящих с нею (словесников!) больше, нежели безмолвствующих любящих)!

Рус. Что-то возле носа и подбородка. Лицо одутлое, непроспанное. Думаю, пьяница.

Пишет по-новому, – в ожидании всемирного эсперанто. Политических убеждений не имеет. Здесь, где все коммунисты, и это благо. Красного от белого не отличает. Правой от левой не отличает. Мужчин от женщин не отличает. Поэтому его товариществование совершенно искренно, и я ему охотно плачу тем же. После службы ходит куда-то на Тверскую, где с левой стороны (если спускаться к Охотному) эсперантский магазин. Магазин закрыли, витрина осталась: засиженные мухами открытки эсперантистов друг к другу со всех концов света. Смотрит и вожделеет. Здесь служит, потому что обширное поле для пропаганды: все нации. Но уже начинает разочаровываться.

– Боюсь, товарищ Эфрон, что здесь все больше… (шепотом) жиды, жиды и латыши. Не стоило и поступать: этого добра – вся Москва полна! Я рассчитывал на китайцев, на индусов. Говорят, что индусы очень восприимчивы к чужой культуре.

Я: – Это не индусы, это – индейцы.

Он: – Краснокожие?

Я: – Да, с перьями. Зарежут – и воспримут целиком. Если ты во френче – с френчем, если ты во фраке – с фраком. А индусы – наоборот: страшная тупость. Ничто чужое в глотку не идет, ни

идейное, ни продовольственное. (Вдохновляясь:) – Хотите формулу? Индеец (европейца) воспринимает, индус (Европу) извергает. И хорошо делают.

Он, смущенный:

– Ну, это вы… Я, впрочем… Я больше от коммунистов слыхал, они тоже рассчитывают на Индию… (В свою очередь вдохновляясь:) – Думал – в лоск разэсперанчу! (Опадая:) – Без пайка – и ни одного индуса! Ни одного негра! Ни одного китайца даже!.. А эти (круговой взгляд на пустую залу) – и слушать не хотят! Я им: Эсперанто, они мне: Интернационал! (Испугавшись собственного крика:) – Я ничего не имею против, но сначала Эсперанто, а потом уж… Сначала слово…

Я, впадая:

– А потом дело. Конечно. Сначала бе слово и слово бе…

Он, снова взрываясь:

– И этот Мара-Мара! Что это такое? Откуда взялось? Я от него еще – не только слова: звука не слыхал! Это просто немой. Или идиот. Ни одной вырезки не получает – только жалованье. Да мне не жаль. Бог с ним, но зачем приходит? Ведь каждый день, дурак, приходит! До четырех, дурак, сидит. Приходил бы 20-го, к получке.

Я, коварно:

– А может быть, он, бедненький, все надеется? Приду, а на столе вырезка про мою Мару-Мару?

Он, раздраженно:

– Ах, товарищ Эфрон, бросьте! Какие там вырезки? Кто про эту Мару-Мару писать будет? Где она? Что она? Кому она нужна?

Я, задумчиво:

– А в географии ее нет… (Пауза). И в истории нет… А что, если ее вообще нет? Взяли и выдумали, – для форсу. Дескать, все нации. А этого нарядили… А это просто немой… (конфиденциально:) – Нарочно немого взяли, чтоб себя не выдал, по-русски…

Он, с содроганием доглатывая остывший чай:

– А чччёрт их знает!

* * *

Топота́ и грохота́. Это национальности возвращаются с кормежки. Подкрепившись кониной, за вырезки. (Лучше бы вырезку, а? Кстати, до революции, руку на сердце положа, не только не отличала вырезку от требухи, – крупы от муки не отличала! И ничуть не жалею).

Товарищ Иванов, озабоченно: – Товарищ Эфрон, товарищ М<илле>р может зайти, спровадим-ка поскорей наше барахло. (Разгребает:) – «Продвижение Красной Армии»… Стеклова статья… «Ликвидация безграмотности»… «Долой белогвардейскую свол…» – Это вам – «Буржуазия орудует»… Опять вам… «Все на красный фронт»… Мне… «Обращение Троцкого к войскам»… Мне… «Белоподкладочники и белогвар…»… Вам… «Приспешники Колчака»… Вам… «Зверства белых»… Вам…

Потопаю в белизне. Под локтем – Мамонтов, на коленях – Деникин, у сердца – Колчак.

– Здравствуй, моя «белогвардейская сволочь»! Строчу со страстью.

– Да что же вы, товарищ Эфрон, не кончаете? Газету, №, число, кто, о чем, – никаких подробностей! Я сначала было тоже так – полотнищами, да М<илле>р наставил: бумаги много изводите.

– А М<илле>р верит?

– Во что?

– Во всё это.

– Да что тут верить! Строчи, вырезай, клей…

– И в Лету – бух! Как у Пушкина.

– А М<илле>р очень образованный человек, я все еще не потерял надежду…

– Представьте, мне тоже кажется! Я с ним недавно встретилась у виселицы… фу ты, Господи! – У вешалки: все эти «белогвардейские зверства» в голове… Четверть первого! Ничего, даже как-то умно поглядел… Так вы надеетесь?

– Как-нибудь вечерком непременно затащу его в клуб эсперантистов.

– Аспирант в эсперанты?

> Espère, enfant, demain! Et puis demain, encore..
> Et puis toujours demain… Croyons en l'avenir.
> Espère! Et chaque fois que se lève l'aurore
> Soyons là pour prier comme Dieu pour nous bénir
> Peut-être…[12]

Ламартина стих. Вы понимаете по-французски?

– Нет, но представьте себе, очень приятно слушать. Ах, какой бы из вас, товарищ Эфрон, эсперантист…

– Тогда я еще скажу. Я в 6-ом классе об этом сочинение писала:

«A une jeune fille qui avait raconté son rêve».
Un baiser… sur le front! Un baiser – même en rêve!
Mais de mon triste front le frais baiser s'enfuit…
Mais de l'été jamais ne reviendra la sève,
Mais l'aurore jamais n'etreindrera la nuit[13] —

Вам нравится? (И, не давая ответить:) – Тогда я вам еще дальше скажу:

Un baiser sur le front! Tout mon être frisonne,
On dirait que mon sang va remonter son cours…
Enfant! – ne dites plus Vos rêves à personne
Et ne rêvez jamais… ou bien – rêvez toujours! [14]

Правда, пронзает? Тот француз, которому я писала это сочинение, был немножко в меня… Впрочем, вру: это была француженка, и я была в нее…

– Товарищ Эфрон! (Шепот почти над ухом. Вздрагиваю. За плечом мой «белый негр», весь красный. В руке хлеб). – Вы не обедали, может хотите? Только предупреждаю, с отрубями…

– Но вам же самой, я так смущена…

– А вы думаете… (морда задорная, в каждой бараньей кудре – вызов)… я его на Смоленском покупала? Мне Филимович с Восточного стола дал, – пайковый, сам не ест. Половину съела, половину вам. Завтра еще обещал. А целоваться все равно не буду!

* * *

(Озарение: завтра же подарю ей кольцо – то, тоненькое с альмандином. Альмандин – Алладин – Альманзор – Альгамбра — …с альмандином. Она хорошенькая, и ей нужно. А я все равно не сумею продать).

* * *

Дон. – Дон. – Не река-Дон, а звон. Два часа. И – новое озарение: сейчас придумаю срочность и уйду. Про белогвардейцев сейчас кончу – и уйду. Быстро и уже без лирических отступлений (я – вся такое отступление!) осыпаю серую казенную бумагу перлами своего почерка и виперами

своего сердца. Только ять выскакивает, контрреволюционное, в виде церковки с куполом. – Ять!!! – «Товарищ Керженцев кончает свою статью пожеланием генералу Деникину верной и быстрой виселицы. Пожелаем же и мы, в свою очередь, товарищу Керженцеву»…

– Сахарин! Сахарин! На сахарин запись! – Все вскакивают. Надо воспользоваться чужим сластолюбием в целях своего свободолюбия. Вкрадчиво и нагло подсовываю Иванову свои вырезки. Накрываю половинкой бело-негрского хлеба. (Другая половинка – детям).

– Товарищ Иванов, я сейчас уйду. Если М<илле>р спросит, скажите, в кухне, воду пью.

– Идите, идите.

Сгребаю черновую с Казановой, кошелку с 1 ф < унтом > соли… и боком, боком…

– Товарищ Эфрон! – нагоняет меня уже возле рыцарей. Я завтра совсем не приду. Очень бы вас просил, приходите – ну – хотя бы к 101/2 часам. А послезавтра, тогда, совсем не приходите. Вы меня крайне выручите. Идет?

– Есть!

Тут же, при недоумевающих швейцарах, молодцевато отдаю честь, и гоном – гоном – белогвардейской колоннадой, по оснеженным цветникам, оставляя за собой и национальности, и сахарин, и эсперанто, и Наташу Ростову – к себе, к Але, к Казанове: домой!

* * *

Из «Известий»:
«Господство над морем – господство над миром!»
(Упоена как стихом).

* * *

9/23 января (Известия Ц.И.К. «Наследник»).

Кто-то читает: «Малолетний сын Корнилова, Георгий, назначен урядником в Одессе».

Я, сквозь общий издевательский хохот, невинно:

– Почему урядником? Отец же не служил в полиции!

(А в груди клокочет).

Чтец: – Ну там, знаете, они все жандармы!

(Самое трогательное, что ни коммунист, ни я в ту минуту и не подозревали о существовании казачьих урядников).

* * *

В нашем Наркомнаце есть домашняя церковь, – соллогубовская, конечно. Рядом с моей розовой залой. Недавно с «белым негром» прокрались. Тьма, сверкание, дух как из погреба. Стояли на хорах. «Белый негр» крестился, я больше думала о предках (привидениях!). В церкви мне хочется молиться только, когда поют. А Бога в помещении вообще не чувствую.

Любовь – и Бог. Как это у них спевается? (Любовь, как стихия любовного. Эрос земной). Кошусь на своего белого негра: молится, глаза невинные. С теми же невинными глазами, теми же моленными устами…

Если бы я была верующей и если бы я любила мужчин, это во мне бы дралось, как цепные собаки.

Отец моего «белого негра» служит швейцаром в одном из домов (дворцов), где часто бывает Ленин (Кремль). И мой «белый негр», часто бывая на службе у отца, постоянно видит Ленина. – «Скромный такой, в кепке».

Белый негр – белогвардеец, то есть, чтобы не смешивать: любит белую муку, сахар и все земные блага. И, что уже серьезнее, горячо и глубоко богомолен.

– Идет он мимо меня, М<арина> И<вановна>, я: «Здрасьте, Владимир Ильич!» – а сама (дерзко-осторожный взгляд вокруг): – Эх, что бы тебя, такого-то, сейчас из револьвера! Не грабь церквей! (разгораясь): – И знаете, М<арина> И<вановна>, так просто, вынула револьвер из муфты и ухлопала!.. (Пауза). – Только вот стрелять не умею… И папашу расстреляют…

Попади бы мой негр в хорошие руки, умеющие стрелять и умеющие учить стрелять, и, что больше, – умеющие губить и не жалеть – э – эх!..

* * *

Есть у нас в комиссариате одна старая дева – тощая – с бантом – влюбленная в своих великовозрастных братьев-врачей, достающая им по детским карточкам шоколад, – проныра, сутяга, между прочим, знающая языки («такая семья»), и т. д. Когда она слышит о чьей-нибудь болезни, то – с непоколебимой уверенностью – и точно отрубая что-то рукой – определяет:

«Заразилась», или «Заразился», смотря по тому, идет ли речь о лице женского или мужского пола.

Тиф или ишиас – у нее всё с<ифи>лис.

Стародевический психоз.

* * *

А есть другая – пухлая, сырая, бабушкина внучка, подружка моего белого негра, провинциалочка. Это совсем трогательная девочка. Только недавно приехала из Рыбинска. Дома остались бабушка и братец. Двойной и неистощимый кладезь блаженств.

– Наша бабушка такая: маленьких детей не выносит. Грудного нипочем на руки не возьмет: запах, говорит, от них и беспокойство. Ну, а подрастут – ничего. Нарядит, научит. Меня с шестого года растила. «Кушать хочешь?» – «Хочу» – «Ну, иди на кухню, смотри, как обед готовится». Так я с десяти лет уж решительно все умела (оживляясь): не только пироги там, котлеты, – и паштеты, и заливное, и торты… Так же и с шитьем: «Ты девочка, тебе женщиной быть, хозяйкой, детей-мужа обшивать». Я – бегать, она меня за ручку да на скамеечку: «платки подрубай», «полотенца меть», а война началась – на раненых. Сама кроила, сама шила. Потом папаша женился – сиротка я – братец народился, все приданое ему сама… Все пеленки с меточками, гладью… А одеяльце его, в чем гулять выносят, так все моим кружевом обшито, в четыре пальца, кремовое… (Блаженно:) – Ведь бабушка меня и вязать и гладью… Пяльцы мне собственные заказала… Мы богато жили! А всё сама! И бабушка сама, и я сама… Я не могу, чтобы руки зря лежали!

Смотрю на руки: ручки: золотые! Маленькие, пухлые: стройные востроватые пальчики. Крохотное колечко с бирюзинкой. Был жених, недавно расстрелян в Киеве.

– Мне его приятель писал, тоже студент-медик. Выходит мой Коля из дому, двух шагов не прошел – выстрелы. И прямо к его ногам человек падает. В крови. А Коля – врач, не может же он раненого оставить. Оглянулся: никого. Ну и взял, стащил к себе в дом, три дня выхаживал, – Офицер белый оказался. А на четвертый пришли, забрали обоих, вместе и расстреляли…

Ходит в трауре. Лицо из черноты землисто-серое. Недоедание, недосыпание, одиночество. Тошная, непонятная, непривычная работа в Комиссариате. Призрак жениха. Беспризорность.

Бедная тургеневская мещаночка! Эпическая сиротка русских сказок! Ни в ком, как в ней, я так не чувствую великого сиротства

Москвы 1919 г. Даже в себе.

Недавно заходила ко мне, стояла над моими развороченными сундуками: студенческий мундир, офицерский френч, сапоги, галифе, – погоны, погоны, погоны…

– Марина Ивановна, вы лучше закройте. Закройте и замок повесьте. Пыль набивается, летом моль съест… Может, еще вернется…

И, задумчиво разглаживая какой-то беспомощный рукав:

– Я бы так не могла. Совсем как человек живой… Я и сейчас плачу…

* * *

Недавно были с ней в оперетке: она, «белый негр» и я (в первый раз в жизни). Напевы милые, стихи плохие. Сух и жесток русский язык в польских устах. Но… какая-то любовь, но… вне селедок и кошелок, но… свет, смех, жест!

Убожество? Но мне чем хуже – тем лучше. «Настоящее искусство» меня бы сейчас оскорбило. Все требования бы встали: «я не скот!»

А так – подделка за подделку: после фарса советского – полусветский фарс.

* * *

Два слова еще о моей «невесте». С глазами, заплаканными по жениху (чудесные, карие), часами и жалобно выматывает себе и окружающим душу: «Я так люблю все жирное и сладкое… Я раньше гораздо полнее была… Я без сливочного масла жить не могу… Мне мороженая картошка в рот не идет»…

О ты, единственное блюдо
Коммунистической страны!

(Стих о вобле в меньшевицкой газете «Всегда вперед»).

* * *

Мой помощник.

Наш стол обогатился новым сотрудником (собездельником было бы точней). Богатырь, малиновый налив, волжанин. Вечно и

зверски голоден. За обедом безнадежно просит надбавки: молча подставленная тарелка кротко и упорно вопиет. Ест всё.

Собой красавец: восемнадцать лет, румянец такой, что жарко рядом сидеть: пещь! Безбород и безус. Робок. Боится двинуться – знает, что сокрушит. Боится кашлянуть – знает, что оглушит.

Робость и кротость великана. У меня к нему нежность, как к огромному теленку: безнадежная, потому что дать – нечего.

Узрев его впервые у стола – уральского медведя над кружевом «Известий», мы с Ивановым одновременно усмехнулись. Что думал Иванов – не знаю, я же в ту секунду знала: «Завтра не приду, и послезавтра не приду, и после-послезавтра не приду. Буду стирать и писать».

Не приходила не три дня, а шесть. На седьмой являюсь. Стол чист – ни одной вырезки: как языком слизано. Иванова – ни признака. Медведь, расставив локти, один царствует.

Я, обеспокоено:

– А где Иванов? Где вырезки?

Медведь, сияя:

– Иванова я с тех пор в глаза не видал! Я здесь целую неделю один восседал.

Я, в ужасе:

– Но вырезки? Журнал вели?

Он, блаженно:

– Какое – журнал! Всё в корзине! Попытался было – перо плохое, бумага праховая, пишу – сам не разбираю. И такой сон на меня напал… К весне, должно быть.

(Я, мысленно: «Врешь, медведь, к зиме»!).

Он, продолжая:

– Ну, думаю, была-не была! Сгреб это я их, простыни-то эти, и в корзину. Утром прихожу – пусто. Должно быть, уборщица сожгла. И каждый день так. Маленькие все целы, для вас берег.

Выдвигает ящик: сонм белых бабочек!

И я, обольщенная строчкой и уже оторвавшись: мысленно:

«Сонм белых бабочек! Раз, две… четыре»…
(– нет! —)
Сонм белых девочек! Раз, две… четыре…
Сонм белых девочек! Да нет – в эфире
Сонм белых бабочек! Прелестный сонм
Великих маленьких княжон…

и, отрываясь, к «сотруднику»:

– Сейчас мы все это восстановим… (мысленно: кроме великих княжон!) – разберите хронологически.

Он:

– Как это?

Я: – По числам. Ну, 5-ое февраля. Римское II – это февраль, Вам ясно? I – январь. II – февраль…

Не дышит и не мигает.

– Тогда, постойте… Тогда просто пишите письмо домой. Берите перо и пишите: «Милая мама, мне здесь очень скучно и голодно»… В этом роде, или наоборот: «Мне здесь очень весело и сытно». Потому что, иначе она огорчится. А я сейчас буду восстанавливать статьи Стеклова и Керженцева.

Он, восхищенно: – Из головы?!

Я: – Не из сердца же!

И, махом: «В статье от 5-го февраля 1919 г. „Белогвардейщина и белый слон“[15] товарищ Керженцев утверждает»…

* * *

Перекочевываем на новое пепелище, – из дома Ростовых в Иерусалимское подворье. Целых десять дней перебираемся. Докрадываем остатки ростовско-соллогубовского добра. Я взяла себе на память тарелку с гербом. В кирпично-красном поле-борзая. Лирическая кража, даже рыцарская: тарелка не глубокая и не мелкая, по нынешнему времени – явно для полужидкой воблы, а дома у меня на ней будет стоять чернильница.

Бедные соллогубовские эльзевиры! В раскрытых ящиках! Под дождем! Пергаментные переплеты, французские витиеватые литеры… Свозят возами. Библиотечной комиссией заведует Брюсов.

Везут: диваны, комоды, люстры. Рыцари мои остаются. Вписанные в стену портреты, кажется, тоже. На месте – дележ. Ревностный спор «столов».

– Это нашему заведующему!

– Нет, нашему!

– У нас уж стол карельской березы, к нему и кресло.

– Вот именно потому, что у вас стол, у нас будет кресло!

– Но нельзя же разбивать гарнитур!

Я, сентенциозно:

– Можно разбивать только головы! «Столы» бескорыстны, – мы все равно ничего не получим. Все в кабинеты заведующих. Влетает мой белый негр:

– Товарищ Эфрон! Если бы вы знали, как у Ц-лера хорошо! Секретер красного дерева, ковер, бронзовые бра! Точно в старое

время! Хотите, посмотрим?

Бежим через этажи. Комната №… Отдел такой-то… Кабинет заведующего. Входим. Негр торжествующе:

– Ну?

– Еще бы подушку под ноги и болонку…

– Будет с него и кота! В глазах веселящийся бес.

– Товарищ Эфрон! Поймаем ему кота! Тут в 18-ой квартире есть. А?

Я, лицемерно:

– Но он здесь все загадит.

– Вот этого-то я и хочу! Громилы проклятые! Через три минуты кот выкраден и заперт. «Служба» кончена. Летим, родства не помня, со всех шести этажей.

– Товарищ Эфрон! Малиновая оттоманка-то, а?

– А графинины ковры-то, а?

Вдогон диаболическое мяуканье мстителя.

* * *

Три насущных М.

– Ну, как довезли картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку: 2/3 картошки, 1/3 муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери. У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

* * *

Мороженая картошка.

– Товарищ Эфрон! Картошку привезли! Мороженая!

Узнаю, конечно, позже всех, но дурные вести – всегда слишком рано.

«Наши» уехали в экспедицию, сулили сахарные россыпи и жировые залежи, проездили два месяца и привезли… мороженую картошку! По три пуда на брата. Первая мысль: как довезти? Вторая: как съесть? Три пуда гнили.

Картошка в подвале, в глубоком непроглядном склепе. Картошка сдохла, и ее похоронили, а мы, шакалы, разроем и будем есть. Говорят, привезли здоровую, но потом вдруг кто-то «запретил», а пока запрет сняли, картошка, сперва замерзнув, затем оттаяв, сгнила. На вокзале пролежала три недели.

Бегу домой за мешками и санками. Санки – Алины, детские, бубенцовые, с синими вожжами, – мой подарок ей из Владимирского Ростова. Просторное плетение корзиночкой, спинка обита кустарным ковром. Только двух собак запрячь – и айда! – в северное сияние…

Но собакой служила я, северное сияние же оставалось позади: ее глаза! Ей тогда было два года, она была царственна. («Марина, подари мне Кремль!» – пальцем указывая на башни). Ах, Аля! Ах, санки по полуденным переулкам! Моя тигровая шуба (леопард? барс?), которую Мандельштам, влюбившись в Москву, упорно величал боярской. Барс! Бубенцы!

У подвала длинный черед. Обмороженные ступени лестницы. Холод в спине: как втащить? Свои руки, – в эти чудеса я верю, но… три пуда вверх! По тридцати упирающимся и отбрасывающим ступеням! Кроме того, один полоз сломан. Кроме того, я не уверена в мешках. Кроме всего, я так веселюсь, что – умри! – не помогут.

Впускают партиями: по десяти человек. Все – парами, мужья прибежали со своих служб, матери приплелись. Оживленные переговоры, планы: тот обменяет, этот два пуда насушит, третий в мясорубку пропустит (это три пуда-то?!) – есть собираюсь, очевидно, только я.

– Товарищ Эфрон, добавочные брать будете? На каждого члена семьи полпуда. У вас есть удостоверение на детей? Кто-то:

– Не советую! Там одна слизь осталась. Кто-то еще:

– Загнать можно!

Продвигаемся. Охи, вздохи, временами – смех: в темноте чьи-то руки встретились: мужская с женской. (Мужская с мужской – не смешно). Кстати, откуда это веселящее действие Эроса на малых сих? Вызов? Самооборона? Скудость средств выявления? Робость под прикрытием легкости? Дети ведь, испугавшись, тоже часто смеются. «L'amour n'est ni joyeux ni tendre»[16].

А может быть – верней всего – никакого amour, просто неожиданность: мужская с мужской – ругань, мужская с женской – смех. Неожиданность и безнаказанность.

Говорят о предстоящем суде над сотрудниками, – представили огромные счета и на закупленное и на прожитое: какие-то постои, подводы, извозчики… Себе, конечно, навезли всего.

– Вы заметили, как такой-то отъелся?

– А такой-то? Щеки лопаются!

Впустили. Навстречу ошалелая вереница санок. Полозья по ногам. Окрики. Тьма. Идем по лужам. Запах поистине тлетворный.

– Да посторонитесь же!!!

– Товарищ! Товарищ! Мешок лопнул!

Хлипь. Хлябь. Ноги уходят по щиколку. Кто-то, тормозя весь цуг, яростно разувается: валенки насквозь! Я давно уже не чувствую ног.

– Да свет-то когда-нибудь – будет?!

– Товарищи! Удостоверение потеряла! Ради всего святого – спичку!

Вспыхивает. Кто-то на коленях, в воде, беспомощно разгребает слизь.

– Да вы в карманах поищите! – Вы, может, дома забыли? – Да разве тут найдешь?! – Продвигайтесь! Продвигайтесь! – Товарищи, встречная партия! Берегись!!!

И – прогал. Прогал и водопад. Квадратная дыра в потолке, сквозь которую дождь и свет. Хлещет, как из дюжины труб. – Потонем! – Прыжки, скачки, кто-то мешок упустил, у кого-то в проходе санки завязли. – Господи!

* * *

Картошка на полу: заняла три коридора. В конце, более защищенном, менее гнилая. Но иного пути к ней, кроме как по ней же, нет. И вот: ногами, сапогами… Как по медузьей горе какой-то. Брать нужно руками: три пуда. Не оттаявшая слиплась в чудовищные гроздья. Я без ножа. И вот, отчаявшись (рук не чувствую) – какую попало: раздавленную, мороженую, оттаявшую… Мешок уже не вмещает. Руки, окончательно окоченев, не завязывают. Пользуясь темнотой, начинаю плакать, причем тут же и кончаю.

– На весы! На весы! Кому на весы?!

Взваливаю, тащу.

Развешивают два армянина, один в студенческом, другой в кавказском. Белоснежная бурка глядит пятнистой гиеной. Точно архангел коммунистического Страшного Суда! (Весы заведомо врут!).

– Товарищ барышна! Не задерживай публику! Ругань, пинки. Задние напирают. Я загромоздила весь проход. Наконец, кавказец, сжалившись – или рассердившись, откатывает мой мешок ногой. Мешок, слабо завязанный, рассыпается. Клюканье. Хлипанье. Терпеливо и не торопясь подбираю.

* * *

Обратный путь с картошкой. (Взяла только два пуда, третий утаила). Сначала беснующимися коридорами, потом сопротивляющейся лестницей, – слезы или пот на лице, не знаю.

И не знаю, дождь иль слезы

На лице горят моем…

Может, и дождь! Дело не в этом! Полоз очень слаб, расщепился посредине, навряд ли доедем. (Не я везу санки, вместе везем. Санки – сподвижник по беде, а беда – картошка. Собственную беду везем!).

Боюсь площадей. Арбатской не миновать. Можно было с Пречистенского переулками, но там спуталась бы. Ни снега, ни льда: везу по воде, местами – по сухому. Задумчиво любуюсь на булыжники, уже розовые…

– О, как все это я любила!

Вспоминаю Стаховича. Увидь он меня сейчас, я бы неизбежно сделалась для него предметом гадливости. Все. вплоть до лица, в подтеках. Я не лучше собственного мешка. Мы с картошкой сейчас – одно.

– Да куда ты пре-ешь! Нешто это можно – прямо на людей?! Буржуйка бесхвостая!

– Конечно, бесхвостая, – только черти хвостатые! Кругом смех.

Солдат, не унимаясь:

– Ишь, шляпку нацепила! А морду-то умыть…

Я, в тон, указывая на обмотки:

– Ишь, тряпки нацепил!

Смех растет. Я, не желая упустить диалога, останавливаюсь, якобы поправляя мешок.

Солдат, расходясь:

– Высший класс называется! Интеллихенция! Без прислуги лица умыть не могут!

Какая-то баба, визгливо:

– А ты мыла дай! Мыло-то кто измылил? Почем мыло-то на Сухаревой, знаешь? Кто-то из толпы:

– Чего ему знать? Ему казенное идет! А вы, барышня, картошку везете?

– Мороженую. На службе дали.

– Известно, мороженую, – хорошая-то самим нужна! Подсобить, что ли?

Толкает, вожжи напрягаются, еду. Позади голос бабы – солдату:

– Что ж она, что в шляпе, не человек, что ль?

Рас – су – ди – ил!

* * *

Итог дня: два чана картошки. Едим все: Аля, Надя, Ирина, я.

Надя – Ирине, лукаво:

– Кушай, Ирина, она сладкая, с сахаром.

Ирина, тупясь и отворачиваясь: – Нне…

* * *

20 марта.

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу «Монплэзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

Благовещение 1919 г.

Цены:

1 ф<унт> муки – 35 р<ублей>

1 ф<унт> картошки – 10 р<ублей>

10 ф<унтов> моркови – 7 р<ублей> 50 к<опеек>

1 ф<унт> луку – 15 р<ублей>

селедка – 25 р<ублей>

(Жалование – ставки у нас еще не прошли – 775 руб<лей> в месяц).

* * *

25-го апреля 1919 г.

Ухожу из Комиссариата. Ухожу, потому что не могу составить классификации. Пыталась, из жил лезла, – ничего. Не понимаю. Не понимаю, чего от меня хотят: «Составьте, сопоставьте, рассортируйте… Под каждым делением – подразделение». Все в одно слово, как спелись. Опросила всех: от заведующего отделом до одиннадцатилетнего курьера – «Совсем просто». И, главное, никто не верит, что не понимаю, смеются.

Наконец, села к столу, обмакнула перо в чернила, написала:

«Классификация», потом, подумав: «Деления», потом еще, подумав: «Подразделения». Справа и слева. Потом застыла.

Прослужила 5 1/2 месяцев, еще бы две недели – и отпуск (с зачетом жалованья). Но не могу. И вырезки за три месяца не наклеены. И на ять начинают поглядывать: «Неужели, товарищ, еще не привыкли?»… Классификацию нужно представить к 28-му. Последний срок. Нужно отдать справедливость, коммунисты доверчивы и терпеливы. В старорежимном учреждении меня бы, сразу разглядев, сразу выгнали. Здесь я сама подаю в отставку.

Заведующий М<илле>р, прочтя мое заявление, коротко:

– Лучшие условия?

– Военный паек и льготные обеды на всех членов семьи. (Молниеносный и наглейший вымысел).

– Тогда не смею задерживать. Только не прогадайте: такие учреждения быстро рушатся.

– Я ответственным работником.

– По чьей рекомендации?

– Двух членов партии до Октября.

– Чем поступаете?

– Переводчиком.

– Переводчики очень нужны. Желаю успеха. Выхожу.

Уже в дверях – оклик:

– Товарищ Эфрон, классификацию, конечно, представите? Я, умоляюще:

– Все материалы налицо… Мой заместитель легко справится… Уж лучше вычтите из жалованья!

* * *

Не вычли. Нет, руку на сердце положа, от коммунистов я по сей день, лично, зла не видела. (Может быть – злых не видела!). И не их я ненавижу, а коммунизм. (Вот уж два года, как со всех сторон слышу: «Коммунизм прекрасен, коммунисты – ужасны!» В ушах навязло!).

Но, возвращаясь к классификации (озарение: не к ней ли сводится весь коммунизм?!) – точь-в-точь то же, что пятнадцати лет с алгеброй (семи – с арифметикой!). Полные глаза и пустой лист. То же, что с кройкой – не понимаю, не понимаю: где влево, где вправо, в висках винт, во лбу свинец. То же, что с продажей на рынке, когда-то – с наймом прислуги, со всем моим стопудовым земным бытом: не понимаю, не могу, не выходит.

Думаю, если бы других заставили писать «Фортуну», они бы почувствовали точно то же, что я.

* * *

Поступаю в Монпленбеж. – в Картотеку.

26-го *апреля 1919 г.*

Только что вернулась, и вот, великая клятва: не буду служить. Никогда. Хоть бы умерла.

Было так. Смоленский бульвар, дом в саду. Вхожу. Комната как гроб. Стены из карточек: ни просвета. Воздух бумажный (не книжный, благородный, а – праховый. Так, разница между библиотекой и картотекой: там храмом дышишь, здесь – хламом!). Устрашающе-нарядные барышни (сотрудницы). В бантах и в «ботах». Разглядят – запрезирают. Сижу против решетчатого окна, в руках русский алфавит. Карточки надо разобрать по буквам (все на А, все на Б), потом по вторым буквам, то есть: Абрикосов, Авдеев, потом по третьим. Так с 9-ти утра до 5 1/2 вечера. Обед дорогой, есть не придется. Раньше давали то-то и то-то, теперь ничего не дают. Пасхальный паек пропущен. Заведующая – коротконогая сорокалетняя каракатица, в корсете, в очках, страшная. Чую бывшую инспектрису и нынешнюю тюремщицу. С язвительным простосердечием изумляется моей медлительности: «У нас норма – двести карточек в день. Вы, очевидно, с этим делом не знакомы»…

Плачу. Каменное лицо и слезы как булыжники. Это скорей похоже на тающего оловянного идола, чем на плачущую женщину. Никто не видит, потому что никто не поднимает лба: конкурс на быстроту:

– У меня столько-то карточек!

– У меня столько-то!

И вдруг, сама не понимая, встаю, собираю пожитки, подхожу к заведующей:

– Я сегодня не записалась на обед, можно сходить домой?

Зоркий очкастый взгляд:

– Вы далеко живете?

– Рядом.

– Но чтобы через полчаса были здесь.

У нас это не полагается.

– О, конечно.

Выхожу – все еще статуей. На Смоленском рынке слезы – градом. Какая-то баба, испуганно:

– Ай обокрали тебя, а, барышня! И вдруг – смех! Ликованье! Солнце во все лицо! Конечно. Никуда. Никогда.

* * *

Не я ушла из Картотеки: ноги унесли! Душа – ноги: вне остановки сознания. Это и есть инстинкт.

Эпилог

7-го июля 1919 г.

Вчера читала во «Дворце Искусств» (Поварская, 52, д<ом>

Соллогуба, моя бывшая служба) – «Фортуну». Меня встретили хорошо, из всех читавших – одну – рукоплесканиями. (Оценка не меня, а публики).

Читали, кроме меня: Луначарский – из швейцарского поэта Карла Мюллера, переводы; некий Дир Туманный – свое собственное, т. е. Маяковского, – много Диров Туманных и сплошь Маяковский!

Луначарского я видела в первый раз. Веселый, румяный, равномерно и в меру выпирающий из щеголеватого френча. Лицо средне-интеллигентское: невозможность зла. Фигура довольно круглая, но «легкой полнотой» (как Анна Каренина). Весь налегке.

Слушал, как мне рассказывали, хорошо, даже сам шипел, когда двигались. Но зала была приличная.

«Фортуну» я выбрала из-за монолога в конце:

…Так вам и надо за тройную ложь
Свободы, Равенства и Братства!

Так отчетливо я никогда не читала.

…И я, Лозэн, рукой белей чем снег,
Я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозэн, вещал, что полноправны
Под солнцем – дворянин и дровосек!

Так ответственно я никогда не дышала. (Ответственность! Ответственность! Какая услада сравнится с тобой! И какая слава?! Монолог дворянина – в лицо комиссару, – вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не… хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял, – а не всей Лубянке, 2!).

Чтению я предпослала некое введение: кем был Лозэн, чем стал и от чего погиб.

По окончании стою одна, с случайными знакомыми. Если бы не пришли, – одна. Здесь я такая же чужая, как среди квартирантов дома, где живу пять лет, как на службе, как когда-то во всех семи русских и заграничных пансионах и гимназиях, где училась, как всегда – везде.

* * *

Читала в той самой розовой зале, где служила. Люстра просияла (раньше была в чехле). Мебель выплыла. Стены

прозрели бабками. (И люстры, и мебель, и прабабки, и предметы роскоши, и утварь – вплоть до кухонной посуды, – все обратно отбито «Дворцом Искусств» у Наркомнаца. Плачьте, заведующие!).

В одной из зал – прелестная мраморная Психея. Настороженность души и купальщицы. Много бронзы и много тьмы. Комнаты насыщены. Тогда, в декабре, они были голодные: голые. Такому дому нужны вещи. Вещи здесь меньше всего – вещественность. Вещь непродажная – уже знак. А за знаком – неминуемо – смысл. В таком доме они – смыслы.

* * *

Поласкалась к своим рыцарям.

* * *

14-го июля 1919 г.

Третьего дня узнала от Б<альмон>та, что заведующий «Дворцом Искусств», Р<укавишник>ов, оценил мое чтение «Фортуны» – оригинальной пьесы, нигде не читанной, чтение длилось 45 мин<ут>, может больше, – в 60 руб<лей>.

Я решила отказаться от них – публично – в следующих выражениях: «60 руб<лей> эти возьмите себе – на 3 ф<унта> картофеля (может быть, еще найдете по 20 руб<лей>!) – или на 3 ф<унта> малины – или на 6 коробок спичек, а я на свои 60 руб<лей> пойду у Иверской поставлю свечку за окончание строя, при котором так оценивается труд».

Москва, 1918–1919

О любви (Из дневника)

1917 год

*Для полной согла*сованности душ нужна согласованность дыхания, ибо, что – дыхание, как не ритм души?

Итак, чтобы люди друг друга понимали, надо, чтобы они шли или лежали рядом.

* * *

Благородство сердца – орга́на. Неослабная настороженность. Всегда первое бьет тревогу. Я могла бы сказать: не любовь вызывает во мне сердцебиение, а сердцебиение – любовь.

* * *

Сердце: скорее орга́н, чем о́рган.

* * *

Сердце: лот, лаг, отвес, силомер, реомюр – все, только не хронометр любви.

* * *

«Вы любите двоих, значит, Вы никого не любите!» – Простите, но если я, кроме Н., люблю еще Генриха Гейне, Вы же не скажете, что я того, первого, не люблю. Значит, любить одновременно живого и мертвого – можно. Но представьте себе, что Генрих Гейне ожил и в любую минуту может войти в комнату. Я та же, Генрих Гейне – тот же, вся разница в том, что он может войти в комнату.

Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую минуту может войти в комнату, – не любовь. Для того, чтобы одновременная моя любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). – Не всегда выполнимое условие!

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, немыслима, и крик Сары (Маргариты Готье) – «О, л'Амур! Л'Амур!», относящийся еще к кому-нибудь, кроме ее молодого друга, – смешон.

* * *

Я бы предложила другую формулу: женщина, не забывающая о Генрихе Гейне в ту минуту, когда входит ее возлюбленный, любит только Генриха Гейне.

* * *

«Возлюбленный» – театрально, «любовник» – откровенно, «друг» – неопределенно. Нелюбовная страна!

* * *

Каждый раз, когда узнаю, что человек меня любит – удивляюсь, не любит – удивляюсь, но больше всего удивляюсь, когда человек ко мне равнодушен.

* * *

Старики и старухи.

Бритый стройный старик всегда немножко старинен, всегда немножко маркиз. И его внимание мне более лестно, больше меня волнует, чем любовь любого двадцатилетнего. Выражаясь преувеличенно: здесь чувство, что меня любит целое столетие. Тут и тоска по его двадцати годам, и радость за свои, и возможность быть щедрой – и вся невозможность. Есть такая песенка Беранже:

…Взгляд твой зорок…
Но тебе двенадцать лет,
Мне уж сорок.

Шестнадцать лет и шестьдесят лет совсем не чудовищно, а главное – совсем не смешно. Во всяком случае, менее смешно, чем большинство так называемых «равных» браков. Возможность настоящего пафоса.

А старуха, влюбленная в юношу, в лучшем случае – трогательна. Исключение: актрисы. Старая актриса – мумия розы.

* * *

– …И была промеж них такая игра. Он ей поет – ее аккурат Марусей звали – «Маруся ты, Маруся, закрой свои глаза», а она на постелю ляжет, простынею себя накроет – как есть покойница.

Он к ней: «Маруся! Ты не умри совсем! Маруся! Ты взаправду не умри!» – Кажный раз до слез доходил. – На одной фабрике работали, ей пятнадцать годочков было, ему шешнадцать…

(Рассказ няньки).

* * *

– А у меня муж, милые: бы – ыл!!! Только и человецкого, что обличие. Ничего не ел, всё пил. Подушку мою пропил, одеяло с девками прогулял. Всё ему, милые, скушно: и работать скушно, и со мной чай пить скушно. А собой хорош, как демон: волоса кучерявые, брови ровные, глаза синие… – Пятый год пропадает!

(Нянька – подругам).

* * *

Первый любовный взгляд – то кратчайшее расстояние между двумя точками, та божественная прямая, которой нет второй.

* * *

Из письма:

«Если бы Вы сейчас вошли и сказали: «Я уезжаю надолго, навсегда», – или: «Мне кажется, я Вас больше не люблю», – я бы, кажется, не почувствовала ничего нового: каждый раз, когда Вы уезжаете, каждый час, когда Вас нет – Вас нет навсегда и Вы меня не любите».

* * *

В моих чувствах, как в детских, нет степеней.

* * *

Первая победа женщины над мужчиной – рассказ мужчины о его любви к другой. А окончательная ее победа – рассказ этой другой о своей любви к нему, о его любви к ней. Тайное стало явным, ваша любовь – моя. И пока этого нет, нельзя спать спокойно.

* * *

Все нерассказанное – непрерывно. Так, непокаянное убийство, например, – длится. То же о любви.

* * *

Вы не хотите, чтобы знали, что вы такого-то любите? Тогда говорите о нем: «я его обожаю!» Впрочем, некоторые знают, что это значит.

* * *

Рассказ.

– Когда мне было восемнадцать лет, в меня был безумно влюблен один банкир, еврей. Я была замужем, он женат. Толстый такой, но удивительно трогательный. Мы почти никогда не оставались одни, но когда это случалось, он мне говорил только одно слово: «Живите! Живите!» – И никогда не целовал руки. Однажды он устроил вечер, нарочно для меня, назвал прекрасных танцоров – я тогда страшно любила танцевать! Сам он не мог танцевать, потому что был слишком толст. Обыкновенно он на таких вечерах играл в карты. В этот вечер он не играл.

(Рассказчице тридцать шесть лет, пленительна).

* * *

– «Только живите!» Я уронила руки,
Я уронила на руки жаркий лоб…
Так молодая Буря слушает Бога
Где-нибудь в поле, в какой-нибудь темный час.
И на высокий вал моего дыханья
Властная вдруг – словно с неба ложится длань.
И на уста мои чьи-то уста ложатся.
Так молодую Бурю слушает – Бог.

(Nachhall, отзвук).

* * *

Гостиная – поле, вчерашняя смолянка – Буря, толстый банкир – Бог. Что уцелело? Да вот то одно слово, которое банкир говорил институтке и Бог в первый день – всему: «Живите!»

«Будь» единственное слово любви, человеческой и божеской. Остальное: гостиная, поле, банкир, институтка – частности.

Что же уцелело? – Всё.

* * *

Лучше потерять человека всем собой, чем удержать его какой-то своей сотой.

Полководец после победы, поэт после поэмы – куда? – к женщине. Страсть – последняя возможность человеку высказаться, как небо – единственная возможность быть – буре.

Человек – буря, страсть – небо, ее растворяющее.

* * *

О, поэты, поэты! Единственные настоящие любовники женщин!

* * *

Желание вглубь: вглубь ночи, вглубь любви. Любовь: провал во времени.

* * *

«Во имя свое» любовь через жизнь, «во имя твое» – через смерть.

* * *

«Старуха… Что я буду делать со старухой??!» – Восхитительная – в своей откровенности – формула мужского.

* * *

«Зачем старухи одеваются? Это бессмысленно! Я бы заказал им всем одинаковый… «юниформ», а так как они все богаты, я бы создал кассу, из которой бы одевал – и очень хорошо одевал бы! – всех молодых и красивых».

– Не мешай мне писать о тебе стихи!

– Помешай мне писать стихи о себе!

В промежутке – вся любовная гамма поэта.

* * *

Третье лицо – всегда отвод. В начале любви – от богатства, в конце любви – от нищеты.

* * *

История некоторых встреч. Эквилибристика чувств.

Рассказ юнкера: … «объясняюсь ей в любви, конечно, напеваю…»

* * *

Любовность и материнство почти исключают друг друга. Настоящее материнство – мужественно.

* * *

Сколько материнских поцелуев падает на недетские головы – и сколько нематеринских – на детские!

* * *

Страстная материнская любовь – не по адресу.

Там, где я должна думать (из-за других) о поступке, сочинять его, он всегда нецелен – начат и не кончен – не объясним – не мой. Я точно запомнила А и не помню Б – и сразу, вместо Б – мои блаженные иероглифы!

* * *

Разговор:

Я, о романе, который хотела бы написать: «Понимаете, в сыне я люблю отца, в отце – сына… Если Бог пошлет мне веку, я непременно это напишу!»

Он, спокойно: «Если Бог пошлет вам веку, вы непременно это сделаете».

* * *

О Песни Песней:

Песнь Песней действует на меня, как слон: и страшно и смешно.

* * *

Песнь Песней написана в стране, где виноград – с булыжник.

* * *

Песнь Песней: флора и фауна всех пяти частей света в одной-единственной женщине. (Неоткрытую Америку – включая).

* * *

Лучшее в Песни Песней, это стих Ахматовой:

«А в Библии красный кленовый лист
Заложен на Песни Песней».

* * *

«Я бы никогда не мог любить танцовщицы, мне бы всегда казалось, что у меня в руках барахтается птица».

* * *

Вдова, выходящая замуж. Долго искала формулу для этой отвращающей меня узаконенности. И вдруг – в одной французской книге, очевидно, женской (автора «Amitié amoureuse»[17]) – моя формула:

«Le remariage est un adultère posthume»[18].

– Вздохнула!

Раньше все, что я любила, называлось – я, теперь – вы. Но оно всё то же.

Жен много, любовниц мало. Настоящая жена от недостатка

(любовного), настоящая любовница – от избытка. Люблю не жен и не любовниц – «amoureuses».

Как музыкант – меньше музыки! И как любовник – меньше любви!

* * *

(NB! «Любовник» и здесь и впредь как средневековое обширное «amant». Минуя просторечие, возвращаю ему первичный смысл. Любовник: тот, кто любит, тот, через кого явлена любовь, провод стихии Любви. Может быть, в одной постели, а может быть – за тысячу верст. – Любовь не как «связь», а как стихия).

* * *

«Есть две ревности. Одна (наступательный жест) – от себя, другая (удар в грудь) – в себя. Чем это низко – вонзить в себя нож?»

(Бальмонт).

* * *

Я должна была бы пить Вас из четвертной, а пью по каплям, от которых кашляю.

* * *

Как медленно сходятся с Вами такие-то! Они делают миллиметры там, где я делала – мили!

* * *

Зачем змей, когда Ева?

Любовь: зимой от холода, летом от жары, весной от первых листьев, осенью от последних: всегда – от всего.

* * *

Ночной разговор.

Павел Антокольский[19]: – У Господа был Иуда. А кто же у Дьявола – Иуда?

Я: – Это, конечно, будет женщина. Дьявол ее полюбит, и она захочет вернуть его к Богу, – и вернет.

Антокольский: – А она застрелится. Но я утверждаю, что это будет мужчина.

Я: – Мужчина? Как может мужчина предать Дьявола? У него же нет никакого доступа к Дьяволу, он Дьяволу не нужен, какое дело Дьяволу до мужчины? Дьявол сам мужчина. Дьявол – это вся мужественность. Дьявола можно соблазнить только любовью, то есть женщиной.

Антокольский: – И найдется мужчина, который припишет себе честь этого завоевания.

Я: – И знаете, как это будет? Женщина полюбит Дьявола, а ее полюбит мужчина. Он придет к ней и скажет: – «Ты его любишь, неужели тебе его не жаль? Ведь ему плохо, верни его к Богу». – И она вернет…

Антокольский: – И разлюбит.

Я: – Нет, она не разлюбит. Он ее разлюбит, потому что теперь у него Бог, она ему больше не нужна. Не разлюбит, но бросится к тому.

Антокольский: – И, смотря в его глаза, увидит, что все те же глаза, и что она сама побеждена – Дьяволом.

Я: – Но был же час, когда Дьявол был побежден, – час, когда он вернулся к Богу.

Антокольский: – И предал его – мужчина.

Я: – Ах, я говорю о любовной драме!

Антокольский: – А я говорю об имени, которое останется на скрижалях.

* * *

Я: – Женщина – одержимая. Женщина идет по пути вздоха (глубоко дышу). Вот так. И промахнулся Гейне с его «horizontales Handwerk»![20] Как раз по вертикали!

Антокольский: – А мужчина хочет – так: (Выброшенная рука. Прыжок).

Я: – Это не мужчина так, это тигр так. Кстати, если бы вместо «мужчины» было «тигр», я бы, может быть, и любила мужчин. Какое безобразное слово – мужчина! Насколько по-немецки лучше: «Mann», и по-французски: «Homme». Man, homo… Нет, у всех лучше…

Но дальше. Итак, женщина идет по пути вздоха… Женщина, это вздох. Мужчина, это жест. (Вздох всегда раньше, во время прыжка не дышат). Мужчина никогда не хочет первый. Если мужчина захотел, женщина уже хочет.

Антокольский: – А что же мы сделаем с трагической любовью? Когда женщина – действительно – не хочет?

Я: – Значит, не она хотела, а какая-нибудь рядом. Ошибся дверью.

* * *

Я, робко: – Антокольский, можно ли назвать то, что мы сейчас делаем – мыслью?

Антокольский, еще более робко: – Это – вселенское дело: то же самое, что сидеть на облаках и править миром.

* * *

Я: – Два отношения к миру: любовное, материнское.

Антокольский: – И у нас два: любовное, сыновнее. А отцовского – нет. Что такое отцовство?

Я: – Отцовства, вообще, нет. Есть материнство: – Мария – Мать – большое М.

Антокольский: – А отцовство – большое О, то есть нуль, зеро.

Я, примиряюще: – А зато у нас нет дочернего.

Говорим о любви.

Антокольский: – Любить Мадонну – все равно, что застраховаться от кредиторов. (Кредитора – женщины).

Говорим о Иоанне д'Арк, и Антокольский, внезапным взрывом:

– А королю совсем не нужно царства, он хочет то, что больше царства – Иоанну. А Вам… А ей до него нет никакого дела: – «Нет, ты должен быть королем! Иди на царство!» – как говорят: «Иди в гимназию!»

* * *

Насыщенный раствор. Вода не может растворить больше. Таков закон. Вы – насыщенный мною раствор. Я – не бездонный чан.

* * *

Нужно научиться (мне) подходить к любовному настоящему человека, как к его любовному прошлому, то есть – со всей отрешенностью и страстностью творчества.

Соперник всегда – или Бог (молишься!) – или дурак (даже не презираешь).

* * *

Предательство уже указывает на любовь. Нельзя предать знакомого.

* * *

1918 год

Суд над адмиралом Щастным. Приговор произнесен. Подсудимого уводят. И, уходя, вполоборота, в толпу: «Вы придете?»

Женское: – Да!

* * *

Я не любовная героиня, я никогда не уйду в любовника, всегда – в любовь.

* * *

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминание о любви».

Я: – Причем середина длится от 5-ти лет до 75-ти, – да?

* * *

Письмо:

«Милый друг! Когда я, в отчаянии от нищенства дней, задушенная бытом и чужой глупостью, вхожу, наконец, к Вам в дом, я всем существом в праве на Вас. Можно оспаривать право человека на хлеб (дед не работал, значит – внук не ешь!) – нельзя

оспаривать право человека на воздух. Мой воздух с людьми – восторг. Отсюда мое оскорбление.

Вам жарко. Вы раздражены. Вы «измучены», кто-то звонит, Вы лениво подходите: «Ах, это Вы?» И жалобы на жару, на усталость, любование собственной ленью, – да восхищайтесь же мной, я так хорош!

Вам нет дела до меня, до моей души, три дня – бездна (не для меня – без Вас, для меня – с собой), одних снов за три ночи – тысяча и один, а я их и днем вижу!

Вы говорите: «Как я могу любить Вас? Я и себя не люблю». Любовь ко мне входит в Вашу любовь к себе. То, что Вы называете любовью, я называю хорошим расположением духа (тела). Чуть Вам плохо (нелады дома, жара, большевики) – я уже не существую.

Дом – сплошной «нелад», жара – каждое лето, а большевики только начинаются!

Милый друг, я не хочу так, я не дышу так. Я хочу такой скромной, убийственно-простой вещи: чтобы, когда я вхожу, человек радовался».

* * *

Тут, дружочек, я заснула с карандашом в руке. Видела страшные сны, – летела с нью-йоркских этажей. Просыпаюсь: свет горит. Кошка на моей груди делает верблюда. (Аля, двух лет, говорила: горблюд!).

* * *

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть человека таким, каким его осуществили родители.

Разлюбить – видеть вместо него: стол, стул.

* * *

Семья… Да, скучно, да, скудно, да, сердце не бьется… Не лучше ли: друг, любовник? Но, поссорившись с братом, я все-таки вправе сказать: «Ты должен мне помочь, потому что ты мой брат… (сын, отец)»… А любовнику этого не скажешь – ни за что –

язык отрежешь.

В крови гнездящееся право интонации.

* * *

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

* * *

Моя душа чудовищно-ревнива: она бы не вынесла меня красавицей.

Говорить о внешности в моих случаях – неразумно: дело так явно, и настолько – не в ней!

– «Как она Вам нравится внешне?» – А хочет ли она внешне нравиться? Да я просто права на это не даю, – на такую оценку!

Я – я: и волосы – я, и мужская рука моя с квадратными пальцами – я, и горбатый нос мой – я. И, точнее: ни волосы не я, ни рука, ни нос: я – я: незримое.

Чтите оболочку, осчастливленную дыханием Бога.

И идите: любить – другие тела!

* * *

(Если бы я эти записи напечатала, непременно сказали бы: par dépit[21]).

Письмо о Лозэне[22]:

«Вы хотите, чтобы я дала Вам краткий отчет о своей последней любви. Говорю «любви», потому что не знаю, не даю себе труда знать… (Может быть: все, что угодно, – только не любовь! Но – все, что угодно!).

Итак: во-первых – божественно-хорош, во-вторых – божественный голос. Обе сии божественности – на любителя. Но таких любителей много: все мужчины, не любящие женщин, и все женщины, не любящие мужчин.

Он восприимчив, как душевно, так и накожно, это его главная и несомненная сущность. От озноба до восторга – один шаг. Его легко бросает в озноб. Другого такого собеседника и партнера на свете нет. Он знает то, чего Вы не сказали и может быть и не

сказали бы… если бы он уже не знал! Чтущий только собственную лень, он не желая заставляет Вас быть таким, каким ему удобно. («Угодно» здесь неуместно, – ему ничего не угодно).

Добр? Нет. Ласков? Да.

Ибо доброта – чувство первичное, а он живет исключительно вторичным, отраженным. Так, вместо доброты – ласковость, любви – расположение, ненависти – уклонение, восторга – любование, участия – сочувствие. Взамен присутствия страсти – отсутствие бесстрастия (пристрастности присутствия – бесстрастие отсутствия).

Но во всем вторичном он очень силен: перл, первый смычок.

– А в любви?

Здесь я ничего не знаю. Мой острый слух подсказывает мне, что само слово «любовь» его – как-то – режет. Он вообще боится слов, как вообще – всего явного. Призраки не любят, чтобы их воплощали. Они оставляют эту роскошь за собой».

* * *

«Люби меня, как тебе угодно, но проявляй это так, как удобно мне. А мне удобно, чтобы я ничего не знал».

Воля в зле? Никакой. Вся прелесть и вся опасность его в глубочайшей невинности. Вы можете умереть, он не справится о вас в течение месяцев. И потом, растерянно: «Ах, как жаль! Если бы я знал, но я был так занят… Я не знал, что так сразу умирают…»

Зная мировое, он, конечно, не знает бытового, а смерть такого-то числа, в таком-то часу – конечно, быт. И чума – быт.

Но есть, у него, взамен всего, чего нет, одно: воображение. Это его сердце, и душа, и ум, и дарование. Корень ясен: восприимчивость. Чуя то, что в нем видите вы, он становится таким.

Так: денди, демон, баловень, архангел с трубой – он все, что вам угодно, только в тысячу раз пуще, чем хотели вы. Игрушка, которая мстит за себя. Objet de luxe et d'art[23] – и горе вам, если это objet de luxe et d'art станет вашим хлебом насущным!

– Невинность, невинность, невинность! –

Невинность в тщеславии, невинность в себялюбии, невинность в беспамятности, невинность в беспомощности…

Есть, однако, у этого невиннейшего и неуязвимейшего из преступников одно уязвимое место: безумная – только никогда не сойдет с ума! – любовь к няне. На этот раз навсегда исчерпалась вся его человечность.

Итог – ничтожество, как человек, и совершенство, как существо.

* * *

Из всех соблазнов его для меня я бы выделила три главных: соблазн слабости, соблазн бесстрастия – и соблазн Чужого.

Москва, 1918–1919

Из дневника
Грабеж

2 часа ночи. Возвращаюсь от знакомых, где бываю каждый вечер. В ушах еще последние, восхищенно-опасливые возгласы:

«Какая смелая! Одна – в такой час! Когда кругом грабеж. И все эти драгоценности!» (Сами же просят сидеть, сами же не оставляют ночевать, сами же не предлагают проводить, – и я выхожу смелая! Так и собака смела, которую люди из сеней выталкивают в стаю волков).

Итак, третий час ночи. Луна прямо в лицо. Ловлю ее как в зеркало в серебряный щит кольца. Тонкий голосок фонтана, нерусская и многословная жалоба – так младшая жена жалуется в гареме – старшей. Так персияночка жаловалась, сквозь косы и чадры (бусы и чадры, слезы и чадры), зря – никому – на разинском челне. Фонтан: пушкинская урна на Собачьей площадке, – пушкинская потому, что в доме напротив Пушкин читал своего Годунова. Почти – Бахчисарайский фонтан!

Подставляю лицо – луне, слух – воде: двойное струенье

Луны, воды

Двойное струенье…

Струенье… строенье… сиренью… стремленье… (Какое вялое слово! Пустое. Не чета – стремглав).

На углу Собачьей и Борисоглебского овеваю платьем двух спящих милиционеров. Сонно подымают глаза. Не живее тумб, на которых спят. Праздная мысль: «Эх! Чтобы – ограбить!» Девять серебряных колец (десятое обручальное), офицерские часы-браслет, огромная кованая цепь с лорнетом, офицерская сумка через плечо, старинная брошь со львами, два огромных браслета (один курганный, другой китайский), коробка папирос (250!) подарок – и еще немецкая книга. Но милиционеры, не прослышав моего совета, спят. Миновала пекарню Милешина, бабы-ягинскую избу, забор, – вот уже мои два тополя напротив. Дом. Уже заношу

ногу через железку ворот (ночью ход со двора) – как из-под навеса крыльца:

– Кто идет?

Малый лет восемнадцати, в военном, из-под фуражки – лихой вихор. Рус. Веснушки.

– Оружие есть?

– Какое же оружие у женщин?

– Что это у вас тут?

– Смотрите, пожалуйста.

Вынимаю из сумки и подаю ему, одно за другим· новый любимый портсигар со львами (желтый, английский: Dieu et mon droit[24]), кошелек, спички.

– А вот еще гребень, ключ… Если вы сомневаетесь, зайдемте к дворнику, я здесь четвертый год живу.

– А документ есть?

Тут, вспоминая напутствия моих осторожных друзей, добросовестно и бессмысленно парирую:

– А у вас документ – есть?

– Вот!

Белая под луной сталь револьвера. («Значит – белый, а я почему-то всегда думала, что черный, видела черным. Револьвер – смерть —· чернота»).

В ту же секунду через мою голову, душа меня и цепляясь за шляпу, летит цепь от лорнета. Только тут я понимаю, в чем дело.

– Опустите револьвер и снимайте обеими руками, вы меня душите.

– А вы не кричите!

– Вы же слышите, как я говорю.

Опускает и, уже не душа, быстро и ловко снимает в два оборота обкрученную цепь. Действие с цепочкой – последнее. «Товарищи!» – это я слышу уже за спиной, занося ногу через железку ворот.

(Забыла сказать, что за все время (минуту с чем-то) нашей беседы по той стороне переулка ходили взад и вперед какие-то люди).

Военный оставил мне: все кольца, львиную брошь, самое сумку, оба браслета, часы, книгу, гребень, ключ.

Взял: кошелек с негодным чеком на 1000 руб <лей>, новый чудный портсигар (вот оно, droit без Dieu!), цепь с лорнетом, папиросы.

В общем, если не по-божески – по-братски.

* * *

На следующий день в 6 часов вечера, на М<алой> Молчановке его убили! (Напали среди светла вечера на какого-то прохожего, тот дал себя ограбить и, пропустив, выстрелил в спину). Он оказался одним из трех сыновей церковного сторожа соседней Ржевской церкви, вернувшихся, по случаю революции, с каторги.

Предлагали идти отбирать вещи. С содроганием отвергла. Как – я, живая (то есть – счастливая, то есть – богатая), пойду отбирать у него, мертвого, его последнюю добычу?! От одной мысли содрогаюсь. Так или иначе, я его последняя (может быть – предпоследняя!) радость, то, что он с собой в могилу унес. Мертвых не грабят.

Расстрел царя

Возвращаемся с Алей с каких-то продовольственных мытарств унылыми, унылыми, унылыми проездами пустынных бульваров. Витрина – жалкое окошко часовщика. Среди грошовых мелочей огромный серебряный перстень с гербом.

Потом какая-то площадь. Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:

– Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым!

Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего. Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком, снова отводят глаза – куда? Да так, в пустоту. А может, трамвай выколдовывают.

Тогда я, Але, сдавленным, ровным и громким голосом (кто таким говорил – знает):

– Аля, убили русского царя, Николая II. Помолись за упокой его души!

И Алин тщательный, с глубоким поклоном, троекратный крест. (Сопутствующая мысль: «Жаль, что не мальчик. Сняла бы шляпу»).

Покушение на Ленина

Стук в дверь. Слетаю, отпираю. Чужой человек в папахе. Из кофейного загара – белые глаза. (Потом рассмотрела: голубые). Задыхается.

– Вы Марина Ивановна Цветаева?

– Я.

– Ленин убит.

– О!!!

– Я к вам с Дону.

Ленин убит и Сережа жив! Кидаюсь на грудь.

* * *

Вечер того же дня. Квартирант-коммунист З<ак>с, забегая в кухню:

– Ну что, довольны?

Туплю глаза, – не по робости, конечно: боюсь слишком явной радостью оскорбить. (Ленин убит, белая гвардия вошла, все коммунисты повешены, З<ак>с – первый)… Уже – великодушье победителя.

– А вы – очень огорчены?

– Я? (Передергиванье плеч). Для нас, марксистов, не признающих личности в истории, это, вообще, не важно, – Ленин или еще кто-нибудь. Это вы, представители буржуазной культуры… (новая судорога)… с вашими Наполеонами и Цезарями… (сатанинская усмешка)… а для нассс, знаете. Нынче Ленин, а завтра…

Оскорбленная за Ленина (!!!) молчу. Недоуменная пауза. И быстро-быстро:

– Марина Ивановна, я тут сахар получил, три четверти фунта, мне не нужно, я с сахарином пью, может быть, возьмете для Али?

* * *

(Этот же Икс мне на Пасху 1918 г. подарил деревянного кустарного царя).

Чесотка

Сейчас в Москве поветрие чесотки. Вся Москва чешется.

Начинается между пальцами, потом по всему телу, подкожный клещ, где останавливается – нарыв. Бывает только по вечерам. На службах надписи: «Рукопожатия отменяются». (Лучше бы – поцелуи!).

И вот недавно – в гостях, родственник хозяйки, тоже гость, настойчиво и с каким-то сдержанным волнением расспрашивает хозяйку дома о том, как это, и что это, и с чего это начинается, и от чего кончается – и кончается ли.

И ее неожиданно прозревший возглас:

– Абраша, наверное, у тебя самого чесотка! («Чесотка» в ее представлении, очевидно, – сам клещ. Блохи, мухи, тараканы, клопы, чесотки).

С уходящими под видом шутки никто не прощается за руку. Хозяин, во избежание, даже целуется. Гость противен – буржуй. Достаточно омерзителен и без чесотки. Гость – трус и воздержавшимся сочувствует. Чесотка – мерзость. И, учитывая вес, всю бессмысленность жеста и жертвы, в полном отчаянии и похолодании, не только протягиваю – но еще необычайно долго задерживаю его руку в своей.

Рукопожатие, воистину чреватое последствиями; тебе, чесоточному, уверенность в моей благосклонности и посему (учитывая чесотку!) вдвойне бессонная ночь: мне, не чесоточной, – чесотка и посему (учитывая твою уверенность!) тоже вдвойне бессонная ночь.

* * *

Как он спал, не знаю. Я, по крайней мере, не чесалась и не чешусь.

Fröulein [25]

Голодная толчея Охотного ряда. Продают морковь и малиновые трясучки, на картонных поддонниках, мерзкие. Не сдавшиеся – снуют, безнадежные – слоняются. Вдруг – знакомый затылок: что-то редкое, русое… Опережаю, всматриваюсь: молочные глаза, печальный красноватый клюв – Fröulein. Моя учительница немецкого из моей последней гимназии.

– Guten Tag, Fröulein[26]! – испуганный взгляд. – Не узнаете? Цветаева. Из гимназии Брюхоненко.

И она озабоченно:

– Цветаева? Куда же я вас посажу? – И, останавливаясь: – Да куда же я вас посажу?

– Ну, тетка, проходи, что ли!

* * *

Не вынесли – немецкие мозги!

Ночевка в коммуне

Сижу в гостях. Просят сказать стихи. Так как в комнате коммунист, говорю «Белую гвардию».

Белая гвардия – путь твой высок…

За белой гвардией – еще белая гвардия, за второй белой – третья, весь «Дон», потом «Кровных коней» и «Царю на Пасху», – словом, когда опоминаюсь – 12 часов, а ворота моего дома непременно заперты.

Ночевать мне здесь нельзя – «порядочный дом», с прислугами, с родственниками, остается одно: идти на Собачью площадку и спать под звуки пушкинского фонтана. О чем объявляю – смеясь, встаю и твердым шагом иду к двери. И, уже в дверях, певуче:

– Маринушка!

– Да?

– Вы серьезно собираетесь спать на улице?

– Совершенно.

– Но ведь это же…

– Да, очень, но…

– Тогда идемте к нам, в коммуну.

– Но, может быть, вам неудобно?

– Отчего? У меня отдельная комната.

– Тогда – спасибо.

Сияю, ибо, несмотря на весь внутренний авантюризм, верней: благодаря всему внутреннему авантюризму, весьма и весьма обхожусь без внешнего! (NB! Из ночевки на коммунистической улице к ночевке в коммунистическом доме – авантюра все-таки – первое!).

Идем. Коммуна недалеко: великолепный каменный особняк, напоминающий Англию (никогда не была). Входим. Лестница с ковром. Тишина бархата. Тишина ночи. Мозолями рук по бархату перил. Проходим через пустую (и людьми и едой) столовую, еще через несколько комнат – пришли. Похоже на полуторный номер гостиницы: комната, заворачивая, образовывает крюк. Привиденский штофный занавес, за которым незримое окно из несомненно-цельного стекла – если не выбито Октябрем. Мебельная мелочь, вроде столиков, этажерок, жардиньерок. Низкая деревянная резная кровать, очень глубокая, очень разлатая. Для долгих лежаний, для поздних вставаний. Для лени, для неги, для жиру, для всего, что ненавижу – кровать!

– Вот здесь вы будете спать, Маринушка.

– А вы?

– А я на диване, в кабинете. (Кабинет, очевидно – сам крюк).

– Нет, я на диване! Я обожаю на диване! Я дома всегда спала на диване! Даже на собачьем! Когда приезжала из пансиона! А

собака, поняв, что я заснула, тоже лезла и самым наглым образом спала у меня на голове… Честное слово!

– Но вы не в пансионе, Маринушка!

– Не напоминайте мне, дружочек, где я!

Садимся. Курим. Беседуем. Уступает мне свой ужин: кусочек хлеба, три вареных свеклы и стакан чая с кусочком сахара.

– А вы?

– Я уже ужинал.

– Где? Нет, нет, вместе!

Говорим о стихах, о Германии, которую оба страстно любим, расспрашивает о моей жизни.

– Вам очень трудно живется? Смущаюсь, скрашиваю.

И он:

– Маринушка, Маринушка… Ну, я скоро получу немножко муки, я вам тогда принесу… Как все это ужасно!

Я:

– Да уверяю вас…

Он, думая вслух:

– Может быть, удастся достать немножко пшена…

(И беспомощно):

– А уехать на юг – совсем невозможно?

(Ответственный работник!).

Смотрю в лицо: прелестное, худое; в глаза: карие, в роговых очках. И такое сознание его невинности, неповинности, такое задохновение жалости и благодарности, что… но слезы уже текут, и он, испуганно:

– А вести с Юга у вас, по крайней мере, не плохие?

* * *

Сплю, конечно, на кровати, – ни собаки, ни уверения не помогли. Перед сном еще перекликаемся.

– N! Вы бы хотели сейчас быть в Вене? Это – гостиница, сейчас 1912 г., выгляните, – живая, школьная, ночная Вена… и «Wienerblut»[27]..

И он, протяжно:

– Ах, я ничего не знаю, Маринушка!

* * *

Просыпаюсь с солнцем. Быстро влезаю в свое широченное красное платье (цвета cardinal – пожар!). Пишу записку N.

Осторожно открываю дверь и – о, ужас! – огромная двуспальная кровать, и на ней – спящие. Отступаю. Потом, внезапно решившись, большими тихими шагами направляюсь к противоположной двери, уже нажимаю ручку…

– Да что же это такое?!

На кровати сидящий мужчина – всклокоченная голова, расстегнутый ворот, смотрит.

И я, вежливо:

– Это я. Я случайно ночевала здесь и иду домой.

– Но, товарищ!..

– Ради Бога, извините. Я не думала, что… Я думаю, что… Я, очевидно, не сюда попала…

* * *

И, не пережидая реплики, исчезаю.

* * *

NB! Именно – сюда!).

* * *

Потом слышала от N.: спящий принял меня за красное привидение. Призрак Революции, исчезающий вместе с первыми лучами солнца!

Рассказывая, безумно смеялся.

* * *

Только сейчас, пять лет спустя, по достоинству оцениваю положение: единственное, что я догадалась сделать, попав в коммуну, – это попасть в чужую спальню, единственное – вопреки всем призывам г<оспо>жи Коллонтай и К° – у коммунистов – некоммунистического

– «Plus royaliste que le Roi!»[28]

(Пометка весной 1923 г.).

Воин христов

Раннее утро. Идем с Алей мимо Бориса и Глеба. Служба. Всходим, вслед за какой-то черной старушкой, по ступеням белого крыльца. Храм полон, от раннего часа и тишины впечатление заговора. Через несколько секунд явственно ушами слышу:

– …Итак, братья, ежели эти страшные вести подтвердятся, как я только о том проведаю, ударит звонарь в колокол, и побегут по всем домам гонцы-посланцы, оповещая всех вас о неслыханном злодеянии. Будьте готовы, братья! Враг бодрствует, бодрствуйте и вы! По первому удару колокола, в любой час дня и ночи – все, все в храм! Встанем, братья, грудью, защитим святыню! Берите с собой малолетних младенцев ваших, пусть мужчины не берут оружия: возденем голые руки горé, с знаком молитвы, посмотрим – дерзнут ли они с мечом на толпу безоружных!

А ежели и это свершится – что ж, ляжем все, ляжем с чувством исполненного долга на ступенях нашего храма, до последней капли крови защищая Господа нашего и Владыку Иисуса Христа, покровителей храма сего и нашу несчастную родину.

– …Набат будет частый, дробный, с явственными перерывами… Поясняю вам сие, братья, для того, чтобы вы, спросонья, не спутали его с пожарным колоколом. Как услышите в неурочный час непривычный звон, так знайте: зовет, зовет Господь!

Итак, дорогие братья…

И мое торопливое в ответ: «Дай Бог! Дай Бог, дай Бог!»

Москва, 1918–1919

Смерть Стаховича

27 февраля 1919 г.

Мы с Алей у Антокольского[29]. Воскресенье. Тает. Мы только что от Храма Спасителя, где слушали контрреволюционный шепот странников и – в маленьких шапочках – в шубах с «буфами» – худых и добрых – женщин-не женщин – дам-не дам, с которыми так хорошо на кладбище.

– «Погубили Россию»… «В Писании все сказано»… «Антихрист»…

Храм большой и темный. Наверху – головокружительный Бог. Островки свеч.

Антокольский читает мне стихи – «Пролог к моей жизни», которые бы я назвала «Оправданием всего». Но так как мне этого

нельзя, так как я в данный час – русская, молчу молчанием резче и весче слов. Прощаемся. Аля надевает капор. В дверях студиец В. с каменным лицом.

– Я принес ужасную весть: Алексей Александрович Стахович вчера повесился.

* * *

В церкви (у Страстного, названия не помню) стоял двойной пар от ладана и от дыхания. Каждый раз, чтобы креститься, я снимала варежку. Воск капал, слез у меня нет.

Вижу руки – из чего-то другого: не плоть, – сохранившие от живого только форму – восхитительную! Те самые, которыми прививал, в Крыму, розы, и – розы кончились – закладывал, из гардинного шнура, петлю. Голова в тяжелом великолепии смерти. Веки – как занавесы: кончено, спущено. Если и есть страдание – то в висках. Остальное покоится.

Стою над гробом, близким ли, дальним ли, у меня непреложно – вопрос: «Кто следующий?» Ведь буду же я так стоять над другим лицом? – Чьим? – Эта мысль во мне, как соблазн.

Я знаю, что мертвый знает. Не вопрос, а допрос. И нескончаемость этого ответа…

Еще одно: кем бы ни был мне мертвый, верней: как мало бы я ему, живому, ни была, я знаю, что в данный час (с часа, кончающегося с часами) я ему ближе всех. Может быть – потому что я больше всех на краю, легче всех пойду (пошла бы) вслед. Нет этой стены: живой – мертвый, был – есть. Есть обоюдное доверие: он знает, что я вопреки телу – есть, я знаю, что он – вопреки гробу! Дружеский уговор, договор, заговор. Он только немножко старше. И с каждым уходящим уходит в туда! в там! – частица меня, тоски, души. Опережая меня – домой. Почти как: «кланяйтесь тем-то»…

Но, воскресая с ним, я и умираю с ним. Я не могу плакать над гробом, потому что и меня закапывают! Некоей утерей своей земной достоверности плачусь за утверждение свое в мирах тех. (Плата за перевоз? Ведь платили же тени Харону? Я свою тень посылаю вперед – и здесь плачу2!).

Еще об одном: как это близкие так мало ревнивы к гробу? Так легко уступают – хотя бы пядь. Секунды на земле сочтены, и именно пядь дорога! Никогда не превышаю прав, оставляю пустоту вокруг гроба незаполненной – не семья – так никто! – но с такой горечью, с такой обидой за лежащего. (Гроб: точка

стечения всех человеческих одиночеств, одиночество последнее и крайнее. Из всех часов – час, когда надо любить вблизи. Именно над душой стоять).

Господи, будь он мой (то есть: имей я право!), как бы я стояла, и глядела, и целовала, как – когда все уйдут – говорила бы с ним – ему! – совсем простые вещи – может быть, о погоде – ведь он так недавно был! он еще не успел «не быть»! как я бы ему в последний раз рассказала землю.

Я знаю, что его душа возле! Ушами же никто никогда ничего не слышал.

* * *

В церкви людно, никого не знаю. Помню седую голову Станиславского и свою мысль: «Ему, должно быть, холодно без шапки» – и умиление над этой седой головой.

Из церкви его понесли в Камергерский. Толпа была огромная. Все чужие. Я шла, чувствуя себя наполовину мертвой, умирая с каждым шагом – от всех чужих вокруг, от него – одного – впереди. Толпа была огромная. Автомобили сворачивали с дороги. Я этим немножечко (за него) гордилась.

От Зубовской площади толпа начала редеть. В постепенности этого редения выяснилось, что за ним идет одна молодежь-студийцы II Студии – его «Зеленое кольцо». Они трогательно пели.

Когда улицы стали совсем чужими, а я уже не только тела не чувствовала, но – души, ко мне подошел В. Л. М<чеде>лов[30]. Я ему безумно обрадовалась и сразу перенесла на него частичку своей нежности к Стаховичу. Я чувствовала – приказала себе почувствовать – что он чувствует совсем как я, внушала ему это, всем своим самовнушением внушала – и если я когда-нибудь в жизни испытала чувство содружества, то именно в этот час, в снегах Девичьего Поля, за гробом Стаховича.

– Я тогда не сказал Вам этого. Помните? Вы в прошлом году написали мне письмо, где было несколько строк о нем: что-то о белой кости, о белой муке. Я ему прочел. Это произвело на него потрясающее впечатление. Он три дня ходил за мной следом, чтобы я ему их переписал…

Слушаю молча.

– Его очень любили, все к нему приходили во время болезни. За день до его смерти кто-то из студийцев принес ему котлету из конины. Воткнул вилку и, с усмешкой: «Может, свою же лошадку и ем»… У него ведь конские заводы были. Страстно любил

лошадей.

– А как же все эти студийцы, все эти юноши, все эти молодые женщины? Как же они все-таки не…

– Не догадались?

– Не отстояли его у смерти?! Ведь в их руках: молодость, любовь, – власть!

– Ах, Марина Ивановна! Жалость – не любовь. Особенно к старику. Стахович ненавидел жалость. «Я никому не нужный старик…»

Переходим на тротуар – курить. Пальцы еле держат папиросу. Была оттепель, стал буран.

– Он никакой записки не оставил?

– Нет, но в день своей смерти он еще был в театре, подошел ко мне, спросил: «Ну как. Вы еще не устроились?» – «Нет». – «Как жаль, как жаль», и сжал мои обе руки.

– А что это за маленький человек, который так плакал в церкви?

– Его камердинер, он раньше был буфетным мальчиком. За день до смерти он выдал ему жалованье за месяц вперед и награду. Перед смертью он заплатил все долги.

Доходим до кладбища. Божественная белизна Девичьего Монастыря, успокоительный свод арки. (Об этом кладбище, в 1921 г., один мой спутник-еврей: «Стоит умереть, чтобы лежать здесь», и, после паузы: «Может быть, и – креститься»). Идем к могиле. Студийцы сами хотят опустить гроб, но гроб, сделанный в Художественном театре, слишком широк (я, мысленно, с усмешкой: барский!) – не проходит. Могильщики расширяют. К священнику, торопясь и заплетаясь, подходит монашка: «Батюшка, нельзя ли поскорей? Второй покойник у ворот».

Сугробы не расчищены, стою на могиле Сапунова, немного мучась тем, что это – ну – не по Стаховичу. Помню какую-то даму в трауре. Большие, стеклянные от слез, голубые глаза. Когда гроб опускают, крестит его вслед мелкими частыми крестиками.

Потом узнаю – актриса, у которой недавно в Киеве убили мать и сестру.

* * *

Гражданская панихида по Стаховичу (Художественный театр).

Сначала траурный марш Бетховена.

Стахович и Бетховен. Надо понять.

Первое, что чувствую – несоответствие, второе – неловкость, как от нескромности. – В чем дело? – Слишком пышно… Слишком

явно. – Ну?

Стахович – XVIII век, Бетховен – вне (всякого). Что соединило эти два имени? – Смерть. – Случайность смерти. Ибо для того, Стаховича, смерть всегда случайность. Даже вольная. Не завершение, а разрыв. Не авторское тире, а цензорские ножницы в поэму. Смерть Стаховича, вызванная 19-м годом и старостью, не соответствует сущности Стаховича – XVIII веку и молодости. Уметь умирать еще не значит любить бессмертье. Уметь умирать – суметь превозмочь умирание – то есть еще раз: уметь жить. Больше – и уже на французском (языке формул) скажу:

Pas de savoir-vivre sans savoir mourir[31].

Savoir-mourir, обратно savoir-vivre[32] – какое русское существительное! Счастлива, что следующей формулой ввожу его впервые:

Il n'y a pas que le savoir-vivre, il y a le savoir-mourir[33].

* * *

Но что же с Бетховеном и Стаховичем?

А! кажется, поняла. Стахович – более XVIII века, чем Бетховен, рожденный в нем, равно как траурный марш Бетховена больше смерть, чем лежащий в гробу Стахович. Смысл Стаховича (XVIII века!) – Жизнь. И в смертном дне, как в любовном: «Point de lendemain!»[34]. Стахович уходит весь. Бетховен – тот рай, в который дано войти Стаховичу. В траурном марше Бетховена, по отношению к Стаховичу, некая двойная грубость: acte de décès[35] (живому не играют!) и acte d' abdication[36] (доиграл!).

Ясно ли то, что я хочу сказать?

– Ах, лучше всего бы меня понял сам Стахович!

* * *

Речь Станиславского:

«У друга было в жизни три любви: семья, театр, лошади. Семейная жизнь – тайна, в лошадях я не знаток… Я буду говорить о театре».

Рассказ о том, как впервые появился за кулисами Охотничьего клуба[37], в великокняжеской свите, красавец адъютант Стахович. «Великие князья, как им и подобает, оставались недолго. Адъютант остался». – И постепенное – негласное – участие блестящего гвардейца в постановках – в роли

arbiter elegantarum[38]. («Нужно будет спросить у Стаховича», «это не по Стаховичу», «как бы это сделал Стахович?») Поездка для изучения дворянского и крестьянского быта в подмосковное имение Стаховича. – «Мы были приняты по-царски». – Нежность Стаховича. – «Заболевал ли кто-нибудь из группы, кто оставался при больном в московской жаре и духоте? Блестящий великосветский гвардеец превращался тогда в самую заботливую няньку…» Рассказ о том, как Стахович, вырвавшись с придворного бала, прилетел на пять минут в Художественный театр, чтобы полаять по-собачьи в граммофонную трубу для постановки «Вишневого сада».

* * *

Говорят не так и не те. Станиславский – слишком просто (я бы даже сказала – простецки), сводя всего Стаховича к быту: сначала придворно-военному, потом театральному и, что хуже всего – к Художественному театру: олицетворению его! – упуская элемент мятежа, толкнувшего придворного – в актерство, наивно смешивая обаяние над Стаховичем дерзкого слова «художественники» с влечением к Художественному театру, как к таковому, забывая и фон и тон той удушающей эпохи, забывая откуда и только помня – куда.

Росси (в статье, которую читает другой) упрощает сложную лирико-цинико-стоико-эпикурейскую сущность Стаховича до русских дворянских гнезд и дает фельетон вместо поэмы. Южин – как общественное лицо и привыкшее хоронить таковых – неведомо зачем и почему припоминает грехи дворянства и ставит на вид «общественную пользу Стаховичей» (ложь! совершенно бесполезны, как скаковая лошадь. Разве для тех, кто как я, на них ставит).

Все – применительно: к театру ли, к общественности ли, к дворянству ли… Никто – вне: Стахович как явление.

Лучше всех – с волнением, смело, ни слова лишнего – говорит студиец Судаков. Одна фраза – совсем моя:

«И лучший урок bon ton, maintien tenue[39] нам дал Стахович 11-го марта 1919 г.». (27-го февраля – 11-го марта, день смерти).

* * *

Слушаю, слушаю, слушаю. Все ниже и ниже опускаю голову, понимаю роковую ошибку этой зимы, каждое слово, как нож, нож

все глубже и глубже, не даю себе дочувствовать, – ах, все равно – ведь я тоже умру!

И скажу еще одно, чего не говорит никто, что знают (?) все: Стахович и Любовь, о любовности этого causeur'а[40], о бессмысленности его вне любви.

И скажу еще одно, чего не знает никто: – если бы на Рождестве 1918 г. я, как хотела, зашла к Стаховичу, он бы не умер.

А я бы ожила.

* * *

Стихов к нему мне на панихиде прочесть не дали. Были Каменева и еще кто-то. Н<емирович>-Д<анченко> кипятился и колебался: с одной стороны – «номер», с другой – камера.

…Вы не вышли к черни с хлебом-солью
И скрестились – от дворянской скуки!
В черном царстве «трудовых мозолей» —
Ваши восхитительные руки…

– Вот, если бы это пропустить…

– Нельзя, это главное. – Но я не настаивала: Стаховича в зале не было.

Переписала эти стихи его милой сестре, – единственной, кому они были нужны. Выступать для меня всегда превозможение, при моей брезгливости к зрелищам и общественности это законно! Не робость: некая недоуменная отчужденность: stranger hear[41].

* * *

…В черном царстве «трудовых мозолей…»

Не о мозолях труда, о навязанных, глаза намозоливших и в ушах навязших, мозолях равенства – говорю. Потому и взяла в кавычки.

Моя встреча с Стаховичем

– Единственная. – Год назад. – Познакомил нас В. Л. М<чеде>лов, с которым знакома давно, но подружились только прошлой зимой. Мне всегда нравилась в нем, человеке театра, эта

падкость на иные миры: в человеке зрелища – страсть к незримому. Я прощала ему театр[42]. На его постановке «Дневник Студии» (отрывок из Лескова, «История Лейтенанта Ергунова» и «Белые ночи») я была три-четыре раза, – так нравилось! Помню в «Лейтенанте Ергунове», у него, у спящего лейтенанта, слезу. Большую, сонную. Текла и застыла. Жгла и остыла. Он походил на раненного в бою. На всю Белую Армию. Потому, может быть, и ходила смотреть.

А комната – трущоба! – берлога! – где обольщает лейтенанта персияночка! Эта драпь, рвань, стклянь. Глаза по углам, узлы по углам. Эти ошметки, оплевки, обглодки. Эта комната, центр которой – туфля. Эта туфля посреди пола, царственным, по бесстрастию, жестом ноги отлетающая в потолок! Это отсутствие здравого смысла в комнате! Отсутствие комнаты в комнате! Мой Борисоглебский живьем! Мое убранство. Моя уборка. Все мои семь комнат в одной. Скелет моего быта. Мой дом.

Помню персияночку (чертовку): шепота. Шепота – лепета – бормота. Возле слов. Наговаривает, насказывает, названивает. Амулеты – браслеты. Под браслетами – лейтенантовы эполеты. Лепета – и бусы, соловьиные рокота – и руки. Руки, ручьи.

* * *

Потом он повел меня на Стаховича – «Зеленое кольцо». О пьесе не сужу. Голос – большой обаятель. Единственный случай, когда я не верю ушам своим. (Театр). Перевести фразу с голоса на мысль – осмыслить, осознать произносимое – не всегда успеваешь: плывешь по голосу. Голос – и чувство в ответ, вне промежутка слов. В театре слова не нужны, не важны – актер скользит по словам. (Лишнее доказательство правоты Гейне). Бессмысленное а-а-а-а, о-о-о-о может целую толпу повергнуть в прах, повести на приступ. Равно как – при голосовой несостоятельности – ни Шекспиру, ни Расину не помочь. (Голос здесь не только как горло, но и как разум). Откуда сей голосовой разум у сего всяческого кретинизма, коим зачастую является певец – другой вопрос, и заводящий далеко. Может быть – хороший маэстро, может быть – просто вмешательство богов. (Не меньше поэтов и женщин льстятся на недостойные сосуды)! Словом, чтобы закончить о голосе:

Я – чудо: ни добро, ни худо.

А чтобы закончить о пьесе – не знаю, я слушала Стаховича.

* * *

Стахович: бархат и барственность. Без углов. Голосовая и пластическая линия непрерывны. Это я о пятью чувствами воспринимаемом. Духовно же – некое свысока. Совсем не важно, что это по пьесе. Ясно, как зеркало, что играет себя. – «Малые мои дети» – это он не своим партнерам говорит, – нам всем, всему залу, всему поколению. «Милые мои дети», это читайте так: «Я устал, я все знаю, что вы скажете, все сны, которые вам еще будут сниться, я уже видел тысячелетия назад. И тем не менее, несмотря на усталость, выслушиваю: и исповеди, и отповеди. Снисходительность – не наименьшая ли из добродетелей Петрония? Кроме того, я, как все стареющие, бессонен. Ваши лепеты – не послужат ли они мне тем лепестковым потоком, в котором сомкнул, наконец, вежды мой более счастливый собрат?»

Этого ли хотел автор? Навряд ли. Так, чарами сущности и голоса, образ очень местный (русского барина), очень сословный (барина – очень) и очень временный (fin du siècle[43] прошлого века) превратился во вневременный и всеместный – вечный.

Образ прошлого, глядящегося в будущее.

* * *

После пьесы В. Л. М<чеде>лов повел меня знакомиться, – куда-то вниз. Помню зелень и пар: мебель и чай. Стахович встает навстречу. Очень высокий рост (я из тех народов, что богов своих воспринимают великанами!) – гибкая прямизна, цвет костюма, глаз, волос – среднее между сталью и пеплом. Помню веки, из породы тяжелых, редко дораскрывающихся. Веки природно-высокомерные. Горбатый нос. Безупречный овал.

Сопровождающие лестные слова М<чеде>лова, и я, заставляя себя взглянуть прямо:

– Я очарована, но это Вы заранее знаете. Для этого Вам достаточно слышать себя. Ненавижу театр, но обожаю чары. Я сегодня очень счастлива. Всё.

Оба смеются. Смеюсь и я. И – рассеять, нет – затуманить определенность сказанного и слышанного – вроде как бы хвостом замести! – закуриваю. И – да простит мне Стахович это упоминание об одной из пленительнейших мною за жизнь слышанных обмолвок! – его испуганный возглас:

– Но зачем же волосы жечь?! Их у Вас и без того мало!

Я, праведно-возмущенная:

– Мало? Волос?

– Я хотел сказать – короткие.

Смеемся опять. Смех, в первые секунды, лучшая связь. Смех и

легкая (чужая) погрешность. Присаживаюсь к столику. Пока наливает чай, любуюсь рукой.

– Я очень люблю Ваши стихи. Когда мы были в Кисловодске, Качалов получил от вас стихотворение, без подписи…

Я, вскипая: —?!!

Стахович, чуть гася рукой, с улыбкой: – Тщетная предосторожность, ибо Вас тотчас же узнали все. Купола, колокола… Прекрасные стихи. И архитектурно, и музыкально, и филологически – замечательно. Я тотчас же выучил их наизусть и на многих вечерах читал. – Всегда с успехом… (полупоклон), который всецело приписываю Вам…

Слушаю ошеломленно. Я – Качалову?! Забалованному купчихами? Я – Качалову – без подписи?! Без подписи?! – Я?!!!

– Я очень люблю чтение поэтов. Вы бы мне их не прочли?

– Но…

И вдруг – безнадежность: Стахович эти стихи любит. Стаховичу 60 лет, и он превозмог отвращение к «современности». Стахович мне эти стихи – в упор – хвалит. И эти стихи – вдруг не мои! Все здание рушится. И под обломками – Стахович!

И, ничего не разоблачая, проглотив и аноним, и чужие стихи, и Качалова, – героически:

– Но я так плохо читаю… Как все поэты… Я никогда не решусь… (NB. Хорошо читаю – как все поэты – и всегда решаюсь).

– Такая Шарлотта Корде? Я никогда бы не заподозрил Вас в робости!

И я, облегченно (словесная игра! То, в чем не собьют!):

– Благодарю за честь, но разве я перед Маратом? Смеется. Смеемся. Упрашивает. Отклоняю. Отвожу. Что я ему скажу? Я тех стихов не знаю. Трагическая нелепость: здесь, где всё «да» – начинать с отказа! И, внезапно осеняясь:

– А может быть. Вы сами мне их скажете?

Он смущенно:

– Я… я их сейчас немножечко забыл. (Я не писала, а он не помнит! «Направо поедешь – коня потеряешь, налево поедешь…»).

И – поворотом стремительным и бесповоротным:

– Будь я на месте Веры Редлих[44], я бы всю пьесу опрокинула!

– То есть?

– Вы на сцену – текст забыт, жених забыт…

– Вы так беспамятны?

– Нет, это Вы – незабвенны!

Стахович М<чеде>лову:

– О-о-о! Я и не знал, что это такое льстивое племя – поэты! Это обычно падало на бедные головы придворных!

– Каждый поэт – придворный: своего короля. Поэты всегда падки на величие.

– Как короли – на лесть.

– Которую я обожаю, ибо веду ее не от лицемерия, а от прелести – того, кому льстить. Льстить – прельщаться. Льстить-льнуть. Иной лести не знаю. А Вы?

* * *

Потом расстались, – кажется обольщенные. (О себе – достоверно). Потом написала письмо В. Л. М<чеде>лову, не имеющее никакого отношения к адресату, кроме адреса. (С даты до подписи – о Стаховиче и для Стаховича). Потом забылось.

* * *

Два месяца назад от Володи Алексеева[45] узнала о его болезни. Болен, скучает. Но мы виделись только раз, только час! Но – раз болен – семья, друзья… Близко не подойдешь, а проталкиваться не умею. (Не расступятся же)! Видение чужого дома, чужого быта. Родные, которые, никогда не видев меня раньше, будут разглядывать… Нарядные студийки – а я в таких башмаках…

Потом: для меня прийти (всегда, и особенно сейчас, в Революцию), для меня прийти – принести. Что я ему принесу? Свои пустые руки (никогда не аристократические, а сейчас – даже не человеческие!), пустые руки и переполненное сердце? Но последнего он – из-за первых (смущения моего!) не увидит. Даром измучаюсь и время отниму.

Но с каждым приходом Володи, жалобно: «Возьмите меня к Стаховичу!» Для меня достижимость желаемого (вещи ли, души ли) в обратном соотношении с желанностью его: чем желанней – тем недостижимей. Заранее. Заведомо. И не пытаюсь хотеть. Стахович у Страстного, стало быть – и Страстной – не Страстной и… даже Стахович – не Стахович. («Удивится… Рассердится…» Он, Петроний!). Словом, – не пошла.

* * *

Еще одна фраза, на похоронах, М<чеде>лова: «Почему вы его никогда не навестили? Он был бы так рад. Он любил стихи,

беседу, сам любил рассказывать, только его никто не хотел слушать… А было – что! У него ведь была необычайная жизнь. Столько встреч, путешествий… В молодости – война… И такие разные круги: придворные, военные, театр… И Вы ему тогда так понравились…»

* * *

16-го марта 1919 г.

Иду сейчас по улице. Немножко тает. Вдруг мысль: «В первый раз Москва весной без Стаховича…» (Нет: «Стахович весной без Москвы», – мне подумалось именно так).

* * *

19-го марта.

Каждый раз, когда я вижу на улице седой затылок, у меня сжимается сердце.

* * *

Еще я забыла сказать: у Стаховича когда-то был чудесный голос. Он пел с каким-то знаменитым итальянцем. – Голос! – Жесточайшее надо мной обаяние!

* * *

Да, то был вальс прелестный, томный,
Да, то был ди-ивный вальс.
Он это часто пел, чудесно пел. Кончит – и неизменно:
Когда б я молод был,
Как бы я Вас любил!

– Алексей Александрович! Алексей Александрович! Да ведь этого в романсе нет! Это Вы свое поете!

– Есть, есть! А если и нет – se non è vero è ben trovato[46]!

И никто не понимал!

(Рассказ студийки)

Москва, февраль-март 1919

О благодарности (Из дневника 1919 г.)

Когда пятилетний Моцарт, только что отбежав от клавесина, растянулся на скользком дворцовом паркете, и семилетняя Мария-Антуанэтта, единственная из всех, бросилась к нему и подняла его, – он сказал: «Celle-je l'épouserai»[47], и, когда Мария-Тереза спросила его, почему, – «Par reconnaissance»[48].

Скольких она и потом, Королевой Франции, поднимала с паркета – всегда скользкого для игроков – честолюбцев – кутил, – крикнул ли ей кто-нибудь – par reconnaissance – «Vive la Reinel!»[49], когда она в своей тележке проезжала на эшафот.

* * *

Reconnaissance – узнавание. Узнавать – вопреки всем личинам и морщинам – раз, в какой-то час узренный, настоящий лик. (Благодарность).

* * *

Я никогда не бываю благодарной людям за поступки – только за сущности! Хлеб, данный мне, может оказаться случайностью, сон, виденный обо мне, всегда сущность.

* * *

Я беру, как я даю: слепо, так же равнодушная к руке дающего, как к своей, получающей.

* * *

Человек дает мне хлеб. Что первое? Отдарить. Отдарить, чтобы не благодарить. Благодарность: дар себя за благо, то есть: платная любовь.

* * *

Я слишком чту людей, чтобы оскорблять их платной любовью.

* * *

Оскорбительно для меня, следовательно и для другого.

Добрая воля, направленная на меня, никогда ничего не предрешала. Личность (направленность на меня) дара, в моем восприятии дара, отсутствует. Я благодарна не за себя и не за соседа, я благодарна.

* * *

Меня не купишь. В этом вся суть. Меня можно купить только сущностью. (То есть – сущность мою!). Хлебом вы купите: лицемерие, лжеусердие, любезность, – всю мою пену… если не накипь.

* * *

Купить – откупиться. От меня не откупишься.

* * *

Купить меня можно – только всем небом в себе! Небом, в котором мне может быть даже не будет места.

* * *

Благодарна я вне-лично, то есть лишь там, где я, помимо доброй воли человека и без его ведома, могу взять сама.

Отношение не есть оценка. Это я устала повторять. Оттого, что ты мне дал хлеба, я может быть стала добрее, но ты от этого не стал прекрасней.

* * *

Поступок не есть отношение, отношение не есть оценка, оценка (критиком, например, Блока) не есть сущность (Блок). Сущность – умысел, слышна только слухом.

* * *

Кусок хлеба от противного человека. Удачный случай. Не больше.

* * *

Ем ваш хлеб и поношу. – Да, –

Только корысть – благодарна. Только корысть мерит целое (сущность) по куску, данному ей. Только детская слепость, глядящая в руку, утверждает: «Он дал мне сахару, он хороший». Сахар хороший, да. Но оценивать сущность человека по сахарам и «чаям», от него полученным, простительно только детям и прислугам: инстинкту.

Да и то нет: мы часто наблюдаем собак, предпочитающих господина своего, ничего не дающего, – кухарке, кормящей.

Отождествлять источник благ с благами (кухарку – с мясом, дядю с сахаром, гостя – с чаевыми) признак полной неразвитости души и мысли. Существо, не пошедшее дальше пяти чувств.

Собака, любящая за то, что гладят, выше кошки, любящей за то, что гладят, и кошка, любящая за то, что гладят, выше ребенка, любящего за то, что кормят. Все дело в степенях.

Так, от простейшей любви за сахар – к любви за ласку к любви при виде – к любви не видя (на расстоянии)[50], – к любви, невзирая (на нелюбовь), от маленькой любви за – к великой любви вне (меня) – от любви получающей (волей другого!) к любви берущей (даже помимо воли его, без ведома его, против воли его!) – к любви в себе.

* * *

Чем старше мы, тем большего мы хотим: в младенчестве – только сахара, в юности – только любви, в старости – только (!) сущности (тебя вне меня).

* * *

Чем меньше мы внешние блага ценим, тем легче мы их даем и берем, тем меньше мы за них благодарны.

* * *

(Практически: благодарность за хлеб (даяние) я допускаю только молчаливую. В явной – нечто устыжающее дающего, какой-то укор).

* * *

Радость хлебу – вот лучшая благодарность! Благодарность, кончающаяся с последним глотком в пищевод.

* * *

Неужели эта частность, малость, подразумеваемость (для меня) – дать – неминуемо должна вырасти в какую-то гору, из-за приставки: мне.

Я-то ведь знаю, как дают: слепо! И я разве сама стерплю, чтобы меня благодарили за хлеб? (За стихи не стерплю, – вот что)!

Хлеб – разве что я?! Стихи (случайность песенного дара) – разве это я?!

Я, это под небом, одна. Отойдите и благодарите.

* * *

Я не хочу низко думать о людях. Когда я даю человеку хлеб, я даю голодному, то есть пищеводу, то есть не ему. Его душа здесь ни при чем. Я могу дать любому – и не я даю: любой. Хлеб сам себя дает. И я не хочу верить, чтобы любой, давая моему пищеводу, требовал за это с моей (или моей) души.

* * *

Но не пищевод дает: душа! Нет, рука. Эти дары не личны. Странно предпочитать один желудок другому, а если и предпочитать – то более голодный. Более голодный, на сегодня, мой (твой). Я за это не ответственна.

* * *

Так, установив дающего (руку) и получающего (пищевод) – странно требовать одному куску мяса от другого куска мяса…

благодарности.

* * *

Души благодарны, но души благодарны исключительно за души. Спасибо за то, что ты есть.

Все остальное – от меня к человеку и от человека ко мне – оскорбление.

* * *

Дать, это не действенность наша! Не личность наша! Не страсть! Не выбор! Нечто, принадлежащее всем (хлеб), следовательно (у меня его нет) у меня отобранное, возвращается (через тебя) ко мне (через меня – к тебе).

Хлеб нищему – восстановление прав.

Если бы мы давали кому мы хотим, мы были бы последние негодяи. Мы даем тому, кто хочет. Его голод (воля!) вызывает наш жест (хлеб). Дано и забыто. Взято и забыто. Никакой связи, никакого родства. Дав, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь. Взяв, отмежевываюсь.

Без последствий.

* * *

Так зачем же мне тебе давать?
Чтобы не быть подлецом.

* * *

Помню гимназисткой – в проходном церковном дворе – нищий. – «Подайте, Христа ради!» – Миную. – «Подайте, Христа ради!» – Продолжаю идти. Он, забегая: – «Не ради Бога – так хошь ради черта!»

Почему дала? Вознегодовал.

* * *

Хлеб. Жест. Дать. Взять. Этого не будет там. Поэтому все,

возникающее из дать и взять – ложь. Сам хлеб – ложь. Ничто, построенное на хлебе, не уцелеет (замешенное на дрожжах – не взойдет). Опара наших хлебных чувств при хладной температуре Бессмертия неминуемо опадет.

Не стоит и замешивать.

* * *

Брать – стыд, нет, давать – стыд. У берущего, раз берет, явно нет; у дающего, раз дает, явно есть. И вот эта очная ставка есть с нет…

Давать нужно было бы на коленях, как нищие просят.

* * *

К счастью, этим стыдом даяния награждены только нищие. (Деликатность их дара)! Богатые ограничиваются минутной заминкой докторского гонорара.

* * *

Благодарность: от любования до опрокинутости.

Я могу любоваться только рукой, отдающей последнее, следовательно: я никогда не могу быть благодарной богатым.

…Разве что за робость их, виноватость их, сразу делающую их невинными.

* * *

Бедный, когда дает, говорит: «Прости за малость». Смущение бедного от «больше не могу». Богатый, когда дает, ничего не говорит. Смущение богатого от «больше не хочу».

* * *

Дать, это настолько легче, чем брать – и настолько легче, чем быть.

* * *

Богатые откупаются. О, богатые безумно боятся – не Революции, так Страшного Суда. Я знаю мать, покупающую молоко чужому (больному!) ребенку только для того, чтобы не погиб ее собственный (здоровый). Богатая мать, спасая чужого ребенка от смерти (достоверной), только выкупает своего у смерти возможной. («Умолить судьбу!»)

Я смотрю в исток поступка, в умысел его. Это молоко ей, богатой матери, на Страшном Суде потечет смолой.

* * *

Благотворительность. Поликратов перстень.

* * *

Дар нищего (кровный, последний!) безличен. «Бог дает». Дар богатого (излишек, почти отброс) имеет имя, отчество, фамилию, чин, звание, род, день, час, число. И – память. Дала правая, а помнят обе.

Нищий, подав из руки в руку, забыл. Богатый, выславший через прислугу, помнит. И, если вдуматься, понятно: некий оправдательный материал для Страшного Суда.

– Гадательный материал.

М*осква, июль 1919*

Отрывки из книги «Земные приметы»

Таинственная скука великих произведений искусства, – одних уже наименований их: Венера Милосская, Сикстинская Мадонна, Колизей, Божественная Комедия (исключение Музыка. «Девятая симфония» – это всегда вздымает!).

Точно на них пудами навязла скука всех их читателей, чтителей, попечителей, толкователей…

И таинственное притяжение мировых имен: Елена, Роланд, Цезарь (включая сюда и творцов вышеназванных творений, если имена их пребыли).

* * *

Сказанное относится к звуку имен их, к моему слуховому

восприятию. Касательно же сущности – следующее:

Творению я несомненно предпочитаю Творца. Возьмем Джоконду и Леонардо. Джоконда – абсолют, Леонардо, нам Джоконду давший – великий вопросительный знак. Но может быть, Джоконда и есть ответ Леонардо? Да, но не исчерпывающий. За пределами творения (явленного!) еще целая бездна – Творец: весь творческий Хаос, все небо, все недра, все завтра, все звезды, – все, обрываемое здесь земною смертью.

Так абсолют (творение) превращается для меня в относительность: вехи к Творцу.

– Но это уничтожение искусства!

– Да. Искусство не самоцель: мост, а не цель.

* * *

Произведение искусства отвечает, живая судьба спрашивает (тоска рожденного по воплощению в искусстве!). Произведение искусства, как совершенное, приказует, живая судьба, как несовершенное, просит. Если ты хочешь абсолюта, иди к Венере – Милосской, Мадонне – Сикстинской, Улыбке – Леонардовской, если ты хочешь дать абсолют (ответить!), иди к Афродите – просто, Марии – просто, Улыбке – просто: минуя толкование – к первоисточнику, т. е. делай то же, что делали творцы этих творений, безымянных или именных.

* * *

Этим ты не умаляешь ни Гёте, ни Леонардо, ни Данте. Твоя немота перед ними – твоя дань им. Что можно ответить на исчерпывающий ответ? Молчишь.

Но если ты рожден в мир – давать ответы, не застывай в блаженном небытии, не так творили и не этого, творя, хотели Гёте, Леонардо, Данте. Быть опрокинутым – да, но уметь и встать: припав – оторваться, пропав – воскреснуть.

Коленопреклонись – и иди мимо: в мир нерожденный, несотворенный и жаждущий.

* * *

В этой отбрасывающей силе и есть главная сила великих произведений искусства. Абсолют отбрасывает – к созданию

абсолютов же! В этом и заключается их действенность и вечная жизнь.

* * *

Но между Джокондой (абсолютным толкованием Улыбки) и мною (сознанием этой абсолютности) не только моя немота, – еще миллиарды толкователей этого толкования, все книги о Джоконде написанные, весь пятивековой опыт глаз и голов, над ней тщившихся.

Мне здесь нечего делать.

Абсолютна, свершена, совершенна, истолкована, залюблена.

Единственное, что можно перед Джокондой – не быть.

* * *

«Но Джоконда улыбкой – спрашивает!» На это отвечу: «Вопрос ее улыбки – и есть ответ ее». Неизбежность вопроса и есть абсолют ответа. Сущность улыбки – вопрос. Вопрос дан в непрерывности, следовательно дана сущность улыбки, ответ ее, абсолют ее.

Толковать Улыбку (Джоконду) ученым, художникам, поэтам и царям – бессмысленно. Дана Тайна, тайна как сущность и сущность как тайна. Дана Тайна в себе.

* * *

Любить – видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители.

Не любить – видеть вместо него: стол, стул.

* * *

Дочь, у которой убили отца – сирота. Жена, у которой убили мужа – вдова. А мать, у которой убили сына?

* * *

Всегда крещусь, переезжая через реку. Подумать не успев. Любопытно, есть ли в народе такая примета? Если нет, значит –

была.

Родство по крови грубо и прочно, родство по избранию – тонко. Где тонко, там и рвется.

* * *

«Я вас не оставлю!» Так может сказать только Бог – или мужик с молоком в Москве, зимой 1918 г.

* * *

Я и Театр:

Я принадлежу к тем зрителям, которые, по окончании мистерии, разрывают на части Иуду.

* * *

Вся тайна в том, чтобы сто лет назад видеть, как сегодня, и сегодня – как сто лет назад.

(Уничтожение… я хотела написать: пространства. Нет, времени. Но «время» не мыслишь иначе как: расстояние. А «расстояние» – сразу версты, столбы. Стало быть: версты, это пространственные годы, равно как год – это во времени – верста.

Так или иначе, но перемещать годы и версты – нужно).

* * *

Верста: уводящая! Насколько это лучше «исходящей» (о «входящей» уже не говорю: вошла – так осталась!).

* * *

Любовь – как заговор:

Zur rechten Zeit,
Am rechten Ort,
Da rechte Mann —
Das rechte Wort.[51]

И главное – Wort! Zeit, Ort, Mann – уступаю.

* * *

Когда я уезжаю из города, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так о Фрейбурге, например, где я была девочкой. Кто-то рассказывает: «В 1912 г., когда я, проездом через Фрейбург…» Первая мысль: «Неужели?» (То есть неужели он, Фрейбург, есть, продолжает быть)? Это не самомнение, я знаю, что я в жизни городов – ничто. Это не: без меня?! а: сам по себе?! (То есть: он действительно есть, вне моих глаз есть, не я его выдумала?)

Когда я ухожу из человека, мне кажется, что он кончается, перестает быть. Так и о Z, например. Кто-то рассказывает: «В 1917 г., когда я встретился с Z»… Первая мысль: «Неужели?» (То есть: неужели он, Z, есть, продолжает быть)? Это не самомнение, я знаю, что я в жизни людей – ничто…

* * *

«Кончается, перестает быть». Здесь нужно различать два случая.

Первый:

Сильно ожитые (оживленные? выжатые?) мною люди и города пропадают безвозвратно: как проваливаются. Не гулкие Китежи, – глухие Геркуланумы.

Города и люди же, лишь беглым игралищем мне служившие – застывают: на том самом месте, на том самом жесте. Стереоскоп.

Когда я слышу о первых, я удивляюсь: неужели стоит? Когда я слышу о вторых, я удивляюсь: неужели растет?

Повторяю, это не самомнение, это глубокое, невинное, подчас радостное изумление. Слушаю, расспрашиваю, участвую, сочувствую… и, втайне: «Не Фрейбург. Не тот Фрейбург. Личина Фрейбурга. Обман. Подмена».

* * *

Надо, в Революции, многое запереть на ключ: все, кроме сундуков! И, заперев, закинуть этот ключ… но и моря такого нет!

Нет, заперев, молча и мужественно вручить этот ключ – Богу.

Бог я произношу, как утопающий: вздохом. Смутное чувство:

не надо Бога тревожить (знать), когда сам можешь. А «можешь» с каждым днем растет…

Есть у Мандельштама об этом изумительный (отроческий) стих:

…Господи! – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать…
и – дальше:
Имя Божье, как большая птица,
Вылетело из моей груди…

Нечаянно. – Но я никогда не дерзну назвать себя верующей, и это – молитвой.

* * *

Что я в ущерб чему в жизни не провозглашала!

Фотографию в ущерб портрету, крепостное право в ущерб вообще праву, капусту в ущерб розе, Марфу в ущерб Марии, староверов в ущерб Петру… Самое обратное себе – в ущерб самой себе!

И не из спорта (отсутствует!), не для спора (страдаю!) – из чистой справедливости: прав, раз обижен.

И еще: из полной невозможности со-чувствия (-мыслия, – любия) с лицемерами, втайне бесспорно предпочитающими: фотографию – портрету, крепостное право – просто-праву, капусту – розе, Марфу – Марии, длиннобородых – Петру!

* * *

Но есть еще тайна: вещь, обиженная, начинает быть правой. Собирает все свои силы – и выпрямляется, все свои права на существование – и стоит.

(NB! Действенность гонимых идей и людей)!

Нет ведь окончательной лжи, у каждой лжи ведь хотя бы один луч – в правду. И вот она вся идет по этому лучу. Обнаруженная и покаранная вина уже становится бедою, ответственность спадает на головы судей. Преступник, осужденный здесь, перед Богом чист. Но есть еще тайна, и страшнейшая, быть может: заразность караемых нами недугов, наследственность вины. Преступник, насильственно избавляемый нами от болезни, передает нам болезнь. Каждый судья и палач – наследник.

Есть еще в этом какая-то воля крови. Кровь земная проливаться должна. Преступника нет, ближайший родственник

палач (или судья, равно!). Недопролитая преступником кровь вопиет к палачу: пролей! Секунда казни – секунда союза. Первая капля брызнувшей преступниковой крови – уже вступление во владение… и обязанности.

Есть браки таинственнее мужа и жены.

* * *

Таинственное соответствие: алтарь, плаха; топор, крест; народ, хор; судья, священник; палач и жертва – брачующиеся; вместо невидимого Бога – невидимый Черт. Чертова свадьба наоборот, с той же непреложностью безмолвного обета.

* * *

Ни одна правда (из царства Там) не может не сделаться ложью в царстве Здесь. Ни одна ложь (из царства Здесь) не может не сделаться правдой в царстве Там.

Правда – перебежчица.

* * *

В комиссариате:

Я, невинно: «А трудно это – быть инструктором?» Моя товарка по комиссариату, эстонка, коммунистка: «Совсем не трудно! Встанешь на мусорный ящик – и кричишь, кричишь, кричишь…»

* * *

Буржуазии для очистки снега запретили пользоваться лошадиными силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда. И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеялись:

«Молодцы! Ловко обошли декрет!»

(Собственными глазами видела на Арбате).

* * *

О ты, единственное блюдо

Коммунистической страны!

(Стих о вобле в газете «Всегда вперед!»).

* * *

Люди театра не переносят моего чтения стихов: «Вы их губите!» Не понимают они, коробейники строк и чувств, что дело актера и поэта – разное. Дело поэта: вскрыв – скрыть. Голос для него броня, личина. Вне покрова голоса – он гол. Поэт всегда заметает следы. Голос поэта – водой – тушит пожар (строк). Поэт не может декламировать: стыдно и оскорбительно. Поэт – уединённый, подмостки для него – позорный столб. Преподносить свои стихи голосом (наисовершеннейшим из проводов!), использовать Психею для успеха?! Достаточно с меня великой сделки записывания и печатания!

– Я не импресарио собственного позора! –

Актер – другое. Актер – вторичное. Насколько поэт – être[52], настолько актер – paraitre[53]. Актер – упырь, актер – плющ, актер – полип. Говорите, что хотите: никогда не поверю, что Иван Иванович (а все они – Иваны Ивановичи!) каждый вечер волен чувствовать себя Гамлетом, Поэт в плену у Психеи, актер Психею хочет взять в плен. Наконец, поэт – самоцель, покоится в себе (в Психее). Посадите его на остров – перестанет ли он быть? А какое жалкое зрелище: остров – и актер!

Актер – для других, вне других он немыслим, актер – из-за других. Последнее рукоплескание – последнее биение его сердца.

Дело актера – час. Ему нужно торопиться. А главное – пользоваться: своим, чужим, – равно! Шекспировский стих, собственная тугая ляжка – все в котел! И этим сомнительным пойлом вы предлагаете опиваться мне, поэту? (Не о себе говорю и не за себя: Психею)!

Нет, господа актеры, наши царства – иные. Нам – остров без зверей, вам – звери без острова. И недаром вас в прежние времена хоронили за церковной оградой!

* * *

Исключение для: певцов, порабощенных стихией голоса, растворяющихся в ней, – для актрис, то есть: женщин: то есть: природно себя играющих, и для всех тех, кто, прочтя меня, понял

– и пребыл.

* * *

Все это, и несомненно это, а не иное, уже было высказано тем евреем, за которого всех русских отдам, предам, а именно: Генрихом Гейне – в следующей сдержанной заметке: «Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра».

* * *

Мастерство беседы в том, чтобы скрыть от собеседника его нищенство. Гениальность – заставить его, в данный час, быть Крезом.

* * *

Москва сейчас смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря. (И, мгновенно забывая и Москву и трамваи: а ведь недоверие Лазаря к миру – страшнее!).

* * *

Лазарь: застекленевшие навек глаза. Лазарь – глаза – Glas… И еще glas des morts…[54] (Неужели от этого)?

* * *

«Воскреси его, потому что нам без него скучно!» – то же самое, что: «Разбуди его, потому что мы без него не спим»… Разве это довод? – О, какое мертвое, плотское, чудовищное чудо! Какое насилие над Лазарем и какое – страшнейшее – над собой!

Лазарь, возвращающийся оттуда: мертвый к живым, и Орфей, спускающийся туда: живой – к мертвым… Разверстая яма и Елисейские поля. – Ах, ясно! – Лазарь оттуда мог принести только тлен: дух, в Жизнь воскресший, в жизнь не «воскресает». Орфей же из жизни ушел – в Жизнь. Без чужого веления: жаждой своей.

* * *

(А может быть, просто обряд погребения? Там – урна, здесь – склеп. Орфею навстречу в Аиде двинулся призрак, из пепла восставший. А Марии и Марфе – труп).

* * *

Как мне жаль Христа! Как мне жаль Христа за его насильственные чудеса! Христос, пришедший горы двигать – словом! «Докажи, тогда поверим!» – «Верим, но подтверди!» Между чудом в Кане (по просьбе Марии) и испытующим перстом Фомы – странная перекличка. Если бы Мария была зорче, она бы, вслед за превращением воды в вино, увидела другое превращение: вина – в кровь…

Убеждена, что Иоанн у Христа не просил чудес.

* * *

В Комиссариате: (3 М).

– Ну, как довезли картошку?

– Да ничего, муж встретил.

– Вы знаете, надо в муку прибавлять картошку, 2/3 картошки, 1/3 муки.

– Правда? Нужно будет сказать матери. У меня: ни матери, ни мужа, ни муки.

* * *

«Пражская столовая» на углу Николо-Песковского и Арбата. Помню, в военные времена, бюст Бонапарта. Февральская Революция сменила его на Керенского. Ах, о Керенском! Есть у меня такой сувенир: бирюзовая картонная книжечка с золотым ободком, распахнешь: слева разбитое зеркальце, справа – Керенский. Керенский, денно и нощно глядящийся в дребезг своих надежд. Эту реликвию я получила от няньки Нади, в обмен на настоящее зеркало, цельное, без Диктатора.

Возвращаясь к столовой: Керенского Октябрь заменил Троцким. Устрашающая харя Троцкого, взирающая на пожирающих детей. И еще Марксом, который, занятый Троцким, на детей не глядит. Пресловутый и спорный суп, кстати, дети выплескивают в миску сенбернара Марса, с 12-ти до 2 часов дежурящего у дверей. Иногда перепадает и в миски нищенок:

Марс не ревнив.

* * *

Неприлично быть голодным, когда другой сыт. Корректность во мне сильнее голода, – даже голода моих детей.

– Ну как у Вас, все есть?

– Да, пока слава Богу.

Кем нужно быть, чтобы так разочаровать, так смутить, так уничтожить человека отрицательным ответом?

– Просто матерью.

* * *

(Сейчас, в 1923 г. ставлю вопрос иначе:

Кем нужно было быть, чтобы тогда, в 1919 г., в Москве, зная меня, видя моих детей – так спрашивать?!

– Просто «знакомым»).

(Вторая пометка:

Не корректность, – чуткость на интонацию! Вопрос диктует ответ. На «ничего нет» в лучшем смысле последовало бы: «Как жаль!»

Дающий не спрашивает).

* * *

Жестокосердые мои друзья! Если бы вы, вместо того, чтобы угощать меня за чайным столом печеньем, просто дали мне на завтра утром кусочек хлеба…

Но я сама виновата, я слишком смеюсь с людьми. Кроме того, когда вы выходите, я у вас этот хлеб – краду.

Мои покражи в Комиссариате: два великолепных клетчатых блокнота (желтых, лакированных), целая коробка перьев, пузырек английских красных чернил. Ими и пишу.

* * *

Кривая вывозит, прямая топит.

* * *

Вместо «Монпленбеж», задумавшись, пишу: «Монплэзир» (Monplaisir – нечто вроде маленького Версаля в XVIII в.).

* * *

Мое «не хочу» всегда: «не могу». Во мне нет произвола. «Не могу» – и кроткие глаза.

* * *

Мое «не могу» – некий природный предел, не только мое, – всякое. В «хочу» нет предела, поэтому нет и в «не хочу».

* * *

Не хочу – произвол, не могу – необходимость. «Чего моя правая нога захочет…», «Что моя левая нога сможет», – этого нет.

* * *

Не могу священнее не хочу. Не могу, это все переборотые не хочу, все исправленные попытки хотеть, – это последний итог.

* * *

Мое «не могу» – это меньше всего немощь. Больше того: это моя главная мощь. Значит, есть что-то во мне, что вопреки всем моим хотениям (над собой насилиям!) все-таки не хочет, вопреки моей хотящей воле, направленной против меня, не хочет за всю меня, значит, есть (помимо моей воли!) – «во мне», «мое», «меня», – есть я.

* * *

Не хочу служить в Красной Армии. Не могу служить в Красной Армии. Первое предпосылает: «Мог бы, да не хочу!» Второе: «Хотел бы, да не могу». Что важнее: не мочь совершать убийства, или не хотеть совершать убийства? В не мочь – вся наша природа, в не хотеть – наша сознательная воля. Если ценить

из всей сущности волю – сильнее, конечно: не хочу. Если ценить всю сущность – конечно: не могу.

* * *

Корни не могу глубже, чем можно учесть. Не могу растет оттуда, откуда и наши могу: все дарования, все откровения, все наши Leistungen[55]: руки, двигающие горы; глаза, зажигающие звезды. Из глубин крови или из глубин духа.

* * *

Я говорю об исконном не могу, о смертном не могу, о том не могу, ради которого даешь себя на части рвать, о кротком не могу.

* * *

Утверждаю: не могу, а не не хочу создает героев!

* * *

Да будет мое не хочу – не могу: великим и последним не хочу всего существа. Будем хотеть самых чудовищных вещей. Ноги, ступайте! Руки, хватайте! – чтобы в последнюю минуту: ноги вкопанные, топор – из рук: не могу!

* * *

Будем начинать с хотения! Перехотим все! «Не могу» без всех испробованных «хочу» – жалкая немощь и, конечно, кончится: могу.

* * *

– Но если я не только не могу (предать, скажем), если я еще и не хочу мочь? (предать).

Но в настоящих устах не хочу и есть не могу (не воля моя одна, а вся сущность моя не хочет!), но в настоящих устах не могу

и есть не хочу (не бессознательная сущность моя одна, но и воля моя не хочет!).

Не могу этого хотеть и не хочу этого мочь.

– Формула. –

* * *

Не могу: 1) взять в руки червя, 2) не встать на защиту (прав, виноват, здесь, за сто верст, днесь, за сто лет – равно), 3) встать на защиту – свою, 4) любить совместно.

* * *

Стоит мне только начать рассказывать человеку то, что я чувствую, как – мгновенно – реплика: «Но ведь это же рассуждение!»

Чувства, для людей, это какие-то простоволосые фурии, нечто не в них происходящее: на них обрушивающееся. Вроде каменного обвала, под которым они сразу – в кашу!

– иначе:

Четкость моих чувств заставляет людей принимать их за рассуждения.

* * *

Я не влюблена в себя, я влюблена в эту работу: слушание. Если бы другой так же дал мне слушать себя, как я сама даю (так же дался мне, как я сама даюсь), я бы так же слушала другого.

О других мне остается только одно: гадать.

* * *

– Познай самого себя!

Познала. – И это нисколько не облегчает мне познания другого. Наоборот, как только я начинаю судить человека по себе, получается недоразумение за недоразумением.

* * *

Я не думаю, я слушаю. Потом ищу точного воплощения в

слове. Получается ледяная броня формулы, под которой – только сердце.

Я не подслушиваю, я выслушиваю. Так же, как врач: грудь. И как часто: стучишь, – глухо!

* * *

Есть люди определенной эпохи и есть эпохи, воплощающиеся в людях. (Не Бонапарт – XIX век: XIX век – Бонапарт!).

* * *

О бытии и небытии в любимом:

Я никогда не хочу на грудь, всегда в грудь! Никогда – припасть! Всегда пропа́сть! (В про́пасть).

* * *

«Живой» никогда не даст себя так любить, как «мертвый». Живой сам хочет быть (жить, любить). Это мне напоминает вечный вопль детства: «Я сам! Я сам!» И непременно – ногой в рукав, рукой в сапог.

Так и с любовью.

* * *

Я хочу в тебе уничтожиться, то есть я хочу быть тобой. Но тебя уже в тебе нет, ты уже целиком во мне. Пропадаю в собственной груди (тебе). Я не могу пропасть в твоей груди, потому что там тебя нет. Но может быть я там есть? (Взаимная любовь. Души поменялись домами). Нет, и меня там нет. Там ничего нет. Меня же нигде нет. Есть моя грудь – и ты. Я тебя люблю тобой.

Захват? Да. Но лучше, чем товарообмен.

* * *

Ну, а взаимная любовь? (Товарообмен). Единовременный и перекрестный захват (отдача). Два пропада: души X в собственной груди, где Z, и души Z – в собственной груди, где X.

Но раз я в тебе живу, я не пропала! Но раз ты во мне живешь, ты не пропал! Это бытие в любимом, это «я в тебе и ты во мне», это все-таки я и ты, это не двое стали одним. Двое стали одним – небытие. Я говорила о небытии в любимом.

* * *

Двое – одно, то есть: небытие в любимом возможно только для одного. Для того, чтобы не быть в другом, нужно, чтобы другой был.

* * *

Оговорка: Все сказанное относится, конечно, к нашему восприятию души другого, к нашей тайной жизни с душой другого.

При условии, что каждый из двух не знает, что другого нет, верит, что другой есть, не знает, что другой в нем уничтожен, – при условии незнания взаимное небытие друг в друге, конечно, возможно.

* * *

Наш захват другого – только в нас.

«Для меня тебя в тебе нет, ты вся во мне». Так думает поэт о своей Психее, это не мешает ей выходить замуж и любить другого, но ее замужество, в свою очередь, не мешает и не может помешать поэту.

Больше скажу: сила захвата в прямом соотношении с тайной, глубина его – с внешней опровержимостью его. Когда уже ничто не мое – все мое! Это прямой дорогой подводит нас к смерти: физической смерти любимого. Только не смешивайте с ревностью! «Не будь» ревности – от нищеты и страха. («Раз в гробу, то уже нет соперников!») Для захвата ни соперников, ни гроба: «не будь» захвата – это последний отказ, дающий последнюю власть.

* * *

Выдавайте ваших красавиц подальше замуж, поэты! Чтобы ни

один ваш вздох (стих) не дошел, не вернулся – вздохом! Откажитесь даже от снов о них.

День их бракосочетания – ваш первый шаг к победе, день их погребения – ваш апофеоз.

(Беатриче. Данте).

* * *

Любовь для меня – любящий. И еще: ответно любящего я всегда чувствую третьим. Есть моя грудь – и ты. Что здесь делать другому? (действенности его)?

Ответ в любви – для меня тупик. Я ищу не вздохов, а выходов.

* * *

У нас на кухне ночует мальчик, сын бабы, которая возит нам молоко.

– «Не думалось мне, что придется мне на пружине ночевать!» От этого «на пружине» у меня сжимается сердце.

– Вот тебе и ненависть к простонародью!

* * *

Вчера, в Охотном, один мужик другому:

– Ты не охай! Нынче год-то такой – девятнадцатый!

* * *

– Ну что, – Москву навещаешь?

(Как больного).

* * *

Смерть страшна только телу. Душа ее не мыслит. Поэтому, в самоубийстве, тело – единственный герой.

* * *

Самоубийство: l*â*cheté души, превращающаяся в героизм

тела[56]. То же самое, как если бы Дон Кихот, струсив, послал в сражение Санчо Пансо – и тот повиновался.

* * *

Героизм души – жить, героизм тела – умереть.

* * *

В православной церкви (храме) я чувствую тело, идущее в землю, в католической – душу, летящую в небо.

* * *

Стихи и проза:

В прозе мне слишком многое кажется лишним, в стихе (настоящем) все необходимо. При моем тяготении к аскетизму прозаического слова, у меня, в конце концов, может оказаться остов.

В стихе – некая природная мера плоти: меньше нельзя.

* * *

Две любимые вещи в мире: песня – и формула. (То есть, пометка в 1921 г., стихия – и победа над ней!).

* * *

Я не стою ни за одну свою земную примету, то есть: в слове «земные приметы» я «земные» (вещественность) уступаю, примету (смысл) – нет.

Я не стою ни за одну свою земную примету в отдельности, как ни за один свой отдельный стих и час, – важна совокупность.

Я не стою даже за совокупность своих земных примет, я стою только за право их на существование и за правду – своего.

* * *

Гениальный совет С. (сына художника). Как-то зимой я

жаловалась (смеясь, конечно!), что у меня совсем нет времени писать. – «До пяти служба, потом топка, потом стирка, потом купанье, потом укладыванье…»

– Пишите ночью!

В этом было: презренье к моему телу, доверие к моему духу, высокая беспощадность, делавшая честь и С. и мне. Высокая дань художника – художнику.

* * *

Влияние коненковского Стеньки Разина на умы. Солдат, проходя мимо Храма Спасителя, другому солдату:

– Его бы раскрасить!

* * *

На унылом заборе где-то вкривь от Храма Христа Спасителя робкая надпись: «Исправляю почерк».

Это почему-то – безнадежностью своей! – напоминает мне мою распродажу (чтобы уехать на юг).

* * *

Эпиграф к моей распродаже:

У Катеньки резвушки
Все сломаны игрушки:
Собачки без носов,
Барашки без рогов.
От чайного прибора
Наверно, очень скоро
Не будет ничего…
Да ничего и нету!

Поломаны, для примера: швейная машина, качалка, диван, два кресла, Алины два детских стульчика, туалет… У мраморного умывальника не хватает бока, примус не горит, термос не хранит, от лампы-молнии – одни молнии, граммофон без винта, этажерки не стоят, чайные сервизы без чашек, чашки без ручек, ручки без ножек…

А рояль глухой на обе педали! А шарманка красного дерева –

впрочем, никогда не игравшая! (В первую секунду обмолвилась было двумя тактами «Schlittschuhlöufer[57]» – и замолчала, то есть зарычала так, что мы замолчали)! А три беличьих клетки – без белок и без дверок! (Запах остался). А детская ванна с свороченным краном и продавленным боком! А большая цинковая, зазеленевшая как затон, безнадежная как гроб! А Наполеоновские гравюры: граненые стекла на честном слове бумажных окантовок, ежесекундно грозящие смертью! А мясорубка, а ролики, а коньки!

Ломали, главным образом, Алины няньки и Сережины юнкера. И те и другие по молодости, горячности: жару сердца и рук.

Нянькам надоело сидеть с ребенком, и они крутили граммофон, юнкерам надоело твердить устав – и они крутили машинку.

Но не юнкера и не няньки, как сейчас – не большевики и не «жильцы». Говорю: судьба. Вещь, оскорбленная легкомысленным отношением, мстит: разлагается.

Вот история моего «быта».

* * *

Плотогоны! – Слово из моего детства! Ока, поздняя осень, стриженые луга, в колеях последние цветочки – розовые, мама и папа на Урале (за мрамором для музея) – сушеные яблоки – гувернантка говорит, что ей ночью крысы отъели ноги – плотогоны придут и убьют…

* * *

По 30-му купону карточки широкого потребления выдаются гробы, и Марьюшка, старая прислуга Сонечки Голлидэй, недавно испрашивала у своей хозяйки разрешение водрузить таковой на антресоли: «а то – неровен час…»

Но бедную старуху ждало жестокое испытание: розовых (девичьих!) не было, и придется ей, восемьдесят лет подряд безупречно девствовавшей, упокоиться в мужеском голубом.

* * *

Карусель:

В первый раз в жизни я каталась на карусели одиннадцати лет, в Лозанне, – второй третьего дня, на Воробьевых горах, в Духов день, с шестилетней Алей. Между этими двумя каруселями – жизнь.

* * *

Карусель! – Волшебство! Карусель! – Блаженство! Первое небо из тех семи! Перегруженное звездами, заряженное звонами, первое бедное простонародное детское небо земли!

Семь вершков от земли только – но уж нога не стоит! Уж возврата нет! Вот это чувство безвозвратности, обреченности на полет, вступления в круг –

Планетарность Карусели! Сферическая музыка ее гудящего столба! Не земля вокруг своей оси, а небо – вокруг своей! Источник звука скрыт. Сев – ничего не видишь. В карусель попадаешь как в смерч.

Геральдические львы и апокалипсические кони, не призраки ли вы зверей, коими Вакх наводнил свой корабль?

Хлыстовское радение – круговая порука планет – Мемнонова колонна на беззакатном восходе… Карусель!

* * *

Обожаю простонародье: в полях, на ярмарках, под хоругвями, везде на просторе и в веселье, – и не зрительно: за красные юбки баб! – нет, любовно люблю, всей великой верой в человеческое добро. Здесь у меня, поистине, чувство содружества.

Вместе идем, в лад.

* * *

Обожаю богатых. Богатство – нимб. Кроме того, от них никогда ничего не ждешь хорошего, как от царей, поэтому просто-разумное слово на их устах – откровение, просто-человеческое чувство – героизм. Богатство всё утысячеряет (резонанс нуля!). Думал, мешок с деньгами, нет – человек.

Кроме того, богатство дает самосознание и спокойствие («все, что я сделаю – хорошо!») – как дарование, поэтому с богатыми я на своем уровне. С другими мне слишком «униженно».

* * *

Кроме того, клянусь и утверждаю, богатые добры (так как им это ничего не стоит) и красивы (так как хорошо одеваются).

Если нельзя быть ни человеком, ни красавцем, ни знатным, надо быть богатым.

* * *

Таинственное исчезновение фотографа на Тверской, долго и упорно снимавшего (бесплатно) всех ответственных советских работников.

* * *

Недавно, в Кунцеве, неожиданно крещусь на дуб. Очевидно, источник молитвы не страх, а восторг.

* * *

На Смоленском хлеб сейчас 60 р<ублей> фунт, и дают только по 2 ф<унта>. Того, кто хитростью покупает больше – бьют.

* * *

Я неистощимый источник ересей. Не зная ни одной, исповедую их все. Может быть и творю.

* * *

Нужно писать только те книги, от отсутствия которых страдаешь. Короче: свои настольные.

* * *

Самое ценное в стихах и в жизни – то, что сорвалось.

* * *

Простонародье никогда не заблудится в городе. Звериное и дикарское чувство места.

* * *

Сейчас все кончается, потому что ничто не чинится: вещи, как люди, и люди, как любовь.

* * *

(Чинятся: вещи – ремесленниками, люди – врачами, ну а любовь чем? Рублями, пожалуй: подарками, поездками, премьерами. Вместе слушать Скрябина. Вместе всходить на Везувий. Мало ведь Тристанов и Изольд!).

* * *

Тристан и Изольда: любовь в себе. Вне горячителя зависти, ревности: глаз. Вне резонатора порицаний, одобрений: толков. Вне глаз и молвы. Их никто не видел и о них никто не слышал. Они жили в лесу. Волк и волчица. Тристан и Изольда. У них ничего не было. На них ничего не было. Под ними ничего не было. Над ними ничего не было. За ними – ничего, перед ними – Ничто. Ни завтра, ни вчера, ни года, ни часа. Время стояло. Мир назывался лес. Лес назывался куст, куст назывался лист, лист назывался ты. Ты называлось я. Небытие в пустоте. Фон – как отсутствие, и отсутствие – как фон.

И – любили.

* * *

Все мои жалобы на девятнадцатый год (нет сахара, нет хлеба, нет дров, нет денег) – исключительно из вежливости: чтобы мне, у которой ничего нет, не обидеть тех, у кого все есть.

И все жалобы, в моем присутствии, на девятнадцатый год – других («Россия погибла», «Что сделали с русским языком» и пр.) – исключительно из вежливости: чтобы им, у которых ничего не отнято, не обидеть меня, у которой отнято – всё.

* * *

Боязнь пространства и боязнь толпы. В основании обеих страх потери. Потери себя через отсутствие людей (пространство) и наличность их (толпа). Можно ли страдать обеими одновременно?

Думаю, что боязнь толпы можно победить исключительно самоутверждением, в девятнадцатом году, напр<имер>, выкриком: «Долой большевиков!»

Чтоб тебя отметили – и разорвали.

* * *

(NB! Боязнь толпы – боязнь смерти через удушение. Когда рвут – не душат).

* * *

Высокая мера. Мерить высокой мерой. Так и Бог делает. Свысока мерить и высокий мерой. Нечто вроде очень редкого решета: маленькие мерзости, как и маленькие добродетели – проскакивают. Куда? – Dans le néant[58]. Высокомерие, это полное отсутствие мелочности. Посему – очень выгодное свойство… для других.

* * *

О коммунисте:

Вчера, у моей приятельницы:

– Ведь Вы не бреетесь, – сказал коммунист, – зачем Вам пудра?

Коммунист из старых, помирает с голоду. Такой чудесный певучий голос.

* * *

Кто-то в комнате: «В Эрмитаже – невероятная программа!» Коммунист, певуче: «А что такое Эрмита-аж?»

* * *

Ах, сила крови! Вспоминаю, что моя мать до конца жизни писала: Thor, Rath[59], Theodor, – из немецкого патриотизма старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 36-ти лет.

– Я с моим «ять»!

* * *

Вчера в гостях (именинный пирог, пенье, огарок свечи, рассказ о том, как воюют красные) – вдруг, разглядывая ноты:

Beethoven – Busslied, Puccini – то-то

Marie-Antoinette – «Si tu connais dans ton village…»[60]

Marie-Antoinette! Вы написали музыку к стихам Флориана, а Вас посадили в крепость и отрубили Вам голову. И Вашу музыку будут петь другие – счастливые – вечно!

Никогда, никогда, – ни в лукавой полумаске, в боскетах Версаля, об руку с очаровательным mauvais sujet d'Artois[61], ни Королевой Франции, ни Королевой бала, ни молочницей в Трианоне, ни мученицей в Тампле – ни на тачке, наконец, – Вы так не пронзали мне сердца, как:

Marie-Antoinette: «Si tu connais dans ton village…» (Paroles de Florian)

* * *

Людовик XVI должен был бы жениться на Марии-Луизе («Fraîche comme une rose»[62] и дуре); Наполеон – на Марии-Антуанэтте (просто Розе!).

Авантюрист, выигравший Авантюру, – и последний кристалл Рода и Крови.

И Мария-Антуанэтта, как аристократка, следовательно: безукоризненная в каждом помысле, не бросила бы его, как собаку, там, на скале.

Москва, 1919

Чердачное
(Из московских записей 1919/1920 г.)

Пишу на своем чердаке – кажется 10 ноября – с тех пор, как все живут по-новому, не знаю чисел.

С марта месяца ничего не знаю о С<ереже>, в последний раз видела его 18-го января 1918 года, как и где – когда-нибудь скажу, сейчас духу не хватает.

Живу с Алей и Ириной (Але 6 л<ет>, Ирине 2 г<ода> 7 м<есяцев) в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, «одолженного» соседями – весь запас! – Анархист Шарль унес Сережины золотые часы «élève de Bréguet» – ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на часы нашел, но потерял от них ключик, потом, что ключик на Сухаревой подыскал, но покупателя утерял, потом, что, боясь обыска, отдал их кому-то на хранение, потом, что их – у того, кому он их отдал – украли, но что он богатый господин и за такой мелочью не постоит, потом, обнаглев, начал кричать, что он за чужие вещи не отвечает. – В итоге: ни часов, ни денег. (Сейчас такие часы 12 т<ысяч>, т. е. 1 1/2 пуда муки). То же с детскими весами. (Шарль же).

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского – худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом – мать пятерых детей – недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и «пышечку» для Али. Г<оспо>жа Г<ольд>ман, соседка снизу, от времени до времени присылает детям супу и сегодня насильно «одолжила» мне третью тысячу. У самой трое детей. Мала, нежна, затерта жизнью: нянькой, детьми, властным мужем, непреложным, как ход светил, распорядком обедов и ужинов. (У нас в доме – еда всегда комета)! Помогает мне, кажется, тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я – у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело, – естественно не могу не раздражать.

Помогают мне еще, изредка, вспоминая о моем существовании – и не виню, ибо знакомы без году неделя: актриса З<вягин>цева, потому что любит стихи, и ее муж, потому что любит жену. Принесли картофеля, муж несколько раз выламывал балки на чердаке и пилил.

Еще Р. С. Т<умар>кин, брат г<оспо>жи Ц<ет> лин, у

которой я бывала на литературных вечерах. Дает спички, хлеб. Добр, участлив.

– И это все. –

Бальмонт рад бы, да сам нищий. (Зайдешь, кормит и поит всегда). Его слова: «я все время чувствую угрызения совести, чувствую, что должен помочь» – уже помощь. Люди не знают, как я безмерно – ценю слова! (Лучше денег, ибо могу платить той же монетой)!

Мой день: встаю – верхнее окно еле сереет – холод – лужи – пыль от пилы – ведра – кувшины – тряпки – везде детские платья и рубашки. Пилю. Топлю. Мою в ледяной воде картошку, которую варю в самоваре. (Долго варила в нем похлебку, но однажды засорила пшеном так, что потом месяцами приходилось брать воду сверху, снимая крышку, ложкой, – самовар старинный, кран витиеватый, не вывинчивающийся, ни шпилькам, ни гвоздям не поддавался. Наконец кто-то – как-то – выдул). Самовар ставлю горячими углями, которые выбираю тут же из печки. Хожу и сплю в одном и том же коричневом, однажды безумно-севшем, бумазейном платье, шитом весной 17-го года за глаза, в Александрове. Все прожжено от падающих углей и папирос. Рукава, когда-то на резинке, скручены в трубу и заколоты булавкой.

Потом уборка. – «Аля, вынеси окаренок!» Два слова об окаренке – он их заслуживает. Это главное действующее лицо в нашей жизни. В окаренке стоит самовар, ибо, когда кипит с картошкой, заливает все вокруг. В окаренок сливаются все помои. Окаренок днем выносится, а по ночам выплескивается мною во двор. Без окаренка – не жить. Угли – мука от пилы-лужи… И упорное желание, чтобы пол был чистым! – За водой к Г<ольдма>нам, с черного хода: боюсь наткнуться на мужа. Прихожу счастливая: целое ведро воды и жестянка! (И ведро и жестянка – чужие, мое все украдено). Потом стирка, мытье посуды: полоскательница и кустарный кувшинчик без ручки «для детского сада», короче: «Аля, готовь для мытья детский сад!» – чистка медной солдатской махотки и бидона для Пречистенки (усиленное питание, по протекции той же г<оспо>жи Г<ольд>ман) – корзиночка, где сумка с обеденными карточками – муфта – варежки – ключ от черного хода на шее – иду. Часы не ходят. Не знаю времени. И, набравшись духу, к прохожему:

«Извините, не можете ли вы мне сказать, сколько сейчас, приблизительно, времени?» Если 2 часа – от сердца отлегло. (Кстати, как настоящее? Отлегает? Неблагозвучно).

Маршрут: в детский сад (Молчановка, 34) занести посуду, – Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в

Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб – оттуда опять в детский сад, за обедом, – оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. – Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши. Едим. (Если Аля была со мной, первым делом отвязываю Ирину от стула. Стала привязывать ее с тех пор, как она, однажды, в наше с Алей отсутствие, съела из шкафа полкочна сырой капусты). Кормлю и укладываю Ирину. Спит на синем кресле. Есть кровать, но в дверь не проходит. – Кипячу кофе. Пью. Курю. Пишу. Аля пишет мне письмо или читает. Часа два тишина. Потом Ирина просыпается. Разогреваем остатки месива. Вылавливаю с помощью Али из самовара оставшийся – застрявший в глубине – картофель. Укладываем – или Аля или я – Ирину. Потом Аля спать идет.

В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом.

Пишу скверно, тороплюсь. Не записала ни ascensions[63] на чердак – лестницы нету (спалили) – подтягиваюсь на веревке – за бревнами, ни постоянных ожогов от углей, которые (нетерпение? ожесточение?) хватаю прямо руками, ни беготни по комиссионным магазинам (не продалось ли?) и кооперативам (не выдают ли?).

Не записала самого главного: веселья, остроты мысли, взрывов радости при малейшей удаче, страстной нацеленности всего существа – все стены исчерканы строчками стихов и NB! для записной книжки. Не записала путешествий по ночам в страшный ледяной низ, – в бывшую Алину детскую – за какой-нибудь книгой, которую вдруг безумно захотелось, не записала постоянной нашей с Алей настороженной надежды: «Не стучат ли? Кажется, стучат!» (Звонок не звонит с начала революции, вместо звонка – молоток. Мы живем наверху, за семью дверьми и слышим все: каждый взвизг чужой пилы, каждый взмах чужого топора, каждое хлопанье чужой двери, каждый шум во дворе, – все, кроме стука в нашу дверь!). И – вдруг – кажется стучат! – или Аля, накинув синюю шубку, шитую, когда ей было два года, или я, не накинув ничего – вниз, ощупью, вскачь, в полной темноте, сначала мимо лестницы без перил (спалили), потом по этой лестнице – к цепочке парадной двери. (Кстати, можно войти и без нашей помощи, только не все знают).

Не записала своей вечной, одной и той же – теми же словами! – молитвы перед сном.

Но жизнь души – Алиной и моей – вырастет из моих стихов – пьес – ее тетрадок.

Я хотела записать только день.

* * *

Мы с Алей:

Аля: – Марина! Сколько людей с такими прекрасными фамилиями я не знала! Например: Джунковский.

Я: – Это бывший московский генерал-губернатор (?), Алечка.

Аля: – А-а! Я знаю – губернатор. Это в Дон-Кихоте – губернатор!

(Бедный Д<жунков>ский)!

* * *

Я рассказываю:

– Понимаешь, такая старая, старинная, совсем не смешная. Иссохший цветок, – роза! Огненные глаза, гордая посадка головы, бывшая жестокая красавица. И все осталось, – только вот-вот рассыплется… Розовое платье, пышное и страшное, потому что ей 70 лет, розовый парадный чепец, крохотные туфельки. Под вострым каблучком тугая атласная подушка – розовая же – тяжелый, плотный, скрипучий атлас… И вот, под удар полночи – явление жениха ее внучки. Он немножко опоздал. Он элегантен, галантен, строен, – камзол, шпага…

Аля, перебивая:

– О, Марина! – Смерть или Казанова! (Последнего знает по моим пьесам «Приключение» и «Феникс»).

* * *

– Алечка, какое должно быть последнее слово в «Бабушке»[64]? Ее последнее слово, – вздох, вернее! – с которым она умирает?

– Конечно – Любовь!

– Верно, верно, совершенно верно, только я подумала: Амур.

Объясняю ей понятие и воплощение:

– Любовь – понятие, Амур – воплощение. Понятие – общее,

круглое, воплощение – острие, вверх! все в одной точке. Понимаешь?

– О, Марина, я поняла!

– Тогда скажи мне пример.

– Я боюсь, что это будет неверно. Оба слишком воздушны.

– Ничего, ничего, говори. Если будет неверно, скажу.

– Музыка – понятие, голос – воплощение. (Пауза). И еще: доблесть – понятие, подвиг – воплощение. – Марина, как странно! Подвиг – понятие, герой – воплощение.

* * *

– Аля! Какая прекрасная вещь – сон!

– Да, Марина, – и еще: бал!

* * *

– Аля! Моя мать всегда мечтала умереть внезапно: идти по улице и, вдруг, со строящегося дома – камень на голову! – готово.

Аля, чуть позабавленно:

– Нет, Марина, мне это не особенно нравится, камень… Вот если бы – все здание!

* * *

Аля, перед сном:

– Марина! Желаю вам всего лучшего, что есть на свете. Может быть: что еще есть на свете…

* * *

Если эта зима пройдет, я действительно буду fort comme la mort[65] – или просто morte[66] – без fort[67] – с e-muet[68] на конце.

* * *

Гастрономические магазины сейчас похожи на витрины парикмахерских: все эти сыры – желе – пасхи ничуть не живее восковых кукол.

Та же легкая жуть.

* * *

О, «Wahrheit und Dichtung»[69]! И останавливаюсь, ибо в этом возгласе столько же восторга, сколько неудовлетворенности. Гёте захотел одновременно дать историю своей жизни и своего развития, и это у него не слилось. Целые места, точно вставленные – «hier gedenke ich mit Ehrfurcht eines gewissen X-Y-Z»[70] – И так десятки страниц подряд. Если бы он вплел этих «treffliche Gelehrte»[71] в свою жизнь, заставил бы их входить в комнату, двигаться, говорить, не получалось бы местами такой схематичности (нарочитости): вот человек вздумал отблагодарить всех, кто способствовал его развитию – и перечисляет. Не скучно, – все значительно, но сам Гёте как-то уходит, уже не видишь его черных глаз…

Но зато – о Господи! – прогулки, мальчиком, по Франкфурту, – дружба с маленьким французом – история с художником и мышью – театр – отношения с отцом – Гретхен («Nicht küssen, s'ist was so gemeines, aber lieben, wenn's möglich ist!»[72]) – их ночные встречи в погребе – Гёте в Лейпциге – уроки танцев – Sesenheim – Фредерика – луна…

О, когда я читала эту сцену с переодеванием, у меня сердце задрожало оттого, что это – Фредерика, а не я!

Уют этого старого полукрестьянского дома – пастор – игры в фанты – чтения вслух…

Я сегодня из-за всего этого никак не могла решиться встать с постели: так не хотелось жить!

* * *

О, как бы я воспитала Алю в XVIII веке! Какие туфли с пряжками. Какая фамильная библия с застежками! И какой танцмейстер!

* * *

Сейчас, наверное, из-за топора и пилы, куда меньше enfants d'amour[73]! Впрочем, пилит и рубит только интеллигенция (мужики не в счет! им все нипочем!), а интеллигенция и раньше никогда не блистала ни enfants, ни amour.

* * *

Недавно на Смоленском: дородная простонародная девка – роскошная шаль крест-накрест, походка бедрами – и маленькая сухонькая приживалка – язва! Сухонький перст впился в высокую грудь девки. Заискивающий шепот: «Что это у вас – свининка?» И девка, еще глубже запахиваясь в шаль, высокомерно: «Триста восемьдесят».

* * *

А сегодня, например, я целый день ела, а могла бы целый день писать. Я совсем не хочу умереть с голоду в 19-ом году, но еще меньше хочу сделаться свиньей.

* * *

От природы не терплю запасов. Или съем, или отдам. А можно, чтобы не было страшно, вообразить себе так: хлеб стоит не 200 руб<лей>, а как прежде 2 коп<ейки>, но у меня этих двух копеек нет – и никогда не будет.

И царь по-прежнему в Царском Селе – только я никогда не поеду в Царское Село, а он – в Москву.

* * *

Господи! Сколько сейчас в России Ноздревых (кто кого и как не ошельмовывает! кто чего на что не выменивает)! – Коробочек («а почем сейчас в городе мертвые души?», «а почем сейчас на рынке дамские манекены?»: я, например) – Маниловых («Храм Дружбы» – «Дом Счастливой Матери») – Чичиковых (природный спекулянт!).

А Гоголя нет. Лучше бы наоборот.

* * *

И так же редки – как его? этот с армянской фамилией, – идзе или – адзе, из II части, такой ирреальный, что я даже имени его не запомнила!

* * *

Есть рядом с нашей подлой жизнью – другая жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, – все, как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены.

Мы слишком мало об этом помним.

* * *

«Уже не смеется». (Надпись на моем кресте).

* * *

Я восприняла 19-ый год несколько преувеличенно, – так, как его воспримут люди через сто лет: ни пылинки муки, ни солинки соли (золинок и соринок хоть отбавляй!) – ни крупинки, ни солинки, ни обмылка! – сама чищу трубы, сапоги в два раза больше ноги, – так какой-нибудь романист, с воображением в ущерб вкусу, будет описывать 19-ый год.

* * *

Моя комната. – Ведь я когда-нибудь из нее уеду (?). Или я уже никогда, ни-ког-да ничего не увижу другого, раскрыв глаза, чем: высокое окно в потолке – окаренок на полу – по всем стульям тряпки – топор – утюг (утюгом колочу по топору) – г<ольд>мановская пила…

* * *

Люди, когда приходят, только меня растравляют: «Так нельзя жить. Это ужасно. Вам нужно все продать и переехать».

Продать! – Легко сказать! – Все мои вещи, когда я их покупала, мне слишком нравились, – поэтому их никто не покупает.

19-ый год, в быту, меня ничему не научил: ни бережению, ни воздержанию.

Хлеб я так же легко беру – ем – отдаю, как если бы он стоил 2 к<опей>ки (сейчас 200 рублей). А кофе и чай я всегда пила без сахара.

* * *

Есть ли сейчас в России – Розанов умер – настоящий созерцатель и наблюдатель, который мог бы написать настоящую книгу о голоде: человек, который хочет есть – человек, который хочет курить – человек, которому холодно – о человеке, у которого есть и который не дает, о человеке, у которого нет и который дает, о прежних щедрых – скаредных, о прежних скупых – щедрых, и, наконец, обо мне: поэте и женщине, одной, одной, одной – как дуб – как волк – как Бог – среди всяческих чум Москвы 19-го года.

Я бы написала – если бы не завиток романтика во мне – не моя близорукость – не вся моя особенность, мешающие мне иногда видеть вещи такими, какие они есть.

* * *

– О, если бы я была богата! –

Милый 19-ый год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у всех все было, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего не могу дать, кроме души-улыбки – иногда полена дров (от легкомыслия!) – а этого мало.

О, какое поле деятельности, для меня сейчас, для моей ненасытности на любовь. Ведь на эту удочку идут все – даже самые сложные! – даже я! Я, например, сейчас определенно люблю только тех, кто мне дает – обещает и не дает – все равно! – хотя бы минуточку – искренно (а может быть и не искренно, – наплевать!) хотел бы дать.

Фраза, поэтому и весь смысл, по причуде пера и сердца, могла бы пойти иначе, и тоже была бы правда.

Раньше, когда у всех все было, я все-таки ухитрялась давать. Теперь, когда у меня ничего нет, я все-таки ухитряюсь давать.

– Хорошо?

* * *

Даю я, как все делаю, из какого-то душевного авантюризма – ради улыбки – своей и чужой.

* * *

Что мне нравится в авантюризме? – Слово.

* * *

Бальмонт – в женском шотландском крест-накрест платке – в постели – безумный холод, пар колом – рядом блюдце с картошкой, жаренной на кофейной гуще.

– О, это будет позорная страница в истории Москвы! Я не говорю о себе, как о поэте, я говорю о себе, как о труженике. Я перевел Шелли, Кальдерона, Эдгара По… Не сидел ли я с 19-ти лет над словарями, вместо того, чтобы гулять и влюбляться?! – Ведь я в буквальном смысле – голодаю. Дальше остается только голодная смерть! Глупцы думают, что голод – это тело. Нет, голод – душа, тотчас же всей тяжестью падает на душу. Я угнетен, я в тоске, я не могу писать!

Я прошу у него курить. Дает мне трубку и велит мне не развлекаться, пока курю.

– Эта трубка требует большого внимания к себе, поэтому советую вам не разговаривать, ибо спичек в доме нет.

Курю, т. е. тяну изо всей силы, трубка как закупоренная – дыму 1/10 доля глоточка – от страха, что потухнет, не только не говорю, но и не думаю – и – через минуту, облегченно:

– Спасибо, накурилась!

Москва, зима 1919–1920

О Германии

(Выдержки из дневника 1919 г.)

Моя страсть, моя родина, колыбель моей души! Крепость духа, которую принято считать тюрьмой для тел!

Местечко Loschwitz под Дрезденом, мне шестнадцать лет, в семье пастора – курю, стриженые волосы, пятивершковые каблуки (Luftkurort[74], система д<окто>ра Ламана, – все местечко в сандалиях!) – хожу на свидание со статуей кентавра в лесу, не отличаю свеклы от моркови (в семье пастора!) – всех оттолкновений не перечислишь!

Что ж – отталкивала? Нет, любили, нет, терпели, нет, давали быть. Было мне там когда-либо кем-либо сделано замечание? Хоть косвенный взгляд один? Хоть умысел?

Это страна свободы. Утверждаю. Страна высшего считания качества с качеством, количества с качеством, личности с личностью, безличности с личностью. Страна, где закон (общежития) не только считается с исключением: благоговеет перед ним. Потому что в каждом конторщике дремлет поэт. Потому что в каждом портном просыпается скрипач. Потому что в каждом пивном льве по зову родины проснется лев настоящий.

Помню, в раннем детстве, на Ривьере, умирающий от туберкулеза восемнадцатилетний немец Рёвер. До восемнадцати лет сидел в Берлине, сначала в школе, потом в конторе. Затхлый, потный, скучный.

Помню, по вечерам, привлеченный своей германской музыкой и моей русской матерью – мать не женски владела роялем! – под своего священного Баха, в темнеющей итальянской комнате, где окна как двери – он учил нас с Асей[75] бессмертию души.

Кусочек бумаги над керосиновой лампой: бумага съеживается, истлевает, рука придерживающая – отпускает и… – «Die Seele fliegt!»[76]

Улетел кусочек бумаги! В потолок улетел, который, конечно, раздается, чтобы пропустить душу в небо!

* * *

У меня был альбом. Неловко тридцатилетней женщине, матери двух детей, заводить альбом, вот мать и завела нам с Асей – наши. Писало все чахоточное генуэзское побережье. И вот среди Уланда, Теннисона и Некрасова следующая истина, странная под пером германца:

«Tout passe, tout casse, tout lasse…[77] – с весьма германской – тщательными, чуть ли не в вершок буквами – припиской: – Excepté la satisfaction d'avoir fait son devoir»[78].

* * *

Немец Рейнгардт Рёвер, образцовый конторщик и не менее образцовый умирающий (градусник, тиокол, уход домой при закате) – немец Рейнгардт Рёвер умер на девятнадцатом году жизни, в Нерви, во время Карнавала.

* * *

Его уже перевели на частную квартиру (в пансионе нельзя умирать), в верхнюю комнату высокого мрачного дома. Мы с Асей приносили ему первые фиалки, мать – всю музыку своего необычайного существа.

– Wenn Sie einen ansehen, gnädige Frau, klingt's so recht wie Musik![79]

И вот, разлетаемся однажды с Асей, – фиалки, confetti, полный рот новостей… Дверь настежь.

– Herr Röver![80]

И испуганный шип сиделки:

– Zitto, zitto, e morto il Signore![81]

Раскрытый рот, через который вылетела душа, хлопотливые крылья косынки над прахом.

Подошли, положили цветы, поцеловали («Только не целуйте! На каждый кубический миллиметр воздуха – миллиарды миазмов», – так нас учили все, не считаясь с тем, что в восемь лет еще не знают ни кубов, ни миллиметров, ни миллиардов, ни миазмов – ничего, кроме поцелуя и воздуха)!

Поцеловали, постояли, пошли. На лестнице – винтовой и звонкой – стало страшно: Рёвер гонится!

Три дня подряд из окна его смертной комнаты вывешивались: матрас, подушка, простыни – в ожидании новых жильцов. Пожитки его (Mahlkasten[82], градусник, несколько смен белья, настольный томик Ленау) были отправлены домой, в контору.

И ничего не осталось от немца Reinhardt'a Röver'a – «excepte'la satisfaction d'avoir fait son devoir».

* * *

От моего Рёвера до мирового Новалиса – один вздох. «Die Seele fliegt» – больше ведь не сказал и Новалис. Большего никто никогда не сказал. Здесь и Платон, и гр<аф> Аугуст фон Платен, здесь все и вся, и кроме нет ничего.

Так, из детской забавы и альбомной надписи, из двух слов: душа и долг – Душа есть долг. Долг души – полет. Долг есть душа полета (лечу, потому что должен)… Словом, так или иначе: die Seele fliegt!

«Ausflug». Вы только вслушайтесь: вылет из… (города, комнаты, тела, родительный падеж). Ежевоскресный вылет ins Grüne[83], ежечасный – ins Blaue[84]. Aether, heilige Luft[85]!

Я, может быть, дикость скажу, но для меня Германия – продолженная Греция, древняя, юная. Германцы унаследовали. И, не зная греческого, ни из чьих рук, ни из чьих уст, кроме германских, того нектара, той амброзии не приму.

* * *

О мальчиках. Помню, в Германии – я еще была подростком – в маленьком местечке Weisser Hirsch[86], под Дрезденом, куда отец нас с Асей послал учиться хозяйству у пастора, – один пятнадцатилетний, неприятно-дерзкий и неприятно-робкий, розовый мальчик как-то глядел мои книги. Видит «Zwischenden den Rassen»[87] Генриха Манна, с моей рукой начертанным эпиграфом:

> «Blonde enfant qui deviendra femme,
> Pauvre ange qui perdra son ciel».
>
> *(Lamartine)*[88]

– Ist's wirklich Ihre Meinung [89]?
И моя реплика:
– Ja, wenn's durch einen, wie Sie geschieht[90]!

* * *

А Асю один другой мальчик, тоже розовый и белокурый, но уж сплошь-робкий и приятно-робкий, – маленький commis, умилительный тринадцатилетний Christian – торжественно вел за руку, как свою невесту. Он, может – даже наверное – не думал об этом, но этот жест, выработанный десятками поколений

(приказчиков!) был у него в руке.

А другой – темноволосый и светлоглазый Hellmuth, которого мы, вместе с другими мальчиками (мы с Асей были «взрослые», «богатые» и «свободные», а они Schulbuben[91], которых в 9 ч. гнали в постель) учили курить по ночам и угощали пирожными, и который на прощанье так весело написал Асе в альбом: «Die Erde ist rund und wir sind jung, – wir werden uns wiedersehen!»[92]

А лицеистик Володя, – такой другой, – но так же восторженно измерявший вышину наших каблуков – здесь, в святилище д<окто>ра Ламана, где и рождаются в сандалиях!

Hellmuth, Christian, лицеистик Володя! – кто из вас уцелел за 1914–1917 год!

* * *

Ах, сила крови! Вспоминаю, что мать до конца дней писала:

Thor, Rath[93], Theodor – из германского патриотизма старины, хотя была русская, и совсем не от старости, потому что умерла 34-х лет.

– Я с моим ять!

* * *

От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию Просто – Музыку. Всю себя.

* * *

Музыку я определенно чувствую Германией (как любовность – Францией, тоску – Россией). Есть такая страна – музыка, жители – германцы.

* * *

Персияночка Разина и Ундина. Обеих любили, обеих бросили. Смерть водою. Сон Разина (в моих стихах) и сон Рыцаря (у Lamotte-Fouqué и у Жуковского).

И оба: и Разин и Рыцарь должны были погибнуть от любимой, – только Персияночка приходит со всем коварством Нелюбящей и Персии – «за башмачком», а Ундина со всей

преданностью Любящей и Германии – за поцелуем.

* * *

Treue[94] – как это звучит!

А французы из своей fidélité[95] сумели сделать только Fidèle (Фидельку!).

* * *

Есть у Гейне пророчество о нашей революции: «…und ich sage euch, es wird einmal ein Winter kommen, wo der ganze Schnee im Norden Blut sein wird…»[96]

У Гейне, вообще, любопытно о России. О демократичности нации. О Петре – державном революционере (Венчаной Революции).

– Гейне! – Книгу, которую я бы написала. И – без архивов, вне роскоши личного проникновения, просто – с глазу на глаз с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца восьмидесятых годов. (Иллюстрированные стихи! И так как Гейне – часто о женщинах, – сплошные колбасы)!

Гейне всегда покроет всякое событие моей жизни, и не потому что я… (событие, жизнь) слабы: он – силен!

* * *

Столкнуться – и, не извинившись, разойтись – какая грубость в этом жесте! Вспоминаю Гейне, который, приехав в Париж, нарочно старался, чтобы его толкнули – чтобы только услышать извинение.

* * *

В Гейне Германия и Романия соцарствуют. Только одного такого еще знаю – иной строй, иная тема души, иной масштабно в двуродинности своей Гейне – равного: Ромена Роллана.

Но Ромен Роллан, по слухам, галло-германец, Гейне – как все знают – еврей. И чудо объяснимо. Я бы хотела необъяснимого (настоящего) чуда: француз целиком и любит (чует) Германию, как германец, германец целиком и любит (чует) Францию, как

француз. Я не о стилизациях говорю – легки, скучны о пробитых тупиках и раздвинутых границах рождения и крови. Об органическом (национальном) творении, не связанном с зоологией. Словом, чтобы галл создал новую Песнь о Нибелунгах, а германец – новую песнь о Роланде.

Это не «может» быть, это должно быть.

* * *

Die blinde Mathilde[97] – воспоминание детства.

Во Фрейбурге, в пансионе, к нам каждое воскресенье приходила женщина – die blinde Mathilde. Она ходила в синем сатиновом платье – лет сорок пять – полузакрытые голубые глаза – желтое лицо. Каждая девочка, по очереди, должна была писать ей письма и наклеивать, на свои деньги, марки. Когда письма кончались, она в благодарность садилась за рояль и пела.

Немецким девочкам: «Ich kenn ein Kätzlein wunderschön»[98].

Нам с Асей: «Der rothe Sarafan»[99].

* * *

Теперь вопрос: кому blinde Mathilde столько писала? Ответивший на вопрос напишет роман.

* * *

Как я любила – с тоской любила! до безумия любила! – Шварцвальд. Золотистые долины, гулкие, грозно-уютные леса – не говорю уже о деревне, с надписями, на харчевенных щитах: «Zum Adler», «Zum Löwen»[100] (Если бы у меня была харчевня, я бы ее назвала: «Zum Kukuck»[101]).

* * *

Никогда не забуду голоса, каким хозяин маленького Gasthaus «Zum Engel»[102] в маленьком Шварцвальде, указывая на единственный в зале портрет императора Наполеона, восклицал:

– Das war ein Kerl![103]

И после явствующей полное удовлетворение паузы:

– Der hat’s der Welt auf die Wand gemahlt, was wollen heisst![104]

После Эккермана могу читать только «Mémorial de Sainte-Héléne» Ласказа – и если я кому-нибудь завидовала в жизни – то только Эккерману и Ласказу.

* * *

Странно. Здесь апогей счастья, там апогей несчастья, и от обеих книг одинаковая грусть – точно Гёте был тоже сослан в Веймар!

* * *

О, Наполеон уже для Гёте (1829 г.) был легендой!
О, Наполеон уже для Наполеона (1815 г.) был легендой!

* * *

Гёте, умиляющийся над вывернутым наизнанку зеленым мундиром Наполеона.

* * *

В Гёте мне мешает «Farbenlehre»[105], в Наполеоне – все его походы.
(Ревность)

* * *

Иду недавно по Кузнецкому и вдруг, на вывеске: «Farbenlehre». Я обмерла.
Подхожу ближе: «Fabergé»[106].

* * *

Во мне много душ. Но главная моя душа – германская. Во мне много рек, но главная моя река – Рейн. Вид готических букв сразу ставит меня на башню: на самый высший зубец! (Не буквы, а зубцы. Zacken[107] – какое великолепие!). В германском гимне я растворяюсь.

Lieb Vaterland, magst ruhig sein [108].

Вы только прислушайтесь к этому magst, – точно лев – львенку! Ведь это сам Рейн говорит: Vater Rhein[109]! Как же тут не быть спокойным?!

* * *

Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю десяток германских имен. Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, единовременно. Местничество поэтов в сердцах куда жесточе придворного. Каждый хочет быть первым, потому что есть первый, каждый хочет быть единым, потому что нет второго. Гейне ревнует меня к Платену, Платен к Гёльдерлину, Гёльдерлин к Гёте, только Гёте ни к кому не ревнует: Бог!

* * *

– Что вы любите в Германии?
– Гёте и Рейн.
– Ну, а современную Германию?
– Страстно.
– Как, несмотря на…
– Не только не смотря – не видя!
– Вы слепы?
– Зряча.
– Вы глухи?
– Абсолютный слух.
– Что же вы видите?
– Гётевский лоб над тысячелетьями.
– Что же вы слышите?
– Рокот Рейна сквозь тысячелетия.
– Но это вы о прошлом!
– О будущем!

* * *

Гёте и Рейн еще не свершились. Точнее сказать не могу.

* * *

Франция для меня легка, Россия – тяжела. Германия – по мне. Германия-древо, дуб, heilige Eiche[110] (Гёте! Зевес!). Германия – точная оболочка моего духа, Германия – моя плоть: ее реки (Ströme!) – мои руки, ее рощи (Heine!) – мои волосы, она вся моя, и я вся – ее!

* * *

Edelstein. – В Германии я бы любила бриллиант. (Edelstein, Edeltrucht, Edelmann, Edelwein, Edelmuth, Edelblut[111]) …

* * *

А еще: Leichtblut. Легкая кровь. Не легкомыслие, а легкокровие. А еще: Uebermuth: сверх-сила, избыток, через-край. Leichtblut и Uebermuth – как это меня дает, вне подозрительного «легкомыслия», вне тяжеловесного «избытка жизненных сил».

Leichtblut и Uebermuth – не все ли те боги? (Единственные). И, главное, это ничего не исключает, ни жертвы, ни гибели, – только: легкая жертва, летящая гибель!

* * *

А Gottesjüngling![112] Не весь ли Феб встает в хороводе своих любимцев!

А Urkraft[113], – не весь ли просыпающийся Хаос! Эта приставка:

Ur! Urquelle, Urkunde, Urzeit, Umacht[114].

Urahne, Ahne, Mutter und Kind

In dumpfer Stube beisammen sind…[115]

Ведь это вечность воет! Волком, в печной трубе. Каждая такая Urahne – Парка.

* * *

Drache и Rache[116] – и все «Nibelungenlied»[117]!

* * *

«Германия – страна чудаков» – «Land der Sonderlinge». Так бы я назвала книгу, которую я бы о ней написала (по-немецки). Sonderlich. Wunderlich[118]. Sonder и Wunder в родстве. Больше: вне Sonder нет Wunder, вне Wunder – нет Sonder.

О, я их видела: Naturmenschen[119] с шевелюрами краснокожих, пасторов, помешавшихся на Дионисе, пасторш, помешавшихся на хиромантии, почтенных старушек, ежевечерне, после ужина, совещающихся с умершим «другом» (мужем) – и других старушек – Märchenfrau, сказочниц по призванию и ремеслу, ремесленниц сказки. Сказка, как ремесло, и как ремесло кормящее. – Оцените страну.

О, я их видела! Я их знаю! Другому кому-нибудь о здравомыслии и скуке немцев! Это страна сумасшедших, с ума сшедших на высшем разуме – духе.

* * *

«Немцы – мещане»… Нет, немцы – граждане: Bürger. От Burg: крепость. Немцы – крепостные Духа.

Мещанин, гражданин, bourgeois, citoyen[120], у немцев же – неделимо – Bürger. Для выявления же понятий мещанства, буржуазности – приставка klein: klein-bürgerlich[121].

Может ли не быть отдельного слова для основной черты нации? Задуматься.

Мое вечное schwärmen[122]. В Германии это в порядке вещей, в Германии я вся в порядке вещей, белая ворона среди белых. В Германии я рядовой, любой.

* * *

Притеснен в Германии только притесняющий, т. е. распространяющийся – внешне – за указанный ему предел, пространственный ли, временной ли. Так, например, играя в своей комнате на флейте позже 10 часов, я распространяюсь за предел временной, установленный общежитием, и этим тесню соседа, в самом точном смысле стесняю (укорачиваю) его сон. – Умей играть молча! –

Мне, до какой-то страсти равнодушной к внешнему, в Германии просторно.

* * *

В Германии меня прельщает упорядоченность (т. е. упрощенность) внешней жизни, – то, чего нет и никогда не было в России. Быт они скрутили в бараний рог – тем, что всецело ему подчинились.

In der Beschrnkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesetz nuz kann uns Freiheit geben.[123]

Ни один немец не живет в этой жизни, но тело его исполнительно. Исполнительность немецких тел вы принимаете за рабство германских душ! Нет души свободней, души мятежней, души высокомерней! Они русским братья, но они мудрее (старше?) нас. Борьба с рыночной площади быта перенесена всецело на высоты духа. Им здесь ничего не нужно. Отсюда покорность. Ограничение себя здесь для безмерного владычества там. У них нет баррикад, но у них философские системы, взрывающие мир, и поэмы, его заново творящие.

Сумасшедший поэт Гёльдерлин тридцать лет подряд упражняется на немом клавесине. Духовидец Новалис до конца своих дней сидит за решеткой банка. Ни Гёльдерлин своей тюрьмой, ни Новалис своей – не тяготятся. Они ее не замечают. Они свободны.

Германия – тиски для тел и Елисейские поля – для душ. Мне, при моей безмерности, нужны тиски.

* * *

– Ну, а как с войной?

– А с войной – так: не Александр Блок – с Райнером Мария Рильке, а пулемет с пулеметом. Не Александр Скрябин – с Рихардом Вагнером, а дредноут с дредноутом. Был бы убит Блок – оплакивала бы Блока (лучшую Россию), был бы убит Рильке – оплакивала бы Рильке (лучшую Германию), и никакая победа, наша ли, их ли, не утешила бы.

В национальной войне я ничего не чувствую, в гражданской – всё.

* * *

– Ну, а как с немецкими зверствами?

– Но я говорила о качественной Германии, не о количественной. Качество, порождаемое количеством – вот зверство. Человек наедине не зверь (не от чего и не с кем). Зверство начинается с Каина и Авеля, Ромула и Рема, т. е.

с цифры два. От сей роковой цифры первого общежития до числа двузначного и дальше – катастрофическое нарастание зверства, с каждой единицей утысячеряющегося. (Вспомните детство и школу),

Короче: если «pour aimer il faud être deux»[124], то тем более – pous tuer[125]. (Адам мог любить просто солнце, Каину, для убийства, нужен был Авель).

Для любви достаточно одного, для убийства нужен второй.

Когда людей, скучивая, лишают лика, они делаются сначала стадом, потом сворой.

Погодите, будет час, так же будете оплакивать героическую Германию, как ныне героическую разоренную Францию. Нынче – Реймский собор, завтра – Кельнский: высоты мешают веку! Это не ненависть германцев к галлам, галлов к германцам, это ненависть квадрата – к шпилю, плоскости – к острию, горизонтали к вертикали.

Реймский собор для меня больше рана, чем для вас: в нем свершилась моя Иоанна! – и, оплакивая его, оплакиваю больше, чем вы: не Иоанну, не Францию, – век костров, смененный веком железобетона!

* * *

«Немцы подарили нам большевиков». «Немцы подарили нам пломбированного Ленина»…

В дипломатических подарках не знаток, но, если это даже правда, – руку на сердце положа – будь мы на их месте и додумайся мы, – мы бы этого не сделали?

Вагон, везущий Ленина, – не тот же ли троянский конь?

Политика – заведомо мерзость, нечего от нее, кроме них, и ждать. С этикой – в политику!

А германская ли мерзость, российская ли – не различаю. Да никто и не различит. Как Интернационал – зло, так и Зло-интернационал.

Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine
Mais notre coeur, vous ne l'aurez jamais
Vous avez cru germaniser la plaine,
Mais malgré vous nous resterons français…[126]

Под это я росла. (Престарелые гувернантки-француженки). И это во мне так же свято, как «Wacht am Rhein»[127]. И это во мне не спорит. Великое согласие высот.

* * *

Страсть к каждой стране, как к единственной – вот мой Интернационал. Не третий, а вечный.

Москва, 1919

Из записных книжек и тетрадей

Аля (Записи о моей первой дочери)

Ах, несмотря на гаданья друзей,
Будущее непроглядно!
– В платьице твой вероломный Тезей,
Маленькая Ариадна!

МЦ

Коктебель. 5-го мая 1913 г., воскресенье.

(День нашей встречи с Сережей. – Коктебель, 5-го мая 1911 г., – 2 года!).

Ревность. – С этого чуждого и прекрасного слова я начинаю эту тетрадь.

Сейчас Лиля – или Аля – или я сама – довела себя почти до слез.

– Аля! Тебе один год, мне – двадцать один.

Ты все время повторяешь: «Лиля, Лиля, Лиля», даже сейчас, когда я пишу.

Я этим оскорблена в своей гордости, я забываю, что ты еще не знаешь и еще долго не будешь знать, – кто я. Я молчу, я даже не смотрю на тебя и чувствую, что в первый раз – ревную.

Это – смесь гордости, оскорбленного самолюбия, горечи, мнимого безразличия и глубочайшего возмущения.

– Чтобы понять всю необычайность для меня этого чувства, нужно было бы знать меня – лично – до 30-го сентября 1913 г.

Ялта, 30-го сентября 1913 г., понедельник.

Аля – Ариадна Эфрон – родилась 5-го сентября 1912 г. в половину шестого утра, под звон колоколов.

Девочка! – Царица бала,
Или схимница, – Бог весть!

– Сколько времени? – Светало.
Кто-то мне ответил: – Шесть.

Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, —
Девочку мою встречали
Ранние колокола.

Я назвала ее Ариадной, вопреки Сереже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые («Ну, Катя, ну, Маша, – это я понимаю! А зачем Ариадна?»), друзьям, которые находят, что это «салонно».

Семи лет от роду я написала драму, где героиню звали Антрилией. – От Антрилии до Ариадны, – Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью.

– Ариадна. – Ведь это ответственно! –

– Именно потому. –

Алиной главной, настоящей и последней кормилицей (у нее их было пять) – была Груша, 20-тилетняя красивая крестьянка Рязанской губ<ернии>, замужняя, разошедшаяся с мужем.

Круглое лицо, ослепительные сияющие зеленые деревенские глаза, прямой нос, сверкающая улыбка, золотистые две косы, – веселье, задор, лукавство, – Ева!

И безумная, бессмысленная, безудержная – первородная – ложь.

Обокрав весной весь дом и оставленная мной в кормилицах, она, приехав в Коктебель – было очень холодно, безумные ветра, начало весны, – она писала домой родителям:

«Дорогие мои родители! И куда меня завезли! Кормлю ребенка, а сама нож держу. Здесь все с ножами. На берегу моря сидят разные народы: турки, татары, магры» (очевидно, смесь негра и мавра!).

– Барыня, какие еще народы бывают?

– Французы, Груша!

«…турки, татары, магры и французы и пьют кофий. А сами нож держат. Виноград поспел, – сладкий. Вчера я была в Старом Иерусалиме, поклонялась гробу Господню…»

– Груша, зачем вы все это пишете?

– А чтобы жалели, барыня, и завидовали!

В Коктебеле ее все любили. Она работала, как вол, веселилась, как целый табун. Знала все старинные песни, –

свадебные, хороводные, заупокойные. Чудно танцевала русскую. По вечерам она – без стыда и совести – врывалась на длинную террасу, где все сидели за чаем – человек тридцать – и всплескивая руками, притоптывая ногами, визжа, причитая, кланяясь в пояс, «величала» – кого ей вздумается.

– И Максимилиана – свет – Александровича и невесту его – которую не знаю…

И еще:

Розан мой алый,

Виноград зеленый!

Алю она страшно любила и так как была подла и ревнива, писала домой: «А девочка барыню совсем не признает, отворачивается, меня зовет „мама“». – Явная ложь, ибо Аля меня знала и любила.

Аля в то время была Wunderkind'ом[128] по уму, красоте глаз и весу. Все восхищались и завидовали. Один господин, увидев нас вместе: прекрасного Сережу, молодую меня, похожую на мальчика, красавицу Грушу и красавицу Алю, воскликнул:

– Целый цветник! –

Мне, когда родилась Аля, не было 20-ти, Сереже – 19-ти. С Алей вместе подрастал котенок – серый, дымчатый – Кусака. Рос он у меня за матроской и в Алиной кровати. Груша отцеживала ему своего молока, и вырос он почти человеком. Это была моя великая кошачья любовь.

Его шкурка до сих пор висит у меня на стене – ковриком.

Макс Волошин о Груше и Але сказал однажды так:

– У нее пьяное молоко, и Аля навсегда будет пьяной.

Груша ушла от меня, когда Але был год. Ее выслала из Ялты полиция – ждали Царя и очищали Ялту от подозрительных личностей, а у Груши оказался подчищенный паспорт. Она вместо фамилии мужа, которого ненавидела, поставила свою, девичью.

Приехав в Москву, она заходила ко всем моим коктебельским знакомым и выпрашивала – от моего имени – деньги.

Потом я потеряла ее след.

(На*писано мая 1918 г., Москва)*
(Выписки из дневника)

Москва, 4-го декабря 1912 г., вторник.

*Завтра Але 3 меся*ца. У нее огромные светло-голубые глаза, темно-русые ресницы и светлые брови, маленький нос, – большое расстояние между ртом и носом, – рот, опущенный книзу, очень вырезанный; четырехугольный, крутой, нависающий лоб, большие, слегка оттопыренные уши; длинная шея (у таких

маленьких это – редкость); очень большие руки с длинными пальцами, длинные и узкие ноги. Вся она длинная и скорей худенькая, – tirée en longueur[129].

Живая, подвижная, ненавидит лежать, все время сама приподнимается, замечает присутствие человека, спит мало.

Родилась она 9-ти без четверти – фунта. 12-ти недель она весила – 13 1/2 ф<унтов>.

Москва, 11-го декабря 1912 г., вторник.

Вчера Л<еня> Ц<ирес>, впервые видевший Алю, воскликнул: «Господи, да какие у нее огромные глаза! Я никогда не видел таких у маленьких детей!»

– Ура, Аля! Значит глаза – Сережины.

Москва, 12-го *декабря 1912 г., среда.*

Пра сегодня в первый раз видела Ариадну. «Верно, огромные у нее будут глаза!»

– Конечно, огромные!

Говорю заранее: у нее будут серые глаза и черные волосы[130].

Москва, 19-го дек<аб*ря*>.

У Али за последнее время очень выросли волосы. На голове уже целая легкая шерстка.

Завтра у нас крестины.

Крестной матерью Али была Елена Оттобальдовна Волошина – Пра. Крестным отцом – мой отец, И. В. Цветаев.

Пра по случаю крестин оделась по-женски, т. е. заменила шаровары – юбкой. Но шитый золотом белый кафтан остался, осталась и великолепная, напоминающая Гёте, огромная голова. Мой отец был явно смущен. Пра – как всегда – сияла решимостью,·я – как всегда – безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствуют. Священник говорил потом Вере:

– Мать по лестницам бегает, волоса короткие, – как мальчик, а крестная мать и вовсе мужчина…

Я забыла сказать, что Аля первый год своей жизни провела на Б<ольшой> Полянке, в М<алом> Екатерининском пер<еулке>, в собственном доме, – купеческом, с мезонином, залой с аркой, садиком, мохнатым-лохматым двором и таким же мохнатым-лохматым дворовым псом, похожим на льва – Османом. Дом мы с С<ережей> купили за 18 1/2 тысяч. Османа – в придачу – за 3 р<убля>.

Эта пометка относится к маю 1918 г.

Феодосия, *12-го ноября 1913 г., вторник.*
Але 5-го исполнилось 1 г<од> 2 мес<яца>.
Ее слова:

ко – кот (раньше – ки)
тетя Вава – Ваня
куда – куда
где, Лоля
мама
няня
папа
па́ – упала
ка́ – каша
кука – кукла
нам, на́-на́
Аля
мням-ням
ми-и – милый.

Всего пока 16 сознательных слов. Изредка говорит еще «у2ва» – лёва.

У нее сейчас 11 зубов.

Она ходит одна. Побаивается, прижимает к груди обе руки. Ходит быстро, но не твердо.

В Сережиной комнате есть арка с выступами, на одном из которых сидит большой – синий с желтым – лев.

Аля проходит, держа в руке другого льва – из целлулоида.

– Аля, положи лёву к лёве! –

Она кладет маленького между лап большого и на обратном пути вновь берет его.

– Аля, дай лёву папе.

Она подходит к С<ереже> и протягивает ему льва.

– Папа! Папа! На!

– Аля, куку!

– Куку!

– Кто это сделал? Аля?

– Аля!

– Аля, дай ручку!

Дает, лукаво спрятав ее сначала за спину. Это у нее старая привычка, – еще с Коктебеля.

Она прекрасно узнает голоса и очаровательно произносит: «мама», – то ласково, то требовательно до оглушительности. При слове «нельзя» свирепеет мгновенно, испуская злобный, довольно

отвратительный звук, – нечто среднее между «э» и «а» – вроде французского «in».

Уже произносит букву «р», – не в словах, а в отдельных звуках.

Еще одна милая недавняя привычка.

С<ережа> все гладит меня по голове, повторяя:

– Мама, это мама! Милая мама, милая, милая. Аля, погладь!

И вот недавно Аля сама начала гладить меня по волосам, приговаривая:

– Ми! Ми! – т. е. «милая, милая».

Теперь она так гладит всех – и С<ережу>, и Волчка, и Кусаку, и няню – всех, кроме Аси, которую она злобно бьет по шляпе.

Меня она любит больше всех. Стоит мне только показаться, как она протягивает мне из кроватки обе лапы с криком: «на́!»

От меня идет только к Сереже, к няне – с злобным криком.

Купаться ненавидит, при виде волны уже начинает плакать.

Упряма, но как-то осмысленно, – и совсем не капризна.

Кота она обожает: хватает за что попало, при виде или голосе его кричит «ко́», подымает его за загривок на воздух, старается наступить. Все животные для нее – «ко́».

Сейчас она сидит у меня на коленях и дает бумажку со спичечной коробки: – но́!

Вчера вечером, когда я заходила к Редлихам за чаем для Сережи и Аси, старик Редлих сказал мне: – Хотите, я Вам скажу новость? – Какую? – Ваша дочка танцует. Ее сегодня приносила к нам на минутку Аннетта, и – представьте себе: она танцевала! Это было так трогательно!

(Сейчас она изо всех сил кричит за дверью: – Мама! Мама! Мама!).

С виду ей можно дать полтора года и больше. У нес бледное личико с не совсем еще сошедшим загаром. Глаза огромные, светло-голубые. Брови темнеют. – «У нее будут соболиные брови», – сказала Пра, когда увидела ее после 2-х месяцев разлуки.

Волосы – по выражению Аси – пегие. На затылке русые, спереди льняные, седые, зеленоватые, – как у деревенских детей. Твердые и густые. Недавно я катала ее колясочку при луне.

О ее глазах: когда мы жили в Ялте, наша соседка по комнате, шансонетная певица, все вздыхала, глядя на Алю: – Сколько народу погибнет из-за этих глаз!

И здесь, в Феодосии, художник-анархист Prévost, француз, родившийся в Алжире, сказал мне, только что познакомившись:

– «Вчера я видел Вашу дочь. Какой прелестный ребенок! И

какие у нее глаза! Сколько я ни смотрел, я никак не мог охватить их взглядом!»…

Феодосия, 18-го ноября 1913 г., понед<ельник>.

Третьего дня Аля первый раз поцеловала… кота. Это был ее самый первый поцелуй. После этого она два раза погладила себя по голове, приговаривая: – ми, ми.

Вчера я кончила ей стихи. Завтра ей год, 2 с половиной месяца. Несколько дней тому назад она определенно начала драться.

– Да, теперь она, на вопрос: – Как тебя зовут? – отвечает: Аля.

Аля! Маленькая тень
На огромном горизонте.
Тщетно говорю: «Не троньте!»
Будет день
Милый, грустный и большой, —
День, когда от жизни рядом
Вся ты оторвешься взглядом
И душой.
День, когда с пером в руке —
Ты на ласку не ответишь.
День, который ты отметишь
В дневнике.
День, когда, летя вперед
Своенравно, без запрета
С ветром в комнату войдет —
Больше ветра!
Залу, спящую на вид,
Но волнистую, как сцена,
Юность Шумана смутит
И Шопена.
Целый день настороже,
А ночами – черный кофе.
Лорда Байрона в душе
Тонкий профиль…
Метче гибкого хлыста
Остроумье наготове.
Гневно сдвинутые брови
И уста…
Прелесть двух огромных глаз,
Их угроза, их опасность.
Недоступность – гордость – страстность
В первый раз…
Благородным без границ

Станет профиль – слишком белый,
Слишком длинными – ресниц
Станут стрелы;
Слишком грустными – углы
Губ изогнутых и длинных,
И движенья рук невинных —
Слишком злы.
«Belle au bois dormant»[131] Перро, —
Аля! – Будет все, что было.
Так же ново и старо,
Так же мило.
Будет, – сердце, не воюй,
И не возмущайтесь, нервы! —
Будет первый бал и первый
Поцелуй.
Будет «он». (Ему сейчас
Года три или четыре).
– Аля! Это будет в мире
В первый раз.

МЦ

Ф*еодосия, 5-го декабря 1913 г., среда.*

Сегодня Але 1 г<од> 3 мес<яца>. У нее 12 зубов (3 коренных и 1 глазной).

Новых слов не говорит, но на вопросы: где картина? конь? кроватка? глазки? рот? нос? ухо? – указывает правильно, причем ухо ищет у меня за волосами.

Вчера она, взяв в руки лист исписанной бумаги, начала что-то шептать, то удаляя его от глаз, то чуть ли не касаясь его ресницами. Это она по примеру Аннетты, читавшей перед этим вслух письмо, – «читала». Тогда С<ережа> дал ей книгу, и она снова зашептала. С бумажкой в руках она ходила от С<ережи>ной кровати до кресла, непрерывно читая.

Еще новость: сто́ит мне только сказать ей «нельзя» или просто повысить голос, как она сразу говорит: «ми» и гладит меня по голове. Это началось третьего дня и длится до сегодняшнего вечера.

– Аля! Кто это сделал? Аля, так нельзя делать!

– Куку! Я не сдаюсь.

– Ми! Ко!

Я молчу.

Тогда она приближает лицо к моему и прижавшись лбом, медленно опускает голову, все шире и шире раскрывая глаза. Это

невероятно-смешно.

Ходит она с 11 1/2 мес<яцев> и – надо признаться – плохо: стремительно и нетвердо, очень боится упасть, слишком широко расставляет ноги.

Последний раз я снимала ее 23-го ноября (1 г<од> 2 1/2 мес<яца>, – один раз с Пра и два раза одну. С Пра она похожа на куклу.

Вообще, она плохо выходит, фотография не передает голубого цвета, и чудные ее глаза пропадают.

Феодосия, Сочельник *1913 г., вторник.*

*Сегодня г*од назад у нас в Екатерининском была елка. Был папа, – его последняя елка! – Алю приносили сверху в розовом атласном конверте (у нас дома говорили – «пакет», и наши куклы были в «пакетах»), – еще моем, дедушкином.

Еще Аля испугалась лестницы.

Сейчас я одна. С<ережа> в Москве.

Аля ходит по комнатам в красном клетчатом платьице, подарке Аси на 5-ое сент<ября>. За последнюю неделю она стала смелее ходить.

Ее новые слова:

агó – огонь
тó – что
тама – там
áпа – лапа
иди – да
не – нет
дядя Атя – Ася
нó – нос
ухяо – ухо
Как собака лает? – Ау!
Как кошка мяучит? – Мяу.
Слыша собачий лай, сразу говорит: «áу».

Несколько дней после отъезда Сережи в больницу, я сидела с ней в его комнате, и она все время подходила к его кровати, открывала одеяло, смотрела кругом и повторяла: «Папа! Куда?» Теперь она на вопрос: «где?» вместо прежнего «куда» отвечает «гама».

Сейчас они с Аннеттой пошли к Редлихам – к<отор>ые сейчас в Москве. Там прислуга Соня украшает елку для своего мальчика Вани. – Аля зовет его Вава. – Какая Аля будет через год? Непременно запишу в Сочельник.

Сегодня я кончила стихи «Век юный»…

– Когда промчится этот юный,

Прелестный век…

30-го мы выступаем с Асей на балу в пользу погибающих на водах.

Да! Але это будет интересно.

Когда я на втором нашем выступлении сказала перед стихами Але – «Посвящается моей дочери» – вся зала ахнула, а кто-то восторженно крикнул: «Браво!»

Мне на вид не больше 17-ти лет.

Феодосия, 26-го декабря. 1913 г., четверг.

<1917 год>

«Все о себе, все о любви». Да, о себе, о любви – и еще – изумительно – о серебряном голосе оленя, о неярких просторах Рязанской губернии, о смуглых главах Херсонесского храма, о красном кленовом листе, заложенном на Песни Песней, о воздухе, «подарке Божьем»… и так без конца… И есть у нее одно 8-стишие о юном Пушкине, которое покрывает все изыскания всех его биографов. Ахматова пишет о себе – о вечном. И Ахматова, не написав ни одной отвлеченно-общественной строчки, глубже всего – через описание пера на шляпе – передаст потомкам свой век… О маленькой книжке Ахматовой можно написать десять томов И ничего не прибавишь… Какой трудный и соблазнительный подарок поэтов – Анна Ахматова!

<1918 год>

О черни.

Кого я ненавижу (и вижу), когда говорю: чернь.

Солдат? – Нет, сижу и пью с ними чай часами из боязни, что обидятся, если уйду.

Рабочих? – Нет, от «позвольте прикурить» на улице, даже от чистосердечного: «товарищ» – чуть ли не слезы на глазах.

Крестьян? – Готова с каждой бабой уйти в ее деревню – жить: с ней, с ее ребятишками, с ее коровами (лучше без мужа, мужиков боюсь!). А главное: слушать, слушать, слушать!

Кухарок и горничных? – Но они, даже ненавидя, так хорошо рассказывают о домах, где жили: как барин газету читал: «Русское слово», как барыня черное платье себе сшила, как барышня замуж не знала за кого идти: один дохтур был, другой военный…

Ненавижу – поняла – вот кого: толстую руку с обручальным кольцом и (в мирное время) кошелку в ней, шелковую («клеш») юбку на жирном животе, манеру что-то высасывать в зубах, шпильки, презрение к моим серебряным кольцам (золотых-то,

видно, нет!) – уничтожение всей меня – все человеческое мясо – мещанство!

* * *

Большевики мне дали хороший русский язык (речь, молвь)… Очередь – вот мой Кастальский ток! Мастеровые, бабки, солдаты… Этим же даром большевикам воздам!

1-го и*юня 1918 г.*

Аля:

– *Ты сожжен*ная какая-то.

– Я никак не могу придумать для тебя подходящего ласкательного слова. Ты на небе была и в другое тело перешла.

* * *

Солдатики на Казанском вокзале.

* * *

Аля: «У меня тоже есть книга. – Толстого Льва: как лев от любви задохся».

* * *

В деревне я – город, в городе – деревня. (В городе, летом, хожу без шляпы, в деревне – не хожу босиком. Распущенность). Вернее всего – оттуда: с окраин, с застав.

* * *

– Вы любите детей? – Нет. – Могла бы прибавить: «не всех, так же, как людей, таких, которые» и т. д.

Могла бы – думая об 11-летнем мальчике Османе в Гурзуфе, о «Сердце Анни» Бромлей, и о себе в детстве – сказать «да».

Но зная, как другие говорят это «да» – определенно говорю – «нет».

* * *

Не люблю (не моя стихия) детей, пластических искусств, деревенской жизни, семьи.

* * *

Милый друг: Вы говорите – и Вы правы – что и желание смерти – желание страсти.

Я только переставляю.

* * *

Куда пропадает Алина прекрасная душа, когда она бегает по двору с палкой, крича: Ва-ва-ва-ва!

* * *

Почему я люблю веселящихся собак и не люблю (не выношу) веселящихся детей?!

Детское веселье – не звериное. Душа у животного – подарок, от ребенка (человека) я ее требую и, когда не получаю, ненавижу ребенка.

* * *

Люблю (выношу) зверя в ребенке, в прыжках, движениях, криках, но когда этот зверь переходит в область слова (что уже нелепо, ибо зверь бессловесен) – получается глупость, идиотизм, отвращение.

* * *

Зверь тем лучше человека, что никогда не вульгарен.

* * *

Когда Аля с детьми, она глупа, бездарна, бездушна, и я

страдаю, чувствую отвращение, чуждость, никак не могу любить.

* * *

Мой сон – 9-го июня 1918 г. 1 ч. дня

Город на горе. Безумный ветер. Вот-вот дом сорвется, как уже сорвалось – сердце. Но знаю во сне, что дом не сорвется, потому что нужно, чтобы сон снился дольше.

– Просыпаюсь

В комнате – очень женственный мальчик лет 17-ти, в военном. Говорит мне «ты», смеется. (Он художник, большевик). «Но я не знаю, кто Вы». – «Неужели не узнаешь? Ну, подумай!» – Я не угадываю. – «Я отец Жана». – «Какого Жана?» – «Такой новый человек. Жан».

– Просыпаюсь –

В темной передней, у телефона. Я ему: «Но ведь телефон не звонит!»

– Просыпаюсь –

Бешеный автомобиль. Я и еще люди. Мчимся. Точное видение: слева – высоких холмов, сплошь покрытых красным осенним листом. Летим на огромное дерево (дуб). Разобьемся. – Мимо. – На холмах работают рабочие. Впереди – лужайка. Тропинки, отдельные огромные деревья. Я во сне думаю: выдумать я всего этого не могу, д<должно> б<быть> я это где-то, в детстве, видела. Д<олжно> б<ыть> во Фрейбурге (12 л<ет>, сосновый лес).

– Просыпаюсь –

Мчимся. Кто-то догоняет. Не велосипед, не автомобиль. Опережает. Возвращается. Хочу к нему. Хочу сказать шоферу, чтобы остановил автомобиль. Шофера нет. Останавливаю. На дороге – мой прежний мальчик. Вижу, что он стал меньше ростом, подымаю для поцелуя голову выше, чем следует, делаю вид, что тянусь к нему, зная, что от этого он станет выше. И вдруг замечаю на нем женское – белое с цветами – платье. Но все-таки хочу уйти с ним от других.

* * *

Просыпаюсь. От груди – огромная, горячая волна.

* * *

– Аля принесла цветы Лиле. Узнаю случайно. – С 10 ч. утра до 2-х ч. Аля обратилась ко мне всего один раз: «Мама, можно» и т. д.

– Когда она с детьми, она определенно меня забывает. Только к вечеру, когда закат: «Марина! Какое красивое небо!»

* * *

Милый друг! Когда я не с вами, я не лицемерка. Защищая при Вас детей, я глубоко равнодушна к ним, когда я одна. Здесь четверо детей, и ни один из них до сих пор не знает, как меня зовут.

Когда в детстве (7 лет) я играла со взрослыми в карты и взятка была моя, я никогда не заявляла.

Так всю жизнь. Тогда от деликатности, сейчас от брезгливости.

* * *

«Взрослые не понимают детей». Да, но как дети не понимают взрослых! И зачем они вместе?!

* * *

Сытый голодному не товарищ. Ребенок сыт, взрослый голоден.

* * *

Детство. 6 или 7 лет. Таруса. Рябина. Рубят котлеты. Хлыстовки. Ягоды приносят.

* * *

В детстве я всегда рвалась от детей к взрослым, 4-х лет от игр к книгам. Не любила – стеснялась и презирала – кукол. Единственная игра, которую я любила – aux barres[132], 11 л<ет> в Лозанне – за то, что две партии и героизм.

16-го июня 1918 г.

Антокольский о теософских, беатриченских, ясновидящих –

непременно девических! – шеях:

«Такое впечатление, что они ее из лейки поливают».

* * *

А<нтоколь>ский о Н<икодиме>: «Он – гётеянец. Т. е. – нет – я неверно сказал, я хочу сказать, что к нему по ночам является пудель или Mater Dolorosa»[133].

* * *

– В Польше есть почетная должность сторожа могилы Костюшко.

* * *

4-го июля 1918 г.

Аля: – «М<арина>! Что такое – бездна?»

Я: – «Без дна».

Аля: – «Значит, небо – единственная бездна, потому что только оно одно и есть без дна».

* * *

– «Марина! Неужели ты все эти стихи написала? Мне даже не верится – так прекрасно!»

* * *

6-го июля 1918 г.

«– Марина! Мы с тобою в разряженных именах: Ариадна – Марина».

* * *

Н<икодим> (о подвиге):

– Самоуничижение – такой же инстинкт, как самосохранение.

* * *

Разница между мной (ребенком) и Алей:

– У Али восторг к своему (своей породе в мире) перевешивает сильное отвращение к чужому.

У меня – наоборот. (Было и есть).

* * *

Аля (пропустив, по свойственной ей медлительности, шарманщика):

– Марина! Я не особенно жалею, когда пропускаю какую-нибудь радость, а когда горе – жалею. Я только одного горя бы не жалела: видеть черта.

* * *

Аля:

– «Марина! –

С какой стороны – страна старины?» (В Кремле).

«Марина! Как старый лев лучше, чем старая женщина!»

* * *

Глядя в небо:

– «Марина! Как голубизна загребает белизну!»

* * *

– «Марина! Голова у меня тяжелая, как у памятника, только не на вес».

17-го шюля 1918 г.

Хаос, взятый на учет.

* * *

Беззащитность рукописи (я).

* * *

30-го июля 1918 г.

Аля: – «Марина! Если бы твое кресло не было мягкое, оно было бы настоящее жесткое кресло».

* * *

Александр Македонский, разрубая Гордиев узел, просто груб.

* * *

Лунная ночь в городе всегда готична.

* * *

Саламандра не огненна, она – огнеупорна. Какой безумный холод, чтобы жить в огне!

* * *

31-го *июля 1918 г.*

– *«Мама! Я не м*огу спать! У меня такие острые думы!

– Марина! Мне кажется – нет людей духа. Не духа, когда дышишь, а того, другого. Ты меня понимаешь?»

* * *

1-го августа 1918 г.

– «Где дыра, а сквозь дыру – синее небо, там – Италия». (Н<икодим>)

* * *

Аля: – «Марина! Когда ты пишешь – ты только водишь рукой, а пишет – душа».

* * *

Аля, о видении ангела: лицо неяркое, как луна, а глаза

нарисованные, а внутри – точно простокваша.

* * *

«У меня горе тяжелое, как железо, как бомба».

* * *

– Воспоминание: этим летом я как-то после купанья сидела на песке. Подошла огромная белая лохматая собака и села рядом. И вот, Надя: «Чтой-то, барыня, странно на вас глядеть: на одного-то слишком много надето, а у другого – чего-то не хватает».

(Много шерсти у пса, отсутствие одежды – у меня).

* * *

Два источника гениальности женщины: 1) её любовь к кому-нибудь (взаимная или нет – все равно), 2) чужая нелюбовь.

* * *

Бездарна женщина: когда не любит (никого), когда ее любит тот, кого она не любит.

* * *

Когда нет мужчин, я о них никогда не думаю, как будто их никогда и не было.

* * *

21-го августа 1918 г.

Еда иногда пахнет совсем не едой: приключением, грустью (запах кухни большого отеля).

* * *

Аля: – «Марина! Я хотела бы написать книгу про все. Только я

бы не хотела ее продавать, я бы хотела, чтобы она у нас осталась, чтобы ее могли читать только родные: душевно-родные и другие»…

* * *

Марина! А у тебя иногда дикие глаза: в них степи, ночь…

* * *

На днях разбился верхний свет в столовой. Стекла вдребезги, кирпичи, штукатурка, звон. Мы с Алей еле спаслись. Аля, в слезах: – «Марина! я жалею книги!»

– «Какие книги?»

– «Ведь дом рушится!»

* * *

– «Да! И если ты через 10 минут не будешь готова, я тебя не возьму ни гулять, ни в Кремль, и не дам тебе чаю!»

– «А я тогда буду жить как святые! И буду писать 8 страниц в день!»

(В реплике – ни самолюбия, ни самомнения, ни смирения – сразу сжилась).

* * *

Я – le contre – coup du fait[134].

* * *

Мужчины и женщины мне – не равно близки, равно – чужды. Я так же могу сказать: «вы, женщины», как: «вы, мужчины». Говоря: «мы – женщины», всегда немножко преувеличиваю, веселюсь, играю.

* * *

Июльское солнце я чувствую черным.

* * *

Аля, 27-го августа 1918 г., в кухне, за ужином – ко мне и Наде:

«Вы тут все про дворников говорите, а я думаю про свою серебряную страну».

* * *

Из письма:

Нас делят, дружочек, не вещи высокого порядка, а быт. Согласитесь, что не может быть одинаковое видение от жизни у человека, к<отор>ый весь день кружится среди кошелок, кухонных полотенец, простонародных лиц, вскипевшего или не вскипевшего молока и человека, в полном чистосердечии никогда не видавшего сырой моркови.

Женщине, если она человек, мужчина нужен, как роскошь, – очень, очень иногда. Книги, дом, забота о детях, радости от детей, одинокие прогулки, часы горечи, часы восторга, – что тут делать мужчине?

У женщины, вне мужчины, целых два моря: быт и собственная душа.

* * *

Я абсолютно déclassée[135]. По внешнему виду – кто́ я? 6 ч. утра. Зеленое, в три пелерины, пальто, стянутое широченным нелакированным поясом (городских училищ). Темно-зеленая, самодельная, вроде клобука, шапочка, короткие волосы.

Из-под плаща-ноги в безобразных серых рыночных чулках и грубых, часто нечищеных (не успела!) башмаках. На лице – веселье.

Я не дворянка – (ни гонора, ни горечи) и не хозяйка (слишком веселюсь), я не простонародье (слишком <пропуск> и не богема (страдаю от нечищеных башмаков, грубости их радуюсь, – будут носиться!).

Я действительно, абсолютно, до мозга костей, – вне сословия, профессии, ранга. – За царем – цари, за нищими – нищие, за мной – пустота.

* * *

– «Монах ребенка украл!»

(Возглас мальчишки на Казанском вокзале, видящего меня мчащуюся с Ириной на руках).

* * *

Тяготение к мучительству. Срываю сердце на Але. Не могу любить сразу Ирину и Алю, для любви мне нужно одиночество. Аля, начинающая кричать прежде, чем я трону ее рукой, приводит меня в бешенство. Страх другого делает меня жестокой.

* * *

Из письма:

…Господи Боже мой, знайте одно: всегда, в любую минуту я о Вас думаю. Когда Вам захочется обо мне подумать, знайте, что Вы думаете в ответ.

…Это ныло у меня два года в душе, а теперь воет.

…Я же не одержима, моя одержимость тайная, никто в нес никогда не поверит.

…Люблю Вас и без сына, люблю Вас и без себя, люблю Вас и без Вас – спящего без снов! – просто за голову на подушке!

* * *

Леонид К<анегиссер>! Изнеженный женственный 19-тилетний юноша, – эстет, поэт, пушкинианец, томные глаза, миндалевидные почти.

(Таким Вы были в январе 1916 г. – мой первый приезд в Петербург!).

* * *

3-го – 4-*го сент<ября> 1918 г.*

*Некото*рые люди относятся к внешнему миру с какой-то придирчивой внимательностью (дети, дальнозоркие – писатели типа Чехова и А. Н. Толстого).

С такими мне утомительно и скучно.

* * *

«И подарил он ей персиянский халат, п<отому> ч<то> стала она тогда уже часто прихварывать».

(Так мог бы кто-нибудь рассказывать о Настасье Филипповне. – Русская «Dame aux Camélices»[136]).

* * *

Октябрь. Из письма:

Пишу Вам это письмо с наслаждением, не доходящим, однако, до сладострастия, ибо сладострастие – умопомрачение, а я – вполне трезва.

Я Вас больше не люблю.

Ничего не случилось, – жизнь случилась. Я не думаю о Вас ни утром, просыпаясь, ни ночью, засыпая, ни на улице, ни под музыку, – никогда.

Если бы Вы полюбили другую женщину, я бы улыбнулась – с высокомерным умилением – и задумалась – с любопытством – о Вас и о ней.

Я – aus dem Spiel[137].

– Все, что я чувствую к Вам – легкое волнение от голоса, и то общее творческое волнение, как всегда в присутствии ума-партнера.

Ваше лицо мне по-прежнему нравится.

– Почему я Вас больше не люблю? Зная меня, Вы не ждете «не знаю».

Два года подряд я – мысленно – в душе своей – таскала Вас с собой по всем дорогам, залам, церквам, вагонам, я не расставалась с Вами ни на секунду, считала часы, ждала звонка, лежала, как мертвая, если звонка не было, всё, как все, и все-таки не всё, как все.

Вижу Ваше смуглое лицо над стаканом кофе – в кофейном и табачном дыму – Вы были как бархат, я говорю о голосе – и как сталь – говорю о словах – я любовалась Вами, я Вас очень любила.

Одно сравнение – причудливое, но вернейшее: Вы были для меня тем барабанным боем, подымающим на ноги в полночь всех мальчишек города.

– Вы первый перестали любить меня. Если бы этого не случилось, я бы до сих пор Вас любила, ибо я люблю всегда до самой последней возможности.

Сначала Вы приходили в 4 часа, потом в 5 ч., потом в 6 ч., потом в восьмом, потом совсем перестали.

Вы не разлюбили меня (как отрезать). Вы просто перестали любить меня каждую минуту своей жизни, и я сделала то же,

послушалась Вас, как всегда.

Вы первый забыли, кто я.

Пишу Вам без горечи – и без наслаждения. Вы без горечи – и без наслаждения, Вы все-таки лучший знаток во мне, чем кто-нибудь, я просто рассказываю Вам, как знатоку и ценителю – и я думаю, что Вы по старой привычке похвалите меня за точность чувствования и передачи.

* * *

(2-го окт<ября> 1918 г.)

Женщина, чуть-чуть улыбаясь, подает левую руку. – Любовь. Примета.

* * *

Аля: «Марина! Когда ты умрешь, я поставлю тебе памятник с надписью:

«Многих рыцарей – Дама»,

только это будет такими буквами, чтобы никто не мог прочесть. Только те, кто тебя любили».

* * *

– Последнее золото мира! –

(О деревьях в Александровском саду).

* * *

Беззащитность рукописи.

* * *

«Перед смертью не надышишься!» Это сказано обо мне.

* * *

14-го ноября,

в 11 ч. вечера – в мракобесной, тусклой, кишащей

кастрюлями и тряпками столовой, на полу, в тигровой шубе, осыпая слезами собачий воротник – прощаюсь с Ириной.

Ирина, удивленно любуясь на слезы, играет завитком моих волос. Аля рядом, как статуя восторженного горя.

Потом – поездка на санках. Я запряжена, Аля толкает сзади – темно – бубенцы звенят – боюсь автомобиля…

Аля говорит: – «Марина! Мне кажется, что все небо кружится. Я боюсь звезд!»

* * *

Из письма:

…Я написала Ваше имя и долго молчала. Лучше всего было бы закрыть глаза, и просто думать о Вас, но – я трезва! – Вы этого не узнаете, а я хочу, чтобы Вы знали. – (Знаю, что Вы все знаете)!

Сегодня днем – легкий, легкий снег – подходя к своему дому, я остановилась и подняла голову. И подняв голову, ясно поняла, что подымаю ее навстречу Вашей чуть опущенной голове.

Мы еще будем стоять так, у моего подъезда, – нечаянно – в первый – в тысячу первый раз.

– Думайте обо мне что хотите (мое веселое отчаянье!). Но прошу Вас! – не валите всего этого на «безумное время».

У меня всегда безумное время.

Милый друг! Вчера вечером и в первый раз в жизни полюбила лифт. (Всегда панически и простонародно боялась, что застряну навек)!

Я подымалась – одна в пустой коробке – на каком-то этаже играла музыка, и все провалы лифта были наводнены ею. И я подумала:

Движущийся пол и музыка. Вся я. – И, задыхаясь от восторга, подумала: Музыка коварными когтями разворачивает грудь.

А через час я встретилась с Вами.

– Я знаю, что я вам необходима, иначе не были бы мне необходимы – Вы.

* * *

Аля:

Соленые волны моря
Хлынули мне в лицо.
Я царь всему этому брегу.

Уносит меня луна.

* * *

Алино письмо С<ереже>

(27-го ноября 1918 г.*)*

Милый папа! Я так медленно пишу, что прошу дописать Марину. Мне приятно писать Вам. Часто я Вас ищу глазами по комнате, ища Ваше живое лицо, но мне попадаются только Ваши карточки, но и они иногда оживляются, п<отому> ч<то> я так внимательно смотрю. Мне все кажется: из темного угла, где шарманка, выйдете Вы с Вашим приятным, тонким лицом. Меня слушает всякий шум: кран, автомобиль, человеческий голос. Мне все кажется – все выпрямляется, когда я смотрю. Милый папа, я Вас буду бесконечно долго вспоминать. Целая бездна памяти надо мной. Я очень люблю слово «бездна», мне кажется, есть люди, которые живут над бездной и не погибают в буре.

– Я в маминой комнате хожу в осеннем желтом пальто. Ваша жизнь, мой прекрасный папа, черная бездна небесная, с огромными звездами. Над Вашей головой – звезда Правды. Я кланяюсь Вам до самой низкой земли.

– Милый папа, раз мы вечером гуляли, я посмотрела на небо, все небо кружилось. Я очень испугалась и сказала это маме. Мама сказала, что небо действительно кружится. Мне стало еще страшнее. На улице никого и ничего не было, кроме нас. Только тусклые фонари. И мама мне сказала, что нужно, чтобы не бояться звезд – сделать их своими друзьями. И мы спокойно пошли дальше. И теперь я уже без страха. И, опираясь на мамину руку, я буду жить. Целую Вас от всей моей души и груди.

Аля.

* * *

Декабрь. В слове «боты» есть какая-то неизъяснимая (вполне изъяснимая) вульгарность.

* * *

– «Кому живется, а кому и ежится!» (Баба, рассыпавшая на

улице чечевицу, за которой стояла 2 часа на морозе в очереди).

* * *

Аля: Марина! Я бы хотела построить дом для поэтов – чтобы камины пылали, кофе кипел, а они бы ничего не делали, – только писали стихи.

* * *

«Мне снился праздничный сон – многолюдный. Большая мужская толпа и мои глаза».

1919 год

Январь: Трагическое во мне в последнюю минуту искуплено легкомыслием.

* * *

Есть женщины, у которых, по чести, не было ни друзей, ни любовников: друзья слишком скоро становятся любовниками, любовники – друзьями.

* * *

Нет маленьких событий. Есть маленькие люди.

* * *

Вся тайна в том, чтобы события сегодняшнего дня рассказать так, как будто бы они были 100 лет назад, а то, что совершилось 100 лет назад, – как сегодня.

* * *

Любовь разложима, но не делима.

* * *

Любовь – параллельная линия к нашей с Вами прямой, проведенная на миллиметр расстояния.

* * *

Аристократизм: враг избытка. Всегда немного меньше, чем нужно.

Вечно Вы любовнику.

* * *

Клянусь Богом, что Вы меня ни капельки не любите, клянусь Богом, что я от этого люблю Вас гораздо меньше и любуюсь Вами гораздо больше, а так как это и Вам и мне дороже, чем любовь, продолжайте не любить меня – на здоровье!

Все, что у меня осталось свободы с Вами – это мой смех.

* * *

Вы меня не любите, а я Вам не доверяю. (Любовь).

* * *

Февраль: Никогда не уступаю желанию, всегда – причуде. От сильных своих желаний мне как-то оскорбительно, от причуды – весело. В желании я – раб, в причуде – царь.

* * *

Аля: «Мне кажется, я выйду замуж, шутя».

* * *

Рассказываю Бальмонту о потере голоса. «Вы знаете, меня должно быть Бог наказал за то, что я слишком много говорила. Целых две недели я ничего не могла говорить, кроме «и». Ни «а», ни «о» – только «и». И тогда я поняла, что это, наверное, какой-нибудь Иван, которого у меня еще никогда не было».

Бальмонт, молниеносно: – «Конечно: Иван-Царевич!»

* * *

В двух словах об этом нашем с Алей визите к Бальмонту. В маленькой тесной кухне Бальмонт – «как царь под пледом» (выражение Нади), Анна Николаевна, Т<атьяна> Алексеевна, Мирра, Аля, я. У плиты – обезумев от жары и от того, что все сразу вскипело (знакомая трагедия!), Елена. В доме, очевидно, до сегодняшнего дня ничего не было, а теперь вдруг все стало: пекут блины, варят картошку, варят кашу, варят суп из телятины. И угощают, угощают, угощают. Бальмонт ест восторженно, Аля – истово. Мирра – причудливо. Я, случайно совершенно сытая, присутствую у стола в шубе, пью только кофе, любуясь классицизмом всей этой сцены.

Бальмонт восклицает: «Ах, я бы с таким удовольствием съел всю эту телятину один! И никому бы не дал».

И смеется, п<отому> ч<то>, как я, понимает классицизм, для Москвы 1919 года, этого возгласа.

– «Нюшенька, вы наслаждаетесь?»

– «Я знала, что вы меня спросите!»

Мирра влюбленно заботится об Але, кормит ее со своей тарелки, все наперерыв уговаривают меня есть. А я, счастливая тем, что так чистосердечно ничего не хочу, что все нас тут так любят, что всем нам сейчас так хорошо, а завтра будет так плохо – курю папиросу за папиросой, не зная, что это – дым ли я выделяю или вдохновение.

* * *

Буржуазии для очистки снега запретили пользоваться лошадиными силами. Тогда буржуазия, недолго думая, наняла себе верблюда.

И верблюд возил. И солдаты сочувственно смеялись: «Молодцы! Ловко обошли декрет!»

(Собств<енными> глазами видела на Арбате).

* * *

Аля – Канун Весны – о З<авад>ском: «Марина! У меня часто впечатление, что он не ушел, а исчез».

* * *

– «Марина! Вы сон – который снится всем».

– «Марина! Я видела сон весь из линеек и славянских букв, – целая наша кухня – огромные листы. Но нигде не было написано: Марина, мама, а везде: Женщина, Женщина».

* * *

– «Марина! Есть вещи, которые кажутся очень, очень трудными. А найти такие слова – и совсем просто».

* * *

– «В каждом человеке эта нитка тоски»…

* * *

9-го марта *1919 г.*

Я: – *«Аля! Что делают* старухи в богадельне?» – Аля, не задумываясь: «Прядут Судьбу».

* * *

Вчера, возвращаясь домой по Арбату, было так черно, что мне казалось: я иду по звездам.

* * *

Я – бродячая собака. Я в каждую секунду своей жизни готова идти за каждым.

Мой хозяин – все – и никто.

* * *

Аля, 12-го *марта 1919 г.*

– *«Марина! Мож*ет быть небо все из голубых глаз?»

* * *

– «И снится мне, будто весь пол в моей комнате – совсем круглый, выпуклый. Я точно предчувствовала, что придет ко мне кто-то Великий. Я привела свою комнату в довольно хороший вид, и в эту минуту послышался стук в дверь, и дверь сама открылась. Вошел Спаситель. Я молчала. Он сел на стул и грустно смотрел на меня. Я стояла и не хотела садиться и закрыла лицо руками. Моя комната, как только взошел Спаситель, наполнилась коралловыми крестами, перламутровыми мечами и распятиями. – Сон не прерывается, но я вижу, как Христа ведут на распятие в Терновом венце. (В «Терновом Венце» с большой буквы). Тогда я пошла в свою комнату и достала коралловый крест и перламутровый меч. Я пошла за ним. Он исчез. Но враги Его еще шли, ища его. И я перед собой в окне увидела реку».

* * *

Иду за Алиным обедом. Мороз. Руки без варежек. В левой руке муфта, прижатая к груди. Мне необычайно приятно нести ее так. Узнай этот жест, он у меня в руке. – Ах! Так в XVIII веке держали, входя в гостиную, треуголку.

* * *

14-го марта 1919 г.

Опыт этой зимы: я никому на свете, кроме Али и Сережи (если он жив), не нужна.

В каком году я жила!

Я прекрасно представляю себе, что в один прекрасный день совсем перестану писать стихи. Причин множество:

1) У меня сейчас в них (в писании их) – срочной необходимости (Imperativ'a) <нет>. Могу написать и не

написать, следовательно не пишу.

2) Стихи, как всякое творчество-самоутверждение. Самоутверждение – счастье. Я сейчас бесконечно далека от самоутверждения.

3) Сейчас все летит, и мои тетрадки так бесконечно легко могут полететь. Зачем записывать?

4) Я потеряла руль. Одна волна смывает другую. Пример: стихи об ангелах: «Ангелы слепы и глухи». Что дальше? – Всё!

Хаос. Один образ вытесняет другой, случайность рифмы заводит меня на 1000 верст от того, что я хотела раньше, – уже другие стихи о ними та же история, – уже третьи – и в итоге – чистый лист и мои закрытые – от всего! – глаза.

* * *

5) Что хочу сказать? – Мир. – Мир сам себя скажет.

* * *

Могу писать только по команде. Пример: единственные – за последние 3 месяца – настоящие стихи: Стаховичу.

(Любовный долг).

Спасти меня сейчас может только новая любовь, со всем пафосом самоуничтожения в другом. Но это должен быть человек, к<оторы>й сможет вместить меня, т. е. бездна.

* * *

Я, конечно, кончу самоубийством, ибо вое мое желание любви – желание смерти. Это гораздо сложнее, чем «хочу» и «не хочу».

И может быть я умру не оттого, что здесь плохо, а оттого, что «там хорошо».

* * *

Есть во мне что-то, что вопреки всем моим уверениям, всему моему явному уничтожению в другом и вразрез со всем беспримерным людским тщеславием, заставляет говорить всех, кого я любила:

– «Вы не меня любите. Вы любите что-то другое».

* * *

16-го марта 1919 г.

Странное чувство: в горе я не погружаюсь, горе во мне работает, роет какие-то подземные ходы.

* * *

В конце концов мне придется поверить в бессмертие души!

* * *

Мне, чтобы жить – надо любить, т. е. быть вместе. Значит: или умереть (быть со С<тахови>чем), или любить другого. Князь В<олкон>ский! Вы совсем не знаете, что я Вас уже люблю.

Только одно – ради Бога! – пусть я Вам буду нужна, мне больше ничего не нужно.

* * *

Для памяти: 16-го марта утром, когда таяло, я, любя Стаховича, решила, чтобы не умереть, любить Волконского. Они жили вместе и на нем – каков бы он ни был – должен быть какой-то отблеск Стаховича.

* * *

Моя любовь – это страстное материнство, не имеющее никакого отношения к детям.

* * *

Жесточайший эгоизм: не желать брать. Его у меня нету. Я чаще всего не умею брать, п<отому> ч<то> люди – чаще всего – не умеют давать.

Бывает так, что беру сама, и этим освобождаю и себя и другого.

* * *

Мое требованье – всегда просьба, моя просьба – всегда требованье.

* * *

Не могу – хоть убейте – чтобы человек думал, что мне что-нибудь от него нужно.

Мне каждый нужен, ибо я ненасытна. Но другие, чаще всего, даже не голодны, отсюда это вечно-напряженное внимание: нужна ли я?

* * *

С<тахо>вич умер как раз от того, от чего сейчас так мучусь (хочу умереть) – я: от того, что я никому не нужна.

Никто не поймет бездны, к<отор>ую разверзает во мне это соответствие.

* * *

Чувствую, что не смогу любить В<олкон>ского.

* * *

О биогр<афии> Лозэна: биогр<афию> Лозэна должны были бы писать женщины. Мужчинам он и в гробу не дает покоя.

Только мужчинам может прийти в голову такая бестактность: оправдывать, выгораживать Марию-Антуанэтту в истории с Лозэном.

Для королевы – предлагать свою любовь, такой же восхитительный жест, такая же доблесть, как для нищенки – отвергать миллионы.

Я думаю, что каждый, кто пишет биографию Лозэна, вместо Марии-Антуанэтты подставляет свою невесту – и так пишет.

– Лозэн и Мария-Антуанэтта, – какая прекрасная – в веках – пара! Для меня это лучше, чем Данте и Беатриче.

* * *

Женщины любят не мужчин, а Любовь, мужчины – не Любовь, а женщин. Женщины никогда не изменяют. Мужчины – всегда.

* * *

19-го марта 1919 г.

Три определения: Для других собственная душа наверное также туманна и неопределенна, как для меня, близорукой, моя собственная Поварская, в 2 ч. ночи, когда нет фонарей.

* * *

Ответ человека «не знаю», когда дело касается его собственной души, также поражает меня, как других мое вечное «не вижу» – (близорукость).

* * *

Если бы я каким-нибудь чудом очутилась на секундочку в чужой грудной клетке, я бы, наверное, почувствовала такой же ужас от всей этой путаницы, туманности, неразграниченности чувств и понятий, как другой, если бы взглянул на мир моими близорукими глазами.

* * *

Москва сейчас смотрит на трамваи с недоверием, как на воскресшего Лазаря.

Мне не дано возбуждать в людях жалость. Элементарный пример: иду в 11 ч. дня по Поварской с переполненной кошелкой в руках. – «Цвету, как роза».

(Со вчерашнего дня во рту – ничего, кроме стакана поддельного чая, не было. В кошелке – старые сапоги, которые несу продавать).

* * *

Как одинок человек всю жизнь! В детстве мать, к<отор>ая вечером, когда ее безумнее всего любишь, – уезжает в концерт…

* * *

Пока вся Москва 1919 г. несла снежную повинность, я несла – нежную.

* * *

Иду по Николопесковскому.

– Зайти к Бальмонтам? – И сразу видение самой себя, – смеющейся, курящей, курящей, курящейся, – над стаканом чая, к<отор>ый не пью, потому что без сахара – скучно, а с сахаром – совести не хватает, ибо кусок сахара сейчас 4 р<убля> – и все это знают.

И от этого видения – почти физическая тошнота.

* * *

Мое веселье скорей удивляет, чем очаровывает. – «С чего это она?»

* * *

Дуракам мое веселье подозрительно: смеюсь, как дура, а через секунду – китайская грамота какого-нибудь рассужденья об аристократизме.

* * *

В. Гюго. «Общие места». – Да, если солнце – общее место.

* * *

К маленьким поэтам: Для того, чтобы воспевать японские вазы или край ноготка Вашей возлюбленной – достаточно казаться.

Чтобы говорить о Боге, о солнце, о любви – нужно быть.

* * *

Стиль есть бытие: не мочь иначе.

* * *

21-го марта 1919 *г.*

*Почему я так глубок*о беспомощна во всем, что другим так легко? – найти чей-нибудь дом, взять билет на вокзале, выкроить по готовой выкройке – детскую рубашечку.

Определенная атрофия какой-то части мозга. О, как я издалека чую то, чего не могу, и какой у меня тогда кроткий – от неизбежности – голос!

* * *

Душа у меня – царь, тело – раб.

* * *

Бог, давший мне широкие плечи и крепкие руки, знал, что он делал. Но Бог, давший мне при этом такую душу – определенно не знал.

* * *

Аля: Марина! Когда у нас совсем нечего будет есть – даже гнилой картошки – я сделаю чудо. Я теперь его не делаю, п<отому> ч<то> раз мы едим гнилую картошку – значит, ее можно есть?

* * *

– «Марина, я только представляюсь маленькой девочкой, я только представляюсь, что я труслива, что я ленива, что я не хочу есть.

Я – существо, Марина! Я знаю все вперед – и все назад».

* * *

«Марина! Ведь Вы тоже не простой человек!»

– «Ты думаешь?»

– «Неужели Вы этого до сих пор не знали? Как же Вы можете быть простым человеком, когда у Вас – такая дочь?!»

* * *

Заставить изображение Спасителя портретом Наполеона (глаза, как угли – в золоте киота!). Вот мои 16 лет. (Внучка священника Владимирской губ<ернии>!).

* * *

Я во Франции XX века – бессмысленно. Все мои партнеры (указывая на небо или в землю): – там.

* * *

Революция в Венгрии: Будапешт. Демонстрация кельнеров с цыганским оркестром.

* * *

Благовещенье 1919 г.

У телефона: – Я слушаю. Муж<ской> голос: – Попросите, пожалуйста, Марину Ивановну. – Это я. – Ах, это Вы, Марина Ивановна? Я не узнал Вашего голоса. Говорит К. В. К<авдаур>ов. – Здравствуйте, К<онстантин> В<асильевич>. – М<арина> И<вановна>, я получил известие из Крыма и должен Вам сказать, что Сережа… – Убит, – мысленно подсказываю я. – Жив и здоров и просил Вам кланяться.

* * *

Минут пять спустя начинаю плакать. – Точное чувство до краев переполненных глаз, – слезы еще не текут. Колени дрожат. Чувство легкой физической тошноты.

* * *

Благовещенье! Благая весть! Недаром это мой любимый праздник! Я ровно 6 мес<яцев> ничего не знала о Сереже!

* * *

У меня есть судьба. Поэтому – быть может – я так – дотла – лишена честолюбия.

Вижу ее ясно, как на географической карте. Если бы я была на острове, у меня тоже была бы судьба.

* * *

Я в любви: Гибкость до последнего предела, и – в последнюю минуту – отпор. (Гордыня).

* * *

З<авад>скнй: – «М<арина> И<вановна>, я хочу прийти к Вам. Можно?»

Я: – «Нельзя. У меня дверь заперлась и не открывается».

А<нтоколь>ский: – «А помните, что Вы говорили про красоту? Помните: красота – отмычка».

З<авад>ский, деловито: – Нужно будет прийти.

* * *

Два несчастных счастья:

1) Несчастье для души и счастье для тела: – Брать в долг. 2) Счастье для души и несчастье для тела: – Отдавать долг.

* * *

Аля, ночью: —…и небо было, как черный пурпур.

* * *

Апрель. Трагическая Вербная Суббота. Потеряла (в воду канули!) 500 р<ублей>. Спрятала – вместо них – две ложечки сахара в конверте. – 500 руб<лей>! 50 ф<унто>в картофеля –

или почти башмаки – или калоши +20 ф<унтов> картофеля – или…

Потеряла за три дня 1) старинную овальную флорентийскую брошку (сожгла), 2) башмаки (сожгла), 3) ключ от комнаты, 4) ключ от книжного шкафа, 5) 500 р<ублей>.

О, это настоящее горе, настоящая тоска! Но горе – тупое, как молоток бьющее по голове.

Я одну секунду было совершенно серьезно – с надеждой – поглядела на крюк в столовой.

– Как просто! –

Я испытывала самый настоящий соблазн.

* * *

У некоторых людей тело более духовно, чем у других душа (Аля, Сережа).

* * *

Аля, слушая «Пара гнедых»: – «Марина! Стыдно генералу засыпать на груди у молодой блудницы. Лучше бы сражаться в бою».

* * *

История с Волконским

«К<нязь> Волконский! Я пишу слово К<нязь> и чувствую себя в восторге» – вот начало моего письма к В<олкон>скому. Дальше ласковый и веселый рассказ о том, как я уже однажды стояла у ворот с письмом, но встретила М<чеде>лова и ушла с ним по мартовским московским лужам 1919 года, так и не узнав про старинную Англию. (Повод к моему письму. Что это просто любовь – я написать не решилась!) – Еще такая фраза: «Я Вас никогда не видала и ничего о Вас не знаю, кроме того 1) что Вы были на острове Мадере, 2) влюблены в родительный падеж, 3) только что выздоровели от сыпного тифа. – Три разных источника». – Дальше извинение за то, что я, будучи незнакома, пишу, и надежда, что он не сочтет это за невоспитанность. Еще пожелание выздоровления. И привет. И все. – Письмо на мой, и на моей породы людей – взгляд: простое, доверчивое, ласковое, очаровательное, на средний взгляд: странное. Можно, дурно

относясь ко мне, назвать его экстравагантным. «Так незнакомым людям не пишут».

Экзаменуя себя строго: письмо вольное, но не фамильярное. Мне даже унизительно писать это слово.

И вот, на другой день, в воскресенье, – звонок по телефону.

– Мне нужно такую-то.

– Я.

– Говорит Волконский. Вы ко мне писали. Я ничего не понял из Вашего письма. Что Вам от меня нужно?

– Не поняли почерка или содержания?

– Содержания.

– Я просила Вас дать мне некоторые сведения о старинной Англии.

– Я старый человек и считаю такие шутки неуместными. («Я пишу слово К<нязь> и в восторге»). Это наглость!

– Вы меня не поняли.

– И как старый человек считаю долгом сказать Вам, что незнакомым людям не пишут. Это невоспитанность.

– Я очень жалею, что…

– Я был в Англии 25 лет назад, три дня. Какая наглость!

– Если Вы так сердитесь, то лучше давайте прекратим разговор.

– Я не сержусь, но должен Вам сказать, что это нахальство. И советую Вам в другой раз так не шутить, п<отому> ч<то> такие шутки могут очень плохо кончиться. – Это неслыханно!

– Мне остается только пожалеть, что Вы меня не поняли. Опускаю трубку. Все время говорила нежнейшим голосом, очень спокойно. Он лаял.

На глазах слезы и чувство, что посреди лица – плевок.

* * *

В течение недели я всем рассказывала эту историю. Защищали меня:

Мчеделов, его собственная племянница Сонечка Голлидэй. У него на все была одна реплика: «Она издевалась». М<чеде>лов после разговора с ним сказал: «Дурак».

А Бальмонт, к<оторо>му я рассказала всю эту историю, спокойно сказал: «Так говорить с женщиной? Это орангутанг».

Но что бы ни говорили все мои друзья, у меня все-таки – когда я вспоминаю этот разговор – чувство, что я незаслуженно и безвозвратно оплевана.

* * *

Страстной Четверг: «– Ах, Аля, – грустно! – Повеситься? – Нет, Марина. (Пауза). Повеситься – на Жизнь!»

* * *

(На улице): – «Марина! Эта женщина думает только о роскошестве. Она беззаботна. Она бессмысленна».

* * *

Бальмонт и солдаты у автомобиля.

Б<альмон>т ночью проходит по какому-то из арбатских переулков. Сломанный автомобиль. Вокруг – трое солдат.

– Повинуясь какому-то внутреннему голосу, перехожу было на другую сторону, но в последнюю минуту – конечно – остаюсь. И в ту же секунду один из них: «Эй, поп!» Тогда я подхожу к ним вплоть. – «Я действительно священник и скажу вам следующее: – ты (указывая на одного) скоро умрешь от сыпного тифа, тебя (указываю на другого) – повесят, а ты уцелеешь, тебе ничего не будет».

– Почему же Вы пощадили третьего?

– Чтобы он помешал двум первым разорвать меня.

(Все это с бальмонтовской четкостью, быстротой, экспрессией).

* * *

Разговор с В. Алексеевым: Я: – «Володечка, Вы читали эти надписи: «Митинг Искусств».

Он, спокойно: – «Да, это нечто вроде «Кадрили литературы». (Бесы).

Аля: – «Марина! Мне кажется, когда мы говорим, люди нас не понимают, – как зверей».

* * *

Страстная суббота: Аля, глядя на освещенную церковь Бориса и Глеба: «Марина! Тайная радость церквей».

* * *

– «Марина! Я хочу играть в театре не для того, чтобы на меня смотрел народ, а для того, чтобы увидать себя в чуждом».

* * *

Диалог: Я: «Ах, Аля, как я хотела бы сейчас фунт масла!» Аля: «Ах, Марина, как я бы хотела сейчас, чтобы была хорошая погода!»

– «Марина! Я не люблю слово „фраза“, это вроде „актриса“!»

* * *

– «Марина! Мне кажется, что я должна это держать шелковыми руками!»

(Держа в руках Лермонтова).

* * *

«Я не терплю – счастья!»

* * *

– «Как мне горько, что я дитя! Мне почему-то жалко и чуть-чуть восторженно. Но я бы ничего не хотела, кроме детства. Я не хочу 11-ти и 12-ти лет».

* * *

Глядя в окно. Чудная погода. Солнце. – «Хорошо в такую погоду быть нищим».

«Марина! Как Вы думаете, что такое храбрость?» Когда человек боится и все-таки идет. «Значит: темная ночь со звездами».

* * *

Целуя луч: – «Луч наконец получил то, за чем лился в комнату».

* * *

Вчера я видела Стеньку Разина на Лобном месте. Впечатление случайной талантливости (так рука пошла) – как кустарные игрушки в детские рисунки. Лицо хитрое, узкое, ярко блещущие черные глаза. По обеим сторонам – болваны: огромные каторжные головы, вырастающие из дерева: там три, здесь четыре. Ватага. По левую сторону от Разина – в ногах – персияночка: балерина из кордебалета с огромным декольте и юбочкой до колен. Похоже еще на сахарную куклу. Между фигурами Разина и персияночки никакой связи, ни внешней, ни внутренней.

* * *

21-го апреля, день Егория Храброго.

– «Марина! Мне кажется, что на дне каждого колодца непременно должно быть что-нибудь синее».

* * *

На могиле у Стаховича:

Аля, восторженно: – «Мама! что я нашла! Оно не целое, – только кусочек, но все равно я положу его на могилу!»

В руках – яичная скорлупа. Сама того не зная, повторяет какой-то древний обряд, когда на могилу приносили яйца.

* * *

<Лето 1919>

Я стала писать пьесы – это пришло как неизбежность, – просто голос перерос стихи, слишком много воздуху в груди стало для флейты…

Пишу, действительно, себя не щадя, не помня.

<Май 1920>

Перечитываю сейчас «Quatre-vingt-treize»[138]. Великолепно.

Утомительно. Сплошное напряжение. Титаническое, как весь Hugo. Это перо стихии выбрали глашатаем. Сплошные вершины. Каждая строка – формула. Все мироздание. Все законы – божеские и человеческие. Безошибочность утомляет. Есть тончайшие разницы:

Он думал, что он непогрешим,

Он был – только безошибочен.

Из каждой страницы бы вышла книга. Пристрастие к очертанию (архитектурность, может быть).

Да. – Нет. – Черное. – Белое. – Добродетель. – Порок. – Моряк. – Воин. – Девушка. – Старик. – Дитя. – Роялист. – Республиканец.

Великолепие общих мест. Мир точно только что создан. Каждый грех – первый. Роза всегда благоухает. Нищий – совсем нищий. Девушка – всегда невинна. Старик – всегда мудр. В кабаке – всегда пьянствуют. Собака не может не умереть на могиле хозяина.

Таков Hugo. Никаких неожиданностей.

Hugo видит в мире только правильное, совершенное, до крайности выявленное, но не индивидуально-выявленное…

…Жизнь всегда перехитрит Творца.

Жизнь всегда перехитрит Hugo.

Никто так не видал общего в отдельном, закона – в случайном, единого – во всем.

Мать – Колокольня – Океан – Полицейский – все в порядке вещей и в таком Порядке, что даже я не восстаю!

Но почему: такое отсутствие во мне тяготения к Hugo-человеку? – Все равно, что ел, что пил, как одевался, кого любил…

Творец исчез за творением.

<Июнь 1920>

Скульптор зависит от мрамора, резца и т. д.

Художник – от холста, красок, кисти – хотя бы белой стены и куска угля!

Музыкант – от струн…

Скульптор может ваять незримые статуи – от этого их другие не увидят.

Художник может писать невидимые картины – кто их увидит, кроме него?

Музыкант может играть на гладильной доске – но как узнать: Бетховена или Коробушку?

У ваятеля может остановиться рука (резец).

У художника может остановиться рука (кисть).

У музыканта может остановиться рука (смычок).

У поэта может остановиться только сердце.

Кроме того: поэт видит неизваянную статую, ненаписанную картину, слышит неигранную музыку.

* * *

После вечера у <…> [139]

28-го *русск<ого> ноября 1920 г.*

То, что я чувствую сейчас – жизнь, т. е. – живая боль. И то, что я чувствовала два часа назад, на Арбате, когда Вы – так неожиданно для меня, что я не сразу поняла! – сказали: – «А знаете, куда мы поедем после Москвы?» И описание Гренобля – нежный воздух Дофин: недалеко от Ниццы – библиотека – монастырь – давно мечтали.

Дружочек, это было невеликодушно! Лежачего – а кто так кротко лежит, как я! – не бьют.

Понимали ли Вы, что делали – или нет?

Если нет, так расскажу: рядом с Вами идет живой человек, уничтоженный в Вас, – женщина – (второе место, но участвует) – и Вы, в спокойном повествовательном тоне вводите ее в свою будущую Жизнь – о, какую стойкую и крепкую! – где ей нет места, где и тень ее не проляжет.

А если нарочно (убеждена, что нечаянно!) – это дурной поступок, ибо я безропотна. Вы – для меня растравление каждого часа, у меня минуты спокойной нет. Вот сегодня радовалась валенкам, но – глупо! – раз Вы им не завидуете.

– Хороша укротительница?

Мне кажется, я могла бы так жить – месяцы!

Только бы знать, что Вы в Москве, ходите по тем же улицам – счастливы! – Я так сильно в Вас, что как-то могла бы – без Вас, – только знать бы, что Вы изредка обо мне думаете и что однажды, подумав сильней, придете.

Но довольно об этом! (Как страшно, что вот строки, пронизанные ужасом разлуки. Вы уже будете читать по совершении ее, – как страшно для меня!)

– Халат устроен, старуха уломана. – Молодец я?! Но я так просила, у меня был такой убедительный голос, что и каменная баба не отказала бы!

Так – клянусь Богом – умирающий просит воды.

Ваш халат будет шиться в подвале – аристократическими руками – вата с моей шубы – подкладка с моего платья – сам он,

халат – из Туркестана, украден в прошлом году моими руками в одном доме, где со мной плохо обращались.

– Родословная! –

<О С. М. Волконском>

<1921 год>

Вы сделали доброе дело: показали мне человека на высокий лад…

Немудрено в Дневнике Гонкуров дать живых Гонкуров, в Исповеди Руссо – живого Руссо, но ведь Вы даете себя – вопреки… О искус всего обратного мне! Искус преграды (барьера). Раскрываю книгу: Театр (чужд). Танец (обхожусь без – и как!), Балет (условно – люблю, и как раз Вы – не любите)… Но книгу, которую я от Вас хочу, – Вы ее не напишете. Ее мог бы написать только кто-нибудь из Ваших учеников, при котором Вы бы думали вслух. Гёте бы сам не написал Эккермана…

Ведь это тот самый Волконский, внук того Волконского, и сразу 1821–1921 гг. – и холод вдоль всего хребта: судьба деда – судьба внука:

Рок, тяготеющий над Родом…

Когда князь занимается винными подвалами и лошадьми – прекрасно, ибо освящено традицией, если бы князь просто стал за прилавок – прекрасно меньше, но зато более радостно… но – художественное творчество, то есть второе (нет, первое!) величие, второе княжество…

Его жизнь, как я ее вижу, – да, впрочем, его же слово о себе: «История моей жизни? Да мне искренно кажется, что у меня ее совсем не было, что она только начинается – начнется, – Вы любите свое детство? – Не очень. Я вообще каждый свой день люблю больше предыдущего… Не знаю, когда это кончится… Этим, должно быть, объясняется моя молодость».

* * *

Учитель чего? – Жизни. Прекрасный бы учитель, если бы ему нужны были ученики. Вернее: читает систему Волконского («хонского», как он произносит, уясняя Волхонку) – когда мог читать – Жизнь!

* * *

«С<ергей> М<ихайлович>! Ваш отец застал Февральскую революцию?» – «Нет, только Государственную Думу. (Пауза). Но с меня и этого было достаточно!»

* * *

30 августа 1921 г.

Смерть Блока. Еще ничего не понимаю и долго не буду понимать. Думаю: смерти никто не понимает…

Удивительно не то, что он умер, а то, что он жил. Мало земных примет, мало платья. Он как-то сразу стал ликом, заживо-посмертным (в нашей любви). Ничего не оборвалось, – отделилось. Весь он – такое явное торжество духа, такой – воочию – дух, что удивительно, как жизнь – вообще – допустила…

Смерть Блока я чувствую как вознесение.

Человеческую боль свою глотаю. Для него она кончена, не будем и мы думать о ней (отождествлять его с ней). Не хочу его в гробу, хочу его в зорях.

* * *

1921 год

Не потому сейчас нет Данте, Ариоста, Гёте, что дар словесный меньше – нет: есть мастера слова – бóльшие. Не те были мастера дела, те жили свою жизнь, а эти жизнью сделали писание стихов. Оттого та́к – над всеми – Блок. Больше, чем поэт: человек.

* * *

О Боже ты мой, как объяснить, что поэт – прежде всего – СТРОЙ ДУШИ!

* * *

Встреча с поэтом (книгой) для меня благодать, ниспосланная свыше. Иначе не читаю.

* * *

Мое непревозмогаемое отвращение к некоторым своим стихам – прекрасным, знаю, но из мутных источников. Будущим до этого не будет дела, а мне дело – только до будущих.

* * *

Не надо работать над стихами, надо, чтобы стих над тобой (в тебе!) работал.

1921 год

Чего искала Марина Мнишек?.. Власти несомненно, но – какой? Законной или незаконной? Если первой – она героиня по недоразумению, недостойна своей сказочной судьбы. При мне бы ей родиться какой-нибудь кронпринцессой или боярышней и просто выйти замуж за какого-нибудь русского царя. С грустью думаю, что искала она первой, но если бы я писала ее историю…

…то написала бы себя, то есть не честолюбицу и не любовницу: себя – любящую и себя – мать. А скорее всего: себя поэта.

* * *

1921 год

Всё раньше всех: Революцией увлекалась 13-ти лет, Бальмонту подражала 14-ти лет, – и теперь, 29-ти лет… окончательно распростилась с молодостью.

* * *

Для меня стихи – дом, «хочу домой» с чужого праздника… Желая польстить царю, мы отмечаем человеческое в нем – дарование, свойство характера, удачное слово, то есть духовное, то есть наше.

Желая польстить нам, цари хвалят: чашку, из которой мы их угощаем, копеечного петуха в руках нашего ребенка, то есть вещественное, то есть их, то, чем они так сверх-богаты… Каждый до неба превозносит в другом – свое, данное тому в размерах булавочной головки.

* * *

Театр не благоприятен для Поэта, и Поэт не благоприятен для Театра. Памятуя это слово этого поэта из поэтов – Гейне – ни одной секунды не прельщена лицезрением своего Казановы на сцене.

Если же это бы, паче чаяния, случилось, умоляю гг. актера и актрису помнить о том, что Казанова уже действительно расстался, а Франциска еще действительно не рассталась со своей последней куклой.

* * *

Есть особая порода снов, я бы сказала – максимум дозволенной во сне – жизни… Не сон о человеке, а сам он… От сна – только закрытые глаза. Есть и другое – отвесный полет вниз (непрерывность падения). Падаешь – и не кончаешь, и знаешь, что не кончишь, не доупадешь – и поселяешься в падении… Особенность и отличие: мне не снится, что я лечу: я – лечу! Сон – предлог, я бы сказала – законный предлог, не больше… Я не сновидящий, у меня – зоркий сон. И сны так вижу – всеми пятью чувствами.

1923 год

*Магдалина, когда раскаялась, бы*ла хороша и молода. Когда мы говорим: Магдалина, мы видим ее рыжие волосы над молодыми слезами. Старость и плачет скупо.

Мария Магдалина принесла Христу в дар свою молодость, – женскую молодость, со всем, что в ней бьющегося, льющегося, рвущегося.

1923 г.

*Ве*сну этого года я увидела черной, в темноте, скорей услышала, чем увидела, – в шуме разливающегося ключа, поздно вечером, когда уже ничего не видно… Шум надувающихся и проносящихся ручьев. – Этого слова я искала вчера, проходя темным вечером по деревне. Черный остов церкви, запах березового лыка (размоченных ливнями плетней), под ногами вязь, грязь, – и справа и слева, вдогон и в обгон – шум надувающихся, торопящихся, проносящихся ручьев…

Февраль *1923 г.*

*Хочу написать ОК*НО (за кисеей)… Окно: синь. Просвет в горе. Раскрываю окно: гора. Или облако?

1924 год

Бессмысленно повторять (давать вторично) – вещь, уже сущую. Описывать мост, на котором стоишь. Сам стань мостом, или пусть мост станет тобою – отождествись или отождестви. Всегда – иноскажи.

1924 г.

Мой сон – не отдых, а действие, действо, которого я – и зритель, и участник…

Октябрь 1924 г.

Проза Бориса Пастернака утомительна. Есть два рода утомления: то, которое вы испытываете после целого тома мелких рассказов Чехова (или Джерома, или Аверченки, – Твена, пожалуй, нет) или от полуторачасового пребывания с человеком, который вас занимал или которого вы занимали, – и утомление от непрерывной формулы.

От пустоты и от полноты.

Первое утомление – утомление растраты (без восполнения), бездеятельности, безучастности, бесплодия. Вас обокрали и ошельмовали. Вы смеялись – и ничего не осталось.

Утомление второго рода – утомление от непрерывности прихода: так рыбаки устают в удачные дни. С вас на протяжении какого-то срока непрерывно требовали – всего вас. Утомление сообщничества – сподвижничества – соперничества. Вы – лицо действующее. От вас все зависит (весь улов).

Утомление сложенных рук (даже «tourner les pouces»[140]) и напряженных мускулов.

После первого (чтения Чехова напр<имер – гору сбросил, к<отор>ую на тебя навалили, море изверг (чужой пустоты) – к<отор>ое в тебя влили.

После второго – гору сдвинул, море осушил.

Первое – истощает, второе – обогащает.

* * *

И еще: обратность процессов и следствий. Читая Чехова или беседуя с знакомым, вы (именно вы, я от Чехова томилась с детства) и не подозреваете о своей усталости. Только когда захлопнули книгу или дверь за выходящим – вы изумленно восклицаете: – Боже, до чего я устал!

(Чтение Чехова – вязание в воздухе, без результата – восполнения – связанной полосы). Напряжение растраты неосознанно, и утомление подкрадывается яко тать в нощи. Процесс растраты – усладителен, завершение его –

опустошительно. Душа точно мстит за то, что человек часами мог обходиться без нее. (Расплата за каждое развлечение: расплата за растрату на ничтожное). И – о странность! – выпитое море превращается в ощущение: выпит! (в твою собственную выпитость). Полная параллель и даже тождество с опьянением алкоголем.

С прозой Пастернака (как всякого большого мастера, – нет. Чехов тоже был мастер! – как всякого большого духа) – обратное.

Читал – точно об стену бился, чуть ли не булыжник на мостовой колол, кончил – огромный прилив силы. Отданное – вернулось. Так Пастернак чувствует – закончив Урал.

Посему книги Пастернака (м<ожет> б<ыть> самого дионисического из моих современников) никогда не сравню с вином, а прозу Чехова или иных бытовиков, – именно с вином, с развратом вина, сравню.

Вдохновение.

Есть священный инстинкт – и в этом меня подтвердит каждый пишущий – оберегающий нас от доверия к слишком легко давшемуся. Стихотворение, написанное в 10 мин<ут>, всегда подозрительно.

Тот же священный инстинкт оберегает и настоящего читателя от доверия к слишком легко в него льющемуся.

Радость добычи – почему это торжество мужского сознания не распространяется и на книгу (душу другого), ограничивается областью дел (чаще «дел») и любви?! Все в мире сем надо завоевывать – т. е. за все платить собой – друга как женщину и книгу как друга. Готового нет. Есть, но неизбежно второй и третий сорт.

Богов из глыбы высекают и несколько веков спустя тем же усилием мышц из земли выкапывают.

Б<орис> П<астернак> поэт, как прозаик, прежде всего нуждается в сподвижничестве. Рука, ищущая встречной (а скорей даже – «coup de main»![141] 1933 г.). За непосильное берусь – помоги же! Сезам, откройся, чтобы я со всеми своими сокровищами – за твоими сокровищами в тебя вошел.

Б<орис> П<астернак> осуществлен только в настоящем читателе, т. е. Б<орис> П<астернак> один – умысел, Б<орис> П<астернак> + идеальный читатель – умысел + действие, т. е. полный поступок: свершение. Б<орис> П<астернак> свершается не в напечатанном количестве страниц, как Бунин напр<имер>, хотящий только одного: любуйся! – Б<орис> П<астернак> свершается только в читателе. Он не данное, а даваемое. Не сотворенное, а творимое: рождаемое. Весь он – самый акт дачи.

И в силу именно этой необходимости в сотворчестве, этой полной своей зависимости от другого, он так единственен, уединен и одинок.

* * *

«Чувствуй» (воспринимай) и «любуйся» – вот с чем идут к читателю писатели типа Бунина. – «Я сделал, а ты посмотри», «дал, а ты возьми», «страдал, а ты поразвлекись». Писатели типа Бунина хотят зрителя, писатели породы Пастернака хотят – писателя, второго себя.

«Работай», говорит Б<орис> П<астернак>, – «я бился – побейся и ты». (Я – над материалом, ты – надо мной, к<отор>ый для тебя тот же материал, первоисточник: природа). Это – шахтер, в походе за золотом, а не рантье, нам это золото, на своих литературных приемах, в виде устриц, орхидей и чего еще? – расточающий.

Б<орис> П<астернак> нам дает, нет, Б<орис> П<астернак> нас приводит на прииски. – Добывай.

Б<орис> П<астернак) – наше местознание. Добыча – наша.

Но насколько несравненно больше доверия и любви в этом «бейся», чем в олимпийском «любуйся» Бунина. Б<орис> П<астернак> с нами последним – своей трудовой жилой делится – не ценнее ли банкирского «золотого дна».

Б<орис> П<астернак> – наша трудовая, следовательно – золотая жила.

(Пишу Б<орис> П<астернак> и все время думаю о Втором Фаусте Гёте).

Творчество Б<ориса> П < астернака > – огромная лаборатория (алхимика). (NB! связать с тем золотом. Пожалуй, образ еще верней, ибо здесь больше добыванья и – не забыть! – так Бертольд Шварц изобрел порох). Это прежде всего материал, черновик. Есть поэты «без черновиков» – сразу набело – имя их легион и цена им грош. Есть поэты – сплошные черновики. Гёльдерлин, напр<имер>, с четырьмя вариантами одного и того же стихотворения (абсолют, очевидно, им найден на небесах!).

Есть два рода поэтов: парнасцы и – хочется сказать – везувцы (-ийцы? нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем. (NB! Взрыв – из всех явлений природы – менее всего неожиданность). Насколько такие взрывы нужны? В природе (а искусство – не иное), к счастью, вопросы не существуют, только ответы.

Б<орис> П<астернак> взрывается сокровищами.

16-го июня 1925 г.

у зубн<ого> врача

Потому что считали, что слишком мало – люди не давали мне НИЧЕГО.

Поэтому, должно быть, Б<орис> П<астернак> не посвятит мне ни одного стихо<творения>.

* * *

Боль. Даль.

* * *

Льзя.

* * *

<1926 год>

*Тайна смерти Есенин*а… У этой смерти нет тайны. Она пуста. Умер от чего? Ни от чего: от ничего. Смерть Есенина равна жесту петли на шее. Есенин весь как на ладошке, и жизнь, и смерть. И лицо, и стихи. <…> Пустота иногда полна звуками. Вот Есенин.

7 февраля 1927 г.

Мечта о Прогулке в горах – сначала Савойи (купить путеводитель), потом – оказывается – того света. Он водит. Мечта о другой прогулке – здесь (выбрать место!) – я вожу. Оставить до лета, до годовщины его первого письма ко мне, ставя на воскрешающей силе сроков (NB! Додумать).

1928 год

*Любовь без ревности есть любовь вн*е пола. Есть ли такая? 1) без ревности 2) вне пола. Есть любовь с невозможностью ревности, т. е. любовь несравненного, вне сравнения стоящего. Та́к, может ли Гёте ревновать любимую – к любому? (Ревность – ведь это некий низший заговор равных. Своего рода – братство. Одну дрянь променяла на другую дрянь).

В ревности ведь элемент – признания соперника, хотя бы – права его на существование. Нельзя ревновать к тому, чего вообще не должно быть, к тому, которого вообще – нет. (А

Пушкин – Дантес)? Нельзя ревновать к пустому месту (néant).

В ревности есть элемент равенства: ревность есть равенство. Нельзя ревновать к заведомо-низшему, соревноваться с заведомо-слабейшим тебя, здесь уже ревность замещается презрением.

Позвольте, но есть разные планы превосходства (соревнования). Бетховен превосходил любого – сущностью, но любой превосходил Бетховена – красотой. Гёте (80-ти лет) превосходил любого гением (и красотой!), но любой превосходил его молодостью.

Ревность от высшего к низшему (Бетховена – к Иксу, Гёте – к Игреку, Пушкина – к Дантесу) не есть ревность лица к лицу, а лица – к стихии, т. е. к красоте, молодости, скажем вежливо – шарму, которые есть – стихия (слепая).

К лицу ревновать не будешь, сам полюбишь! Гёте не может ревновать к Бетховену – вздор! Либо: не та ревность, боль – иного качества: боль – восторг, за которую – благодарность.

Но ревность Гёте к помощнику садовника, на к<оторого> загляделась его <·..>[142] (я такого случая не знаю: наверное – был) – есть именно ревность в ее безысходности, ревность к стихии – и потому – стихийная.

Только не надо путать стихии – с данным, его «лицо» (не-лицо) удостаивать своей ревности (страдания). Надо знать, что терпишь от легиона: слепого и безымянного.

И чем нулевее соперник – тем полнее ревность: Пушкин – Дантес. (Нулевее – и как круглый нуль, и как последний нуль порядкового числительного: миллионный, ста-миллионный и т. д.).

В лице Дантеса Пушкин ревновал к нелицу. И – нелицом (по́лом – тем самым шармом!) был убит.

Лето 1928 *г.*

…*Был большой спор* о море, я единственная не люблю, то есть имею мужество в этом признаться. «Любить – обязывает. Любить море – обязывает быть рыбаком, матросом, – а лучше всего Байроном (и пловец, и певец!). Лежать возле моря – не значит любить. Любить – знать, любить – мочь, любить – платить по счету. Как я смею сказать, что люблю море, когда не плаваю, не гребу, не – не – не»… Никто не понимал. «Ах, море»…

…Любовь (даже к морю) – прежде всего – делать дело, иначе это тупик, как море для не пловца: меня.

Апр*ель 1930 г.*

– *Маяковский не* только не прислуживался к Революции, а сидел за нее в тюрьме гимназистом 16 лет.

– Поэма Октябрь ничуть не хуже первых вещей.

– Умер вовсе не потому что Революция умерла – а потому что девушка не любила. И умер вовсе не потому что и одна умерла и другая не любила – потому что – как еще Наполеон сказал Гёте о Вертере – от двух вещей не умирают (Вертер: любовь и расстроенные дела), всегда – от одной. (Иногда – от всего, но это тоже – от одного). Народное: двум смертям не бывать относится не только к смерти, а к причине смерти. Так, например. Блок умер не от подагры + астмы + еще чего-то, а – от тоски. Которая – одна. Всегда – одна!

– Самое обидное, что́ можно сейчас сделать М<аяков>скому (а сделать ему может сейчас – всё – всякий – на к<оторо>го он даже бы не плюнул!) – это сказать, что он умер разочаровавшись в <…>. Он был ей предан вплоть до двух (2-х) тысяч уплченного налогу. Сила этой смерти – в том, что он умер в полной силе, на высоте дара и судьбы.

Поэтому я его не жалею, а на него (за него) – радуюсь.

3-го ию*ня 1931 г.*

Моя судьба – как поэта – в дореволюционной России самовольная, а отчасти не-вольная выключенность из литературного) круга из-за раннего замужества с не-литератором (NB! редкий случай), раннего и страстного материнства, а главное – из-за рожденного отвращения ко всякой кружковщине. Встречи с поэтами (Эллисом, Максом Волошиным, О. Мандельштамом, Тихоном Чурилиным) не – поэта, а – человека, и еще больше – женщины: женщины, безумно любящей стихи. Читатель меня не знал, п<отому> ч<то> после двух первых – самонапечатанных, без издательства – детских книг – из-за той же литературной оторванности и собственной особости: ненавидела напр<имер> стихи в журналах – нигде не печаталась. Первые стихи в журнале – в Северных Записках, п<отому> ч<то> очень просили и очень понравились издатели, – в порядке дружбы. Сразу слава среди поэтов. До широкого круга не дошло, п<отому> ч<то> журнал был новый – и скоро кончился. Все скоро кончилось.

Революция. В 1918 г. читаю стихи в Кафе поэтов. Раз выступаю на вечере поэтесс. Успех – неизменный, особенно – Стенька Разин: «И звенят-звенят, звенят-звенят запястья: – Затонуло ты – Степанове – счастье!»

Перед отъездом из Р<оссии> выпускаю у Архипова (был такой!) маленькую книжечку «Версты» (сборничек) и Госиздат берет у меня Царь-Девицу и другие «Версты», большие.

* * *

Заграница.

В 1922 г. в Берлине, еще до меня, появляются книжки (собственно, отрывки из Ремесла) – Стихи к Блоку и Разлука.

Приехав, издаю Ремесло (стихи за 1921 г. по апрель 1922 г., т. е. отъезд из Р<оссии, Царь-Девицу – с чудовищными опечатками и Психею (сборник, по примете романтики), купленную Гржебиным еще в Р<оссии>. Потом, в Праге, в 1925 г. – Мóлодца. Потом, в Париже – каж<ется> в 1927 г. – После России (за к<отор>ую не получаю ни копейки).

Читателя в эмигр<ации> нет. Есть – на лучший конец – сто любящих. (NB! Гораздо больше, но 1) я их не знаю и не вижу 2) они – хоть тысячи! – для меня ничего не могут, п<отому> ч<то> у читателя в эмиграции нет голоса. Для полной справедливости скажу, что на мои рядовые вечера – именно на вечера – чтения: без всяких соблазнов! выхожу и читаю – годы подряд приходили все те же – приблизительно) 80-100 человек. Я свой зал знала в лицо. Иные из этих лиц, от времени до времени исчезали: умирали. 1938 г. Ванв.).

Моя внешняя литер<атурная> неудача – в выключенности из литер<атурного> круга, в отсутствии рядом человека, к<отор>ый бы занялся моими делами.

Внутренняя – нет, тоже внешняя! – ибо внутренние у меня были только удачи – в несвоевременности моего явления – чтó бы на двадцать лет раньше.

Мое время меня как действующую силу – смелó и смелó бы – во всякой стране (кроме одной огромной и нескольких, многих (еще – многих!) маленьких). Я ему не подошла идейно, как и оно мне. «Нам встречи нет, мы в разных странах». Я – в стане уединенных, а оно – пустыня со всё редеющими сторожевыми постами (скоро – просто кустами – с костями). Мало того, оно меня оважило и, естественно, огромчило, мне часто пришлось говорить (орать) на его языке – его голосом, «несвоим голосом», к<оторо>му предпочитаю – собственный, которому – тишину.

Моя неудача в эмиграции – в том, что я не-эмигрант, что я по духу, т. е. по воздуху и по размаху – там, туда, оттуда. А содержания моего она, из-за гомеричности размеров – не узнала. Здесь преуспеет только погашенное и – странно бы ждать иного!

Еще – в полном отсутствии любящих мои стихи, в отсутствии их в моей жизни дней: некому прочесть, некого спросить, не с кем порадоваться. Все (немногие) заняты – другим. В диком творческом одиночестве. Всё auf eigene Faust[143]. От темы вещи до данного слога (говорю именно о слогах). Ненавидя кружки, так

хотела бы – друзей.

В душности моего быта. В задушевности им.

Не знаю, сколько мне еще осталось жить, не знаю, буду ли когда-нибудь еще в России, но знаю, что до последней строки буду писать сильно, что слабых стихов – не дам.

Но знаю еще, что по сравнению с – хотя бы еще чешской захлестнутостью лирикой (1922 г. – 1925 г.) я иссохла, иссякла, – нищая. Но иссыхание, иссякновение – душевное, а не стихотворное. Глубинно-творческое, а не тетрадное.

Знаю еще, что стоит мне только взяться за перо…

Знаю еще, что все реже и реже за него берусь.

(NB! здесь говорю о лирике, т. е. отдельных лирических стихах, которые приходят – и, неосуществленные – уходят… 1938 г.).

Господи, дай мне до последнего вздоха пребыть героем труда:

– Итак, с Богом!

Июль 1931 г.

…Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил бы вечно, со мной бы в 1931 году по лесу гулял. (Я с Пушкиным мысленно, с 16 лет, всегда гуляю, никогда не целуясь, ни разу, ни малейшего соблазна). Это – Пушкин никогда мне не писал «Для берегов отчизны дальней» – но заповедь последнего его письма, последние строки его руки – мне, Борис! – «так нужно писать историю» (русскую историю в рассказах для детей)… Пушкин – негр (черная кровь. Фаэтон!) – самое обратное самоубийству – жизнь!

1931 *г.*

Не хотела бы быть ни Керн, ни Ризнич, ни даже Марией Раевской. Карамзиной. А еще лучше – няней. Ибо никому, никому, никогда – с такой щемящей нежностью:

Подруга дней моих суровых,

Голубка дряхлая моя…

Ведь Пушкин (как вся его порода) любя презирал, дружа – чтил, только Гончарову не презирал (понятие жены!).

1931 г.

Единственный памятник, который следовало бы сбить, – это памятник Николая I, убийцы Пушкина.

Или, щадя работу Клодта, надпись:

«Памятник, воздвигнутый самодержавием убийце Пушкина».

10-го *июля 1931 г.*

Встреча с внучкой Пушкина

Прихожу к Елене Николаевне Арнольд. У нее сидит дама – белобрысая – белорыбица – альбиноска, страшно-постная и скучная. Через несколько минут после моего прихода Е<лена> Н<иколаевна>, со свойственной ей бесцеремонностью, начинает ее – всячески выживать: – А Вам никуда не нужно идти? – М<ожет> б<ыть> Вам уже пора идти? – и так далее, и чем далее – тем грубее. Но дама – сидит, и Е<лена> Н<иколаевна>, когда убеждается, что сидеть – будет, глубоким, громким, даже не актерским, а декламаторским голосом – мне: – А Вы зна-аете, дорогая! кто у меня сидит? Я, робко: – Вы, кажется, сказали Г-жа Розен… Розен… – Розенмайер – что! Розенмайер – ничто. Эта дама – внучка Пушкина. Родная внучка Александра Сергеевича.

И я, ничего не успев: – Дочь – Сашки?!

За 6 лет Парижа я у Е<лены> Н<иколаевны> была в третий раз и ждала встретить у нее старую Т., «на которую» Е<лена> Н<иколаевна> меня и пригласила – и до того ждала, что сначала подивилась ее молодости (Т. – около 80-ти лет) и такой полной белобрысости. (И даже «Розен…» не смутило).

И вместо нее – встречаю внучку Пушкина, бывающую у Е<лены> Н<иколаевны> раз в год и зашедшую случайно.

На вид – 45 лет – самый постный возраст! самый неудобоносимый и-выносимый, самый двусмысленный (сейчас, 1938 г. – мой, когда сам не знаешь – кто ты, на что похож, – впрочем, не сам, а сама, ибо у мужчин этого возраста нету) – итак, на вид 45 лет, но должна быть моложе, если не предполагать, что породила свою Светлану (названную, очевидно, в честь Пушкина, хотя это – Жуковский) 37-ми лет – что́ тоже возможно: всю жизнь собиралась – и разродилась.

О Светлане этой – Светике – говорит захлебываясь, показывает ф<отогра>фию и открытку: тоже белорыбица – в русском костюме, за к<отор>ый где-то, конечно, получила какой-то приз, а пишет – 8 лет – Je tan brase[144]. Учится во французской школе. По-русски не читает и не пишет вовсе – и наверное не говорит. Сейчас – для точности – гостит в Баварии: оттуда анбразирует.

Итак – внучка Пушкина, родная дочь Александра Александровича, генерала, почетного опекуна, бывшего у нас в доме в Трехпрудном, куда ехал мимо дома Гончаровых, с нашим – смежным (наш – д. № 8, шоколадный, со ставнями, с двумя огромными серебряными тополями. Разобран в Рев<олюцию> на дрова), родная дочь пушкинского Сашки – и жена «маленького русского офицера», сидящего в Шарантоне (у Е<лены>

Н<иколаевны> там сидит сын, и знакомство на этой почве).

Белобрысая, белобровая, белоглазая немка, никакая, рыбья, с полным ртом холодного приставшего к нёбу сала (жирно картавит).

– У Вас есть какой-нибудь листок Пушкина?

Она, с удовлетворением и даже горделивой улыбкой:

– Ни-че-го. Папа́ все отдал в Академию наук.

Узнала от нее, что оба пушкинских имения живы (в Револ<юцию> был упорный слух, что Михайловское сгорело) – но сильно запущены. Единственное собственное – не на вопрос – сведение (вставка в наш с Е<леной> Н<иколаевной> разговор) – что Ганнибал был куплен Петром за бутылку рома – сведение, к к<оторо>му уже Пушкин относился юмористически и уцелевшее только благодаря его реплике – насчет ваших предков, приносивших и уносивших царям ночные горшки (посудины).

Читаю Стихи к Пушкину, разрываюсь от волнения – что перед внучкой. Одиноко – разрываюсь, ибо не понимает ничего и не отзывается – никак. (Е<лена> Н<иколаевна>, за всех хвастливая, спешно объявляет ей, что я самая великая и знаменитая поэтесса и т. д. – чего наверное не думает).

И – о Пушкине – всё.

На ком был женат «Сашка», чтобы так дочиста ни одной пушкинской черты? А м<ожет> б<ыть> – слишком поздно женился, когда своих уж – не бывает? Если ей сейчас – 40 лет, то родилась она в 1891 г., Пушкин умер в 1837 г. и Сашке (кажется) было 4 года, знач<ит> родился (ничего нет под рукой) в 1833 г. 1891–1833 = 58 л<ет>. Нет, еще могут быть, у Б<альмон>та и у Александра) И<вановича> Г<учкова> – чудные. Особенно – если пушкинская кровь (неутомимая). Так или иначе: бедная Светлана! Такая мать и шарантонский отец – пожалуй что и Пушкину не одолеть (уже не одолел: 8 лет и: je tan brase. Мур 9-ти лет не делал ни одной ошибки, а учился по-франц<узски> только год).

С увлечением – сладострастным хихиканьем и поддразниванием – говорит о квартире в 3 комнаты в Neuilly, к<отор>ую сняла на три месяца совместно с какой-то француженкой и русскими. – Кто же эти русские – или секрет? – хозяйка, по-настоящему увлеченная, – и для к<отор>ой «внучка Пушкина» не редкость, ибо знает ее – и цену ей (ка́к выгоняла!!) – давно. – Никакого секрета нет и быть не может: все тайное станет явным (кроме тайны твоей наследственности). Имени русских, несмотря на бесстрастнейшие и подробнейшие расспросы хозяйки – не назвала.

Из моих стихов к Пушкину – самых понятных, то, с чего все и повелось: «Бич жандармов, бог студентов – Желчь мужей, услада жен» – не поняла ничего и не отозвалась ничем, ни звуком (даже: гмм)…

Внучка Пушкина – и я, внучка священника села Талиц.

Что же и где же – кровь.

Пушкин, при всем этом, конечно, присутствовал незримо, не мог не – хотя бы из-за юмора положения.

И, несмотря на: ни йоты, ни кровинки пушкинских, несмотря на (наконец, нашла!) рижскую мещанку – судорога благоговейного ужаса в горле, почти слезы, руку поцеловала бы, чувство реликвии – которого у меня нету к Пушкину – но тут два довода и вывода, к<отор>ые, из честности, оставляю оба:

первое:

ибо Пушкин – читаю, думаю, пишу – жив, в настоящем, даже смерть в настоящем, сейчас падает на снег, сейчас просит морошки – и всегда падает – всегда просит – и я его сверстница, я – тогда; она же – живое доказательство, что умер: Пушкин во времени – и неизбежно в прошлом – раз мы (внучки) приблизительно одного возраста

и второе:

ибо Пушкин – все-таки – моя мечта, мое творческое сочувствие, а эта – его живая кровь и жизнь, его вещественное доказательство, его четверть крови…

Из этого (кажется, для обоих – вывод, сейчас спешу, не успею додумать – вывод: насколько жизнь (живое) несравненно сильнее – физически-сильнее, ибо судорога, слезы, мороз по коже, поцелуй руки – физика – самой сильнейшей, самой живейшей мечты, самая убогая очевидность (осязаемость) самого божественного проникновения.

Казалось, не я это говорю, я, всю жизнь прожившая мечтой, не мне бы говорить, но – мое дело на земле – правда, хотя бы против себя и от всей своей жизни.

* * *

10 июля 1931 г.

(Сейчас для меня ясно: волнение другого порядка. Одно – «Для берегов отчизны дальней», другое – Сашкина дочка в комнате. Если последнее волнение сильней, то п<отому> ч<то> физика, вообще, сильней. Зубная боль сильнее (грубее) душевной. Но умирают – от душевной, от зубной – нет.

Сила еще не есть мерило вещи, это только – признак ее. И

даже если от зубной боли пускают пулю в лоб – да, боль сильная, но и она и такая смерть – невысокого порядка).

1933 год

Любопытна судьба этих стихов: от меня – к Борису, о Борисе и мне. Часто, и даже годы спустя, мне приходилось слышать: «Самое замеч<ательное> во всей книге», узнавать, что эти стихи – чьи-то любимые: гвоздь в доску и перст в рану. Оказывается, они большинством были поняты, как о нас (здесь) и тех (там), о нас и России, о нас вне России, без России.

И теперь, перечитывая: все, каждая строка совпадает, особенно:

Разбили нас – как колоду карт!

Строка, за выразительностью, тогда мною оставленная, но с огорчительным сознанием несоответствия образа: двух нельзя разбить как колоду, колода – множество, даже зрительно: карты летят.

Даже мое, самое личное, единоличное:

Который уж, ну – который март? (Месяц того потока стихов к Борису) март – почти что пароль нашего с Б<орисом> заговора – даже этот март оказался общим, всеобщим («Которую весну здесь сидим и сколько еще??»)

Редкий, редчайший случай расширения читателем писательского образа, обобщения, даже увечнения частности.

Ни о какой эмиграции и России, пиша, не думала. Ни секунды. Думала о себе и о Борисе. – И вот. –

1934 год

Мур – 23 февраля 1934 г. (9 л<ет> 23 дня) – 1-ый школьный год: Вот я сегодня глядел на учительницу и думал: – Вот у нее есть какая-то репутация, ее знают в обществе, а мама – ведь хорошо пишет? – а ее никто не знает, п<отому> ч<то> она пишет отвлеченные вещи, а сейчас не такое время, чтобы читали отвлеченные вещи. Так что же делать? Она же не может писать другие вещи.

21 июля 1935 г.

<Мур> (В ответ на мои стихи: Небо – синей знамени. Сосны – пучки пламени…. – Синее знамя? Синих знамен нет. Только у кана́ков пучки пламени? Но ведь сосны – зеленые. Я так не вижу, и никто не видит. У Вас белая горячка: синее знамя, красные сосны, зеленый змей, белый слон. Как? Вы не любите красивой природы? Вы – сумасшедшая! Ведь все любят пальмы, синее море, горностай, белых шлицов. Для кого Вы пишете? Для одной себя,

Вы одна только можете понять, потому что Вы сами это написали!

16-го февраля 1936 г.

У П<астерна>ка только одна забота: зрительная (то есть смысловая) точность эпитета. У меня вся эта забота множится на бессмысленную слуховую точность звука, – смысла знать не знающую (на предначертанность звучания) звучать должно так-то, а значить то-то. И никаких!

* * *

Если бы мне на выбор – никогда не увидать России – или никогда не увидать своих черновых тетрадей (хотя бы этой, с вариантами Ц<арской> Семьи) – не задумываясь, сразу. И ясно – что́.

Россия без меня обойдется, тетради – нет.

Я без России обойдусь, без тетрадей – нет.

Потому что вовсе не: жить и писать, а жить-писать и: писать – жить. Т. е. всё осуществляется и даже живется (понимается <… >) только в тетради. А в жизни – что? В жизни – хозяйство: уборка, стирка, топка, забота. В жизни – функция и отсутствие. К<отор>ое другие наивно принимают за максимальное присутствие, до к<отор>ого моему так же далёко, как моей разговорной (говорят – блестящей) речи – до моей писаной. Если бы я в жизни присутствовала… – Нет такой жизни, которая бы вынесла мое присутствие. Скромный пример: моя попытка присутствия всегда разбивала – не жизни (слава Богу!), это может и каждая мидинетка), а самоё жизнь. – Это не жизнь, а сон какой-то… С Вами не живешь, а паришь! (Или – «горишь») – и эти слова мне говорились иначе, чем мидинетке или актрисе, уже потому что не радостно, а испуганно, восхищенно-устрашенно – и устрашенно побеждало, т. е. человек из орлиных когтей моего восхищения: восхищения – вырывался – или я сама выпускала – и – разбивался? нет, потерев лоб или затылок – разгибался как резиновый. И жил дальше. А я жила – дальше, то есть дальше писала. Это история моей каждой любви.

Май *1936 год*

Мне нечего давать в С<овременные> З<аписки>, потому что все стихи не дописаны: в последнюю секунду уверенность, что можно – или отчаяние, что до́лжно – данную строку (иногда дело в слове) сделать лучше.

1930-е годы

Оставьте меня, потрясения, войны и т. д. У меня свои события: свой дар и своя обида – о, за него, не за себя.

Летопись своей судьбы.

Свое самособытие.

Войны и потрясения станут школьной невнятицей, как те войны, которые учили – мы, а мое – вечно будет петь.

15-го марта 1939 г.

15-го марта 1939 г. – вход в Прагу. В 7 ч. 45 мин. освещается градчанский за́мок, взвивается флаг. Вся Прага – на площади: последний гимн, вся толпа поет и плачет. 16-го – сплошной парад, оркестры военной муз<ыки>, вся Прага залита офицерами. Толпа идет к Памятнику павшим (Monument aux morts) – за независимость Чехии: толпа нашла свою дорогу.

Та́к что мое «Можно ль, чтоб века бич слепоок родину света взял под сапог» – сказанное тогда в сентябре и недосказанное, потому что не знала: где радий? в отобранных или неотобр<анных> областях? – сбылось: вся родина (света) взята под сапог!

8 апреля 1939 г.

Страстная Суббота – 8-го апреля 1939 г. Пастёр. – Вчера сожрали Албанию. Скипер вопил на всех языках: Спасите Албанию! (S. O. S.). Потрясающая телегр<амма> какого-то министра – захватчику: 500 л<ет> назад варварами были – азиаты… У азиатов были руки в нашей крови… <Муссолини?>, пока не поздно… Мы – не сдадимся. Нам честь – дороже жизни. В наш край вы придете по трупам, не только мужчин, но и женщин… – Attention! Tirana parle… Attention![145] Tirana parle… – и безумный (нарочный) треск морса – не незаглушающего. 100000 ит<альянцев> – (иные говор<ят> сорок: всё равно) напали на стр<ану> с милл<ионом> населения. Жена короля Зогу – Джеральдина – бежала с 2-дневным сыном… Нынче, в Страстную Субботу, итальянцы вошли в Тирану и Скутари. Население ушло в горы. Нет пуль – бросают камни. – «Черногорцы, что такое?…» И Тироль. И Кавказ.

9-го мая 1939 г.

Вчера, 8-го мая – Hommage à la Tchekoslovaque[146]. Узнаю в 1 ч. дня. Занимаю деньги, бегу (NB! по плану, ежесекундно сличая) на Bonaparte: 18, Rue Bonaparte – Colonie Tchecoslovaque[147] – где продаются билеты – там билетов уже нет, все остающиеся вернули утром в Trocadéro – вечером, в 8

1/2 ч. вхожу в Trocadéro – везде полиция – потоки дам и господ – билетов нет – ни одного, ни за 10 – ни за 15 – ни за – (все мои чешские стихи).

Идем с Муром домой – Сеной. Мур – утешает. Я – спокойна: так со мной было – всю жизнь.

А пели – чешский гимн. И были – все чехи Парижа. И этого я уже никогда не увижу и не услышу.

Единств<енное> «зрелище» на которое мне – за годы – м<ожет> б<ыть> за всю заграницу (17 л<ет>) страстно захотелось – п<отому> ч<то> не зрелище.

И –

Ну – судьба. (Моя вечная несудьба). Fatalité[148]. Но – c'est dur[149]. МЦ.

1939 год

…Сон 23 апреля 39 г. Иду вверх по узкой тропинке горной – ландшафт св. Елены: слева пропасть, справа отвес скалы. Разойтись негде. Навстречу – сверху лев. Огромный. С огромным даже для льва лицом. Крещу трижды. Лев, ложась на живот, проползает мимо со стороны пропасти. Иду дальше. Навстречу – верблюд – двугорбый. Тоже больше человеческого, верблюжьего роста, необычайной даже для верблюда высоты. Крещу трижды. Верблюд перешагивает (я под сводом: шатра: живота). Иду дальше. Навстречу – лошадь. Она – непременно собьет, ибо летит во весь опор. Крещу трижды. И – лошадь несется по воздуху – надо мной. Любуюсь изяществом воздушного бега.

И – дорога на тот свет. Лежу на спине, лечу ногами вперед – голова отрывается. Подо мной города… сначала крупные, подробные (бег спиралью), потом горстки белых камешков. Горы – заливы – несусь неудержимо; с чувством страшной тоски и окончательного прощания. Точное чувство, что лечу вокруг земного шара, и страстно – и безнадежно! – за него держусь, зная, что очередной круг будет – вселенная: та полная пустота, которой так боялась в жизни: на качелях, в лифте, на море, внутри себя.

Было одно утешение: что ни остановить, ни изменить: роковое. И что хуже не будет. Проснулась с лежащей через грудь рукой «от сердца»…

Да, конечно…

Итак, вчера, 28 апреля, возвращаясь из Printemps[150], где два-три часа сряду видела из всех зеркал свою зеленую образину – в синем (самовязаном) берете и кожан<ом> пальто – на фоне 400 ф<ранков>, 500 ф<ранков> и 995 ф<ранков> robe pausanne[151] с цветочками, и купив в конце концов 5 метров синего ситца, с цветочками – по 7 ф<ранков> 90 сан<тимов>

метр – не из-за дешевки только, а потому что больше всего понравился.

…чтобы не казаться дурой и сумасшедшей, сразу своротив обратно, стою минуту перед какой-то писчебумажной лавочкой – и обратно, убежденная, что ту мясную сгоряча проскочила, что было (и все те лавки) – до пустынного здания. Смотрю на весь левый бок улицы, так и иду с (повернутой?) шеей. И здание то же самое, и за ним – никаких лавочек, потому что конец улицы, это здание – конец бульвара. Я пошла не на тот бульвар и, ничего не узнавая, шла по чужой улице, когда это была моя, по которой хожу – сентябрь – конец апреля, семь с половиной месяцев в каждый день по 2–3 раза, и по которой знаю все, которую всю знаю наизусть.

– А то голое здание был угол лицея, мимо которого 7 1/2 месяцев. О, Боже, Боже! Думаю и боюсь, что так же сразу забуду – не узнаю – землю: собственных стихов – и рук… может быть, уже не узнаю.

Дело не в благодарности (беспамятности), благодарнее меня нет – а… в неуверенности ни в чем достоверном, в отродясь потерянном чувстве достоверности, в чувстве исправления, в неудивлении – чудесам: а если я вдруг, идя, полечу – не удивлюсь, а узнаю, что не может быть – раз все это есть – что нет того света: я сама уже тот свет, с его чувствами. Не может быть, – раз все это есть – не быть того света.

1940 год

*Возобновляю эту тет*радь 5-го сентября 1940 г. в Москве. 18-го июня приезд в Россию. 19-го в Болшево, свидание с больным С<ережей>. Неуют. За керосином. С<ережа> покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефонам. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. Живу без бумаг, никому не показываюсь. Кошки. Мой любимый неласковый подросток – кот. (Всё это для моей памяти, и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит – такого). Торты, ананасы, от этого – не легче. Прогулки с Милей. Мое одиночество. Посудная вода и слезы. Обертон – унтертон всего – жуть. Обещают перегородку – дни идут, Мурину школу – дни идут. И отвычный деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя. Болезнь С<ережи>. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня, – не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день. Когда – писать??

Девочка Шура. Впервые – чувство чужой кухни. Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С<ережа> бессилен,

совсем, во всем. (Я, что-то вынимая: – Разве Вы не видели? Такие чудные рубашки! – Я на Вас смотрел!).

(Разворачиваю рану. Живое мясо. Короче:)

27-го в ночь арест Али. Аля – веселая, держится браво. Отшучивается.

Забыла: последнее счастливое видение ее – дня за 4 – на Сельско-хоз<яйственной> выставке, «колхозницей», в красном чешском платке – моем подарке. Сияла. Уходит, не прощаясь. Я: —Что же ты, Аля, та́к, ни с кем не простившись? Она в слезах, через плечо – отмахивается. Комендант (старик, с добротой): – Так – лучше. Долгие проводы – лишние слезы…

О себе. Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче себя. Боюсь – всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего – себя, своей головы – если это голова – так преданно мне служившая в тетради и так убивающая меня – в жизни. Никто не видит – не знает, – что я год уже (приблизительно) ищу глазами – крюк, но его нет, п<отому> ч<то> везде электричество. Никаких «люстр»… Я год примеряю – смерть. Все – уродливо и – страшно. Проглотить – мерзость, прыгнуть – враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже – посмертно – боюсь. Я не хочу – умереть, я. хочу – не быть. Вздор. Пока я нужна… Но, Господи, как я мало, как я ничего не могу!

Доживать – дожевывать

Горькую полынь –

Сколько строк, миновавших! Ничего не записываю. С этим – кончено. Н<иколай> Николаевич) принес немецкие переводы. Самое любимое, что есть: немецкие народные песни. Песенки. О, как все это я любила!

Сен*тябрь 1940*

…*Тарасенков, на*пример, дрожит над каждым моим листком. Библиофил. А то, что я, источник (всем листочкам!), – как бродяга с вытянутой рукой хожу по Москве: – Пода-айте, Христа ради, комнату! – и стою в толкучих очередях – и одна возвращаюсь темными ночами, темными дворами – об этом он не думает…

…– Господа! Вы слишком заняты своей жизнью, вам некогда подумать о моей, а – стоило бы… (Ну не «господа», – «граждане» ….

* * *

Сегодня, 26-е сентября по старому (Иоанн Богослов), мне 48 лет. Поздравляю себя: 1) (тьфу, тьфу тьфу!) с уцелением, 2) (а м<ожет> б<ыть> 1) с 48-ю годами непрерывной души.

* * *

Моя трудность (для меня – писания стихов и, м<ожет> б<ыть>, для других – понимания) в невозможности моей задачи. Например, словами (то есть смыслами) сказать стон: а́ – а – а. Словами (смыслами) сказать звук. Чтобы в ушах осталось одно а́ – а – а.

Зачем такие задачи?

* * *

Октябрь 1940 г.

Нынче, 3-го, наконец, принимаюсь за составление книги, подсчет строк, ибо 1-го ноября все-таки нужно что-то отдать писателям, хотя бы каждому – половину. (NB! Мой Бодлер появится только в январской книге, придется отложить – жаль).

…Да, вчера прочла – перечла – почти всю книгу Ахматовой и – старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы; сходящие (и сводящие) на нет. Испорчено стихотворение о жене Лота. Нужно было дать либо себя – ею, либо ее – собою, но – не двух (тогда была бы одна: она).

…Но сердце мое никогда не забудет

Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Такая строка (формула) должна была даться в именительном падеже, а не в винительном. И что значит: сердце мое никогда не забудет… – кому до этого дело? – важно, чтобы мы не забыли, в наших очах осталась –

Отдавшая жизнь за единственный взгляд…

Этой строке должно было предшествовать видение: Та, бывшая!.. та, ставшая солью, отдавшая жизнь за единственный взгляд – Соляной столб, от которого мы остолбенели. Да, еще и важное: будь я – ею, я бы эту последнюю книгу озаглавила: «Соляной столб». И жена Лота, и перекличка с Огненным (высокая вечная верность) в двух словах вся беда и судьба.

Ну, ладно…

Просто, был 1916 год, и у меня было безмерное сердце, и была Александровская Слобода, и была малина (чу2дная рифма – Марина), и была книжка Ахматовой… Была сначала любовь,

потом – стихи…

А сейчас: я – и книга.

А хорошие были строки:…Непоправимо-белая страница… Но что она делала: с 1914 г. по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть «непоправимо-белая страница»…

Говорят, – Ива. Да, но одна строка Пастернака (1917 г.):

> Об иве, иве разрыдалась, —
> и одна моя (1916 г.) – к ней:
> Не этих ивовых плавающих ветвей
> Касаюсь истово, а руки твоей… —

и что́ остаётся от ахматовской ивы, кроме – ее рассказа, как она любит иву, то есть – содержания?

Жаль.

Ну, с Богом, – за свое. (Оно ведь тоже и посмертное). Но –

Et ma cendre sera plus chaude que leur vie.[152]

24-го о*ктября 1940 г.*

*Вот, составля*ю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю, и – почти уверена, что не возьмут, диву далась бы – если бы взяли. Ну2, я свое сделала, проявила полную добрую волю (послушалась – я знаю, что стихи – хорошие и кому-то – нужные (может быть даже – как хлеб).

Ну – не выйдет, буду переводить, зажму рот тем, которые говорят: – Почему Вы не пишете? – Потому что время – одно, и его мало, и писать себе в тетрадку – Luxe[153]. Потому что за переводы платят, а за свое – нет.

По крайней мере – постаралась.

26-го (кажется!) октября 1940 г. – перед лицом огромного стылого окна.

Я, кажется, больше всего в жизни любила – уют (sécurité[154]). Он безвозвратно ушел из моей жизни.

* * *

Во мне – таинственно! – уцелела невинность: первого дня, весь первый день с его восхищением – изумлением – и доверием. Для меня всякий – хорош (а плохой – больной)…

* * *

25-го декабря 1940 г… Иду в Интернациональную, в коридоре… встречаю Живова – мил, сердечен – чуть ли не плачу. – «Вас все так любят. Неужели это – только слова?» И в ответ на мой рассказ, что моя книга в Гослитиздате зарезана словом (Зелинского, я всегда за авторство) формализм: – У меня есть все Ваши книги, – наверное, больше, чем у Вас, и я объявляю, что у Вас с самого начала до нынешних дней не было и нет ни одной строки, которая бы не была продиктована… (Я: – Внутренней необходимостью) какой-нибудь мыслью или чувством.

Вот – аттестация читателя.

* * *

Поэт (подлинник) к двум данным (ему Господом Богом строкам) ищет – находит – две за́данные. Ищет их в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифм – тех, Господом данных, являющихся – императивом.

Переводчик к двум данным (ему поэтом) основным: поэтовым богоданным строкам – ищет – находит – две заданные, ищет в арсенале возможного, направляемый роковой необходимостью рифмы – к тем, первым. Господам (поэтом) данным, являющимся – императивом.

Рифмы – к тем же вещам – на разных языках – разные.

* * *

Уточнение: Рифма всюду может быть заменена физикой (стиха). Так, например, я строку, кончающуюся на amour[155] и рифмующую с toujours[156] не непременно – переведу: любовь – и кровь, но работу я найду с лучших основных строк двустишия и, дав их адекватно, то есть абсолютно к моей, русской, их транскрипции, буду искать – уже в моем, русском, арсенале, пытаясь дать – второй (посильный) абсолют.

* * *

Что нам дано в начале каждой работы и в течение каждой ее строки: полное сознание – не то, то есть неузнавание настоящего: этого берегись (звучащего слова, образа), берегись: заведет! и каждое то сопутствуется радостью узнавания: та – строка – эта

из всех человеческих лиц – то самое, да что лица – в лицах ошибаешься, в строках – нет! (А здесь работа с неудачным подстрочником Этери)… Мы должны бороться с зафиксированными (в звуках и в образах) неудачами автора.

Октябрь-дек*абрь 1940 г.*

…Да, мысль:

*Оди*ноко – как собака…

– гарантия поэта… о́ко – а́ка…

– может быть, наводящее (и никогда не случайное) созвучие, настойчивость созвучия, уже дающее смысл: одино́ко – как соба́ка – ведь эта строка – уже целая поэма, и, может быть, правы японцы и тысячелетия, дающие – первые – и оставляющие – вторые – только одну строку, всё в одной строке – и представляющие дальнейшее – тебе…

Может быть, наше малодушие – дописывать – то есть богоданной строке (чаще двум) приписывать – начало, достигнутой цели – дорогу? (уже пройденную внутри, может быть, в течение всей жизни (она и была – дорога!), может быть – в молнию сна)…

* * *

Господи! Как хорошо, что есть два слова: aube и aurore (рассвет и заря) и как я этим счастлива, и насколько aube лучше aurore, которая (и вещь, и звук) тоже чудесна, и как обе – сразу, для слуха уже, звучат женскими именами и пишутся (слышатся) с большой буквы!

Aube-Aude – (по-моему – любимая Роланда: – la belle Aude, которая конечно походила на aube, да и была ею – настолько в Chanson de Roland ее – нет). И как хорошо, что у нас рассвет – он, а заря – она (откровенная)…

* * *

Я, любя природу, кажется, больше всего на свете, без ее описаний обошлась: я ее только упоминала: видение дерева. Вся она была фоном к моей душе. Еще: я ее иносказывала: Березовое серебро! Ручьи живые!

* * *

Во мне – таинственно! – уцелела невинность: первого дня, весь первый день с его восхищением – изумлением и доверием. Для меня всякий – хорош (а плохой – больной)…

Декабрь 1940 г.

Потом видела во сне С. Я. П<арно>к, о к<ото>рой не думаю никогда и о смерти к<ото>рой не пожалела ни секунды, – просто – тогда все чисто выгорело – словом, ее, с глупой подругой и очень наивными стихами, от к<отор>ых – подруги и стихов – я ушла в какой-то вагон III кл<асса> и даже – четвертого.

6-го янва*ря 1941 г.*

– *нынче тащу поля*ков в Гослитиздат. Среди них один – замечательный (по усилию точно сказать – несказанное) – Юлиан Пшибось.

Большой поэт целиком уцелевает в подстрочнике.

Не большой – целиком пропадает: распадается на случайности рифм и созвучий.

И это я – «формалист»!!!

(О, сволочь: З<елин>ский)!

27-го янв*аря 1941 г., понедельник.*

*Мн*е 48 лет, а пишу я – 40 лет и даже 41, если не сорок два (честное слово) и я, конечно, по природе своей – выдающийся филолог, и – нынче, в крохотном словарчике, и даже в трех, узнаю, что ПАЖИТЬ – pacage – пастбище, а вовсе не поле, нива: сжатое: отдыхающее – поле. Итак, я всю жизнь считала (и, о ужас м<ожет> б<ыть> писала) пажить – полем, а это луг, луговина. Но – вопреки трем словарям (несговорившимся: один французский – старый, другой – советский, третий – немецкий) все еще не верю. Пажить – звучит: жать, жатва.

Вчера, по радио, Прокофьев (пишет очередную оперу. Опера у него – функция) собств<енным> голосом:

– Эту оперу нужно будет написать очень быстро, п<отому> ч<то> театр приступает к постановке уже в мае (м<ожет> б<ыть>, в апреле – неважно).

– С<ергей> С<ергеевич>! А как Вы делаете – чтобы писать быстро? Написать – быстро? Разве это от Вас (нас) зависит? Разве Вы – списываете?

Еще:

– Театр приступает к постановке – уже в мае.

К постановке ненаписанной, несуществующей оперы. – Прокофьева. – Это единств<енная> достоверность.

Быстро. Можно писать – не отрываясь, спины не разгибая и – за целый день – ничего. Можно не, к столу не присесть – и вдруг – все четверостишие, готовое, во время выжимки последней рубашки, или лихорадочно роясь в сумке, набирая ровно 50 коп<еек>, думая о: 20 и 20 и 10. И т. д.

Писать каждый день. Да. Я это делаю всю (сознательную) жизнь. На авось. Авось да. – Но от: каждый день – до: написать быстро… Откуда у Вас уверенность? Опыт? (Удач). У меня тоже – опыт. Тот же, Крысолов, начатый за месяц до рождения Мура, сданный в журнал, и требовавший – по главе в месяц. Но – разве я когда-н<и>б<удь> знала – что допишу к сроку? Разве я знала – длину главы: когда глава кончится? Глава – вдруг – кончилась, сама, на нужном ей слове (тогда – слоге). На нужном вещи – слоге. Можно – впадать в отчаяние – что так медленно, но от этого – до писать быстро…

– Все расстояние между совестливостью – и бессовестностью, совестью – отсутствием ее.

Да, да, так наживаются дачи, машины, так – м<ожет> б<ыть> (поверим в злостное чудо!) пишутся, получаются, оказываются гениальные оперы, но этими словами роняется достоинство творца.

Никакие театры, гонорары, никакая нужда не заставит меня сдать рукописи до последней проставленной точки, а срок этой точки – известен только Богу.

– С Богом! (или:) – Господи, дай! – так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой, даже самый жалкий, перевод (Франко, напр<имер>).

Я никогда не просила у Бога – рифмы (это – мое дело), я просила у Бога – силы найти ее, силы на это мучение.

Не: – Дай, Господи, рифму! – а: – Дай, Господи, силы найти эту рифму, силы – на эту муку. И это мне Бог – давал, подавал.

Вот сейчас (белорусские евреи). Два дня билась над (подстрочник):

«А я – полный всех даров – Науками, искусствами, все же сантиментален, готов сказать глупость банальную:

Такая тоска ноет в сердце

От полей только что сжатых!»

(Только что сжатых полей не влезало в размер). Вертела, перефразировала, иносказывала, ум-за-раз-ум заходил, – важна, здесь, простота возгласа. И когда, наконец, отчаявшись (и замерзши, – около 30-ти гр<адусов> и все выдувает), влезла на кровать под вязаное львиное одеяло – вдруг – сразу – строки:

– Какая на сердце пустота

От снятого урожая!

И это мне – от Бога – в награду за старание. Удача – (сразу, само приходящее) – дар, а такое (после стольких мучений) – награда.

Недаром меня никогда не влекло к Прокофьеву. Слишком благополучен. Ни приметы – избранничества. (Мы все – клейменые, а Гёте – сам был Бог). Иногда и красота – как клеймо. (Тавро – на арабских конях). Но – загадка – либо П<рокофьев>, действительно, сам, как М<аяков>ский – сам (но М<аяковский> был фетишист), – либо сам – нет (кроме самообмана), и, в последнюю минуту, П<рокофье>ву подает – все-таки Бог.

Верующая? – Нет. – Знающая из опыта.

* * *

<Февраль *1941*>

Я отродясь – как вся наша семья – была избавлена от этих двух <понятий>: слава и деньги. Ибо для чего же я так стараюсь нынче над… вчера над… завтра над… и вообще над слабыми, несуществующими поэтами – так же, как над существующими, над <Кнапгейсом?> – как над Бодлером?

Первое: невозможность. Невозможность иначе. Привычка – всей жизни. Не только моей: отца и матери. В крови. Второе: мое доброе имя. Ведь я же буду – подписывать. Мое доброе имя, то есть: моя добрая слава. – «Как Цветаева могла сделать такую гадость?» невозможность обмануть – доверие.

(Добрая слава, с просто – славой – незнакома). Слава: чтобы обо мне говорили. Добрая слава: чтобы обо мне не говорили – плохого. Добрая слава: один из видов нашей скромности – и вся наша честность.

Деньги? – Да плевать мне на них. Я их чувствую только, когда их – нет. Есть – естественно, ибо есть естественно (ибо естественно – есть). Ведь я могла бы зарабатывать вдвое больше. Ну – и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте. Но у меня-то что останется? Если взять эту мою последнюю спокойную… радость.

Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть деньги.

* * *

27 мая 1941 г.

Песни Миньоны Гёте, но – для музыки (к<отор>ой не знаю…), а я и так еле-еле концы с концами свожу…

notes

Примечания

1

Есть еще на Арбатской площади *(Прим. М. Цветаевой)*.

2

Мода пришла позже. Для России с сыпняком, т. е. в 19 г. – 20 г., для Запада, ух не знаю с чего и с чем, в 23 г. – 24 г. *(Прим. М. Цветаевой)*.

3

Обмен *(пер. с нем.)*.

4

Изнутри *(пер. с нем.)*.

5

«Пришли большевики – Не стало ни хлеба, ни муки», – московская поговорка 18 г. *(Прим. М. Цветаевой)*.

6

Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине *(Прим. М. Цветаевой)*.

Больше никогда его не видела *(Прим. М. Цветаевой)*.

8

Але 4 с половиной года *(Прим. М. Цветаевой)*.

9

Только позднее поняла: «взят» – конечно: «нами!» Если бы белыми – так «отдан» *(Прим. М. Цветаевой)*.

10

Готовая умереть, как французская королева *(пер. с франц.)*.

11

Моей сестре *(Прим. М. Цветаевой)*.

12

Надейся, дитя, завтра! И потом – завтра – опять…
И потом – всегда – завтра… Будем верить в будущее.
Надейся! И всякий раз, как заря начинает вставать,
Будем просить, чтобы Бог благословил нас,
Может быть… *(пер. с франц.)*.

13

«Девушке, рассказавшей свой сон».
Поцелуй… в лоб! Поцелуй – лишь во сне!
Но недавний поцелуй слетает с моего грустного лба…
Но из лета никогда не вернуться живительному соку,
И заря никогда не одолеет ночь *(пер. с франц.)*.

14

Поцелуй в лоб! Все мое существо дрожит,
И кажется, кровь возобновляет свой круг…
Дитя! – Не рассказывайте Ваших снов никому
И не грезьте никогда – или – мечтайте всегда! *(пер. с франц.)*.

15

Никогда не существовавшей! *(Прим. М. Цветаевой).*

16

Любовь – не веселье и нежность *(пер. с франц.)*.

«Любовная дружба» *(пер. с франц.)*.

18

Второй брак – это посмертный адюльтер *(пер. с франц.)*.

19

Поэт, ученик Студии Вахтангова *(Прим. М. Цветаевой)*.

Горизонтальным ремеслом *(пер. с нем.)*.

21

С досады *(пер. с франц.)*.

22

Герое моей пьесы «Фортуна» *(Прим. М. Цветаевой)*.

23

Предмет роскоши и искусства *(пер. с франц.)*.

«Бог и мое право» *(пер. с франц.)*.

25

Барышня, девушка *(пер. с нем.)*.

26

Добрый день, фройляйн! *(пер. с нем.)*.

«Венская кровь» *(пер. с нем.)*.

Более роялист, чем король! *(пер. с франц.)*.

29

Поэт, ученик студии Вахтангова *(Прим. М. Цветаевой)*.

30

Режиссер II Студии, ныне тоже умерший *(Прим. М. Цветаевой)*.

31

Нет уменья жить без уменья умирать *(пер. с франц.)*.

32

Уменье умирать обратно уменью жить *(пер. с франц.)*.

33

Нет уменья жить, есть уменье умирать *(пер. с франц.)*.

Завтра не будет! *(пер. с франц.)*.

35

Констатация смерти *(пер. с франц.)*.

Констатация отказа *(пер. с франц.)*.

37

Первое помещение Художественного театра *(Прим. М. Цветаевой)*.

38

Арбитр изящного; законодатель общественных вкусов *(пер. с лат)*.

Хороших манер, выправки, осанки *(пер. с франц.)*.

Собеседника *(пер. с франц.)*.

Здесь в значении: инородное звучание *(пер. с англ.)*.

42

Последующее о театре, как уже появившееся в печати, опускаю *(Прим. М. Цветаевой)*.

Конца века *(пер. с франц.)*.

44

Актрисы, по пьесе влюбленной в гимназиста *(Прим. М. Цветаевой)*.

45

Актера III Студии, потом добровольца, в 1920 г. пропавшего без вести *(Прим. М. Цветаевой)*.

Если и неверно, то хорошо придумано! *(пер с итал.)*

47

Я на ней женюсь…

Из благодарности *(пер. с франц.)*.

49

Из благодарности – «Да здравствует королева!» *(пер. с франц.)*.

Отсюда – вся я *(Прим. М. Цветаевой)*.

51

В то самое время,
В том самом месте.
Тот самый человек —
То самое слово *(пер. с нем.)*.

Быть *(пер. с франц.)*.

Казаться *(пер. с франц.)*.

Похоронный звон *(пер. с франц.)*.

Деяния *(пер. с нем.)*.

56

Предыдущий отрывок о несуществующих на русском языке словах – пропущен. «Lachete», напр<имер>, смесь трусости и низости, не одна трусость *(Прим. М. Цветаевой)*.

«Конькобежцев» *(пер. с нем.)*.

В небытие *(пер. с франц.)*.

Thor – ворота, Rath – совет *(пер. с нем.)*.

60

Мария Антуанетта – «знаешь ли ты, в твоей деревне…» *(пер. с франц.)*.

Шалопаем дАртуа *(пер. с франц.)*.

«Свежей, как роза» *(пер. с франц.)*.

Восхождение *(пер. с франц.)*.

64

Пьеса, которую я не дописала и потеряла *(Прим. М. Цветаевой)*.

Сильна как смерть *(пер. с франц.)*.

Мертвая *(пер. с франц.)*.

Сильный *(пер. с франц.)*.

68

Окончание женского рода.

«Поэзия и правда» *(пер. с нем.)*.

70

Здесь: я с благоговением вспоминаю некоего X-Y-Z *(пер. с нем.)*.

Превосходных ученых *(пер. с нем.)*.

72

«Не целоваться, ибо это так пошло, но, если возможно – любить!» *(пер. с нем.)*.

Детей любви *(пер. с франц.)*.

Климатический курорт *(пер. с нем.)*.

Сестрой *(Прим. М. Цветаевой)*.

«Душа улетает!» *(пер. с нем.)*.

77

«Все проходит, все рушится, все надоедает…» *(пер. с франц.)*.

«Кроме удовлетворения от выполнения собственного долга» *(пер. с франц.)*.

79

Когда Вы на кого-нибудь смотрите, милостивая госпожа, это звучит как музыка! *(пер. с нем.)*.

Господин Рёвер! *(пер. с нем.)*.

81

Тише, тише, синьор умер! *(пер. с итал.)*

Коробка для съестного *(пер. с нем.)*.

83

На природу *(пер. с нем.)*.

В синь, голубизну *(пер. с нем.)*.

Эфир, священный воздух! *(пер. с нем.)*.

Вайсер Хирш (Белый олень) *(пер. с нем.)*.

«Между расами» *(пер. с нем.)*.

88

«Светлая девочка, которая станет женщиной,
Бедный ангел, который покинет свое небо».
(Ламартин) (пер. с франц.).

Вы в самом деле так думаете? *(пер. с нем.)*.

Да, если это совершается благодаря такому, как вы! *(пер. с нем.)*.

Школяры *(пер. с нем.)*.

«Земля круглая, а мы молоды, – еще увидимся!» *(пер. с нем.)*.

93

Старое правописание, th. Теперь: Tor, Rat – ворота, совет *(пер. с нем.)*.

Преданность *(пер. с нем.)*.

Преданности *(пер. с франц.)*.

«…И я говорю вам – когда-нибудь наступит зима,
И весь снег на севере превратится в кровь…» *(пер. с нем.)*.

Слепая Матильда *(пер. с нем.)*.

«Я знаю одну прелестную кошечку» *(пер. с нем.)*.

«Красный сарафан» *(пер. с нем.)*.

«У орла», «У льва» *(пер. с нем.)*.

101

«У черта» *(пер. с нем.)*.

Гостиница «У ангела» *(пер. с нем.)*.

103

Вот это был парень! *(пер. с нем.)*.

Он всему миру показал, что значит хотеть! *(пер. с нем.)*.

«Наука о цвете» *(пер. с нем.)*.

«Фаберже» *(пер. с нем.)*.

107

Зубцы *(пер. с нем.)*.

«Люби отечество и можешь быть спокойным» *(пер. с нем.)*.

109

Рейн-батюшка! *(пер. с нем.)*.

Священный дуб *(пер. с нем.)*.

111

Драгоценный камень, дивный плод, аристократ, живительная влага, великодушие, благородная кровь… *(пер. с нем.)*.

Юный бог! *(пер. с нем.)*.

113

Первобытная сила *(пер. с нем.)*.

114

Он всему миру показал, что значит хотеть! *(пер. с нем.)*.

115

Прародитель, предок, мать и дитя
В глухом пространстве объединены… *(пер. с нем.)*.

Дракон и Месть *(пер. с нем.)*.

«Песнь о Нибелунгах» *(пер. с нем.)*.

Особенно. Удивительно *(пер. с нем.)*.

Людей природы *(пер. с нем.)*.

Буржуа, гражданин *(пер. с нем.)*.

121

Маленький: мещанский *(пер. с нем.)*.

Увлекаться, мечтать *(пер. с нем.)*.

123

В самоограничении познается лишь мастер,
И лишь закон дает нам свободу *(пер. с нем.)*.

«Для любви надо иметь двоих» *(пер. с франц.)*.

125

Чтобы убить *(пер с франц.)*

Вы захватили Эльзас и Лотарингию,
Но сердец наших не завоюете никогда.
Вы надеялись сделать нашу землю германской,
Вопреки вам она останется французской…
(пер с франц.).

«Стража на Рейне» *(пер. с нем.)*.

Чудо-ребенок *(пер. с нем.)*.

129

Вытянутая *(пер с франц.)*.

Это было скорее желание, чем предсказание. Але сейчас 5 лет 8 месяцев – у нее золотистые волосы и те же – огромные – светло-голубые глаза *(Прим. М. Цветаевой)*.

131

Спящая красавица *(пер с франц.)*.

Бегать наперегонки *(пер с франц.)*.

133

Скорбящая мать *(пер. с лат)*.

134

Ответный (сокрушительный) удар *(пер с франц.)*.

135

Деклассирована *(пер с франц.)*.

«Дама с камелиями» *(пер с франц.)*.

137

Из игры *(пер с лат)*

«Девяносто третий год» *(пер с франц.)*.

139

Неразборчиво *(Прим. Ред.)*.

140

Буквально: «Вращать большими пальцами», то есть сидеть без дела *(пер. с франц.)*.

Подспорья *(пер. с франц.)*.

Обозначены пропуски в рукописи.

143

На свой риск *(пер. с нем.)*.

Надо: je t'embrasse – обнимаю тебя *(пер. с франц.)*.

145

Внимание! Говорит Тирана… Внимание! Говорит Тирана… *(пер. с франц.)*.

Вечер в честь Чехословакии *(пер с франц.)*.

147

Улица Бонапарта – колония Чехословакии *(пер с франц.)*.

Рок *(пер с франц.)*.

149

Это трудно *(пер с франц.)*.

150

«Весна» – название фирменного магазина *(пер с франц.)*.

151

Крестьянское платье *(пер с франц.)*.

И прах мой будет жарче их жизни *(пер с франц.)*.

153

Роскошь *(пер. с нем.)*.

Обеспеченность, гарантия *(пер с франц.)*.

Любовь *(пер с франц.)*.

Всегда *(пер с франц.)*.